

**РУССКАЯ
ЛИТЕРАТУРА
XIX ВЕКА
• ВТОРАЯ ПОЛОВИНА •
10 КЛАСС**

ХРЕСТОМАТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

В двух частях

ЧАСТЬ 1

Составитель **В. П. Журавлев**

*Рекомендовано
Министерством образования
Российской Федерации*

4-е издание

МОСКВА
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
2000

УДК 373.167.1:821.161.1
ББК 83.3(2Рос-Рус)1я72
Р89

Русская литература XIX века. (Вторая половина). 10 кл.
Р89 Хрестоматия художеств, произведений. В 2 ч. Ч. 1/Сост.
В. П. Журавлев. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2000.—
400 с: портр. — ISBN 5-09-009883-2.

В хрестоматию «Русская литература XIX века (вторая половина)» включены произведения русской классической литературы, рекомендованные программами для изучения в 10 классе общеобразовательных заведений.

УДК 373.167.1:821.161.1
ББК 83.3(2Рос-Рус)1я72

ISBN 5-09-009883-2(1)
5-09-009885-9 (общ.)

Издательство «Просвещение», 1998
Художественное оформление.
Издательство «Просвещение», 1998
Все права защищены

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство «Просвещение» почти десять лет не выпускало школьные хрестоматии по русской литературе второй половины XIX века. Причин тому было несколько. Во-первых, и педагоги, и издатели надеялись, что не за горами то время, когда книги русских писателей-классиков будут в необходимом количестве в школьных библиотеках и на домашних книжных полках в семьях. Но эти мечтания оказались явно преждевременными. Другая, более существенная причина в том, что вторая половина прошлого века — эпоха расцвета крупной эпической формы в русской литературе. Да, в это время писались прекрасные рассказы, очерки, стихотворения, но вершинными явлениями стали романы И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского. Нельзя же представить себе хрестоматию, в которую были бы включены и «Отцы и дети», и «Обломов», и «Война и мир», и «Преступление и наказание», и «Идиот». А ведь это центральные произведения школьного курса литературы интересующего нас периода. Как быть? Пойти старым испытанным путем — дать произведения в сокращении, во фрагментах? Но такой путь уже давно был дружно (хотя и слишком категорично) осужден учителями. Составить хрестоматию из произведений только малых литературных форм — небольших повестей, рассказов, стихотворений? Вряд ли это оптимальный вариант, ведь за пределами такой книги окажется подавляющее большинство «программных» произведений.

В последнее время ситуация еще более осложнилась тем, что вместо одной-единственной школьной программы по литературе появилось несколько разных, значительно отличающихся друг от друга. Более того, каждая из этих программ предоставляет свободу учителю и учащимся в выборе произведений для чтения и изучения в классе. Так, при знакомстве с наследием А. Н. Островского можно остановиться на обстоятельном изучении либо «Грозы», либо «Бесприданницы». При изучении творчества Ф. М. Достоевского ученики могут сосредоточить свое внимание на чтении и обсуждении «Преступления и наказания» или «Братьев Карамазовых». А что же выбрать составителю хрестоматии? Как предугадать выбор большинства учителей и учеников?

Стремление преодолеть названные сложности определило структуру предлагаемой вашему вниманию хрестоматии. Боль-

шинство включенных в нее произведения дано полностью, даже такие крупные по объему произведения, как роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» и повесть Н. С. Лескова «Очарованный странник», напечатаны без сокращений. Подборки стихотворений Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова, И. С. Никитина, А. Н. Апухтина, К. М. Фофанова составлены с учетом различных программ литературного образования, по которым работает сегодня школа. Хрестоматия предлагает вниманию читателей две драмы А. Н. Островского — «Гроза» и «Бесприданница». Какую из них выбрать для текстуального анализа, а какую для самостоятельного чтения с последующим обсуждением в классе, — дело учителя и учащихся.

Отдельными главами представлены «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского, «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова, т. е. те произведения, в которых главы имеют определенную художественную самостоятельность.

В школьные хрестоматии 60—70-х годов обычно наряду с текстами художественных произведений включались статьи известных критиков. В 1993 году издательством «Просвещение» была издана хрестоматия историко-литературных материалов к курсу русской литературы второй половины XIX века (составители И. Е. Каплан, М. Т. Пинаев), которая, вероятно, будет переиздаваться. Наличие специальной хрестоматии позволило не включать в предлагаемую вам книгу критические статьи.

В хрестоматии не даются обзоры творчества писателей — они есть в учебниках. Но для повторения и закрепления сведений о творческом пути того или иного классика отечественной литературы в нашей книге даны краткие биохроники. В биохрониках названы основные события, даты, факты жизни писателя. Если те или иные строки биохроники вызовут живой интерес читателя, то для более обстоятельного знакомства с историей жизни писателя советуем обратиться к книгам серий «Жизнь замечательных людей» и «Биография писателя».

Составитель

**Александр
Николаевич
ОСТРОВСКИЙ**

(1823—1886)



КРАТКАЯ БИОХРОНИКА А. Н. ОСТРОВСКОГО

- 31 марта (12 апреля) 1823 года Александр Николаевич Островский родился в Москве.
- 1835—1840—годы обучения в Первой Московской гимназии.
- 1840—1843—студенческие годы на юридическом факультете Московского университета.
- 1843—1845—служба в московском совестном суде.
- 1845—1851—служба в московском коммерческом суде.
- 1850—опубликована комедия «Свои люди — сочтемся» («Москвитянин», кн. 6).
- 1853— первое представление комедии «Бедность не порок».
- 1856—поездка по Волге в составе «Литературной экспедиции».
- 1857—опубликована комедия «Доходное место» («Русская беседа», кн. 1).
- 1859— участие в создании «Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым»; первое представление драмы «Гроза» в Малом театре (16 ноября).
- 1862—опубликована драматическая хроника «Козьма Захарыч Минин-Сухорук» («Современник», № 1).
- 1863— первое представление комедии «За чем пойдешь, то и найдешь» («Женитьба Бальзамина») в Александринском театре в Петербурге (1 января).
- 1865— возникновение «Артистического кружка» в Москве по инициативе А. Н. Островского.
- 1867—первое представление исторической хроники «Дмитрий

- Самозванец и Василий Шуйский» в Малом театре (30 января).
- 1868— первое представление комедии «На всякого мудреца довольно простоты» в Александрийском театре в Петербурге (1 января).
- 1869— первое представление комедии «Горячее сердце» в Малом театре (15 января).
- 1870— первое представление комедии «Бешеные деньги» в Александрийском театре в Петербурге (16 апреля).
- 1871 — первое представление комедии «Лес» в Александрийском театре в Петербурге (1 ноября).
- 1872— первое представление комедии «Не было ни гроша, да вдруг алтын» в Александрийском театре в Петербурге (20 сентября).
- 1873— первое представление сказки «Снегурочка» в Большом театре в Москве (1Г мая).
- 1874— по инициативе А. Н. Островского в Москве образовано «Общество русских драматических писателей и оперных композиторов».
- 1875— первое представление комедии «Волки и овцы» в Александрийском театре в Петербурге (8 декабря).
- 1876— первое представление комедии «Правда хорошо, а счастье лучше» в Малом театре (18 ноября).
- 1878— первое представление драмы «Бесприданница» в Малом театре (10 ноября).
- 1881— первое представление комедии «Таланты и поклонники» в Малом театре (20 декабря).
- 1883— ноездка на Кавказ с братом М. Н. Островским.
- 1884— первое представление комедии «Без вины виноватые» в Малом театре (15 января).
- 1886, 1 января — вступление в обязанности заведующего репертуарной частью императорских московских театров.
- 1886, 2 июня — кончина писателя в селе Щельково Кинешемского уезда Костромской губернии.

ГРОЗА

Драма в пяти действиях

ЛИЦА

Савёл Прокофьевич Дикой, купец, значительное лицо в городе¹.
Борис Григорьевич, племянник его, молодой человек, порядочно образованный.

Марфа Игнатьевна Кабанова (Кабаниха), богатая купчиха, вдова.
Тихон Иванович Кабанов, ее сын.

Катерина, жена его.

Варвара, сестра Тихона.

Кулигин, мещанин, часовщик-самоучка, отыскивающий перпетуум-мобиле².

Ваня Кудряш, молодой человек, конторщик Дикого.

Шапкин, мещанин.

Феклуша, странница.

Глаша, девка в доме Кабановой.

Барыня с двумя лакеями, старуха 70 лет, полусумасшедшая.

Городские жители обоего пола.

Действие происходит в городе Калинове, на берегу Волги, летом.

Между 3-м и 4-м действиями проходит 10 дней.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Общественный сад на высоком берегу Волги; за Волгой сельский вид.

На сцене две скамейки и несколько кустов.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Кулигин сидит на скамейке и смотрит на реку.

Кудряш и Шапкин прогуливаются.

Кулигин (*поет*). «Среди долины ровной, на гладкой высоте...» (*Перестает петь*.) Чудеса, истинно надобно сказать, что чу-

¹ Все лица, кроме Бориса, одеты по-русски.— *Примеч. А. Н. Островского.*

² *Перпетуум-мобиле (perpetuum mobile — лат.) — «вечный двигатель».*

деса! Кудряш! Вот, братец ты мой, пятьдесят лет я каждый день гляжу на Волгу и все наглядеться не могу.

Кудряш. А что?

Кулигин. Вид необыкновенный! Красота! Душа радуется.

Кудряш. Нетто!

Кулигин. Восторг. А ты: «нешто!» Пригляделись вы либо не понимаете, какая красота в природе разлита.

Кудряш. Ну, да ведь с тобой что толковать! Ты у нас антик¹, химик!

Кулигин. Механик, самоучка-механик.

Кудряш. Всё одно.

Молчание.

Кулигин (*показывая в сторону*). Посмотри-ка, брат Кудряш, кто это там руками размахивает?

Кудряш. Это? Это Дикой племянника ругает.

Кулигин. Нашел место!

Кудряш. Ему везде место. Боится, что ль, он кого! Достался ему на жертву Борис Григорьич, вот он на нем и ездит.

Шапкин. Уж такого-то ругателя, как у нас Савел Прокофьевич, поискать еще! Ни за что человека оборвет.

Кудряш. Пронзительный мужик!

Шапкин. Хороша тоже и Кабаниха.

Кудряш. Ну, да та хоть по крайности все под видом благочестия, а этот как с цепи сорвался!

Шапкин. Унять-то его некому, вот он и воюет!

Кудряш. Мало у нас парней-то на мою статью, а то бы мы его озорничать-то отучили.

Шапкин. А что бы вы сделали?

Кудряш. Постращали бы хорошенько.

Шапкин. Как это?

Кудряш. Вчетвером этак, впятером в переулке где-нибудь поговорили бы с ним с глазу на глаз, так он бы шелковый сделался. А про нашу науку-то и не пикнул бы никому, только бы ходил да оглядывался.

Шапкин. Недаром он хотел тебя в солдаты-то отдать.

Кудряш. Хотел, да не отдал, так это все одно что ничего. Не отдаст меня: он чует носом-то своим, что я свою голову дешево не продам. Это он вам страшен-то, а я с ним разговаривать умею.

Шапкин. Ой ли!

Кудряш. Что тут: ой ли! Я грубиян считаюсь; за что ж он меня держит? Стало быть, я ему нужен. Ну, значит, я его и не боюсь, а пушай же он меня боится.

Шапкин. Уж будто он тебя и не ругает?

¹ *Антик (фр.)* — старинный, древний; здесь: редкостный, необыкновенный.

Кудряш. Как не ругает! Он без этого дышать не может. Да не спускаю и я: он — слово, а я — десять; плюнет, да и пойдет. Нет, уж я перед ним рабствовать не стану.

Кулигин. С него, что ль, пример брать? Лучше уж стерпеть.

Кудряш. Ну, вот, коль ты умен, так ты его прежде учтивости-то выучи, да потом и нас учи! Жаль, что дочери-то у него подростки, больших-то ни одной нет.

Шапкин. А то что бы?

Кудряш. Я б его уважил. Больно лих я на девок-то!

Проходят Дикой и Борис. Кулигин снимает шапку.

Шапкин (*Кудряшу*). Отойдем к стороне: еще привяжется, пожалуй.

Отходят.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же, Дикой и Борис.

Дикой. Баклуши ты, что ль, бить сюда приехал! Дармоед! Пропади ты пропадом!

Борис. Праздник; что дома-то делать!

Дикой. Найдешь дело, как захочешь. Раз тебе сказал, два тебе сказал: «Не смей мне навстречу попадаться»; тебе все неймется! Мало тебе места-то? Куда ни поди, тут ты и есть! Тьфу ты, проклятый! Что ты как столб стоишь-то! Тебе говорят аль нет?

Борис. Я и слушаю, что ж мне делать еще!

Дикой (*посмотрев на Бориса*). Провались ты! Я с тобой и говорить-то не хочу, с езуитом. (*Уходя.*) Вот навязался! (*Плюет и уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Кулигин, Борис, Кудряш и Шапкин.

Кулигин. Что у вас, сударь, за дела с ним? Не пойдем мы никак. Охота вам жить у него да брань переносить.

Борис. Уж какая охота, Кулигин! Неволя.

Кулигин. Да какая же неволя, сударь, позвольте вас спросить. Коли можно, сударь, так скажите нам.

Борис. Отчего ж не сказать? Знали бабушку нашу, Анфису Михайловну?

Кулигин. Ну как не знать!

Кудряш. Как не знать!

Борис. Батюшку она ведь невзлюбила за то, что он женил-

ся на благородной. По этому-то случаю батюшка с матушкой и жили в Москве. Матушка рассказывала, что она трех дней не могла ужиться с родней, уж очень ей дико казалось.

Кулигин. Еще бы не дико! Уж что говорить! Большую привычку нужно, сударь, иметь.

Борис. Воспитывали нас родители в Москве хорошо, ничего для нас не жалели. Меня отдали в Коммерческую академию, а сестру в пансион, да оба вдруг и умерли в холеру; мы с сестрой сиротами и остались. Потом мы слышим, и бабушка здесь умерла и оставила завещание, чтобы дядя нам заплатил часть, какую следует, когда мы придем в совершеннолетие, только с условием.

Кулигин. С каким же, сударь?

Борис. Если мы будем к нему почтительны.

Кулигин. Это значит, сударь, что вам наследства вашего не видать никогда.

Борис. Да нет, этого мало, Кулигин! Он прежде наломается над нами, наругается всячески, как его душе угодно, а кончит все-таки тем, что не даст ничего или так, какую-нибудь малость. Да еще станет рассказывать, что из милости дал, что и этого бы не следовало.

Кудряш. Уж это у нас в купечестве такое заведение. Опять же, хоть бы вы и были к нему почтительны, нешто кто ему запретит сказать-то, что вы непочтительны?

Борис. Ну да. Уж он и теперь поговаривает иногда: «У меня свои дети, за что я чужим деньги отдам? Через это я своих обидеть должен!»

Кулигин. Значит, сударь, плохо ваше дело.

Борис. Кабы я один, так бы ничего! Я бы бросил все да уехал. А то сестру жаль. Он было и ее выписывал, да матушкины родные не пустили, написали, что больна. Какова бы ей здесь жизнь была, и представить страшно.

Кудряш. Уж само собой. Нешто они обращение понимают?

Кулигин. Как же вы у него живете, сударь, на каком положении?

Борис. Да ни на каком: «Живи, говорит, у меня, делай, что прикажут, а жалованья, что положу». То есть через год разочтет как ему будет угодно.

Кудряш. У него уж такое заведение. У нас никто и пикнуть не смей о жалованье, изругает на чем свет стоит. «Ты, говорит, почем знаешь, что я на уме держу? Нешто ты мою душу можешь знать! А может, я приду в такое расположение, что тебе пять тысяч дам». Вот ты и поговори с ним! Только еще он во всю свою жизнь ни разу в такое-то расположение не приходил.

Кулигин. Что же делать-то, сударь! Надо стараться угодать как-нибудь.

Борис. В том-то и дело, Кулигин, что никак невозможно. На него и свои-то никак угодить не могут, а уж где ж мне!

Кудряш. Кто ж ему угодит, коли у него вся жизнь основана на ругательстве? А уж пуше всего из-за денег; ни одного расчета без брани не обходится. Другой рад от своего отступиться, только бы он унялся. А беда, как его поутру кто-нибудь рассердит! Целый день ко всем придирается.

Борис. Тетка каждое утро всех со слезами умоляет: «Батюшки, не рассердите! голубчики, не рассердите!»

Кудряш. Да нешто убережешься! Попал на базар, вот и конец! Всех мужиков переругает. Хоть в убыток проси, без брани все-таки не отойдет. А потом и пошел на весь день.

Шапкин. Одно слово: воин!

Кудряш. Еще какой воин-то!

Борис. А вот беда-то, когда его обидит такой человек, которого он обругать не смеет; тут уж домашние держись!

Кудряш. Батюшки! Что смеху-то было! Как-то его на Волге, на перевозе, гусар обругал. Вот чудеса-то творил!

Борис. А каково домашним-то было! После этого две недели все прятались по чердакам да по чуланам.

Кулигин. Что это? Никак, народ от вечерни тронулся?

Проходят несколько лиц в глубине сцены.

Кудряш. Пойдем, Шапкин, в разгул! Что тут стоять-то?

Кланяются и уходят.

Борис. Эх, Кулигин, больно трудно мне здесь без привычки-то! Все на меня как-то дико смотрят, точно я здесь лишний, точно мешаю им. Обычаев я здешних не знаю. Я понимаю, что все это наше русское, родное, а все-таки не привыкну никак.

Кулигин. И не привыкнете никогда, сударь.

Борис. Отчего же?

Кулигин. Жестокые нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мешанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, сударь, не выбиться из этой коры! Потому что честным трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба. А у кого деньги, сударь, тот старается бедного закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денег наживать. Знаете, что ваш дядюшка, Савел Прокофьич, городничему отвечал? К городничему мужички пришли жаловаться, что он ни одного из них путем не разочтет. Городничий и стал ему говорить: «Послушай, говорит, Савел Прокофьич, рассчитывай ты мужиков хорошенько! Каждый день ко мне с жалобой ходят!» Дядюшка ваш потрепал городничего по плечу, да и говорит: «Стоит ли, ваше высокоблагородие, нам с вами об таких пустяках разговаривать! Много у меня в год-то народу перебывает, вы то поймите: недоплачу я им по какой-нибудь копейке на человека, а у меня из этого тысячи составляются, так оно мне и хорошо!» Вот как, сударь! А между собой-то, сударь, как живут! Торговлю друг у друга подрывают, и не столько из

корысти, сколько из зависти. Враждуют друг на друга; залучают в свои высокие-то хоромы пьяных приказных, таких, сударь, приказных, что и виду-то человеческого на нем нет, обличье-то человеческое истеряно. А те им, за малую благостыню, на гербовых листах злостные кляузы строчат на ближних. И начнется у них, сударь, суд да дело, и несть конца мучениям. Судятся-судятся здесь, да в губернию поедут, а там уж их и ждут да от радости руками плещут. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; водят их, водят, волочат их, волочат; а они еще и рады этому волочению, того только им и надобно. «Я, говорит, потрачусь, да уж и ему станет в копейку». Я было хотел все это стихами изобразить...

Борис. А вы умеете стихами?

Кулигин. По-старинному, сударь. Поначитался-таки Ломоносова, Державина... Мудрец был Ломоносов, испытатель природы... А ведь тоже из нашего, из простого звания.

Борис. Вы бы и написали. Это было бы интересно.

Кулигин. Как можно, сударь! Съедят, живого проглотят. Мне уж и так, сударь, за мою болтовню достается; да не могу, люблю разговор рассыпать! Вот еще про семейную жизнь хотел я вам, сударь, рассказать; да когда-нибудь в другое время. А тоже есть что послушать.

Входят Феклуша и другая женщина.

Феклуша. Бла-алеписе, милая, бла-алеписе! Красота дивная! Да что уж говорить! В обетованной земле живете! И купечество все народ благочестивый, добродетелями многими украшенный! Щедростью и подаяниями многими! Я так довольна, так, матушка, довольна, по горлушко! За наше неоставление им еще больше щедрот приумножится, а особенно дому Кабановых.

Уходят.

Борис. Кабановых?

Кулигин. Ханжа, сударь! Нищих оделяет, а домашних заела совсем.

Молчание.

Только б мне, сударь, перпету-мобель найти!

Борис. Что же бы вы сделали?

Кулигин. Как же, сударь! Ведь англичане миллион дают; я бы все деньги для общества и употребил, для поддержки. Работу надо дать мешанству-то. А то руки есть, а работать нечего.

Борис. А вы надеетесь найти перпетуум-мобиле?

Кулигин. Непременно, сударь! Вот только бы теперь на модели деньжонками раздобыться. Прощайте, сударь! (*Уходит.*) >

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Борис (*один*). Жаль его разочаровывать-то! Какой хороший человек! Мечтает себе и счастлив. А мне, видно, так и загубить свою молодость в этой трущобе. Уж ведь совсем убитый хожу, а тут еще дурь в голову лезет! Загнан, забит, а тут еще сдуру-то влюбляться вздумал. Да в кого! В женщину, с которой даже и поговорить-то никогда не удастся. (*Молчание.*) А все-таки нейдет она у меня из головы, хоть бы что хочешь. Вот она! Идет с мужем, ну и свекровь с ними! Ну не дурак ли я! Погляди из-за угла, да и ступай домой. (*Уходит.*)

С противоположной стороны входят Кабанова, Кабанов,
Катерина и Варвара.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Кабанова, Кабанов, Катерина и Варвара.

Кабанова. Если ты хочешь мать послушать, так ты, как приедешь туда, сделай так, как я тебе приказывала.

Кабанов. Да как же я могу, маменька, вас послушаться!

Кабанова. Не очень-то нынче старших уважают!

Варвара (*про себя*). Не уважишь тебя, как же!

Кабанов. Я, кажется, маменька, из вашей воли ни на шаг.

Кабанова. Поверила бы я тебе, мой друг, кабы своими глазами не видела да своими ушами не слыхала, какво теперь стало почтение родителям от детей-то! Хоть бы то-то помнили, сколько матери болезней от детей переносят.

Кабанов. Я, маменька...

Кабанова. Если родительница что когда и обидное, по вашей гордости, скажет, так, я думаю, можно бы перенести! А, как ты думаешь?

Кабанов. Да когда же я, маменька, не переносил от вас?

Кабанова. Мать стара, глупа; ну, а вы, молодые люди, умные, не должны с нас, дураков, и взыскивать.

Кабанов (*вздыхая, в сторону*). Ах ты, Господи! (*Матери.*) Да смеем ли мы, маменька, подумать!

Кабанова. Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви вас и бранят-то, все думают добру научить. Ну, а это нынче не нравится. И пойдут детки-то по людям славить, что мать ворчунья, что мать проходу не дает, со свету сживает. А, сохрани Господи, каким-нибудь словом снохе не угодить, ну и пошел разговор, что свекровь заела совсем.

Кабанов. Нешто, маменька, кто говорит про вас?

Кабанова. Не слыхала, мой друг, не слыхала, лгать не хочу. Уж кабы я слыхала, я бы с тобой, мой милый, тогда не так заговорила. (*Вздыхает.*) Ох, грех тяжкий! Вот долго ли согрешить-то! Разговор близкий сердцу пойдет, ну и согресишь, рас-

сердишься. Нет, мой друг, говори, что хочешь, про меня. Никому не закажешь говорить; в глаза не посмеют, так за глаза станут.

Кабанов. Да отсохни язык...

Кабанова. Полно, полно, не божись! Грех! Я уж давно вижу, что тебе жена милее матери. С тех пор как женился, я уже от тебя прежней любви не вижу.

Кабанов. В чем же вы, маменька, это видите?

Кабанова. Да во всем, милый друг! Мать чего глазами не увидит, так у нее сердце вещун, она сердцем может чувствовать. Аль жена тебя, что ли, отводит от меня, уж не знаю.

Кабанов. Да нет, маменька, что вы, помилуйте!

Катерина. Для меня, маменька, все одно, что родная мать, что ты, да и Тихон тоже тебя любит.

Кабанова. Ты бы, кажется, могла и помолчать, коли тебя не спрашивают. Не заступайся, матушка, не обижу небось! Ведь он мне тоже сын, ты этого не забывай! Что ты выскочила в глазах-то поюлить! Чтобы видели, что ли, как ты мужа любишь? Так знаем, знаем, в глазах-то ты это всем доказываешь.

Варвара (*про себя*). Нашла место наставления читать.

Катерина. Ты про меня, маменька, напрасно это говоришь. Что при людях, что без людей, я все одна, ничего я на себя не доказываю.

Кабанова. Да я об тебе и говорить не хотела; а так, к слову пришлось.

Катерина. Да хоть и к слову, за что ж ты меня обижаешь?

Кабанова. Экая важная птица! Уж и обиделась сейчас.

Катерина. Напраслину-то терпеть кому ж приятно!

Кабанова. Знаю я, знаю, что вам не по нутру мои слова, да что же делать-то, я вам не чужая, у меня об вас сердце болит. Я давно вижу, что вам воли хочется. Ну что же, дождетесь, поживете и на воле, когда меня не будет. Вот уж тогда делайте что хотите, не будет над вами старших. А может, и меня вспомните.

Кабанов. Да мы об вас, маменька, денно и ночью Бога молим, чтобы вам, маменька, Бог дал здоровья и всякого благополучия и в делах успеху.

Кабанова. Ну, полно, перестань, пожалуйста. Может быть, ты и любил мать, пока был холостой. До меня ли тебе: у тебя жена молодая.

Кабанов. Одно другому не мешает-с; жена само по себе, а к родительнице я само по себе почтение имею.

Кабанова. Так променяешь ты жену на мать? Ни в жизнь я этому не поверю.

Кабанов. Да для чего же мне менять-с? Я обеих люблю.

Кабанова. Ну, да, да, так и есть, размазывай! Уж я вижу, что я вам помеха.

Кабанов. Думайте как хотите, на все есть ваша воля; только я не знаю, что я за несчастный такой человек на свет рожден, что не могу вам угодить ничем.

Кабанова. Что ты сиротой-то прикидываешься? Что ты нюни-то распустил? Ну, какой ты муж? Посмотри ты на себя! Станет ли тебя жена бояться после этого?

Кабанов. Да зачем же ей бояться? С меня и того довольно, что она меня любит.

Кабанова. Как зачем бояться! Как зачем бояться! Да ты рехнулся, что ли! Тебя не станет бояться, меня и подавно. Какой же это порядок-то в доме будет? Ведь ты, чай, с ней в законе живешь. Али, по-вашему, закон ничего не значит? Да уж коли ты такие дурацкие мысли в голове держишь, ты бы при ней-то по крайней мере не болтал, да при сестре, при девке; ей тоже замуж идти: этак она твоей болтовни наслушается, так после муж-то нам спасибо скажет за науку. Видишь ты, какой еще ум-то у тебя, а ты еще хочешь своей волей жить.

Кабанов. Да я, маменька, и не хочу своей волей жить. Где уж мне своей волей жить!

Кабанова. Так, по-твоему, нужно всё лаской с женой? Уж и не прикрикнуть на нее, и не пригрозить?

Кабанов. Да я, маменька...

Кабанова (*горячо*). Хоть любовника заводи! А! И это, может быть, по-твоему, ничего? А! Ну, говори!

Кабанов. Да, ей-богу, маменька...

Кабанова (*совершенно хладнокровно*). Дурак! (*Вздыхает.*) Что с дураком и говорить! Только грех один!

Молчание.

Я домой иду.

Кабанов. И мы сейчас, только раз-другой по бульвару пройдем.

Кабанова. Ну, как хотите, только ты смотри, чтобы мне вас не дожидаться! Знаешь, я не люблю этого.

Кабанов. Нет, маменька! Сохрани меня Господи!

Кабанова. То-то же! (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же без Кабановой.

Кабанов. Вот видишь ты, вот всегда мне за тебя достается от маменьки! Вот жизнь-то моя какая!

Катерина. Чем же я-то виновата?

Кабанов. Кто ж виноват, я уж не знаю.

Варвара. Где тебе знать!

Кабанов. То все приставала: «Женись да женись, я хоть бы поглядела на тебя, на женатого!» А теперь поедом ест, проходу не дает — все за тебя.

Варвара. Так нешто она виновата! Мать на нее нападает,

и ты тоже. А еще говоришь, что любишь жену. Скучно мне глядеть-то на тебя. *(Отворачивается.)*

Кабанов. Толкуй тут! Что ж мне делать-то?

Варвара. Знай свое дело — молчи, коли уж лучше ничего не умеешь. Что стоишь — переминаешься? По глазам вижу, что у тебя и на уме-то.

Кабанов. Ну, а что?

Варвара. Известно что. К Савелу Прокофьичу хочется, выпить с ним. Что, не так, что ли?

Кабанов. Угадала, брат.

Катерина. Ты, Тиша, скорей приходи, а то маменька опять браниться станет.

Варвара. Ты проворней, в самом деле, а то знаешь ведь!

Кабанов. Уж как не знать!

Варвара. Нам тоже не велика охота из-за тебя брань-то принимать.

Кабанов. Я мигом. Подождите! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Катерина и Варвара.

Катерина. Так ты, Варя, жалеешь меня?

Варвара *(глядя в сторону)*. Разумеется, жалко.

Катерина. Так ты, стало быть, любишь меня? *(Крепко целует.)*

Варвара. За что ж мне тебя не любить-то!

Катерина. Ну, спасибо тебе! Ты милая такая, я сама тебя люблю до смерти.

Молчание.

Знаешь, мне что в голову пришло?

Варвара. Что?

Катерина. Отчего люди не летают!

Варвара. Я не понимаю, что ты говоришь.

Катерина. Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Попробовать нешто теперь? *(Хочет бежать.)*

Варвара. Что ты выдумываешь-то?

Катерина *(вздыхая)*. Какая я была резвая! Я у вас завяла совсем.

Варвара. Ты думаешь, я не вижу?

Катерина. Такая ли я была! Я жила, ни об чем не тужила, точно птичка на воле. Маменька во мне души не чаяла, наряжала меня, как куклу, работать не принуждала; что хочу, бывало, то и делаю. Знаешь, как я жила в девушках? Вот я тебе сейчас расскажу. Встану я, бывало, рано; коли летом, так схожу на

ключок, умоюсь, принесу с собой водицы и все, все цветы в доме полью. У меня цветов было много-много. Потом пойдем с маменькой в церковь, все и странницы — у нас полон дом был странниц да богомолок. А придем из церкви, сядем за какую-нибудь работу, больше по бархату золотом, а странницы станут рассказывать: где они были, что видели, жития разные, либо стихи поют. Так до обеда время и пройдет. Тут старухи уснуть лягут, а я по саду гуляю. Потом к вечерне, а вечером опять рассказы да пение. Таково хорошо было!

Варвара. Да ведь и у нас то же самое.

Катерина. Да здесь все как будто из-под неволи. И до смерти я любила в церковь ходить! Точно, бывало, я в рай войду, и не вижу никого, и время не помню, и не слышу, когда служба кончится. Точно как все это в одну секунду было. Маменька говорила, что все, бывало, смотрят на меня, что со мной делается! А знаешь: в солнечный день из купола такой светлый столб вниз идет, и в этом столбе ходит дым, точно облака, и вижу я, бывало, будто ангелы в этом столбе летают и поют. А то, бывало, девушка, ночью встану — у нас тоже везде лампадки горели — да где-нибудь в уголке молюсь до утра. Или рано утром в сад уйду, еще только солнышко восходит, упаду на колена, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чем молюсь и о чем плачу; так меня и найдут. И об чем я молилась тогда, чего просила — не знаю: ничего мне не надобно, всего у меня было довольно. А какие сны мне снились, Варенька, какие сны! Или храмы золотые, или сады какие-то необыкновенные, и всё поют невидимые голоса, и кипарисом пахнет, и горы и деревья будто не такие, как обыкновенные, а как на образах пишутся. А то будто я летаю, так и летаю по воздуху. И теперь иногда снится, да редко, да и не то.

Варвара. А что же?

Катерина *(помолчав)*. Я умру скоро.

Варвара. Полно, что ты!

Катерина. Нет, я знаю, что умру. Ох, девушка, что-то со мной недоброе делается, чудо какое-то. Никогда со мной этого не было. Что-то во мне такое необыкновенное. Точно я снова жить начинаю, или... уж и не знаю.

Варвара. Что же с тобой такое?

Катерина *(берет ее за руку)*. А вот что, Варя, быть греху какому-нибудь! Такой на меня страх, такой-то на меня страх! Точно я стою над пропастью и меня кто-то туда толкает, а удержаться мне не за что. *(Хватается за голову рукой.)*

Варвара. Что с тобой? Здорова ли ты?

Катерина. Здорова... Лучше бы я больна была, а то нехорошо. Лезет в голову мечта какая-то. И никуда я от нее не уйду. Думать стану — мыслей никак не соберу, молиться — не отмолюсь никак. Языком лепечу слова, а на уме совсем не то: точно мне лукавый в уши шепчет, да все про такие дела нехорошие. И то мне представляется, что мне самое себя совестно делается.

Что со мной? Перед бедой перед какой-нибудь это! Ночью, Варя, не спится мне, все мерещится шепот какой-то: кто-то так ласково говорит со мной, точно голубит меня, точно голубь воркует. Уж не снятся мне, Варя, как прежде, райские деревья да горы; а точно меня кто-то обнимает так горячо-горячо и ведет меня куда-то, и я иду за ним, иду...

Варвара. Ну?

Катерина. Да что же это я говорю тебе: ты — девушка.

Варвара (*оглядываясь*). Говори! Я хуже тебя.

Катерина. Ну, что же мне говорить? Стыдно мне.

Варвара. Говори, нужды нет!

Катерина. Сделается мне так душно, так душно дома, что бежала бы. И такая мысль придет на меня, что, кабы моя воля, каталась бы я теперь по Волге, на лодке, с песнями, либо на тройке на хорошей, обнявшись...

Варвара. Только не с мужем.

Катерина. А ты почему знаешь?

Варвара. Еще бы не знать!..

Катерина. Ах, Варя, грех у меня на уме! Сколько я, бедная, плакала, чего уж я над собой не делала! Не уйти мне от этого греха. Никуда не уйти. Ведь это нехорошо, ведь это страшный грех, Варенька, что я другого люблю?

Варвара. Что мне тебя судить! У меня свои грехи есть.

Катерина. Что же мне делать! Сил моих не хватает. Куда мне деваться; я от тоски что-нибудь сделаю над собой!

Варвара. Что ты! Что с тобой! Вот погоди, завтра братец уедет, подумаем; может быть, и видеться можно будет.

Катерина. Нет, нет, не надо! Что ты! Что ты! Сохрани Господи!

Варвара. Чего ты испугалась?

Катерина. Если я с ним хоть раз увижусь, я убегу из дому, я уж не пойду домой ни за что на свете.

Варвара. А вот погоди, там увидим.

Катерина. Нет, нет, и не говори мне, я и слушать не хочу!

Варвара. А что за охота сохнуть-то! Хоть умирай с тоски, пожалеют, что ль, тебя! Как же, дожидайся. Так какая ж неволя себя мучить-то!

Входит барыня с палкой и два лакея в треугольных шляпах сзади.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Те же и барыня.

Барыня. Что, красавицы? Что тут делаете? Молодцов поджидаете, кавалеров? Вам весело? Весело? Красота-то ваша вас радует? Вот красота-то куда ведет. (*Показывает на Волгу.*) Вот, вот, в самый омут!

Варвара улыбается.

Что смеетесь! Не радуйтесь! (*Стучит палкой.*) Все в огне гореть будете неугасимом. Все в смоле будете кипеть неуголимой! (*Уходит.*) Вон, вон куда красота-то ведет! (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Катерина и Варвара.

Катерина. Ах, как она меня испугала! я дрожу вся, точно она пророчит мне что-нибудь.

Варвара. На свою бы тебе голову, старая карга!

Катерина. Что она сказала такое, а? Что она сказала?

Варвара. Вздор все. Очень нужно слушать, что она говорит. Она всем так пророчит. Всю жизнь смолоду-то грешила. Спросика, что об ней порасскажут! Вот умирать-то и боится. Чего сама-то боится, тем и других пугает. Даже все мальчишки в городе от нее прячутся,— грозит на них палкой да кричит (*передразнивая*): «Все гореть в огне будете!»

Катерина (*зажмуриваясь*). Ах, ах, перестань! У меня сердце упало.

Варвара. Есть чего бояться! Дура старая...

Катерина. Боюсь, до смерти боюсь! Все она мне в глазах мерещится.

Молчание.

Варвара (*оглядываясь*). Что это братец нейдет, вон, никак, гроза заходит.

Катерина (*с ужасом*). Гроза! Побежим домой! Поскорее!

Варвара. Что ты, с ума, что ли, сошла? Как же ты без братца-то домой покажешься?

Катерина. Нет, домой, домой! Бог с ним!

Варвара. Да что ты уж очень боишься: еще далеко гроза-то.

Катерина. А коли далеко, так, пожалуй, подождем немного; а право бы, лучше идти. Пойдем лучше!

Варвара. Да ведь уж коли чему быть, так и дома не спрячешься.

Катерина. Да все-таки лучше, все покойнее; дома-то я к образам да Богу молиться!

Варвара. Яи не знала, что ты так грозы боишься. Я вот не боюсь.

Катерина. Как, девушка, не бояться! Всякий должен бояться. Не то страшно, что убьет тебя, а то, что смерть тебя вдруг застанет, как ты есть, со всеми твоими грехами, со всеми помыслами лукавыми. Мне умереть не страшно, а как я подумаю, что вот вдруг я явлюсь перед Богом такая, какая я здесь с тобой, после этого разговору-то, вот что страшно. Что у меня на уме-то! Какой грех-то! страшно вымолвить!

Гром.

Ах!

К а б а н о в входит.

Варвара. Вот братец идет. (*Кабанову*). Беги скорей!

Гром.

Катерина. Ах! Скорей, скорей!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Комната в доме Кабановых.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Глаша (собирает платья в узлы) и Феклуша (входит).

Феклуша. Милая девушка, все-то ты за работой! Что делаешь, милая?

Глаша. Хозяина в дорогу собираю.

Феклуша. Аль едет куда свет наш?

Глаша. Едет.

Феклуша. Надолго, милая, едет?

Глаша. Нет, не надолго.

Феклуша. Ну, скатертью ему дорога! А что, хозяйка-то станет выть¹ аль нет?

Глаша. Уж не знаю, как тебе сказать.

Феклуша. Да она у вас воет когда?

Глаша. Не слышать что-то.

Феклуша. Уж больно я люблю, милая девушка, слушать, коли кто хорошо воет-то!

Молчание.

А вы, девушка, за убогой-то присматривайте, не стянула б чего.

Глаша. Кто вас разберет, все вы друг на друга клепчете, что вам ладно-то не живется? Уж у нас ли, кажется, вам, странным, не житье, а вы все ссоритесь да перекоряетесь; греха-то вы не боитесь.

Феклуша. Нельзя, матушка, без греха: в миру живем. Вот что я тебе скажу, милая девушка: вас, простых людей, каждого один враг смущает, а к нам, к странным людям, к кому шесть, к кому двенадцать приставлено; вот и надобно их всех побороть. Трудно, милая девушка!

Глаша. Отчего ж к вам так много?

Феклуша. Это, матушка, враг-то из ненависти на нас, что

¹ *Выть* — плакать, причитать.

жизнь такую праведную ведем. А я, милая девушка, не вздорная, за мной этого греха нет. Один грех за мной есть, точно: я сама знаю, что есть. Сладко поеть люблю. Ну так что ж! По немощи моей Господь посылает.

Глаша. А ты, Феклуша, далеко ходила?

Феклуша. Нет, милая. Я, по своей немощи, далеко не ходила; а слышать — много слыхала. Говорят, такие страны есть, милая девушка, где и царей-то нет православных, а салтаны земель правят. В одной земле сидит на троне салтан Махнут турецкий, а в другой — салтан Махнут персидский; и суд творят они, милая девушка, надо всеми людьми, и что ни судят они, все неправильно. И не могут они, милая, ни одного дела рассудить праведно, такой уж им предел положен. У нас закон праведный, а у них, милая, неправедный; что по нашему закону так выходит, а по ихнему все напротив. И все судьи у них, в ихних странах, тоже все неправедные; так им, милая девушка, и в просьбах пишут: «Суди меня, судья неправедный!» А то есть еще земля, где все люди с песьими головами.

Глаша. Отчего ж так, с песьими?

Феклуша. За неверность. Пойду я, милая девушка, по купечеству поброжу: не будет ли чего на бедность. Прощай покуда!

Глаша. Прощай!

Феклуша уходит.

Вот еще какие земли есть! Каких-то, каких-то чудес на свете нет! А мы тут сидим, ничего не знаем. Еще хорошо, что добрые люди есть: нет-нет да и услышишь, что на белом свете делается; а то бы так дураками и померли.

Входят Катерина и Варвара.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Катерина и Варвара.

Варвара (*Глаше*). Тащи узлы-то в кибитку, лошади приехали. (*Катерине*.) Молоду тебя замуж-то отдали, погулять-то тебе в девках не пришлось; вот у тебя сердце-то и не ухидилось еще.

Глаша уходит.

Катерина. И никогда не уходится.

Варвара. Отчего же?

Катерина. Такая уж я зародилась горячая! Я еще лет шести была, не больше, так что сделала! Обидели меня чем-то дома, а дело было к вечеру, уж темно, я выбежала на Волгу, села в лодку, да и отпихнула ее от берега. На другое утро уж нашли, верст за десять!

Варвара. Ну, а парни поглядывали на тебя?
Катерина. Как не поглядывать!
Варвара. Что же ты? Неужто не любила никого?
Катерина. Нет, смеялась только.
Варвара. А ведь ты, Катя, Тихона не любишь.
Катерина. Нет, как не любить! Мне жалко его очень.
Варвара. Нет, не любишь. Коли жалко, так не любишь. Да и не за что, надо правду сказать. И напрасно ты от меня скрываешься! Давно уж я заметила, что ты любишь одного человека.
Катерина (*с испугом*). Почему же ты заметила?
Варвара. Как ты смешно говоришь! Маленькая я, что ли! Вот тебе первая примета: как ты увидишь его, вся в лице переменишься.

Катерина потупляет глаза.

Да мало ли...

Катерина (*потупившись*). Ну, кого же?
Варвара. Да ведь ты сама знаешь, что называть-то?
Катерина. Нет, назови! По имени назови!
Варвара. Бориса Григорьича.
Катерина. Ну да, его, Варенька, его! Только ты, Варенька, ради Бога...
Варвара. Ну, вот еще! Ты сама-то, смотри, не проговорись как-нибудь.
Катерина. Обманывать-то я не умею; скрыть-то ничего не могу.
Варвара. Ну, а ведь без этого нельзя; ты вспомни, где ты живешь! У нас весь дом на том держится. И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало. Я вчера гуляла, так его видела, говорила с ним.
Катерина (*после непродолжительного молчания, потупившись*). Ну так что ж?
Варвара. Кланяться тебе приказал. Жаль, говорит, что видеться негде.
Катерина (*потупившись еще более*). Где же видеться! Да и зачем...

Варвара. Скучный такой...

Катерина. Не говори мне про него, сделай милость, не говори! Я его и знать не хочу! Я буду мужа любить. Тиша, голубчик мой, ни на кого тебя не променяю! Я и думать-то не хотела, а ты меня смущаешь.

Варвара. Да не думай, кто ж тебя заставляет?

Катерина. Не жалеешь ты меня ничего! Говоришь: не думай, а сама напоминаешь. Разве я хочу об нем думать; да что делать, коли из головы нейдет. Об чем ни задумаю, а он так и стоит перед глазами. И хочу себя переломить, да не могу никак. Знаешь ли ты, меня нынче ночью опять враг смущал. Ведь я было из дому ушла.

Варвара. Ты какая-то мудреная, Бог с тобой! А по-моему: делай что хочешь, только бы шито да крыто было.

Катерина. Не хочу я так. Да и что хорошего! Уж я лучше буду терпеть, пока терпится.

Варвара. А не стерпится, что ж ты сделаешь?

Катерина. Что я сделаю?

Варвара. Да, что сделаешь?

Катерина. Что мне только захочется, то и сделаю.

Варвара. Сделай, попробуй, так тебя здесь заедят.

Катерина. А что мне? Я уйду, да и была такова.

Варвара. Куда ты уйдешь? Ты мужняя жена.

Катерина. Эх, Варя, не знаешь ты моего характеру! Конечно, не дай Бог этому случиться! А уж коли очень мне здесь опостынет, так не удержат меня никакой силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так не стану, хоть ты меня режь!

Молчание.

Варвара. Знаешь что, Катя! Как Тихон уедет, так давай в саду спать, в беседке.

Катерина. Ну зачем, Варя?

Варвара. Да нешто не все равно?

Катерина. Боюсь я в незнакомом-то месте ночевать.

Варвара. Чего бояться-то! Глаша с нами будет.

Катерина. Все как-то робко! Да я пожалуй.

Варвара. Я б тебя и не звала, да меня-то одну маменька не пустит, а мне нужно.

Катерина (*смотря на нее*). Зачем же тебе нужно?

Варвара (*смеется*). Будем там воровать с тобой.

Катерина. Шутишь, должно быть?

Варвара. Известно, шучу; а то неужто в самом деле?

Молчание.

Катерина. Где же это Тихон-то?

Варвара. На что он тебе?

Катерина. Нет, я так. Ведь скоро едет.

Варвара. С маменькой сидят, запершись. Точит она его теперь, как ржа железо.

Катерина. За что же?

Варвара. Ни за что, так, уму-разуму учит. Две недели в дороге будет, заглазное дело! Сама посуди! У нее сердце все изноет, что он на своей воле гуляет. Вот она ему теперь и надает приказов, один другого грозней, да потом к образу поведет, побожиться заставит, что все так точно он и сделает, как приказано.

Катерина. И на воле-то он словно связанный.

Варвара. Да, как же, связанный! Он как выедет, так запьет. Он теперь слушает, а сам думает, как бы ему вырваться поскорей.

Входят Кабанова и Кабанов.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же, Кабанова и Кабанов.

Кабанова. Ну, ты помнишь все, что я тебе сказала? Смотри ж, помни! На носу себе заруби!

Кабанов. Помню, маменька.

Кабанова. Ну, теперь все готово. Лошади приехали, проститься тебе только, да и с Богом.

Кабанов. Да-с, маменька, пора.

Кабанова. Ну!

Кабанов. Чего изволите-с?

Кабанова. Что ж ты стоишь, разве порядку не знаешь? Приказывай жене-то, как жить без тебя.

Катерина потупила глаза в землю.

Кабанов. Да она, чай, сама знает.

Кабанова. Разговаривай еще! Ну, ну, приказывай! Чтоб и я слышала, что ты ей приказываешь! А потом приедешь, спросишь, так ли все исполнила.

Кабанов (*становясь против Катерины*). Слушайся маменьки, Катя!

Кабанова. Скажи, чтоб не грубила свекрови.

Кабанов. Не груби!

Кабанова. Чтоб почитала свекровь, как родную мать!

Кабанов. Почитай, Катя, маменьку, как родную мать!

Кабанова. Чтоб сложа ручки не сидела, как барыня!

Кабанов. Работай что-нибудь без меня!

Кабанова. Чтоб в окна глаз не пялила!

Кабанов. Да, маменька, когда ж она...

Кабанова. Ну, ну!

Кабанов. В окна не гляди!

Кабанова. Чтоб на молодых парней не заглядывалась без тебя!

Кабанов. Да что ж это, маменька, ей-богу!

Кабанова (*строго*). Ломаться-то нечего! Должен исполнять, что мать говорит. (*С улыбкой*). Оно все лучше, как приказано-то.

Кабанов (*сконфузившись*). Не заглядывайся на парней!

Катерина строго взглядывает на него.

Кабанова. Ну, теперь поговорите промежду себя, коли что нужно. Пойдем, Варвара!

Уходят.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Кабанов и Катерина (стоит, как будто в оцепенении).

Кабанов. Катя!

Молчание.

Катя, ты на меня не сердисься?

Катерина (*после непродолжительного молчания, покачав головой*). Нет!

Кабанов. Да что ты такая? Ну, прости меня!

Катерина (*все в том же состоянии, слегка покачав головой*). Бог с тобой! (*Закрыв лицо рукою*). Обидела она меня!

Кабанов. Все к сердцу-то принимать, так в чаютку скоро попадешь. Что ее слушать-то! Ей ведь что-нибудь надо ж говорить! Ну, и пущай она говорит, а ты мимо ушей пропущай. Ну, прощай, Катя!

Катерина (*кидаясь на шею мужу*). Тиша, не уезжай! Ради Бога, не уезжай! Голубчик, прошу я тебя!

Кабанов. Нельзя, Катя. Коли маменька посылает, как же я не поеду!

Катерина. Ну, бери меня с собой, бери!

Кабанов (*освобождаясь из ее объятий*). Да нельзя!

Катерина. Отчего же, Тиша, нельзя?

Кабанов. Куда как весело с тобой ехать! Вы меня уж заездили здесь совсем! Я не чаю, как вырваться-то, а ты еще навязываешься со мной.

Катерина. Да неужели же ты разлюбил меня! •

Кабанов. Да не разлюбил; а с этакой-то неволи от какой хочешь красавицы жены убежишь! Ты подумай то: какой ни на есть, а я все-таки мужчина, всю жизнь вот этак жить, как ты видишь, так убежишь и от жены. Да как знаю я теперича, что недели две никакой грозы надо мной не будет, кандалов этих на ногах нет, так до жены ли мне?

Катерина. Как же мне любить-то тебя, когда ты такие слова говоришь?

Кабанов. Слова как слова! Какие же мне еще слова говорить! Кто тебя знает, чего ты боишься! Ведь ты не одна, ты с маменькой останешься.

Катерина. Не говори ты мне об ней, не тирань ты моего сердца! Ах, беда моя, беда! (*Плачет.*) Куда мне, бедной, деться? За кого мне ухватиться? Батюшки мои, погибаю я!

Кабанов. Да полно ты!

Катерина (*подходит к мужу и прижимается к нему*). Тиша, голубчик, кабы ты остался, либо взял ты меня с собой, как бы я тебя любила, как бы я тебя голубила, моего милого! (*Ласкает его.*)

Кабанов. Не разберу я тебя, Катя! То от тебя слова не добьешься, не то что ласки, а то так сама лезешь.

Катерина. Тиша, на кого ты меня оставляешь! Быть беде без тебя! Быть беде!

Кабанов. Ну, да ведь нельзя, так уж нечего делать.

Катерина. Ну, так вот что! Возьми ты с меня какую-нибудь клятву страшную...

Кабанов. Какую клятву?

Катерина. Вот какую: чтобы не смела я без тебя ни под каким видом ни говорить ни с кем чужим, ни видеться, чтобы и думать я не смела ни о ком, кроме тебя.

Кабанов. Да на что ж это?

Катерина. Успокой ты мою душу, сделай такую милость для меня!

Кабанов. Как можно за себя ручаться, мало ль что может в голову прийти.

Катерина *(падая на колени)*. Чтоб не видать мне ни отца, ни матери! Умереть мне без покаяния, если я...

Кабанов *(поднимая ее)*. Что ты! Что ты! Какой грех-то! Я и слушать не хочу!

Голос Кабановой: «Пора, Тихон!»

Входят Кабанова, Варвара и Глаша.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же, Кабанова, Варвара и Глаша.

Кабанова. Ну, Тихон, пора! Поезжай с Богом! *(Садится.)* Садитесь все!

Все садятся. Молчание.

Ну, прощай! *(Встает, и все встают.)*

Кабанов *(подходя к матери)*. Прощайте, маменька!

Кабанова *(жестом показывает на землю)*. В ноги, в ноги!

Кабанов кланяется в ноги, потом целуется с матерью.

Прощайся с женою!

Кабанов. Прощай, Катя!

Катерина кидается ему на шею.

Кабанова. Что на шею-то виснешь, бесстыдница! Не с любовником прощаешься! Он тебе муж — глава! Аль порядку не знаешь? В ноги кланяйся!

Катерина кланяется в ноги.

Кабанов. Прощай, сестрица! *(Целуется с Варварой.)* Прощай, Глаша! *(Целуется с Глашей.)* Прощайте, маменька! *(Кланяется.)*

Кабанова. Прощай! Дальние проводы — лишние слезы.

Кабанов уходит, за ним Катерина, Варвара и Глаша.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Кабанова *(одна)*. Молодость-то что значит! Смешно смотреть-то даже на них! Кабы не свои, насмеялась бы досыта. Ни-

чего-то не знают, никакого порядка. Проститься путем не умеют. Хорошо еще, у кого в доме старшие есть, ими дом-то и держится, пока живы. А ведь тоже, глупые, на свою волю хотят, а выдут на волю-то, так и путаются на покор да смех добрым людям. Конечно, кто и пожалеет, а больше все смеются. Да не смеяться-то нельзя; гостей позовут, посадить не умеют, да еще, гляди, позабудут кого из родных. Смех, да и только! Так-то вот старина-то и выводится. В другой дом и взойти-то не хочется. А и зайдешь-то, так плюнешь, да и вон скорее. Что будет, как старики перемрут, как будет свет стоять, уж и не знаю. Ну, да уж хоть то хорошо, что не увижу ничего.

Входят Катерина и Варвара.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Кабанова, Катерина и Варвара.

Кабанова. Ты вот похвалилась, что мужа очень любишь; вижу я теперь любовь-то. Другая, хорошая жена, проводивши мужа-то, часа полтора воеет, лежит на крыльце; а тебе, видно, ничего.

Катерина. Не к чему! Да и не умею. Что народ-то смешить!

Кабанова. Хитрость-то не великая. Кабы любила, так бы выучилась. Коли порядком не умеешь, ты хоть бы пример-то этот сделала; все-таки пристойнее; а то, видно, на словах-то только.

Ну, я Богу молиться пойду; не мешайте мне.

Варвара. Я со двора пойду.

Кабанова (*ласково*). А мне что! Поди! Гуляй, пока твоя поря придет. Еще насидишься!

Уходят Кабанова и Варвара.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Катерина (*одна, задумчиво*). Ну, теперь тишина у нас в доме воцарится. Ах, какая скука! Хоть бы дети чьи-нибудь! Эко горе! Деток-то у меня нет: все бы я и сидела с ними да забавляла их. Люблю очень с детьми разговаривать — ангелы ведь это. (*Молчание.*) Кабы я маленькая умерла, лучше бы было. Глядела бы я с неба на землю да радовалась всему. А то полетела бы невидимо, куда захотела. Вылетела бы в поле и летала бы с василька на василек по ветру, как бабочка. (*Задумывается.*) А вот что сделаю: я начну работу какую-нибудь по обещанию; пойду в гостиный двор, куплю холста, да и буду шить белье, а потом раздам бедным. Они за меня Богу помолят. Вот и засядем шить с Варварой, и не увидим, как время пройдет, а тут Тиша придет.

Входит Варвара.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Катерина и Варвара.

Варвара (*покрывает голову платком перед зеркалом*). Я теперь гулять пойду; а уже нам Глаша постелет постели в саду, маменька позволила. В саду, за малиной, есть калитка, ее маменька запирает на замок, а ключ прячет. Я его унесла, а ей подложила другой, чтоб не заметила. На вот, может быть, понадобится. (*Подает ключ.*) Если увижу, так скажу, чтоб приходил к калитке.

Катерина (*с испугом отталкивая ключ*). На что! На что! Не надо, не надо!

Варвара. Тебе не надо, мне понадобится; возьми, не укусит он тебя.

Катерина. Да что ты затеяла-то, греховодница! Можно ли это! Подумала ль ты? Что ты! Что ты!

Варвара. Ну, я много разговаривать не люблю; да и некогда мне. Мне гулять пора. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Катерина (*одна, держа ключ в руках*). Что она это делает-то? Что она только придумывает? Ах, сумасшедшая, право сумасшедшая! Вот погибель-то! Вот она! Бросить его, бросить далеко, в реку кинуть, чтоб не нашли никогда. Он руки-то жжет, точно уголь. (*Подумав.*) Вот так-то и гибнет наша сестра-то. В неволе-то кому весело! Мало ли что в голову-то придет. Вышел случай, другая и рада: так очертя голову и кинется. А как же это можно, не подумавши, не рассудивши-то! Долго ли в беду попасть! А там и плачься всю жизнь, мучайся; неволя-то еще горчее покажется. (*Молчание.*) А горька неволя, ох как горька! Кто от нее не плачет! А пуще всех мы, бабы. Вот хоть я теперь! Живу — маюсь, просвету себе не вижу! Да и не увижу, знать! Что дальше, то хуже. А теперь еще этот грех-то на меня. (*Задумывается.*) Кабы не свекровь!.. Сокрушила она меня... от нее мне и дом-то опостылел; стены-то даже противны. (*Задумчиво смотрит на ключ.*) Бросить его? Разумеется, надо бросить. И как он это ко мне в руки попал? На соблазн, на пагубу мою. (*Прислушивается.*) Ах, кто-то идет. Так сердце и упало. (*Прячет ключ в карман.*) Нет!.. Никого! Что я так испугалась! И ключ спрятала... Ну, уж знать там ему и быть! Видно, сама судьба того хочет! Да какой же в том грех, если я взгляну на него раз, хоть издали-то! Да хоть и поговорю-то, так все не беда! А как же я мужу-то!.. Да ведь он сам не захотел. Да, может, такого и случая-то еще во всю жизнь не выдет. Тогда и плачься на себя: был случай, да не умела пользоваться. Да что я говорю-то, что я себя

обманываю? Мне хоть умереть, да увидеть его. Перед кем я притворяюсь-то!.. Бросить ключ! Нет, ни за что на свете! Он мой теперь... Будь что будет, а я Бориса увижу! Ах, кабы ночь поскорее!..

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

СЦЕНА 1-я

Улица. Ворота дома Кабановых, перед воротами скамейка.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Кабанова и Феклуша сидят на скамейке.

Феклуша. Последние времена, матушка Марфа Игнатьевна, последние, по всем приметам последние. Еще у вас в городе рай и тишина, а по другим городам так просто содом, матушка: шум, беготня, езда беспрестанная! Народ-то так и снует один туда, другой сюда.

Кабанова. Некуда нам торопиться-то, милая, мы и живем не спеша.

Феклуша. Нет, матушка, оттого у вас тишина в городе, что многие люди, вот хоть бы вас взять, добродетелями, как цветами, украшаются; оттого все и делается прохладно и благочинно. Ведь эта беготня-то, матушка, что значит? Ведь это суета! Вот хоть бы в Москве; бегае народ взад да вперед неизвестно зачем. Вот она суета-то и есть. Суетный народ, матушка Марфа Игнатьевна, вот он и бегае. Ему представляется-то, что он за делом бежит; торопится, бедный: людей не узнае, ему мерещится, что его манит некто; а придет на место-то, ан пусто, нет ничего, мечта одна. И пойдет в тоске. А другому мерещится, что будто он догоняет кого-то знакомого. Со стороны-то свежий человек сейчас видит, что никого нет; а тому-то все кажется от суеты, что он догоняет. Суета-то ведь она вроде тумана бывает. Вот у вас в этойкой прекрасный вечер редко кто и за ворота-то выдет походить; а в Москве-то теперь гульбища да игрища, а по улицам-то инда прохот идет, стон стоит. Да чего, матушка Марфа Игнатьевна, огненного змия стали запрягать: все, видишь, для-ради скорости.

Кабанова. Слышала я, милая.

Феклуша. А я, матушка, так своими глазами видела; конечно, другие от суеты не видят ничего, так он им машиной показывается, они машиной и называют, а я видела, как он лапами-то вот так *(растопыривает пальцы)* делает. Ну, и стон, которые люди хорошей жизни, так слышат.

Кабанова. Назвать-то всячески можно, пожалуй, хоть машиной назови; народ-то глуп, будет всему верить. А меня хоть ты золотом осыпь, так я не поеду.

Феклуша. Что за крайности, матушка! Сохрани Господи от

такой напасти! А вот еще, матушка Марфа Игнатъевна, было мне в Москве видение некоторое. Иду я рано поутру, еще чуть брезжится, и вижу на высоком-превысоком доме, на крыше, стоит кто-то, лицом черен. Уж сами понимаете кто. И делает он руками, как будто плелет что, а ничего не сыпется. Тут я догадалась, что это он плевелы сыпет¹, а народ днем в суете-то в своей невидимо и подберет. Оттого-то они так и бегают, оттого и женщины-то у них все такие худые, тело-то никак не нагуляют, да как будто они что потеряли, либо чего ищут: в лице печаль, даже жалко.

Кабанова. Все может быть, моя милая! В наши времена чего дивиться!

Феклуша. Тяжелые времена, матушка Марфа Игнатъевна, тяжелые. Уж и время-то стало в умаление приходиться.

Кабанова. Как так, милая, в умаление?

Феклуша. Конечно, не мы, где нам заметить в суете-то! А вот умные люди замечают, что у нас и время короче становится. Бывало, лето и зима-то тянутся-тянутся, не дожدهшься, когда кончатся, а нынче и не увидишь, как пролетят. Дни-то и часы все те же как будто остались; а время-то, за наши грехи, все короче и короче делается. Вот что умные-то люди говорят.

Кабанова. И хуже этого, милая, будет.

Феклуша. Нам-то бы только не дожить до этого.

Кабанова. Может, и доживем.

Входит Дикой.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

*

Те же и Дикой.

Кабанова. Что это ты, кум, бродишь так поздно?

Дикой. А кто ж мне запретит?

Кабанова. Кто запретит! кому нужно!

Дикой. Ну и, значит, нечего разговаривать. Что я, под началом, что ль, у кого? Ты еще что тут! Какого еще тут черта водяного!..

Кабанова. Ну, ты не очень горло-то распускай! Ты найди подешевле меня! А я тебе дорога! Ступай своей дорогой, куда шел. Пойдем, Феклуша, домой. *(Встает.)*

Дикой. Постой, кума, постой! Не сердись. Еще успеешь дома-то быть: дом-то твой не за горами. Вот он!

Кабанова. Коли ты за делом, так не ори, а говори толком.

Дикой. Никакого дела нет, а я хмельн, вот что!

Кабанова. Что ж ты мне теперь хвалить тебя прикажешь за это?

¹ Плевелы (плевел) — сорная трава; в переносном смысле — что-то вредное, дурное.

Дикой. Ни хвалить, ни бранить. А значит, я хмельн; ну и кончено дело. Пока не просплюсь, уж этого дела поправить нельзя.

Кабанова. Так ступай, спи!

Дикой. Куда же это я пойду?

Кабанова. Домой. А то куда же!

Дикой. А коли я не хочу домой-то?

Кабанова. Отчего же это, позволь тебя спросить?

Дикой. А потому что у меня там война идет.

Кабанова. Да кому ж там воевать-то? Ведь ты один только там воин-то и есть.

Дикой. Ну так что ж, что я воин? Ну, что ж из этого?

Кабанова. Что? Ничего. А и честь-то не велика, потому что воюешь-то ты всю жизнь с бабами. Вот что.

Дикой. Ну, значит, они и должны мне покоряться. А то я, что ли, покоряться стану!

Кабанова. Уж немало я дивлюсь на тебя: столько у тебя народу в доме, а на тебя на одного угодить не могут.

Дикой. Вот поди ж ты!

Кабанова. Ну, что ж тебе нужно от меня?

Дикой. А вот что: разговори меня, чтобы у меня сердце прошло. Ты только одна во всем городе умеешь меня разговорить.

Кабанова. Поди, Феклуша, вели приготовить закусить что-нибудь.

Феклуша уходит.

Пойдем в покои!

Дикой. Нет, я в покои не пойду, в покоях я хуже.

Кабанова. Чем же тебя рассердили-то?

Дикой. Еще с утра с самого.

Кабанова. Должно быть, денег просили.

Дикой. Точно сговорились, проклятые; то тот, то другой целый день пристают.

Кабанова. Должно быть, надо, коли пристают.

Дикой. Понимаю я это; да что ж ты мне прикажешь с собой делать, когда у меня сердце такое! Ведь уж знаю, что надо отдать, а все добром не могу. Друг ты мне, и я тебе должен отдать, а приди ты у меня просить — обругаю. Я отдам, отдам, а обругаю. Потому только заикнись мне о деньгах, у меня всю внутреннюю разжигать станет, всю внутреннюю вот разжигает, да и только; ну, и в те поры ни за что обругаю человека.

Кабанова. Нет над тобой старших, вот ты и куражишься.

Дикой. Нет, ты, кума, молчи! Ты слушай! Вот какие со мной истории бывали. О посту как-то, о великом, я говел, а тут нелегкая и подсунь мужичонка; за деньгами пришел, дрова возил. И принесло ж его на грех-то в такое время! Согрешил-таки: изругал, так изругал, что лучше требовать нельзя, чуть не прибил. Вот оно, какое сердце-то у меня! После прошения просил,

в ноги кланялся, право, так. Истинно тебе говорю, мужику в ноги кланялся. Вот до чего меня сердце доводит: тут на дворе, в грязи ему и кланялся; при всех ему кланялся.

Кабанова. А зачем ты нарочно-то себя в сердце приводишь? Это, кум, нехорошо.

Дикой. Как так нарочно?

Кабанова. Я видела, я знаю. Ты коли видишь, что просить у тебя чего-нибудь хотят, ты возьмешь да нарочно из своих на кого-нибудь и накинешься, чтобы рассердиться; потому что ты знаешь, что к тебе сердитому никто уж не подойдет. Вот что, кум!

Дикой. Ну, что ж такое? Кому своего добра не жалко!

Глаша входит.

Глаша. Марфа Игнатьевна, закусить поставлено, пожалуйте!

Кабанова. Что ж, кум, зайти! Закуси чем Бог послал! Дикой. Пожалуй.

Кабанова. Милости просим! *(Пропускает вперед Дикого и уходит за ним.)*

Глаша, сложа руки, стоит у ворот.

Глаша. Никак, Борис Григорьич идет. Уж не за дядей ли? Аль так гуляет? Должно, так гуляет.

Входит Борис.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Глаша, Борис, потом Кулиги и.

Борис. Не у вас ли дядя?

Глаша. У нас. Тебе нужно, что ль, его?

Борис. Послали из дому узнать, где он. А коли у вас, так пусть сидит: кому его нужно. Дома-то рады-радехоньки, что ушел.

Глаша. Нашей бы хозяйке за ним быть, она б его скоро прекратила. Что ж я, дура, стою-то с тобой! Прощай! *(Уходит.)*

Борис. Ах ты, Господи! Хоть бы одним глазком взглянуть на нее! В дом войти нельзя; здесь незваные не ходят. Вот жизнь-то! Живем в одном городе, почти рядом, а увидишься раз в неделю, и то в церкви либо на дороге, вот и все! Здесь что вышла замуж, что схоронили, все равно. *(Молчание.)* Уж совсем бы мне ее не видеть: легче бы было! А то видишь урывками, да еще при людях; во сто глаз на тебя смотрят. Только сердце надрывается. Да и с собой-то не сладишь никак. Пойдешь гулять, а очутишься всегда здесь у ворот. И зачем я хожу сюда? Видеть ее никогда

нельзя, а еще, пожалуй, разговор какой выйдет, ее-то в беду введешь. Ну, попал я в городок! *(Идет, ему навстречу Кулигин.)*

Кулигин. Что, сударь? Гулять изволите?

Борис. Да, так гуляю себе, погода очень хорошая нынче.

Кулигин. Очень хорошо, сударь, гулять теперь. Тишина, воздух отличный, из-за Волги с лугов цветами пахнет, небо чистое...

Открылась бездна звезд полна.
Звездам числа нет, бездне — дна.¹

Пойдемте, сударь, на бульвар, ни души там нет.

Борис. Пойдемте!

Кулигин. Вот какой, сударь, у нас городишко! Бульвар сделали, а не гуляют. Гуляют только по праздникам, и то один вид делают, что гуляют, а сами ходят туда наряды показывать. Только пьяного приказного и встретишь, из трактира домой плетется. Бедным гулять, сударь, некогда, у них день и ночь забота. И спят-то всего часа три в сутки. А богатые-то что делают? Ну, что бы, кажется, им не гулять, не дышать свежим воздухом? Так нет. У всех давно ворота, сударь, заперты и собаки спущены. Вы думаете, они дело делают либо Богу молятся? Нет, сударь! И не от воров они запираются, а чтоб люди не видали, как они своих домашних едят поедом да семью тиранят. И что слез льется за этими запорами, невидимых и неслышимых! Да что вам говорить, сударь! По себе можете судить. И что, сударь, за этими замками разврату темного да пьянства! И все шито да крыто — никто ничего не видит и не знает, видит только один Бог! Ты, говорит, смотри в людях меня да на улице; а до семьи моей тебе дела нет; на это, говорит, у меня есть замки, да запоры, да собаки злые. Семья, говорит, дело тайное, секретное! Знаем мы эти секреты-то! От этих секретов-то, сударь, ему только одному весело, а остальные — волком воют. Да и что за секрет? Кто его не знает! Ограбить сирот, родственников, племянников, заколотить домашних так, чтобы ни об чем, что он там творит, пикнуть не смели. Вот и весь секрет. Ну, да Бог с ними! А знаете, сударь, кто у нас гуляет? Молодые парни да девушки. Так эти у сна воруют часик-другой, ну и гуляют парочками. Да вот пара!

Показываются Кудряш и Варвара. Целуются.

Борис. Целуются.

Кулигин. Это у нас нужды нет.

Кудряш уходит, а Варвара подходит к своим воротам и манит Бориса.

Он подходит.

¹ Из стихотворения М. В. Ломоносова «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого Северного сияния».

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Борис, Кулигин и Варвара.

Кулигин. Я, сударь, на бульвар пойду. Что вам мешать-то? Там и подожду.

Борис. Хорошо, я сейчас приду.

Кулигин уходит.

Варвара (*закрываясь платком*). Знаешь овраг за Кабановым садом?

Борис. Знаю.

Варвара. Приходи туда уже попозже.

Борис. Зачем?

Варвара. Какой ты глупый! Приходи, там увидишь, зачем. Ну, ступай скорей, тебя дожидаются.

Борис уходит.

Не узнал ведь! Пушай теперь подумает. А ужотка я знаю, что Катерина не утерпит, выскочит. (*Уходит в ворота.*)

СЦЕНА 2-я

Ночь. Овраг, покрытый кустами; наверху забор сада Кабановых и калитка; сверху тропинка.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Кудряш (*входит с гитарой*). Нет никого. Что ж это она там! Ну, посидим да подождем. (*Садится на камень.*) Да со скуки песенку споем. (*Поет.*)

Как донской-то казак, казак вел коня поить,
Добрый молодец, уж он у ворот стоит,
У ворот стоит, сам он думу думает,
Думу думает, как будет жену губить.
Как жена-то, жена мужу возмолилася,
Во скоры-то ноги ему поклонилася:
Уж ты, батюшка, ты ли мил сердечный друг!
Ты не бей, не губи ты меня со вечера!
Ты убей, загуби меня со полуночи!
Дай уснуть моим малым детушкам,
Малым детушкам, всем ближним соседушкам.

Входит Борис.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Кудряш и Борис.

Кудряш (*перестает петь*). Ишь ты! Смирен, смирен, а тоже в разгул пошел.

Борис. Кудряш, это ты?

Кудряш. Я, Борис Григорьич!

Борис. Зачем это ты здесь?

Кудряш. Я-то? Стало быть, мне нужно, Борис Григорьич, коли я здесь. Без надобности б не пошел. Вас куда Бог несет?

Борис (*оглядывая местность*). Вот что, Кудряш: мне бы нужно здесь остаться, а тебе ведь, я думаю, все равно, ты можешь идти и в другое место.

Кудряш. Нет, Борис Григорьич, вы, я вижу, здесь еще в первый раз, а у меня уж тут место насиженное, и дорожка-то мной протоптана. Я вас люблю, сударь, и на всякую вам услугу готов; а на этой дорожке вы со мной ночью не встречайтесь, чтобы, сохрани Господи, греха какого не вышло. Уговор лучше денег.

Борис. Что с тобой, Ваня?

Кудряш. Да что: Ваня! Я знаю, что я Ваня. А вы идите своей дорогой, вот и все. Заведи себе сам, да и гуляй себе с ней, и никому до тебя дела нет. А чужих не трогай! У нас так не водится, а то парни ноги переломают. Я за свою... да я и не знаю, что сделаю! Горло перерву!

Борис. Напрасно ты сердисься; у меня и на уме-то нет отбивать у тебя. Я бы и не пришел сюда, кабы мне не велели.

Кудряш. Кто ж велел?

Борис. Я не разобрал, темно было. Девушка какая-то остановила меня на улице и сказала, чтобы я именно сюда пришел, сзади сада Кабановых, где тропинка.

Кудряш. Кто ж бы это такая?

Борис. Послушай, Кудряш. Можно с тобой поговорить по душе, ты не разболтаешь?

Кудряш. Говорите, не бойтесь! У меня все одно что умерло.

Борис. Я здесь ничего не знаю, ни порядков ваших, ни обычаев; а дело-то такое...

Кудряш. Полюбили, что ль, кого?

Борис. Да, Кудряш.

Кудряш. Ну, что ж, это ничего. У нас насчет этого свободно. Девки гуляют себе, как хотят, отцу с матерью и дела нет. Только бабы взаперти сидят.

Борис. То-то и горе мое.

Кудряш. Так неужто ж замужнюю полюбили?

Борис. Замужнюю, Кудряш.

Кудряш. Эх, Борис Григорьич, бросить надоть!

Борис. Легко сказать — бросить! Тебе это, может быть, все равно: ты одну бросишь, а другую найдешь. А я не могу этого! Уж я коли полюбил...

Кудряш. Ведь это, значит, вы ее совсем загубить хотите, Борис Григорьич!

Борис. Сохрани Господи! Сохрани меня Господи! Нет, Кудряш, как можно! Захочу ли я ее погубить! Мне только бы видеть ее где-нибудь, мне больше ничего не надо.

Кудряш. Как, сударь, за себя поручиться! А ведь здесь какой народ! Сами знаете. Съедят, в гроб вколотят!

Борис. Ах, не говори этого, Кудряш! Пожалуйста, не пугай ты меня!

Кудряш. А она-то вас любит?

Борис. Не знаю.

Кудряш. Да вы видались когда аль нет?

Борис. Я один раз только и был у них с дядей. А то в церкви вижу, на бульваре встречаемся. Ах, Кудряш, как она молится, кабы ты посмотрел! Какая у ней на лице улыбка ангельская, а от лица-то как будто светится.

Кудряш. Так это молодая Кабанова, что ль?

Борис. Она, Кудряш.

Кудряш. Да! Так вот оно что! Ну, честь имеем поздравить!

Борис. С чем?

Кудряш. Да как же! Значит, у вас дело на лад идет, коли сюда приходите велели.

Борис. Так неужто она велела?

Кудряш. А то кто же?

Борис. Нет, ты шутишь! Этого быть не может. *(Хватается за голову.)*

Кудряш. Что с вами?

Борис. Я с ума сойду от радости.

Кудряш. Вот! Есть от чего с ума сходить! Только вы смотрите, себе хлопот не наделайте, да и ее-то в беду не введите! Положим, хоть у нее муж и дурак, да свекровь-то больно люта.

Варвара выходит из калитки.

4

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и Варвара, потом Катерина.

Варвара *(у калитки поет)*.

За рекою за быстрою мой Ваня гуляет,

Там мой Ванюшка гуляет...

Кудряш *(продолжает)*.

Товар закупает.

(Свищет.)

Варвара *(сходит по тропинке и, закрыв лицо платком, подходит к Борису)*. Ты, парень, подожди. Дождешься чего-нибудь. *(Кудряшу.)* Пойдем на Волгу.

Кудряш. Ты что ж так долго? Ждать вас еще! Знаешь, что не люблю!

Варвара обнимает его одной рукой, и уходят.

Борис. Точно я сон какой вижу! Эта ночь, песни, свидания! Ходят обнявшись. Это так ново для меня, так хорошо, так весело! Вот и я жду чего-то! А чего жду — и не знаю, и вообразить не могу; только бьется сердце, да дрожит каждая жилка. Не могу даже и придумать теперь, что сказать-то ей, дух захватывает, подгибаются колени! Вот какое у меня сердце глупое, раскиспитя вдруг, ничем не унять. Вот идет.

Катерина тихо сходит по тропинке, покрытая большим белым платком, потупив глаза в землю. Молчание.

Это вы, Катерина Петровна?

Молчание.

Уж как мне благодарить вас, я и не знаю.

Молчание.

Кабы вы знали, Катерина Петровна, как я люблю вас! (*Хочет взять ее за руку.*)

Катерина (*с испугом, но не подымая глаз*). Не трогай, не трогай меня! Ах, ах!

Борис. Не сердитесь!

Катерина. Поди от меня! Поди прочь, окаянный человек! Ты знаешь ли: ведь мне не замолить этого греха, не замолить никогда! Ведь он камнем ляжет на душу, камнем.

Борис. Не гоните меня!

Катерина. Зачем ты пришел? Зачем ты пришел, погубитель мой? Ведь я замужем, ведь мне с мужем жить до гробовой доски...

Борис. Вы сами велели мне прийти...

Катерина. Да пойми ты меня, враг ты мой: ведь до гробовой доски!

Борис. Лучше б мне не видать вас!

Катерина (*с волнением*). Ведь что я себе готовлю. Где мне место-то, знаешь ли?

Борис. Успокойтесь! (*Берет ее за руку.*) Сядьте!

Катерина. Зачем ты моей погибели хочешь?

Борис. Как я могу хотеть вашей погибели, когда я люблю вас больше всего на свете, больше самого себя!

Катерина. Нет, нет! Ты меня загубил!

Борис. Разве я злодей какой?

Катерина (*качая головой*). Загубил, загубил, загубил!

Борис. Сохрани меня Бог! Пусть лучше я сам погибну!

Катерина. Ну как же ты не загубил меня, коли я, бросивши дом, ночью иду к тебе?

Борис. Ваша воля была на то.

Катерина. Нет у меня воли. Кабы была у меня своя воля, не пошла бы я к тебе. (*Поднимает глаза и смотрит на Бориса.*)

Небольшое молчание.

Твоя теперь воля надо мной, разве ты не видишь! (*Кидается к нему на шею.*)

Борис (*обнимает Катерину*). Жизнь моя!

Катерина. Знаешь что? Теперь мне умереть вдруг захотелось!

Борис. Зачем умирать, коли нам жить так хорошо?

Катерина. Нет, мне не жить! Уж я знаю, что не жить.

Борис. Не говори, пожалуйста, таких слов, не печаль меня...

Катерина. Да, тебе хорошо, ты вольный казак, а я!..

Борис. Никто и не узнает про нашу любовь. Неужели же я тебя не пожалею!

Катерина. Э! Что меня жалеть, никто не виноват — сама на то пошла. Не жалея, губи меня! Пусть все знают, пусть все видят, что я делаю! (*Обнимает Бориса.*) Коли я для тебя греха не побоялась, побоюсь ли я людского суда? Говорят, даже легче бывает, когда за какой-нибудь грех здесь, на земле, на-терпиться.

Борис. Ну, что об этом думать, благо нам теперь-то хорошо!

Катерина. И то! Надуматься-то да наплакаться-то еще успею на досуге.

Борис. А я было испугался, я думал, ты меня прогонишь.

Катерина (*улыбаясь*). Прогнать! Где уж! С нашим ли сердцем! Кабы ты не пришел, так я, кажется, сама бы к тебе пришла.

Борис. Я и не знал, что ты меня любишь.

Катерина. Давно люблю. Словно на грех ты к нам приехал. Как уви-дела тебя, так уж не своя стала. С первого же раза, кажется, кабы ты поманил меня, я бы и пошла за тобой; иди ты хоть на край света, я бы все шла за тобой и не оглянулась бы.

Борис. Надолго ль муж-то уехал?

Катерина. На две недели.

Борис. О, так мы погуляем! Время-то довольно.

Катерина. Погуляем. А там... (*Задумывается.*) Как запрут на замок, вот смерть! А не запрут, так уж найду случай повидаться с тобой!

Входят Кудряш и Варвара.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же, Кудряш и Варвара.

Варвара. Ну, что, сладили?

Катерина прячет лицо у Бориса на груди.

Борис. Сладили.

Варвара. Пошли бы погуляли, а мы подождем. Когда нужно будет, Ваня крикнет.

Борис и Катерина уходят. Кудряш и Варвара садятся на камень.

Кудряш. А это вы важную штуку придумали, в садовую калитку лазить. Оно для нашего брата очень способно.

Варвара. Все я.

Кудряш. Уж тебя взять на это. А мать-то не хватится?..

Варвара. Э! Куда ей! Ей и в лоб-то не влетит.

Кудряш. А ну, на грех?

Варвара. У нее первый сон крепок: вот к утру, так просыпается.

Кудряш. Да ведь как знать! Вдруг ее нелегкая поднимет.

Варвара. Ну так что ж! У нас калитка-то, которая со двора, изнутри заперта, из саду; постучит, постучит, да так и пойдет. А поутру мы скажем, что крепко спали, не слышали. Да и Глаша стережет; чуть что, она сейчас голос подаст. Без опаски нельзя! Как же можно! Того гляди в беду попадешь.

Кудряш берет несколько аккордов на гитаре. Варвара прилегает к плечу Кудряша, который, не обращая внимания, тихо играет.

Варвара *(зевая)*. Как бы это узнать, который час?

Кудряш. Первый.

Варвара. Почему ты знаешь?

Кудряш. Сторож в доску бил.

Варвара *(зевая)*. Пора. Покричи-ка. Завтра мы пораньше выдем, так побольше погуляем.

Кудряш *(свищет и громко запекает)*.

Все домой, все домой!

А я домой не хочу!

Борис *(за сценой)*. Слышу!

Варвара *(встает)*. Ну, прощай! *(Зевает, потом целует холодно, как давно знакомого.)* Завтра смотрите приходите пораньше! *(Смотрит в ту сторону, куда пошли Борис и Катерина.)* Будет вам прощаться-то, не навек расстаетесь, завтра увидите. *(Зевает и потягивается.)*

Вбегают Катерина, за ней Борис.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Кудряш, Варвара, Борис и Катерина.

Катерина *(Варваре)*. Ну, пойдем, пойдем! *(Всходят по тропинке. Катерина оборачивается.)* Прощай!

Борис. До завтра.

Катерина. Да, до завтра! Что во сне увидишь, скажи! *(Подходит к калитке.)*

Борис. Непременно.

Кудряш *(поет под гитару)*.

Гуляй, млада, до поры,
До вечерней до зари!
Ай-лели, до поры,
До вечерней до зари.

Варвара (у калитки).

А я, млада, до поры,
До утренней до зари,
Ай-лели, до поры,
До утренней до зари!

(Уходит.)

Кудряш.

Как зорюшка занялась,
А я домой поднялась и т. д.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

На первом плане узкая галерея со сводами старинной начинающей разрушаться постройки, кой-где трава и кусты; за арками берег и вид на Волгу.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Несколько гуляющих обоего пола проходят за арками.

1-й. Дождь накрапывает, как бы гроза не собралась?

2-й. Гляди, сберется.

1-й. Еще хорошо, что есть где схорониться.

Входят все под своды.

Же н*щ и н а. А что народу-то гуляет на бульваре! День праздничный, все повышли. Купчихи такие разряженные.

1-й. Попрячутся куда-нибудь.

2-й. Гляди, что теперь народу сюда набьется!

1-й (осматривая стены). А ведь тут, братец ты мой, когда-нибудь, значит, расписано было. И теперь еще местами означает.

2-й. Ну да, как же! Само собой, что расписано было. Теперь, ишь ты, все впусте оставлено, развалилось, заросло. После пожара так и не поправляли. Да ты и пожару-то этого не помнишь, этому лет сорок будет.

1-й. Что бы это такое, братец ты мой, тут нарисовано было; довольно затруднительно это понимать.

2-й. Это геенна огненная.

1-й. Так, братец ты мой!

2-й. И едут туда всякого звания люди.

1-й. Так, так, понял теперь.

2-й. И всякого чину.

1-й. И арапы?

2-й. И арапы.

1-й. А это, братец ты мой, что такое?

2-й. А это Литовское разорение. Битва! видишь? Как наши с Литвой бились.

1-й. Что ж это такое — Литва?

2-й. Так она Литва и есть.

1-й. А говорят, братец ты мой, она на нас с неба упала. 2-й. Не умею тебе сказать. С неба, так с неба.

Женщина. Толкуй еще! Все знают, что с неба; и где был какой бой с ней, там для памяти курганы насыпаны.

1-й. А что, братец ты мой! Ведь это так точно.

Входят Дикой и за ним Кулагин без шапки. Все кланяются и принимают почтительное положение.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же, Дикой и Кулигин.

Дикой. Ишь ты, замочило всего. (*Кулагину.*) Отстань ты от меня! Отстань! (*С сердцем.*) Глупый человек!

Кулигин. Савел Прокофьич, ведь от этого, ваше степенство, для всех вообще обывателей польза.

Дикой. Поди ты прочь! Какая польза! Кому нужна эта польза?

Кулигин. Да хоть бы для вас, ваше степенство, Савел Прокофьич. Вот бы, сударь, на бульваре, на чистом месте, и поставить. А какой расход? Расход пустой: столбик каменный (*показывает жестами размер каждой вещи*), дощечку медную, такую круглую, да шпильку, вот шпильку прямую (*показывает жестом*), простую самую. Уж я все это прилажу, и цифры вырежу уже все сам. Теперь вы, ваше степенство, когда изволите гулять, или прочие, которые гуляющие, сейчас подойдете и видите, который час. А то этакое место прекрасное, и вид, и всё, а как будто пусто. У нас тоже, ваше степенство, и проезжие бывают, ходят туда наши виды смотреть, все-таки украшение — для глаз оно приятней.

Дикой. Да что ты ко мне лезешь со всяким вздором! Может, я с тобой и говорить-то не хочу. Ты должен был прежде узнать, в расположении ли я тебя слушать, дурака, или нет. Что я тебе — ровный, что ли? Ишь ты, какое дело нашел важное! Так прямо с рылом-то и лезет разговаривать.

Кулигин. Кабы я со своим делом лез, ну, тогда был бы я виноват. А то для общей пользы, ваше степенство. Ну, что значит для общества каких-нибудь рублей десять! Больше, сударь, не понадобится.

Дикой. А может, ты украсть хочешь; кто тебя знает.

Кулигин. Коли я свои труды хочу даром положить, что же я могу украсть, ваше степенство? Да меня здесь все знают; про меня никто дурно не скажет.

Дикой. Ну, и пушай знают, а я тебя знать не хочу.

Кулигин. За что, сударь, Савел Прокофьич, честного человека обижать изволите?

Дикой. Отчет, что ли, я стану тебе давать! Я и поважней тебя никому отчета не даю. Хочу так думать о тебе, так и думаю. Для других ты честный человек, а я думаю, что ты разбойник, вот и все. Хотелось тебе это слышать от меня? Так вот слушай! Говорю, что разбойник, и конец! Что ж ты, судиться, что ли, со мной будешь? Так ты знай, что ты червяк. Захочу — помилую, захочу — раздавлю.

Кулигин. Бог с вами, Савел Прокофьич! Я, сударь, маленький человек, меня обидеть недолго. А я вам вот что доложу, ваше степенство: «И в рубище почтенна добродетель!»

Дикой. Ты у меня грубить не смей. Слышишь ты!

Кулигин. Никакой я грубости вам, сударь, не делаю, а говорю вам потому, что, может быть, вы и вздумаете когда что-нибудь для города сделать. Силы у вас, ваше степенство, много; была б только воля на доброе дело. Вот хоть бы теперь то возьмем: у нас грозы частые, а не заведем мы громовых отводов.

Дикой (*гордо*). Все суета!

Кулигин. Да какая же суета, когда опыты были.

Дикой. Какие такие там у тебя громовые отводы?

Кулигин. Стальные.

Дикой (*с гневом*). Ну, еще что?

Кулигин. Шесты стальные.

Дикой (*сердясь более и более*). Слышал, что шесты, аспид ты этакой; да еще-то что? Наладил: шесты! Ну, а еще что?

Кулигин. Ничего больше.

Дикой. Да гроза-то что такое, по-твоему, а? Ну, говори!

Кулигин. Электричество.

Дикой (*топнув ногой*). Какое еще там елестричество! Ну как же ты не разбойник! Гроза-то нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости Господи, обороняться. Что ты, татарин, что ли? Татарин ты? А? говори! Татарин?

Кулигин. Савел Прокофьич, ваше степенство, Державин сказал:

Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю¹.

Дикой. А за эти вот слова тебя к городничему отправить, так он тебе задаст! Эй, почтенные! прислушайте-ка, что он говорит!

Кулигин. Нечего делать, надо покориться! А вот когда будет у меня миллион, тогда я поговорю. (*Махнув рукой, уходит.*)

Дикой. Что ж ты, украдешь, что ли, у кого? Держите его! Этакой фальшивый мужичонка! С этим народом какому надо

¹ Из оды Г. Р. Державина «Бог».

быть человеку? Я уж не знаю. (*Обращаясь к народу.*) Да вы, проклятые, хоть кого в грех введете! Вот не хотел нынче сердиться, а он, как нарочно, рассердил-таки. Чтоб ему провалиться! (*Сердито.*) Перестал, что ль, дождик-то?

1-й. Кажется, перестал.

Дикой. Кажется! А ты, дурак, сходи да посмотри. А то: кажется!

1-й (*выйдя из-под сводов*). Перестал!

Дикой уходит, и все за ним. Сцена несколько времени пуста. Под своды быстро входит Варвара и, притаившись, высматривает.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Варвара и потом Борис.

Варвара. Кажется, он!

Борис проходит в глубине сцены.

Сс-сс!

Борис оглядывается.

Поди сюда!

Манит рукой, Борис входит.

Что нам с Катериной-то делать? Скажи на милость!

Борис. А что?

Варвара. Беда ведь, да и только. Муж приехал, ты знаешь ли это? И не ждали его, а он приехал.

Борис. Нет, я не знаю.

Варвара. Она просто сама не своя сделалась.

Борис. Видно, только я и пожил десять деньков, пока его не было. Уж теперь и не увидишь ее!

Варвара. Ах ты какой! Да ты слушай! Дрожит вся, точно ее лихорадка бьет; бледная такая, мечется по дому, точно чего ищет. Глаза как у помешанной! Давеча утром плакать принялась, так и рыдает. Батюшки мои! что мне с ней делать?

Борис. Да, может быть, пройдет это у нее!

Варвара. Ну, уж едва ли. На мужа не смеет глаз поднять. Маменька замечать стала, ходит да все на нее косится, так змеей и смотрит; а она от этого еще хуже. Просто мука глядеть-то на нее! Да и я боюсь.

Борис. Чего же ты боишься?

Варвара. Ты ее не знаешь! Она ведь чудная какая-то у нас. От нее все станется! Таких дел наделает, что...

Борис. Ах, Боже мой! Что же делать-то? Ты бы с ней поговорила хорошенько. Неужели уж нельзя ее уговорить?

Варвара. Пробовала. И не слушает ничего. Лучше и не подходи.

Борис. Ну, как же ты думаешь, что она может сделать?

Варвара. А вот что: бухнет мужу в ноги, да и расскажет все. Вот чего я боюсь.

Борис (*с испугом*). Может ли это быть!

Варвара. От нее все может быть.

Борис. Где она теперь?

Варвара. Сейчас с мужем на бульвар пошли, и маменька с ними. Пройди и ты, коли хочешь. Да нет, лучше не ходи, а то она, пожалуй, и вовсе растеряется.

Вдали удары грома.

Никак, гроза? (*Выглядывает.*) Да и дождик. А вот и народ повалил. Спрячься там где-нибудь, а я тут на виду стану, чтоб не подумали чего.

Входят несколько лиц разного звания и пола.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Разные лица и потом Кабанова, Кабанов, Катерина и Кулигин.

1-й. Должно быть, бабочка-то очень боится, что так торопится спрятаться.

Женщина. Да уж как ни прячься! Коли кому на роду написано, так никуда не уйдешь.

Катерина (*вбегая*). Ах! Варвара! (*Хватает ее за руку и держит крепко.*)

Варвара. Полно, что ты!

Катерина. Смерть моя!

Варвара. Да ты одумайся! Соберись с мыслями!

Катерина. Нет! Не могу. Ничего не могу. У меня уж очень сердце болит.

Кабанова (*входя*). То-то вот, надо жить-то, чтобы всегда быть готовой ко всему; страху-то бы такого не было.

Кабанов. Да какие же, маменька, у нее грехи такие могут быть особенные? Все такие же, как и у всех у нас, а это так уж она от природы боится.

Кабанова. А ты почему знаешь? Чужая душа потемки.

Кабанов (*шутя*). Уж разве без меня что-нибудь, а при мне, кажись, ничего не было.

Кабанова. Может быть, и без тебя.

Кабанов (*шутя*). Катя, кайся, брат, лучше, коли в чем грешна. Ведь от меня не скроешь: нет, шалишь! Все знаю!

Катерина (*смотрит в глаза Кабанову*). Голубчик мой!

Варвара. Ну, что ты пристаешь! Разве не видишь, что ей без тебя тяжело.

Борис выходит из толпы и раскланивается с Кабановыми.

Катерина (*вскрикивает*). Ах!

Кабанов. Что ты испугалась? Ты думала, чужой? Это знакомый! Дядюшка здоров ли?

Борис. Слава Богу!

Катерина (*Варваре*). Что ему еще надо от меня? Иль ему мало этого, что я так мучаюсь. (*Приклонясь к Варваре, рыдает.*)

Варвара (*громко, чтобы мать слышала*). Мы с ног сбились, не знаем, что делать с ней; а тут еще посторонние лезут! (*Делает Борису знак, тот отходит к самому выходу.*)

Кулигин (*выходит на середину, обращаясь к толпе*). Ну чего вы боитесь, скажите на милость! Каждая теперь травка, каждый цветок радуется, а мы прячемся, боимся, точно напасти какой! Гроза убьет! Не гроза это, а благодать! Да, благодать! У вас все гроза! Северное сияние загорится — любоваться бы надобно да дивиться премудрости: «С полночных стран встает заря!»¹ А вы ужасаетесь да придумываете, к войне это или к морю. Комета ли идет — не отвел бы глаз! красота! звезды-то уже пригляделись, всё одни и те же, а это обновка; ну смотрел бы да любовался! А вы боитесь и взглянуть-то на небо, дрожь вас берет! Изо всего-то вы себе пугал наделали. Эх, народ! Я вот не боюсь. Пойдемте, сударь!

Борис. Пойдемте! Здесь страшнее!

Уходят.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же без Бориса и Кулигина.

Кабанова. Ишь какие рацеи развел! Есть что послушать, уж нечего сказать! Вот времена-то пришли, какие-то учителя появились. Коли старик так рассуждает, чего уж от молодых-то требовать!

Женщина. Ну, все небо обложило. Ровно шапкой, так и накрыло.

1-й. Эко, братец ты мой, точно клубком туча-то вьется, ровно что в ней там живое ворочается. А так на нас и ползет, так и ползет, как живая!

2-й. Уж ты помяни мое слово, что эта гроза даром не пройдет. Верно тебе говорю: потому знаю. Либо уж убьет кого-нибудь, либо дом сгорит; вот увидишь: потому, смотри! какой цвет необнакновенный!

Катерина (*прислушиваясь*). Что они говорят? Они говорят, что убьет кого-нибудь.

Кабанов. Известно: так городят зря, что в голову придет.

Кабанова. Ты не осуждай постарше себя! Они больше тво-

¹ Из стихотворения М. В. Ломоносова «Вечернее размышление...».

его знают. У старых людей на все приметы есть. Старый человек на ветер слова не скажет.

Катерина (*мужу*). Тиша, я знаю, кого убьет.

Варвара (*Катерине, тихо*). Ты уж хоть молчи-то!

Кабанов. Ты почему знаешь?

Катерина. Меня убьет. Молитесь тогда за меня.

Входит барыня с лакеями. Катерина с криком прячется.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и барыня.

Барыня. Что прячешься! Нечего прятаться! Видно, боишься: умирать-то не хочется! Пожить хочется! Как не хотеться! видишь, какая красавица! Ха, ха, ха! Красота! А ты молись Богу, чтоб отнял красоту-то! Красота-то ведь погибель наша! Себя погубишь, людей соблазнишь, вот тогда и радуйся красоте-то своей. Много, много народу в грех введешь! Вертопрахи на поединки выходят, шпагами колют друг друга. Весело! Старики старые, благочестивые, об смерти забывают, соблазняются на красоту-то! А кто отвечать будет? За все тебе отвечать придется. В омут лучше с красотой-то! Да скорей, скорей!

Катерина прячется.

Куда прячешься, глупая! От Бога-то не уйдешь!

Удар грома.

Все в огне гореть будете в неугасимом! (*Уходит.*)

Катерина. Ах! Умираю!

Варвара. Что ты мучаешься-то, в самом деле! Стань к стонке да помолись: легче будет.

Катерина (*подходит к стене и опускается на колени, потом быстро вскакивает*). Ах! Ад! Ад! Геенна огненная!

Кабанова, Кабанов и Варвара окружают ее.

Все сердце изорвалось! Не могу я больше терпеть! Матушка! Тихон! Грешна я перед Богом и перед вами! Не я ли клялась тебе, что не взгляну ни на кого без тебя! Помнишь, помнишь! А знаешь ли, что я, беспутная, без тебя делала? В первую же ночь я ушла из дому...

Кабанов (*растерявшись, в слезах, дергает ее за рукав*). Не надо, не надо! не говори! Что ты! Матушка здесь!

Кабанова (*строго*). Ну-ну, говори, коли уж начала.

Катерина. И все-то десять ночей я гуляла... (*Рыдает.*)

Кабанов хочет обнять ее.

Кабанова. Брось ее! С кем?

Варвара. Врет она, она сама не знает, что говорит.
Кабанова. Молчи ты! Вот оно что! Ну, с кем^же?
Катерина. С Борисом Григорьевичем.

Удар грома.

Ах! (*Падает без чувств на руки мужа.*)

Кабанова. Что, сынок! Куда воля-то ведет! Говорила я, так ты слушать не хотел. Вот и дождался!

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Декорация первого действия. Сумерки.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Кулигин сидит на лавочке, Кабанов идет по бульвару.

Кулигин (*поет*).

Ночную темнотою покрылись небеса,
Все люди для покою закрыли уж глаза, и проч.

(*Увидав Кабанова.*) Здравствуй, сударь! Далеко ли изволите?

Кабанов. Домой. Слышал, братец, дела-то наши? Вся, братец, семья в расстройство пришла.

Кулигин. Слышал, слышал, сударь.

Кабанов. Я в Москву ездил, ты знаешь? На дорогу-то маменька читала, читала мне наставления-то, а я как выехал, так загулял. Уж очень рад, что на волю-то вырвался. И всю дорогу пил, и в Москве все пил, так это кучу, что на-поди! Так, чтобы уж на целый год отгуляться. Ни разу про дом-то и не вспомнил. Да хоть бы и вспомнил-то, так мне бы и в ум не пришло, что тут делается. Слышал?

Кулигин. Слышал, сударь.

Кабанов. Несчастный я теперь, братец, человек! Так ни за что я погибаю, ни за грош!

Кулигин. Маменька-то у вас больно крута.

Кабанов. Ну да. Она-то всему и причина. А я за что погибаю, скажи ты мне на милость? Я вот зашел к Дикому, ну, выпили; думал — легче будет; нет, хуже, Кулигин! Уж что жена против меня сделала! Уж хуже нельзя...

Кулигин. Мудреное дело, сударь. Мудрено вас судить.

Кабанов. Нет, постой! Уж на что еще хуже этого. Убить ее за это мало. Вот маменька говорит: ее надо живую в землю закопать, чтоб она казнилась! А я ее люблю, мне ее жаль пальцем тронуть. Побил немножко, да и то маменька приказала. Жаль мне смотреть-то на нее, пойми ты это, Кулигин. Маменька ее поедом ест, а она как тень какая ходит, безответная. Только плачет да тает как воск. Вот я и убиваюсь, глядя на нее.

Кулигин. Как бы нибудь, сударь, ладком дело-то сделать! Вы бы простили ей, да и не поминали никогда. Сами-то, чай, тоже не без греха!

Кабанов. Уж что говорить!

Кулигин. Да уж так, чтобы и под пьяную руку не попрекать! Она бы вам, сударь, была хорошая жена; гляди — лучше всякой.

Кабанов. Да пойми ты, Кулигин: я-то бы ничего, а маменька-то... разве с ней сговоришь!..

Кулигин. Пора бы уж вам, сударь, своим умом жить.

Кабанов. Что ж мне, разорваться, что ли! Нет, говорят, своего-то ума. И, значит, живи век чужим. Я вот возьму да последний-то, какой есть, пропью; пусть маменька тогда со мной, как с дураком, и нянчится.

Кулигин. Эх, сударь! Дела, дела! Ну, а Борис-то Григорьевич, сударь, что?

Кабанов. А его, подлеца, в Тяхту¹, к китайцам. Дядя к знакомому купцу какому-то посылает туда на контору. На три года его туды.

Кулигин. Ну, что же он, сударь?

Кабанов. Мечется тоже; плачет. Накинулись мы давеча на него с дядей, уж ругали, ругали — молчит. Точно дикий какой сделался. Со мной, говорит, что хотите делайте, только ее не мучьте! И он к ней тоже жалость имеет.

Кулигин. Хороший он человек, сударь.

Кабанов. Собрался совсем, и лошади уж готовы. Так тоскует, беда! Уж я вижу, что ему проститься хочется. Ну, да мало ли чего! Будет с него. Враг ведь он мне, Кулигин! Расказнит его надобно на части, чтобы знал...

Кулигин. Врагам-то прощать надо, сударь!

Кабанов. Поди-ка поговори с маменькой, что она тебе на это скажет. Так, братец Кулигин, все наше семейство теперь врозь расшиблось. Не то что родные; а точно вороги друг другу. Варвару маменька точила-точила; а та не стерпела, да и была такова — взяла да ушла.

Кулигин. Куда ушла?

Кабанов. Кто ее знает. Говорят, с Кудряшом с Ванькой убежала, и того также нигде не найдут. Уж это, Кулигин, надо прямо .сказать, что от маменьки; потому стала ее тиранить и на замок запирает. «Не запирайте, говорит, хуже будет!» Вот так и вышло. Что ж мне теперь делать, скажи ты мне! Научи ты меня, как мне жить теперь! Дом мне опостылел, людей совестно, за дело возьмусь — руки отваливаются. Вот теперь домой иду; на радость, что ль, иду?

¹ В Кяхту (город на границе с Монголией).

Входит Глаша.

Глаша. Тихон Иваныч, батюшка!

Кабанов. Что еще?

Глаша. Дома у нас нездорово, батюшка!

Кабанов. Господи! Так уж одно к одному! Говори, что там такое?

Глаша. Да хозяйюшка ваша...

Кабанов. Ну, что ж? Умерла, что ль?

Глаша. Нет, батюшка; ушла куда-то, не найдем нигде. Сбились с ног, искамши.

Кабанов. Кулигин! надо, брат, бежать искать ее. Я, братец, знаешь, чего боюсь? Как бы она с тоски-то на себя руки не наложила! Уж так тоскует, так тоскует, что ах! На нее-то глядя, сердце рвется. Чего ж вы смотрели-то? Давно ль она ушла-то?

Глаша. Недавнушко, батюшка! Уж наш грех, недоглядели. Да и то сказать: на всякий час не остережешься.

Кабанов. Ну, что стоишь-то, беги!

Глаша уходит.

И мы пойдем, Кулигин!

Уходят.

Сцена несколько времени пуста. С противоположной стороны выходит Катерина и тихо идет по сцене.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Катерина (*одна*)¹. Нет, нигде нет! Что-то он теперь, бедный, делает? Мне только проститься с ним, а там... а там хоть умирать. За что я его в беду ввела? Ведь мне не легче от того! Погибать бы мне одной! А то себя погубила, его погубила, себе бесчестье — ему вечный покор! Да! Себе бесчестье — ему вечный покор. (*Молчание.*) Вспомнить бы мне, что он говорил-то? Как он жалел-то меня? Какие слова-то говорил? (*Берет себя за голову.*) Не помню, все забыла. Ночи, ночи мне тяжелы! Все пойду спать, и я пойду; всем ничего, а мне как в могилу. Так страшно в потемках! Шум какой-то сделается, и поют, точно кого хоронят; только так тихо, чуть слышно, далеко, далеко от меня... Свету-то так рада сделаешься! А вставать не хочется, опять те же люди, те же разговоры, та же мука. Зачем они так смотрят на меня? Отчего это нынче не убивают? Зачем так сделали? Прежде, говорят, убивали. Взяли бы да и бросили меня в Волгу; я бы рада была. «Казнить-то тебя, говорят, так с тебя грех сни-

¹ Весь монолог и все следующие сцены говорит, растягивая и повторяя слова, задумчиво и как будто в забытьи.— *Примеч. А. Н. Островского.*

мется, а ты живи да мучайся своим грехом». Да уж измучилась я! Долго ли еще мучиться!.. Для чего мне теперь жить, ну для чего? Ничего мне не надо, ничего мне не мило, и свет Божий не мил! А смерть не приходит. Ты ее кличешь, а она не приходит. Что ни увижу, что ни услышу, только тут (*показывая на сердце*) больно. Еще кабы с ним жить, может быть, радость бы какую-нибудь я и видела... Что ж: уж все равно, уж душу свою я ведь погубила. Как мне по нем скучно! Ах, как мне по нем скучно! Уж коли не увижу я тебя, так хоть услышь ты меня издали! Ветры буйные, перенесите вы ему мою печаль-тоску! Батюшки, скучно мне, скучно! (*Подходит к берегу и громко, во весь голос.*) Радость моя, жизнь моя, душа моя, люблю тебя! Откликнись! (*Плачет.*)

Входит Борис.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Катерина и Борис.

Борис (*не видя Катерины*). Боже мой! Ведь это ее голос! Где же она? (*Оглядывается.*)

Катерина (*подбегает к нему и падает на шею*). Увидела-таки я тебя! (*Плачет на груди у него.*)

Молчание.

Борис. Ну, вот и поплакали вместе, привел Бог.

Катерина. Ты не забыл меня?

Борис. Как забыть, что ты!

Катерина. Ах, нет, не то, не то! Ты не сердисься?

Борис. За что мне сердиться?

Катерина. Ну, прости меня! Не хотела я тебе зла сделать; да в себе не вольна была. Что говорила, что делала, себя не помнила.

Борис. Полно, что ты! что ты!

Катерина. Ну, как же ты? Теперь-то ты как?

Борис. Еду.

Катерина. Куда едешь?

Борис. Далеко, Катя, в Сибирь.

Катерина. Возьми меня с собой отсюда!

Борис. Нельзя мне, Катя. Не по своей я воле еду: дядя посылает, уж и лошади готовы; я только отпросился у дяди на минуточку, хотел хоть с местом-то тем проститься, где мы с тобой виделись.

Катерина. Поезжай с Богом! Не тужи обо мне. Сначала только разве скучно будет тебе, бедному, а там и позабудешь.

Борис. Что обо мне-то толковать! Я вольная птица. Ты-то как? Что свекровь-то?

Катерина. Мучает меня, запирает. Всем говорит и мужу

говорит: «Не верьте ей, она хитрая». Все и ходят за мной целый день и смеются мне прямо в глаза. На каждом слове все тобой попрекают.

Борис. А муж-то?

Катерина. То ласков, то сердится, да пьет все. Да постыл он мне, постыл, ласка-то его мне хуже побоев.

Борис. Тяжело тебе, Катя?

Катерина. Уж так тяжело, так тяжело, что умереть легче!

Борис. Кто ж это знал, что нам за любовь нашу так мучиться с тобой! Лучше б бежать мне тогда!

Катерина. На беду я увидела тебя. Радости видела мало, а горя-то, горя-то что! Да еще впереди-то сколько! Ну, да что думать о том, что будет! Вот я теперь тебя видела, этого они у меня не отымут; а больше мне ничего не надо. Только ведь мне и нужно было увидеть тебя. Вот мне теперь гораздо легче сделалось; точно гора с плеч свалилась. А я все думала, что ты на меня сердиться,- проклинаешь меня...

Борис. Что ты, что ты!

Катерина. Да нет, все не то я говорю, не то я хотела сказать! Скучно мне было по тебе, вот что; ну, вот я тебя увидела...

Борис. Не застали б нас здесь!

Катерина. Постой, постой! Что-то я тебе хотела сказать! вот забыла! Что-то нужно было сказать! В голове-то все путается, не вспомню ничего.

Борис. Время мне, Катя!

Катерина. Погоди, погоди!

Борис. Ну, что же ты сказать-то хотела?

Катерина. Сейчас скажу. *(Подумав.)* Да! Поедешь ты дорогой, ни одного ты нищего так не пропускай, всякому подай, да прикажи, чтоб молились за мою грешную душу.

Борис. Ах, кабы знали эти люди, каково мне простаться с тобой! Боже мой! Дай Бог, чтоб им когда-нибудь так же сладко было, как мне теперь. Прощай, Катя! *(Обнимает ее и хочет уйти.)* Злодеи вы! Изверги! Эх, кабы сила!

Катерина. Постой, постой! Дай мне поглядеть на тебя в последний раз. *(Смотрит ему в глаза.)* Ну, будет с меня! Теперь Бог с тобой, поезжай. Ступай, скорее ступай!

Борис *(отходит несколько шагов и останавливается)*. Катя, нехорошо что-то! Не задумала ли ты чего? Измучаюсь я дорогой-то, думавши о тебе.

Катерина. Ничего, ничего! Поезжай с Богом!

Борис хочет подойти к ней.

Не надо, не надо, довольно!

Борис *(рыдая)*. Ну, Бог с тобой! Только одного и надо у Бога просить, чтоб она умерла поскорее, чтобы ей не мучиться долго! Прощай!. *(Кланяется.)*

Катерина. Прощай!

Борис уходит. Катерина провожает его глазами и стоит несколько времени задумавшись.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Катерина (*одна*). Куда теперь? Домой идти? Нет, мне что домой, что в могилу—все равно. Да, что домой, что в могилу!.., что в могилу! В могиле лучше... Под деревцом могилушка... как хорошо!.. Солнышко ее греет, дождичком ее мочит... весной на ней травка вырастет, мягкая такая... птицы прилетят на дерево, будут петь, детей выведут, цветочки расцветут: желтенькие, красенькие, голуленькие... всякие (*задумывается*), всякие... Так тихо! так хорошо! Мне как будто легче! А об жизни и думать не хочется. Опять жить? Нет, нет, не надо... нехорошо! И люди мне" противны, и дом мне противен, и стены противны! Не пойду туда! Нет, нет, не пойду! Придешь к ним, они ходят, говорят, а на что мне это? Ах, темно стало! И опять поют где-то! Что поют? Не разберешь... Умереть бы теперь... Что поют? Все равно, что смерть придет, что сама... а жить нельзя! Грех! Молиться не будут? Кто любит, тот будет молиться... Руки крест-накрест складывают... в гробу! Да, так... я вспомнила. А поймают меня, да воротят домой насильно... Ах, скорей, скорей! (*Подходит к берегу. Громко.*) Друг мой! Радость моя! Прощай! (*Уходит.*)

Входят Кабанова, Кабанов, Кулигин и работник с фонарем.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Кабанова, Кабанов и Кулигин.

Кулигин. Говорят, здесь видели.

Кабанов. Да это верно?

Кулигин. Прямо на нее говорят.

Кабанов. Ну, слава Богу, хоть живую видели-то.

Кабанова. А ты уж испугался, расплакался! Есть о чем. Не беспокойся: еще долго нам с ней маяться будет.

Кабанов. Кто ж это знал, что она сюда пойдет. Место такое людное. Кому в голову придет здесь прятаться.

Кабанова. Видишь, что она делает! Вот какое зелье! Как она характер-то свой хочет выдержать!

С разных сторон собирается народ с фонарями.

Один из народа. Что, нашли?

Кабанова. То-то что нет. Точно провалилась куда.

Несколько голосов. Эка притча! Вот оказия-то! И куда б ей деться!

Один из народа. Да найдется!

Другой. Как не найтись!
Третий. Гляди, сама придет.

Голос за сценой: «Эй, лодку!»

Кулигин *(с берега)*. Кто кричит? Что там?

Голос: «Женщина в воду бросилась!»

Кулигин и за ним несколько человек убегают.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же без Кулигина.

Кабанов. Батюшки, она ведь это! *(Хочет бежать.)*

Кабанова удерживает его за руку.

Маменька, пустите, смерть моя! я ее вытащу, а то так и сам...
Что мне без нее!

Кабанова. Не пущу, и не думай! Из-за нее да себя губить,
стоит ли она того! Мало нам она страму-то наделала, еще что за-
теяла!

Кабанов. Пустите!

Кабанова. Без тебя есть кому! Прокляну, коли пойдешь.

Кабанов *(падая на колени)*. Хоть взглянуть-то мне на нее!

Кабанова. Вытащут: взглянешь.

Кабанов *(встает, к народу)*. Что, голубчики, не видать ли
чего?

1-й. Темно внизу-то, не видать ничего.

Шум за сценой.

2-й. Словно кричат что-то, да ничего не разберешь.

1-й. Да это Кулигина голос.

2-й. Вон с фонарем по берегу ходят.

1-й. Сюда идут. Вон и ее несут.

Несколько народа возвращается.

Один из возвратившихся. Молодец Кулигин! Тут
близехонько в омуточке у берега; с огнем-то оно в воду-то далеко
видно; он платье и увидал, и вытащил ее.

Кабанов. Жива?

Другой. Где уж жива! Высоко бросилась-то: тут обрыв, да,
должно быть, на якорь попала, ушиблась, бедная! А точно, ребя-
ты, как живая! Только на виске маленькая ранка, и одна только,
как есть одна, капелька крови.

Кабанов бросается бежать; навстречу ему Кулигин с народом несут
Катерину.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же и Кулигин.

Кулигин. Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней что хотите! Тело ее здесь, возьмите его; а душа теперь не ваша: она теперь перед судьей, который милосерднее вас! *(Кладет на землю и убегает.)*

Кабанов *(бросается к Катерине)*. Катя! Катя!

Кабанова. Полно! Об ней и плакать-то грех!

Кабанов. Маменька, вы ее погубили! Вы, вы, вы...

Кабанова. Что ты? Аль себя не помнишь! Забыл, с кем говоришь!

Кабанов. Вы ее погубили! Вы! Вы!

Кабанова *(сыну)*. Ну, я с тобой дома поговорю. *(Низко кланяется народу.)* Спасибо вам, люди добрые, за вашу услугу!

Все кланяются.

Кабанов. Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться! *(Падает на труп жены.)*

1859

»

БЕСПРИДАННИЦА

Драма в четырех действиях

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЛИЦА

Харита Игнатьевна Огудалова, вдова, средних лет; одета изящно, но смело и не по летам.

Лариса Дмитриевна, ее дочь, девица, одета богато, но скромно.

Мокий Парменыч Кнуров, из крупных дельцов последнего времени, пожилой человек, с громадным состоянием.

Василий Данилыч Вожеватов, очень молодой человек^ один из представителей богатой торговой фирмы, по костюму европеец.

Юлий Капитоныч Карандышев, молодой человек, небогатый чиновник.

Сергей Сергеич Паратов, блестящий барин, из судовладельцев, лет за 30. Робинзон.

Гаврило, клубный буфетчик и содержатель кофейной на бульваре.

Иван, слуга в кофейной.

Действие происходит в настоящее время, в большом городе Бряхимове, на Волге.

Городской бульвар на высоком берегу Волги, с площадкой перед кофейной. Направо (от актеров) — вход в кофейную, налево — деревья; в глубине низкая чугунная решетка, за ней — вид на Волгу, на большое пространство: леса, села и проч. На площадке столы и стулья: один стол на правой стороне, подле кофейной, другой — на левой.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Гаврило стоит в дверях кофейной. Иван приводит в порядок мебель на площадке.

Иван. Никого народу-то нет на бульваре.

Гаврило. По праздникам всегда так. По старине живем: от поздней обедни все к пирогу да ко шам, а потом, после хлеба-соли, семь часов отдых.

Иван. Уж и семь! Часика три-четыре. Хорошее это заведение.

Гаврило. А вот около вечерень проснутся, попьют чайку до третьей тоски...

Иван. До тоски! Об чем тосковать-то?

Гаврило. Посиди за самоваром поплотнее, поглотаи часа два кипятку, так узнаешь. После шестого пота она, первая-то тоска, подступает... Расстанутся с чаем и выползут на бульвар раздышаться да разгуляться. Теперь чистая публика гуляет: вон Мокий Парменьч Кнуров проминает себя.

Иван. Он каждое утро бульвар-то меряет взад и вперед, точно по обещанию. И для чего это он так себя утруждает?

Гаврило. Для моциону.

Иван. А моцион для чего?

Гаврило. Для аппетита. А аппетит нужен ему для обеда. Какие обеды-то у него! Разве без моциону такой обед съешь!

Иван. Отчего это он все молчит?

Гаврило. «Молчит». Чудак ты... Как же ты хочешь, чтоб он разговаривал, коли у него миллионы! С кем ему разговаривать? Есть человека два-три в городе, с ними он разговаривает, а больше не с кем; ну, он и молчит. Он и живет здесь неподолгу от этого от самого; да и не жил бы, кабы не дела. А разговаривать он ездит в Москву, в Петербург да за границу, там ему просторнее.

Иван. А вйт Василий Данилыч из-под горы идет. Вот тоже богатый человек, а разговаривает.

Гаврило. Василий Данилыч еще молод; малодушеством занимается; а в лета войдет, такой же идол будет.

Слева выходит Кнуров и, не обращая внимания на поклоны Гаврилы и Ивана, садится к столу, вынимает из кармана французскую газету и читает.

Справа входит Вожеватов.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Кнуров, Вожеватов, Гаврило, Иван.

Вожеватов (*почтительно кланяясь*). Мокий Парменьч, честь имею кланяться!

Кнуров. А! Василий Данилыч! (*Подает руку.*) Откуда?

Вожеватов. С пристани. (*Садится.*)

Таврило подходит ближе.

Кнуров. Встречали кого-нибудь?

Вожеватов. Встречал, да не встретил. Я вчера от Сергея Сергеича Паратова телеграмму получил. Я у него пароход покупаю.

Гаврило. Не «Ласточку» ли, Василий Данилыч?

Вожеватов. Да, «Ласточку». А что?

Гаврило. Резво бегаёт, сильный пароход.

Вожеватов. Да вот обманул Сергей Сергеич, не приехал.

Гаврило. Вы их с «Самолетом» ждали, а они, может, на своем приедут, на «Ласточке».

Иван. Василий Данилыч, да вон еще пароход бежит с верху. Вожеватов. Мало ль их по Волге бегают.

Иван. Это Сергей Сергеич едут.

Вожеватов. Ты думаешь?

Иван. Да похоже, что они-с... Кожухи-то на «Ласточке» больно приметны.

Вожеватов. Разберешь ты кожухи за семь верст.

Иван. За десять разобрать можно-с... Да и ходко идет, сейчас видно, что с хозяином.

Вожеватов. А далеко?

Иван. Из-за острова вышел. Так и выстиляет, так и выстиляет.

Гаврило. Ты говоришь, выстиляет?

Иван. Выстиляет. Страсть! Шибче «Самолета» бежит, так и меряет.

Гаврило. Они едут-с.

Вожеватов (*Ивану*). Так ты скажи, как приставать станут.

Иван. Слушаю-с... Чай, из пушки выпалят.

Таврило. Беспременно.

Вожеватов. Из какой пушки?

Таврило. У них тут свои баржи серед Волги на якоре.

Вожеватов. Знаю.

Таврило. Так на барже пушка есть. Когда Сергея Сергеича встречают или провожают, так всегда палят. (*Взглянув в сторону за кофейную.*) Вон и коляска за ними едет, извозчицкая, Чиркова-с! Видно, дали знать Чиркову, что приедут. Сам хозяин Чирков на козлах. Это за ними-с.

Вожеватов. Да почему ты знаешь, что за ними?

Таврило. Четыре иноходца в ряд, помилуйте, за ними. Для кого же Чирков такую четверню сберет! Ведь это ужаси смотреть... как лвы... все четыре на трензелях¹! А сбруя-то, сбруя-то! За ними-с.

Иван. И цыган с Чирковым на козлах сидит, в парадном казакине, ремнем перетянут так, что, того гляди, переломится.

Таврило. Это за ними-с. Некому больше на такой четверке ездить. Они-с.

Кнуров. С шиком живет Паратов.

Вожеватов. Уж чего другого, а шикую довольно.

Кнуров. Дешево пароход-то покупаете?

Вожеватов. Дешево, Мокий Парменыч!

Кнуров. Да, разумеется; а то что за расчет покупать. Зачем он продает?

¹ *Трензеля* — удила, которые при натягивании прикрепленных к ним поводьев упираются в небо лошади, заставляя ее поднимать голову.

Вожеватов. Знать, выгоды не находит.

Кнуров. Конечно, где ж ему! Не барское это дело. Вот вы выгоду найдете, коли дешево-то купите.

Вожеватов. Нам кстати: у нас на низу грузу много.

Кнуров. Не деньги ль понадобились... он ведь мотоват.

Вожеватов. Его дело. Деньги у нас готовы.

Кнуров. Да, с деньгами можно дела делать, можно. *(С улыбкой.)* Хорошо тому, Василий Данилыч, у кого денег-то много.

Вожеватов. Дурно ли дело! Вы сами, Мокий Парменыч, это лучше всякого знаете.

Кнуров. Знаю, Василий Данилыч, знаю.

Вожеватов. Не выпьем ли холодненького, Мокий Парменыч?

Кнуров. Что вы, утром-то! Я еще не завтракал...

Вожеватов. Ничего-с. Мне один англичанин — он директор на фабрике — говорил, что от насморка хорошо шампанское натошак пить. А я вчера простудился немного.

Кнуров. Каким образом? Такое тепло стоит.

Вожеватов. Да все им же и простудился: холодно очень подали.

Кнуров. Нет, что хорошего; люди посмотрят, скажут: ни свет ни заря — шампанское пьют.

Вожеватов. А чтоб люди чего дурного не сказали, так мы станем чай пить.

Кнуров. Ну, чай — другое дело.

Вожеватов *(Гавриле)*. Гаврило, дай-ка нам чайку моего, понимаешь?.. *Моего!*

Гаврила. Слушаю-с. *(Уходит.)*

Кнуров. Вы разве особенный какой пьете?

Вожеватов. Да все то же шампанское, только в чайники он разольет и стаканы с блюдечками подаст.

Кнуров. Остроумно.

Вожеватов. Нужда-то всему научит, Мокий Парменыч!

Кнуров. Едете в Париж-то, на выставку?

Вожеватов. Вот куплю пароход да отправлю его вниз за грузом и поеду.

Кнуров. И я на днях: уж меня ждут.

Гаврило приносит на подносе два чайника с шампанским и два стакана.

Вожеватов *(наливая)*. Слышали новость, Мокий Парменыч? Лариса Дмитриевна замуж выходит.

Кнуров. Как замуж? Что вы! За кого?

Вожеватов. За Карандышева.

Кнуров. Что за вздор такой! Вот фантазия! Ну, что такое Карандышев! Не пара ведь он ей, Василий Данилыч!

Вожеватов. Какая уж пара! Да что ж делать-то, где взять женихов-то? Ведь она бесприданница.

Кнуров. Бесприданницы-то и находят женихов хороших.
Вожеватов. Нето время. Прежде женихов-то много было, так и на бесприданниц хватало; а теперь женихов-то в самый об-рез; сколько приданных, столько и женихов, лишних нет — бесприданницам-то и недостает. Разве бы Харита Игнатьевна отдала за Карандышева, кабы лучше были.

Кнуров. Бойкая женщина.

Вожеватов. Она, должно быть, не русская.

Кнуров. Отчего?

Вожеватов. Уж очень проворна.

Кнуров. Как это она оплошала? Огудаловы все-таки фамилия порядочная, и вдруг за какого-то Карандышева!.. Да с ее-то ловкостью... всегда полон дом холостых...

Вожеватов. Ездить-то к ней — все ездят, — потому что весело очень: барышня хорошенькая, играет на разных инструментах, поет, обращение свободное, оно и тянет... Ну, а жениться-то надо подумавши.

Кнуров. Ведь выдала же она двух.

Вожеватов. Выдать-то выдала, да надо их спросить, сладко ли им жить-то. Старшую увез какой-то горец, кавказский князек. Вот потеха-то была. Как увидел, затрясся, заплакал даже — так две недели и стоял подле нее, за кинжал держался да глазами сверкал, чтоб не подходил никто. Женился и уехал, да говорят, не довез до Кавказа-то, зарезал на дороге от ревности. Другая тоже за какого-то иностранца вышла, а он после оказался совсем не иностранец, а шулер.

Кнуров. Огудалова разочла не глупо: состояние небольшое, давать приданое не из чего, так она живет открыто, всех принимает.

Вожеватов. Любит и сама пожить весело. А средства у нее так невелики, что даже и на такую жизнь недостает.

Кнуров. Где же она берет?

Вожеватов. Женихи платятся. Как кому понравилась дочка, так и раскошеливайся... Потом на приданое возьмет с жениха, а приданого не спрашивай.

Кнуров. Ну, я думаю, не одни женихи платятся, а и вам, например, частое посещение этого семейства недешево обходится.

Вожеватов. Не разорюсь, Мокий Парменыч! Что ж делать, за удовольствия платить надо: они даром не достаются; а бывать у них в доме большое удовольствие.

Кнуров. Действительно, удовольствие, это вы правду говорите.

Вожеватов. А сами почти никогда не бываете.

Кнуров. Да неловко: много у них всякого сброду бывает, потом встречаются, кланяются, разговаривать лезут. Вот, например, Карандышев, ну, что за знакомство для меня!

Вожеватов. Да, у них в доме на базар похоже.

Кнуров. Ну, что хорошего! Тот лезет к Ларисе Дмитриевне с комплиментами, другой с нежностями, так и жужжат, не дают с ней слова сказать. Приятно с ней одной почаще видеться — без помехи.

Вожеватов. Жениться надо.

Кнуров. Жениться! Не всякому можно, да не всякий и захочет; вот я, например, женатый.

Вожеватов. Так уж нечего делать... Хорош виноград, да зелен, Мокий Парменыч.

Кнуров. Вы думаете?

Вожеватов. Видимое дело. Не таких правил люди: мало ль случаев-то было, да вот не польстились, хоть за Карандышева, да замуж.

Кнуров. А хорошо бы с такой барышней в Париж прокатиться на выставку.

Вожеватов. Да, не скучно будет, прогулка приятная. Какие у вас планы-то, Мокий Парменыч!

Кнуров. Да и у вас этих планов-то не было ли тоже?

Вожеватов. Где мне! Я простоват на такие дела. Смелости у меня с женщинами нет: воспитание, знаете ли, такое, уж очень нравственное, патриархальное получил.

Кнуров. Ну да, толкуйте! У вас шансов больше моего: молодость — великое дело. Да и денег не пожалее; дешево пароход покупаете, так из барышей-то можно. А ведь, чай, не дешево ле «Ласточки» обошлось бы.

Вожеватов. Всякому товару цена есть, Мокий Парменыч! Я хоть молод, а не зарвусь: лишнего не передам.

Кнуров. Не ручайтесь! Долго ли с вашими летами влюбиться; а уж тогда какие расчеты!

Вожеватов. Нет, как-то я, Мокий Парменыч, в себе этого совсем не замечаю.

Кнуров. Чего?

Вожеватов. А вот что любовью-то называют.

Кнуров. Похвально, хорошим купцом будете. А все-таки вы с ней гораздо ближе, чем другие.

Вожеватов. Да в чем моя близость! Лишний стаканчик шампанского потихоньку от матери иногда налью, песенку выучу, романы вожу, которые девушкам читать не дают.

Кнуров. Развращаете, значит, понемножку.

Вожеватов. Да мне что! Я ведь насильно не навязываю... Что ж мне об ее нравственности заботиться! Я не опекун.

Кнуров. Я все удивляюсь, неужели у Ларисы Дмитриевны, кроме Карандышева, женихов не было?

Вожеватов. Были; да ведь она простовата.

Кнуров. Как простовата? То есть глупа?

Вожеватов. Не глупа, а хитрости нет, не в матушку. У той-то все хитрость да лесть, а эта вдруг, ни с того ни с сего, и скажет, что не надо.

Кнуров. То есть правду?

Вожеватов. Да, правду; а бесприданницам так нельзя. К кому расположена, насколько этого не скрывает. Вот Сергей Сергеич Паратов в прошлом году появился, наглядеться на него не могла, а он месяца два поездил, женихов всех отбил, да и след его простыл, исчез неизвестно куда.

Кнуров. Что ж с ним сделалось?

Вожеватов. Кто его знает; ведь он мудреный какой-то. А уж как она его любила, чуть не умерла с горя. Какая чувствительная! *(Смеется.)* Бросилась за ним догонять, уж мать со второй станции воротила.

Кнуров. А после Паратова были женихи?

Вожеватов. Набегали двое: старик какой-то с подагрой да разбогатевший управляющий какого-то князя, вечно пьяный. Уж Ларисе и не до них, а любезничать надо было: маменька приказывает.

Кнуров. Однако положение ее незавидное.

Вожеватов. Да, смешно даже. У ней иногда слезинки на глазах, видно, поплакать задумала, а маменька улыбаться велит. Потом вдруг проявился этот кассир. Вот бросал деньгами-то, так и засыпал Хариту Игнатьевну. Отбил всех, да недолго покуражился: у них в доме его и арестовали. Скандалище здоровый! *(Смеется.)* С месяц Огудаловым куда глаза показать было нельзя. Тут уж Лариса наотрез матери объявила: «Довольно, говорит, с нас сраму-то; за перврго пойду,- кто посватается, богат ли, беден ли, разбирать не буду». А Карандышев и тут как тут с предложением.

Кнуров. Откуда взялся этот Карандышев?

Вожеватов. Он давно у них в доме вертится, года три. Гнать не гнали, а и почету большого не было. Когда перемежка случалась, никого из богатых женихов в виду не было, так и его придерживали, слегка приглашивали, чтоб не совсем пусто было в доме. А как, бывало, набезит какой-нибудь богатенький, так просто жалость было смотреть на Карандышева: и не говорят с ним, и не смотрят на него. А он-то, в углу сидя, разные роли разыгрывает, дикие взгляды бросает, отчаянным прикидывается. Раз застрелиться хотел, да не вышло ничего, только насмешил всех... А то вот потеха-то: был у них как-то, еще при Паратове, костюмированный вечер; так Карандышев оделся разбойником; взял в руки топор и бросал на всех зверские взгляды, особенно на Сергея Сергеича.

Кнуров. И что же?

Вожеватов. Топор отняли и переодеться велели; а то, мол, пошел вон!

Кнуров. Значит, он за постоянство награжден. Рад, я думаю.

Вожеватов. Еще как рад-то, сияет, как апельсин. Что смеху-то! Ведь он у нас чудак. Ему бы жениться поскорей да уехать

в свое именишко, пока разговоры утихнут, так и Огудаловым хотелось; а он таскает Ларису на бульвар, ходит с ней под руку, голову так высоко поднял, что, того гляди, наткнется на кого-нибудь. Да еще очки надел зачем-то, а никогда их не носил. Кланяется — едва кивает; тон какой взял; прежде и не слышать его было, а теперь все «я да я, я хочу, я желаю».

Кнуров. Как мужик русский: мало радости, что пьян, надо поломаться, чтоб все видели. Поломается, поколотят его раза два, ну он и доволен, и идет спать.

Вожеватов. Да, кажется, и Карандышеву не миновать.

Кнуров. Бедная девушка, как она страдает, на него глядя, я думаю.

Вожеватов. Квартиру свою вздумал отделявать, вот чудит-то. В кабинете ковер грошовый на стену прибил, кинжалов, пистолетов тульских навешал: уж диви бы охотник, а то и ружье-то никогда в руки не брал. Ташит к себе, показывает; надо хвалить, а то обидишь — человек самолюбивый, завистливый. Лошадь из деревни выписал, клячу какую-то разношерстную; кучер маленький, а кафтан на нем с большого. И возит на этом верблюде-то Ларису Дмитриевну; сидит так гордо, будто на тысячных рысаках едет. С бульвара выходит, так кричит городовому: «Прикажи подавать мой экипаж!» Ну, и подъезжает этот экипаж с музыкой, все винты, все гайки дребезжат на разные голоса, а рессоры-то трепещутся, как живые.

Кнуров. Жаль бедную Ларису Дмитриевну, жаль...

Вожеватов. Что это вы очень жалостливы стали?

Кнуров. Да разве вы не видите, что эта женщина создана для роскоши. Дорогой бриллиант дорогой и оправы требует.

Вожеватов. И хорошего ювелира.

Кнуров. Совершенную правду вы сказали. Ювелир — не простой мастеровой, он должен быть художником. В нищенской обстановке, да еще за дураком мужем, она или погибнет, или ополхится.

Вожеватов. А я так думаю, что бросит она его скорехонько. Теперь еще она как убитая; а вот оправится да поглядит на мужа попристальнее, каков он... *(Тихо.)* Вот они, легки на помине-то...

Входят Карандышев, Огудалова, Лариса. Вожеватов встает и кланяется. Кнуров вынимает газету.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Кнуров, Вожеватов, Карандышев, Огудалова; Лариса в глубине садится на скамейку у решетки и смотрит в бинокль за Волгу.
Гаврило, Иван.

Огудалова *(подходя к столу)*. Здравствуйте, господа!

Карандышев подходит за ней. Вожеватов подает руку Огудаловой и Карандыше-

ву. Кнуров, молча и не вставая с места, подает руку Огудаловой, слегка кивает Карандышеву и погружается в чтение газеты.

Вожеватов. Харита Игнатьевна, присядьте, милости просим! *(Подвигает стул.)*

Огудалова садится.

Чайку не прикажете ли?

Карандышев садится поодаль.

Огудалова. Пожалуй, чашку выпью.

Вожеватов. Иван, подай чашку да прибавь кипяточку!

Иван берет чайник и уходит.

Карандышев. Что за странная фантазия пить чай в это время? Удивляюсь.

Вожеватов. Жажда, Юлий Капитоныч, а что пить — не знаю. Посоветуйте — буду очень благодарен.

Карандышев *(смотрит на часы)*. Теперь полдень, можно выпить рюмочку водки, съесть котлетку, выпить стаканчик вина хорошего, — я всегда так завтракаю.

Вожеватов *(Огудаловой)*. Вот жизнь-то, Харита Игнатьевна, позавидуешь! *(Карандышеву.)* Пожил бы, кажется, хоть денек на вашем месте. Водочки да винца! Нам так нельзя-с, пожалуй, разум потеряешь. Вам можно все: вы капиталу не проживаете, потому его нет, а уж мы такие горькие зародились на свет, у нас дела очень велики, так нам разума-то терять и нельзя.

Иван подает чайник и чашку.

Пожалуйте, Харита Игнатьевна! *(Наливает и подает чашку.)* Я и чай-то холодный пью, чтобы люди не сказали, что я горячие напитки употребляю.

Огудалова. Чай-то холодный, только, Вася, ты мне крепко налил.

Вожеватов. Ничего-с. Выкушайте, сделайте одолжение! На воздухе не вредно.

Карандышев *(Ивану)*. Приходи ко мне сегодня служить за обедом.

Иван. Слушаю-с, Юлий Капитоныч!

Карандышев. Ты, братец, почище оденься.

Иван. Известно дело, фрак; нешто не понимаем-с.

Карандышев. Василий Данилыч, вот что: приезжайте-ка вы ко мне обедать сегодня!

Вожеватов. Покорно благодарю... Мне тоже во фраке прикажете?

Карандышев. Как вам угодно, не стесняйтесь. Однако дамы будут.

Вожеватов (*кланяясь*). Слушаю-с. Надеюсь не уронить себя.

Карандышев (*переходит к Кнурову*). Мокий Парменыч, не угодно ли вам будет сегодня отобедать у меня?

Кнуров (*с удивлением оглядывает его*). У вас?

Огудалова. Мокий Парменыч, это все равно что у нас,— этот обед для Ларисы.

Кнуров. Да, так это вы приглашаете? Хорошо, я приеду. Карандышев. Так уж я буду надеяться.

Кнуров. Уж я сказал, что приеду. (*Читает газету.*)

Огудалова. Юлий Капитоныч мой будущий зять, я выдаю за него Ларису.

Кнуров (*продолжая читать*). Это ваше дело.

Карандышев. Да-с, Мокий Парменыч, я рискнул. Я вообще всегда был выше предрассудков...

Кнуров закрывается газетой.

Вожеватов (*Огудаловой*). Мокий Парменыч строг...

Карандышев (*отходя от Кнурова к Вожеватову*). Я желаю, чтоб Ларису Дмитриевну окружали только избранные люди.

Вожеватов. Значит, и я к избранному обществу принадлежу? Благодарю, не ожидал. (*Гавриле.*) Гаврило, сколько с меня за чай?

Гаврило. Две порции изволили спрашивать?

Вожеватов. Да, две порции.

Гаврило. Так уж сами знаете, Василий Данилыч, не в первый раз... Тринадцать рублей-с...

Вожеватов. То-то, я думал, что подешевле стало.

Гаврило. С чего дешевле-то быть? Курсы, пошлина, поми-луйте!

Вожеватов. Да ведь я не спорю с тобой, что ты пристаешь! Получай деньги и отстань! (*Отдает деньги.*)

Карандышев. За что так дорого, я не понимаю.

Гаврило. Кому дорого, а кому нет... Вы такого чаю не кушаете.

Огудалова (*Карандышеву*). Перестаньте вы, не мешайтесь не в свое дело!

Иван. Василий Данилыч, «Ласточка» подходит.

Вожеватов. Мокий Парменыч, «Ласточка» подходит, не угодно ли взглянуть? Мы вниз не пойдем, с горы посмотрим.

Кнуров. Пойдемте. Любопытно. (*Встает.*)

Огудалова. Вася, я доеду на твоей лошади.

Вожеватов. Поезжайте, только пришлите поскорей! (*Подходит к Ларисе и говорит с ней тихо.*)

Огудалова (*подходит к Кнурову*). Мокий Парменыч, затеяли мы свадьбу, так не поверите, сколько хлопот...

Кнуров. Да...

Огудалова. И вдруг такие расходы, которых никак нельзя было ожидать... Вот завтра рождение Ларисы, хотелось бы что-нибудь подарить...

Кнуров. Хорошо, я к вам заеду.

Огудалова уходит.

Лариса (*Вожеватову*). До свидания, Вася!

Вожеватов и Кнуров уходят. Лариса подходит к Карандышеву.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Карандышев, Лариса.

Лариса. Я сейчас все за Волгу смотрела; как там хорошо, на той стороне! Поедемте поскорей в деревню!

Карандышев. Вы за Волгу смотрели. А что с вами Вожеватов говорил?

Лариса. Ничего, так, пустяки какие-то. Меня так и манит за Волгу, в лес... (*Задумчиво.*) Уедемте, уедемте отсюда!

Карандышев. Однако это странно! Об чем он мог с вами разговаривать?

Лариса. Ах, да об чем бы он ни говорил, что вам за дело!

Карандышев. Называете его Васей. Что за фамильярность с молодым человеком?

Лариса. Мы с малолетства знакомы; еще маленькие играли вместе; ну, я и привыкла.

Карандышев. Вам надо старые привычки бросить. Что за короткость с пустым, глупым мальчиком. Нельзя же терпеть того, что у вас до сих пор было.

Лариса (*обидясь*). У нас ничего дурного не было.

Карандышев. Был цыганский табор-с, вот что было.

Лариса утирает слезы.

Чем же вы обиделись, помилуйте!

Лариса. Что ж, может быть, и цыганский табор; только в нем было, по крайней мере, весело. Сумеете ли вы дать мне что-нибудь лучше этого табора?

Карандышев. Уж конечно.

Лариса. Зачем вы постоянно попрекаете меня этим табором? Разве мне самой такая жизнь нравилась? Мне было приказано, так нужно было маменьке, значит, волей или неволей, я должна была вести такую жизнь... Колоть беспрестанно мне глаза цыганской жизнью или глупо, или безжалостно. Если б я не искала тишины, уединения, не захотела бежать от людей, разве бы я пошла за вас? Так умейте это понять и не приписывать моего выбора своим достоинствам, я их еще не вижу. Я еще только хочу полюбить вас, меня манит скромная, семейная жизнь, она мне кажется каким-то раем. Вы видите, я стою на распути: под- 65

держите меня, мне нужно ободрение, сочувствие; относитесь ко мне нежно, с лаской! Ловите эти минуты и не пропустите их!

Карандышев. Лариса Дмитриевна, я совсем не хотел вас обидеть, это я сказал так.

Лариса. Что значит «так»? То есть не подумавши; вы не понимаете, что в ваших словах обида, так, что ли?

Карандышев. Конечно, я без умыслу.

Лариса. Так это еще хуже. Надо думать, о чем говоришь. Болтайте с другими, если вам нравится, а со мной говорите осторожнее. Разве вы не видите, что положение мое очень серьезно? Каждое слово, которое я сама говорю и которое я слышу, я чувствую. Я сделалась очень чутка и впечатлительна.

Карандышев. В таком случае, я прошу извинить меня.

Лариса. Да Бог с вами, только вперед будьте осторожнее! *(Задумчиво.)* Цыганский табор... Да это, пожалуй, правда... но в этом таборе были и хорошие и благородные люди.

Карандышев. Кто же эти благородные люди? Уж не Сергей ли Сергеич Паратов?

Лариса. Нет, я прошу вас, вы не говорите о нем.

Карандышев. Да почему же-с?

Лариса. Вы его не знаете, да хоть бы и знали, так... извините, не вам о нем судить.

Карандышев. Об людях судят по поступкам. Разве он хорошо поступил с вами?

Лариса. Это уж мое дело. Если я боюсь и не смею осуждать его, так не позволю и вам.

Карандышев. Лариса Дмитриевна, скажите мне, только прошу вас, говорите откровенно!

Лариса. Что вам угодно?

Карандышев. Ну, чем я хуже Паратова?

Лариса. Ах нет, оставьте.

Карандышев. Позвольте, отчего же?

Лариса. Не надо, не надо! Что за сравнения!

Карандышев. А мне бы интересно было слышать от вас.

Лариса. Не спрашивайте, не нужно!

Карандышев. Да почему же?

Лариса. Потому что сравнение не будет в вашу пользу. Сами по себе вы что-нибудь значите: вы хороший, честный человек, но от сравнения с Сергеем Сергеичем вы теряете все.

Карандышев. Ведь это только слова, нужны доказательства. Вы разберите нас хорошенько.

Лариса. С кем вы равняетесь? Возможно ли такое ослепление... Сергей Сергеич... это идеал мужчины. Вы понимаете, что такое идеал? Быть может, я ошибаюсь, я еще молода, не знаю людей; но это мнение изменить во мне нельзя, оно умрет со мною!

Карандышев. Не понимаю-с, не понимаю, что в нем осо-

бенного; ничего, ничего не вижу. Смелость какая-то, дерзость... Да это всякий может, если захочет.

Лариса. Да вы знаете, какая это смелость?

Карандышев. Да какая ж такая, что тут необыкновенного? Стоит только напустить на себя.

Лариса. А вот какая, я вам расскажу один случай. Проезжал здесь один кавказский офицер, знакомый Сергея Сергеевича, отличный стрелок; были они у нас, Сергей Сергеевич и говорит: «Я слышал, вы хорошо стреляете». — «Да, не дурно», — говорит офицер. Сергей Сергеевич дает ему пистолет, ставит себе стакан на голову и отходит в другую комнату, шагов на двенадцать. «Стреляйте», — говорит.

Карандышев. И он стрелял?

Лариса. Стрелял и, разумеется, сшиб стакан, но только побледнел немного. Сергей Сергеевич говорит: «Вы прекрасно стреляете, но вы побледнели, стреляя в мужчину и человека вам не близкого. Смотрите, я буду стрелять в девушку, которая для меня дороже всего на свете, и не побледнею». Дает мне держать какую-то монету, равнодушно, с улыбкой, стреляет на таком же расстоянии и выбивает ее.

Карандышев. И вы послушали его?

Лариса. Да разве можно его не послушать?

Карандышев. Разве уж вы были так уверены в нем?

Лариса. Что вы? Да разве можно быть в нем неуверенной?

Карандышев. Сердца нет, оттого он так и смел.

Лариса. Нет, и сердце есть. Я сама видела, как он помогал бедным, как отдавал все деньги, которые были с ним.

Карандышев. Ну, положим, Паратов имеет какие-нибудь достоинства, по крайней мере, в глазах ваших; а что такое этот купчик Вожеватов, этот ваш Вася?

Лариса. Вы не ревновать ли? Нет, уж вы эти глупости оставьте. Это пошло, я не переношу этого, я вам заранее говорю. Не бойтесь, я не люблю и не полюблю никого.

Карандышев. А если б явился Паратов?

Лариса. Разумеется, если б явился Сергей Сергеевич и был свободен, так довольно одного его взгляда... Успокойтесь, он не явился, и теперь хоть и явится, так уж поздно. Вероятно, мы никогда и не увидимся более.

На Волге пушечный выстрел.

Что это?

Карандышев. Какой-нибудь купец-самодур слезает с своей баржи, так в честь его салютуют.

Лариса. Ах, как я испугалась!

Карандышев. Чего, помилуйте!

Лариса. У меня нервы расстроены. Я сейчас с этой скамейки вниз смотрела, и у меня закружилась голова. Тут можно очень ушибиться?

Карандышев. Ушибиться! Тут верная смерть; внизу мочено камнем. Да, впрочем, тут так высоко, что умрешь прежде, чем долетишь до земли.

Лариса. Пойдемте домой, пора!

Карандышев. Да и мне нужно: у меня ведь обед.

Лариса (*подойдя к решетке*). Подождите немного. (*Смотрит вниз*.) Ай, ай, держите меня!

Карандышев (*берет Ларису за руку*). Пойдемте, что за ребячество!

Уходят.

Гаврило, Иван выходят из кофейной.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Гаврило, Иван.

Иван. Пушка! Барин приехал, барин приехал, Сергей Сергеич.

Гаврило. Я говорил, что он. Уж я знаю: видно сокола по полету.

Иван. Коляска пустая в гору едет, значит, господа пешком идут... Да вон они! (*Убегает в кофейную*.)

Гаврило. Милости просим. Чем только их потчевать-то, не сообразишь.

Входят Паратов (черный однобортный сюртук в обтяжку, высокие лаковые сапоги, белая фуражка, через плечо дорожная сумка), Робинзон (в плаще, правая пола закинута на левое плечо, мягкая высокая шляпа надета набок). Кнуров, Вожеватов. Иван выбегает из кофейной с веничком и бросается обметать Паратова.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Паратов, Робинзон, Кнуров, Вожеватов, Гаврило, Иван.

Паратов (*Ивану*). Да что ты! Я с воды... на Волге-то не пыльно.

Иван. Все-таки, сударь, нельзя же... порядок требует. Цельный год-то вас не видали, да чтобы... с приездом, сударь...

Паратов. Ну, хорошо, спасибо! На! (*Дает ему рублевую бумажку*.)

Иван. Покорнейше благодарим-с. (*Отходит*.)

Паратов. Так вы меня, Василий Данилыч, с «Самолетом» ждали?

Вожеватов. Да ведь я не знал, что вы на своей «Ласточке» прилетите; я думал, что она с баржами идет.

Паратов. Нет, я баржи продал. Я думал нынче рано утром приехать, мне хотелось обогнать «Самолет», да трус машинист. Кричу кочегарам: «Шуруй!» — а он у них дрова отнимает. Вылез из своей мурьи: «Если вы, говорит, хоть полено еще под-

кинете, я за борт выброшусь». Боялся, что котел не выдержит, цифры мне какие-то на бумажке выводил, давление рассчитывал. Иностранец, голландец он, душа коротка; у них арифметика вместо души-то. А я, господа, и позабыл познакомить вас с моим другом. Мокий Парменыч, Василий Данилыч, рекомендую — Робинзон.

Робинзон важно раскланивается и подает руку Кнурову и Вожеватову.

Вожеватов. А как их по имени и отчеству?

Паратов. Так, просто, Робинзон, без имени и отчества.

Робинзон (*Паратову*). Серж!

Паратов. Что тебе?

Робинзон. Полдень, мой друг, я страдаю.

Паратов. А вот погоди, в гостиницу приедем.

Робинзон (*показывая на кофейную*). Voila!¹

Паратов. Ну, ступай, черт с тобой!

Робинзон идет в кофейную.

Гаврило, ты этому барину больше одной рюмки не давай; он характера непокойного.

Робинзон (*пожимая плечами*). Серж! (*Уходит в кофейную, Гаврило за ним.*)

Паратов. Это, господа, провинциальный актер, Счастливец Аркадий.

Вожеватов. Почему же он Робинзон? •

Паратов. А вот почему: ехал он на каком-то пароходе, уж не знаю, с другом своим, с купеческим сыном Непутевым, разумеется, оба пьяные до последней возможности. Творили они, что только в голову придет, публика все терпела. Наконец, в довершение безобразия, придумали драматическое представление: разделись, разрезали подушку, вывалялись в пуху и начали изображать диких; тут уж капитан, по требованию пассажиров, и высадил их на пустой остров. Бежим мы мимо этого острова, гляжу, кто-то взывает, поднявши руки кверху. Я сейчас «стоп», сажусь сам в шлюпку и обретаю артиста Счастливецва. Взяв его на пароход, одел с ног до головы в свое платье, благо, у меня много лишнего. Господа, я имею слабость к артистам... Вот почему он Робинзон.

Вожеватов. А Непутевый на острове остался?

Паратов. Да на что он мне; пусть проветрится. Сами посудите, господа, ведь в дороге скука смертная, всякому товарищу рад.

Кнуров. Еще бы, конечно.

Вожеватов. Это такое счастье, такое счастье! Вот находка-то золотая!

¹ Вот! (*фр.*)

Кнуров. Одно только неприятно: пьянством одолеет.

Паратов. Нет, со мной, господа, нельзя, я строг на этот счет. Денег у него нет, без моего разрешения давать не велено, а у меня как попросит, так ему в руки французские разговоры, на счастье, нашлись у меня; изволь прежде страницу выучить, без того не дам... Ну и учит сидит. Как старается!

Вожеватов. Эко вам счастье, Сергей Сергеич! Кажется, ничего б не пожалел за такого человека, а нет как нет. Он хороший актер?

Паратов. Ну нет, какой хороший! Он все амплуа прошел и в суфлерах был; а теперь в оперетках играет. Ничего, так себе, смешит.

Вожеватов. Значит, веселый?

Паратов. Потешный господин.

Вожеватов. А пошутить с ним можно?

Паратов. Ничего, он не обидчив... Вот отводите свою душу, могу его вам дня на два, на три предоставить.

Вожеватов. Очень благодарен. Коли придет по нраву, так не останется внакладе.

Кнуров. Как это вам, Сергей Сергеич, не жаль «Ласточку» продавать?

Паратов. Что такое «жаль», этого я не знаю. У меня, Мокый Парменыч, ничего заветного нет; найду выгоду, так все продам, что угодно. А теперь, господа, у меня другие дела и другие расчеты. Я женюсь на девушке очень богатой, беру в приданое золотые прииски.

Вожеватов. Приданое хорошее.

Паратов. Но достается оно мне не дешево; я должен проститься с моей свободой, с моей веселой жизнью. Поэтому надо постараться как можно повеселее провести последние дни.

Вожеватов. Будем стараться, Сергей Сергеич, будем стараться.

Паратов. Отец моей невесты важный чиновный господин, старик строгий: он слышать не может о цыганах, о кутежах и о прочем; даже не любит, кто много курит табаку. Тут уж надевай фрак и *parlez francais!* Вот я теперь и практикуюсь с Робинзоном. Только он, для важности, что ли, уж не знаю, зовет меня: «ля Серж», а не просто «Серж». Умора!

На крыльце кофейной показывается Робинзон, что-то жует, за ним

Гаврило.

говорите по-французски! (*фр.*).

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Гаврило, Иван.

Паратов (*Робинзону*). Que faites-vous là? Venez!¹

Робинзон (*с важностью*). Comment?²

Паратов. Что за прелесть! Каков тон, господа? (*Робинзону.*) Оставь ты эту вашу скверную привычку бросать порядочное общество для трактира.

Вожеватов. Да, это за ними водится.

Робинзон. Ля Серж, ты уж успел... Очень нужно было.

Паратов. Да, извини, я твой псевдоним раскрыл.

Вожеватов. Мы, Робинзон, тебя не выдадим, ты у нас так за англичанина и пойдешь.

Робинзон. Как, сразу на «ты»? Мы с вами брудершафт не пили.

Вожеватов. Это все равно... Что за церемонии!

Робинзон. Но я фамильярности не терплю и не позволяю всякому...

Вожеватов. Да я не всякий...

Робинзон. А кто же вы?

Вожеватов. Купец.

Робинзон. Богатый?

Вожеватов. Богатый.

Робинзон. И тороватый?

Вожеватов. И тороватый.

Робинзон. Вот это в моем вкусе. (*Подает руку Вожеватову.*) Очень приятно. Вот теперь я могу тебе позволить обращаться со мной запросто.

Вожеватов. Значит, приятели: два тела — одна душа.

Робинзон. И один карман. Имя, отчество? То есть одно имя, отчества не надо.

Вожеватов. Василий Данилыч.

Робинзон. Так вот, Вася, для первого знакомства заплати за меня.

Вожеватов. Гаврило, запиши! Сергей Сергеич, мы нынче вечером прогулочку сочиним за Волгу. На одном катере цыгане, на другом — мы; приедем, усядемся на коврике, жженочку сварим.

Гаврило. А у меня, Сергей Сергеич, два ананасика давно вас дожидаются, надо их нарушить для вашего приезда.

Паратов (*Гавриле*). Хорошо, срежь! (*Вожеватову.*) Делайте, господа, со мной, что хотите.

Гаврило. Да уж я, Василий Данилыч, все заготовлю, что требуется; у меня и кастрюлечка серебряная водится для таких okazji, уж я и своих людей с вами отпущу.

¹ Что вы там делаете? Идите сюда! (*фр.*).

² Как? (*фр.*).

Вожеватов. Ну, ладно. Чтобы к шести часам все было готово; коли что лишнее припасешь, взыску не будет, а за недостатку ответишь.

Гаврило. Понимаем-с.

Вожеватов. А назад поедем, на катерах разноцветные фонарики зажжем.

Робинзон. Давно ли я его знаю, а уж полюбил, господа. Вот чудо-то!

Паратов. Главное, чтоб весело. Я прощаюсь с холостой жизнью, так чтоб было чем ее вспомнить. А откушать сегодня, господа, прошу ко мне.

Вожеватов. Эка досада! Ведь нельзя, Сергей Сергеич...

Кнуров. Отозваны мы.

Паратов. Откажитесь, господа!

Вожеватов. Отказаться-то нельзя: Лариса Дмитриевна выходит замуж, так мы у жениха обедаем.

Паратов. Лариса выходит замуж! *(Задумывается.)* Что ж... Бог с ней!.. Это даже лучше. Я немножко виноват перед ней, то есть так виноват, что не должен бы и носу к ним показывать; ну, а теперь она выходит замуж, значит, старые счета покончены, и я могу опять явиться, поцеловать ручки у ней и у тетеньки. Я Хариту Игнатьевну, для краткости, тетенькой зову. Ведь я было чуть не женился на Ларисе, — вот бы людей-то насмешил! Да, разыграл было дурака. Замуж выходит... это очень мило с ее стороны; все-таки на душе у меня немного полегче... и дай ей Бог здоровья и всякого благополучия! Заеду я к ним, заеду; любопытно, очень любопытно поглядеть на нее.

Вожеватов. Уж, наверное, и вас пригласят.

Паратов. Само собой, как же можно без меня!

Кнуров. Я очень рад, все-таки будет с кем хоть слово за обедом перемолвить.

Вожеватов. Там и потолкуем, как нам веселее время провести, может, и еще что придумаем.

Паратов. Да, господа, жизнь коротка, говорят философы, так надо уметь ею пользоваться... N'est ce pas¹, Робинзон?

Робинзон. Вуй², ля Серж!

Вожеватов. Постараемся, скучать не будете, на том стоим. Мы третий катер прихватим, полковую музыку посадим.

Паратов. До свидания, господа! Я в гостиницу... Марш, Робинзон!

Робинзон *(поднимая шляпу)*.

Да здравствует веселье!

Да здравствует Услад!

¹ Не правда ли *(фр.)*.

² Да *(от фр. oui)*.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ЛИЦА

Огудалова. Вожеватов.
Лариса. Робинзон.
Карандышев. Илья, цыган.
Паратов. Лакей Огудаловой.
Кнуров.

Комната в доме Огудаловой. Две двери: одна в глубине, входная; другая налево (от актеров); направо — окно, мебель приличная; фортепьяно, на нем лежит гитара.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Огудалова одна, подходит к двери налево, с коробочкой в руках.

Огудалова. Лариса, Лариса!

Лариса за сценой: «Я, мама, одеваюсь».

Погляди-ка, какой тебе подарок Вася привез!

Лариса за сценой: «После погляжу!»

Какие вещи — рублей пятьсот стоят. «Положите, говорит, завтра поутру в ее комнату и не говорите, от кого». А ведь знает, плутишка, что я не утерплю — скажу. Я его просила посидеть, не остался; с каким-то иностранцем ездит, город ему показывает. Да ведь шут он, у него не разберешь, нарочно он или вправду. «Надо, говорит, этому иностранцу все замечательные трактирные заведения показать!» Хотел к нам привезти этого иностранца. *(Взглянув в окно)*. А вот и Мокий Парменыч! Не выходи, я лучше одна с ним потолкую.

Входит Кнуров.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Огудалова, Кнуров.

Кнуров *(в дверях)*. У вас никого нет?

Огудалова. Никого, Мокий Парменыч!

Кнуров *(входит)*. Ну и прекрасно.

Огудалова. На чем записать такое счастье! Благодарна, Мокий Парменыч, очень благодарна, что удостоили. Я так рада, растерялась, право... не знаю, где и посадить вас.

Кнуров. Все равно, сяду где-нибудь. *(Садится.)*

Огудалова. А Ларису извините: она переодевается. Да ведь можно ее поторопить.

Кнуров. Нет, зачем беспокоить!

Огудалова. Как это вы вздумали?

Кнуров. Брожу ведь я много пешком перед обедом-то, ну вот и зашел.

Огудалова. Будьте уверены, Мокий Парменыч, что мы за особенное счастье поставляем ваш визит; ни с чем этого сравнить нельзя.

Кнуров. Так выдаете замуж Ларису Дмитриевну?

Огудалова. Да, замуж, Мокий Парменыч!

Кнуров. Нашелся жених, который берет без денег?

Огудалова. Без денег, Мокий Парменыч! Где ж нам взять денег-то?

Кнуров. Что ж он, средства имеет большие, жених-то ваш?

Огудалова. Какие средства! Самые ограниченные!

Кнуров. Да... А как вы полагаете, хорошо вы поступили, что отдаете Ларису Дмитриевну за человека бедного?

Огудалова. Не знаю, Мокий Парменыч! Я тут ни при чем: ее воля была.

Кнуров. Ну, а этот молодой человек, как, по-вашему, хорошо поступает?

Огудалова. Что ж, я нахожу, что это похвально с его стороны.

Кнуров. Ничего тут нет похвального, напротив, это непохвально. Пожалуй, с своей точки зрения, он не глуп; что он такое... кто его знает, кто на него обратит внимание! А теперь весь город заговорит про него, он влезает в лучшее общество, он позволяет себе приглашать меня на обед, например... Но вот что глупо: он не подумал или не захотел подумать, как и чем ему жить с такой женой. Вот об чем поговорить нам с вами следует.

Огудалова. Сделайте одолжение, Мокий Парменыч!

Кнуров. Как вы думаете о вашей дочери, что она такое?

Огудалова. Да уж я не знаю, что и говорить; мне одно осталось: слушать вас.

Кнуров. Ведь в Ларисе Дмитриевне земного, этого житейского, нет. Ну, понимаете, тривиального¹, что нужно для бедной семейной жизни?

Огудалова. Ничего нет, ничего.

Кнуров. Ведь это эфир?

Огудалова. Эфир, Мокий Парменыч!

Кнуров. Она создана для блеску!

Огудалова. Для блеску, Мокий Парменыч!

Кнуров. Ну, а может ли ваш Карандышев доставить ей этот блеск?

Огудалова. Нет, где же!

Кнуров. Бедной полумещанской жизни она не вынесет. Что ж остается ей? Зачахнуть, а потом, как водится, — чахотка.

Огудалова. Ах, что вы, что вы! Сохрани Бог!

Кнуров. Хорошо, если она догадается поскорее бросить мужа и вернуться к вам.

Тривиальное — избитое, пошлое, лишенное оригинальности.

Огудалова. Опять беда, Мокий Парменыч, чем мне жить с дочерью!

Кнуров. Ну, эта беда поправимая. Теплое участие сильного, богатого человека.

Огудалова. Хорошо, как найдется это участие.

Кнуров. Надо постараться приобрести. В таких случаях доброго друга, солидного, прочного, иметь необходимо.

Огудалова. Уж как необходимо-то.

Кнуров. Вы можете мне сказать, что она еще и замуж-то не вышла, что еще очень далеко то время, когда она может разойтись с мужем. Да, пожалуй, может быть, что и очень далеко, а ведь может быть, что и очень близко. Так лучше предупредить вас, чтоб вы еще не сделали какой-нибудь ошибки, чтоб знали, что я для Ларисы Дмитриевны ничего не пожалею... Что вы улыбаетесь?

Огудалова. Я очень рада, Мокий Парменыч, что вы так расположены к нам.

Кнуров. Вы, может быть, думаете, что такие предложения не бывают бескорыстны?

Огудалова. Ах, Мокий Парменыч!

Кнуров. Обижайтесь, если угодно, прогоните меня!

Огудалова (*конфузась*). Ах, Мокий Парменыч!

Кнуров. Найдите таких людей, которые посулят вам десятки тысяч даром, да тогда и браните меня. Не трудитесь напрасно искать; не найдете. Но я увлекся в сторону, я пришел не для этих разговоров. Что это у вас за коробочка?

Огудалова. Это я, Мокий Парменыч, хотела дочери подарок сделать...

Кнуров (*рассматривая вещи*). Да...

Огудалова. Да дорого, не по карману.

Кнуров (*отдает коробочку*). Ну, это пустяки, есть дела поважнее. Вам нужно сделать для Ларисы Дмитриевны хороший гардероб, то есть мало сказать хороший — очень хороший. Подвенечное платье, ну, и все там, что следует.

Огудалова. Да, да, Мокий Парменыч.

Кнуров. Обидно будет видеть, если ее оденут кой-как. Так вы закажите все это в лучшем магазине, да не рассчитывайте и не копейничайте! А счета пришлите ко мне: я заплачу.

Огудалова. Право, даже уж и слов-то не подберешь, как благодарить вас.

Кнуров. Вот зачем, собственно, я зашел к вам. (*Встает.*)

Огудалова. А все-таки мне завтра хотелось бы дочери сюрприз сделать. Сердце матери, знаете...

Кнуров (*берет коробочку*). Ну, что там такое? Что стоит?

Огудалова. Оцените, Мокий Парменыч!

Кнуров. Что тут ценить! Пустое дело! Триста рублей это стоит. (*Достает из бумажника деньги и отдает Огудаловой.*) До свиданья! Я пойду еще побродить... Я нынче на хороший обед

рассчитываю. За обедом увидимся. *(Идет к двери.)*

Огудалова. Очень, очень вам благодарна за все, Мокий Парменыч, за все!

Кнуров уходит. Входит Лариса с корзинкой в руке.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Огудалова, Лариса.

Лариса *(ставит корзинку на стол и рассматривает вещи в коробочке)*. Это Вася-то подарил? Недурно. Какой милый!

Огудалова. «Недурно»! Это очень дорогие вещи. Будто ты не рада?

Лариса. Никакой особенной радости не чувствую.

Огудалова. Ты поблагодари Васю, так шепни ему на ухо: «Благодарю, мол». И Кнурову тоже.

Лариса. А Кнурову за что?

Огудалова. Уж так надо; я знаю, за что.

Лариса. Ах, мама, все-то у тебя секреты да хитрости.

Огудалова. Ну, ну, хитрости! Без хитростей на свете не проживешь.

Лариса *(берет гитару, садится к окну и запекает)*.

Матушка, голубушка, солнышко мое,

Пожалей, родимая, дитяtko твое.

Юлий Капитоныч хочет в мировые судьи баллотироваться.

Огудалова. Ну, вот и прекрасно! В какой уезд?

Лариса. В Заболотье.

Огудалова. Ай, в лес ведь это? Что ему вздумалось такую даль?

Лариса. Там кандидатов меньше: наверно выберут.

Огудалова. Что ж, ничего,— и там люди живут.

Лариса. Мне хоть бы в лес, да только поскорей отсюда вырваться.

Огудалова. Да оно и хорошо в захолустье пожить, там и твой Карандышев мил покажется, пожалуй, первым человеком в уезде будет, вот помаленьку и привыкнешь к нему.

Лариса. Да он и здесь хорош; я в нем ничего не замечаю дурного.

Огудалова. Ну, что уж! Такие ль хорошие-то бывают!

Лариса. Конечно, есть и лучше; я сама это очень хорошо знаю.

Огудалова. Есть, да не про нашу честь.

Лариса. Теперь для меня и этот хорош... Да что толковать, дело решенное. *

Огудалова. Я ведь только радуюсь, что он тебе нравится. Слава Богу! Осуждать его перед тобой я не стану, а и притворяться-то нам друг перед другом нечего — ты сама не слепая.

Л а р и с а. Я ослепла, я все чувства потеряла, да и рада. Давно уж точно во сне вижу, что кругом меня происходит. Нет, уехать надо, вырваться отсюда. Я стану приставать к Юлию Капитонычу. Скоро и лето пройдет, а я хочу гулять по лесам, собирать ягоды, грибы...

Огудалова. Вот для чего ты корзиночку-то приготовила. Понимаю теперь. Ты уж и шляпу соломенную с широкими полями заведи, вот и будешь пастушкой.

Лариса. И шляпу заведу. *(Заневает.)*

Не искушай меня без нужды...

Там спокойствие, тишина.

Огудалова. А вот сентябрь настанет, так не очень тихо будет: ветер-то загудит в окно.

Лариса. Ну, что ж такое?

Огудалова. Волки завоют на разные голоса.

Лариса. Все-таки лучше, чем здесь. Я, по крайней мере, душой отдохну.

Огудалова. Да разве я тебя отговариваю? Поезжай, сделай милость, отдохай душой! Только знай, что Заболотье не Италия. Это я обязана тебе сказать, а то как ты разочаруешься, так меня же будешь винить, что я тебя не предупредила.

Лариса. Благодарю тебя... Но пусть там и дико, и глухо, и холодно; для меня после той жизни, которую я здесь испытала, всякий тихий уголок покажется раем. Что это Юлий Капитоныч медлит, я не понимаю.

Огудалова. До деревни ль ему! Ему покрасоваться хочется. Да и не удивительно: из ничего, да в люди попал.

Лариса *(напевает)*.

Не искушай меня без нужды...

Экая досада, не налажу никак. *(Взглянув в окно.)* Илья, Илья! Зайди на минутку! Наберу с собой в деревню романсов и буду играть да петь от скуки.

Входит Илья.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Огудалова, Лариса, Илья.

Илья. С праздником! Дай Бог здорово да счастливо! *(Кладет фуражку на стул у двери.)*

Лариса. Илья, наладь мне: «Не искушай меня без нужды». Все сбиваюсь. *(Подает гитару.)*

Илья. Сейчас, барышня! *(Берет гитару и подстраивает.)* Хороша песня; она в три голоса хороша, тенор надо: второе колено делает... Больно хорошо. А у нас беда, ах, беда!

Огудалова. Какая беда?

Илья. Антон у нас есть, тенор поет...

Огудалова. Знаю, знаю.

Илья. Один тенор и есть, а то все басы. Какие басы, какие басы! А тенор один Антон!

Огудалова. Так что ж?

Илья. Не годится в хор,— хоть брось.

Огудалова. Нездоров?

Илья. Нет, здоров, совсем невредимый.

Огудалова. Что же с ним?

Илья. Попролам перегнуло набок, совсем углом, так глаголем и ходит... другая неделя... ах, беда! Теперь в хоре всякий лишний человек дорого стоит, а без тенора как быть! К дохтору ходил, дохтор и говорит: «Через неделю, через две отпустит, опять прямой будешь». А нам теперь его надо.

Лариса. Да ты пой!

Илья. Сейчас, барышня... Секунда фальшивит. Вот беда, вот беда! В хоре надо браво стоять, а его набок перегнуло.

Огудалова. От чего это с ним?

Илья. От глупости.

Огудалова. От какой глупости?

Илья. Такая есть глупость в нас. Говорил: «Наблюдай, Антон, эту осторожность!» А он не понимает.

Огудалова. Да и мы не понимаем.

Илья. Ну, не вам будь сказано: гулял. Так гулял, так гулял! Я говорю: «Антон, наблюдай эту осторожность!» А он не понимает. Ах, беда, ах, беда! Теперь сто рублей человек стоит, вот какое дело у нас, такого барина ждем, а Антона набок свело. Какой прямой цыган был, а теперь кривой! *(Запеваёт басом.)* «Не ищущай!...»

Голос в окне: «Илья, Илья, ча одарйк! ча сегёр!»¹

Палсо? Со туке тебе?²

Голос с улицы: «Иди, барин приехал!»

Хохавеса!³

Голос с улицы: «Верно приехал!»

Некогда, барышня, барин приехал! *(Кладет гитару и берет фуражку.)*

Огудалова. Какой барин?

Илья. Такой барин, ждем не дождемся; год ждали — вот какой барин! *(Уходит.)*

¹ поди сюда! иди скорей! *(Перевод А. Н. Островского.)*

² Зачем? Что тебе? *(Перевод А. Н. Островского.)*

³ Обманываешь! *(Перевод А. Н. Островского.)*

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Огудалова, Лариса.

Огудалова. Кто ж бы это приехал? Должно быть богатый и, вероятно, Лариса, холостой, коли цыгане так ему обрадовались. Видно, уж так у цыган и живет. Ах, Лариса, не прозевали ли мы жениха? Куда торопиться-то было?

Лариса. Ах, мама, мало, что ли, я страдала? Нет, довольно унижаться.

Огудалова. Эко страшное слово сказала: «унижаться»! Испугать, что ли, меня вздумала? Мы люди бедные, нам унижаться-то всю жизнь. Так уж лучше унижаться смолоду, чтоб потом пожить по-человечески.

Лариса. Нет, не могу, тяжело, невыносимо тяжело.

Огудалова. А легко-то ничего не добудешь, всю жизнь и останешься ничем.

Лариса. Опять притворяться, опять лгать.

Огудалова. И притворяйся и лги! Счастье не пойдет за тобой, если сама от него бегаешь.

Входит Карандышев.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Огудалова, Лариса, Карандышев.

Огудалова. Юлий Капитоныч, Лариса у нас в деревню собралась, вот и корзинку для грибов приготовила.

Лариса. Да, сделайте для меня эту милость, поедemте поскорей!

Карандышев. Я вас не понимаю; куда вы торопитесь, зачем?

Лариса. Мне так хочется бежать отсюда.

Карандышев (*запальчиво*). От кого бежать? Кто вас гонит? Или вы стыдитесь за меня, что ли?

Лариса (*холодно*). Нет, я за вас не стыжусь. Не знаю, что дальше будет, а пока вы мне еще повода не подали.

Карандышев. Так зачем бежать, зачем скрываться от людей? Дайте мне время устроиться, опомниться, прийти в себя! Я рад, я счастлив. Дайте мне возможность почувствовать всю приятность моего положения.

Огудалова. Повеличаться.

Карандышев. Да, повеличаться, я не скрываю. Я много, очень много перенес уколов для своего самолюбия, моя гордость не раз была оскорблена; теперь я хочу и вправе погордиться и повеличаться.

Лариса. Вы когда же думаете ехать в деревню?

Карандышев. После свадьбы когда вам угодно, хоть на

другой день. Только венчаться непременно здесь, чтобы не сказали, что мы прячемся, потому что я не жених вам, не пара, а только та соломинка, за которую хватается утопающий.

Лариса. Да ведь последнее-то почти так, Юлий Капитоныч, вот это правда.

Карандышев (*с сердцем*). Так правду эту вы знайте про себя! (*Сквозь слезы.*) Пожалейте вы меня хоть сколько-нибудь! Пусть хоть посторонние-то думают, что вы любите меня, что выбор ваш был свободен.

Лариса. Зачем это?

Карандышев. Как зачем? Разве вы уж совсем не допускаете в человеке самолюбия?

Лариса. Самолюбие! Вы только о себе! Все себя любят! Когда же меня-то будет любить кто-нибудь? Доведете вы меня до гибели!!

Огудалова. Полно, Лариса, что ты?

Лариса. Мама, я боюсь, я чего-то боюсь. Ну, послушайте: если уж свадьба будет здесь, так, пожалуйста, чтобы поменьше было народу, чтобы как можно тише, скромнее.

Огудалова. Нет, ты не фантазируй! Свадьба так свадьба! Я Огудалова, я нищенства не допущу. Ты у меня заблестишь так, что здесь и не видывали!

Карандышев. Да и я ничего не пожалею.

Лариса. Ну, я молчу. Я вижу, что я для вас кукла; поиграете вы мной, изломаете и бросите.

Карандышев. Вот и обед сегодня для меня обойдется недорого.

Огудалова. А этот обед ваш я считаю уж совсем лишним — напрасная трата.

Карандышев. Да если б он стоил мне вдвое, втрое, я б не пожалел денег.

Огудалова. Никому он не нужен.

Карандышев. Мне нужен.

Лариса. Да зачем, Юлий Капитоныч?

Карандышев. Лариса Дмитриевна, три года я терпел унижения, три года я сносил насмешки прямо в лицо от ваших знакомых, надо же и мне, в свою очередь, посмеяться над ними!

Огудалова. Что вы еще придумываете! Ссору, что ли, затеять хотите? Так мы с Ларисой и не поедем.

Лариса. Ах, пожалуйста, не обижайте никого.

Карандышев. Не обижайте! А меня обижать можно? Да успокойтесь, никакой ссоры не будет: все будет очень мирно. Я предложу за вас тост и поблагодарю вас публично за счастье, которое вы делаете мне своим выбором, за то, что вы отнеслись ко мне не так, как другие, что вы оценили меня и поверили в искренность моих чувств. Вот и все, вот и вся моя месть!

Огудалова. И все это совсем не нужно.

Карандышев. Нет, уж эти фаты одолели меня своим фанфаронством. Ведь не сами они нажили богатство, что ж они им хвастаются. По пятнадцати рублей за порцию чаю бросают!

Огудалова. Все это вы на бедного Васю нападаете.

Карандышев. Да не один Вася, все хороши. Вон посмотрите, что в городе делается, какая радость на лицах. Извозчики все повеселели, скачут по улицам, кричат друг другу: «Барин приехал, барин приехал...» Половые в трактирах тоже сияют, выбегают на улицу, из трактира в трактир перекликаются: «Барин приехал, барин приехал!» Цыгане с ума сошли, все вдруг галдят, машут руками. У гостиницы съезд, толпа народу. Сейчас к гостинице четыре цыганки разряженные в коляске подъехали, поздравить с приездом... Чудо, что за картина! А барин-то, я слышал, промотался совсем, последний парходишко продал. Кто приехал?

Промотавшийся кутила, развратный человек, и весь город рад. Хороши нравы!

Огудалова. Да кто приехал-то?

Карандышев. Ваш Сергей Сергеич Паратов.

Лариса в испуге встает.

Огудалова. А, так вот кто!

Лариса. Поедьте в деревню, сейчас поедемте!

Карандышев. Теперь-то и не нужно ехать.

Огудалова. Что ты, Лариса, зачем от него прятаться? Он не разбойник!

Лариса. Что вы меня не слушаете? Топите вы меня, толкаете в пропасть!

Огудалова. Ты сумасшедшая!

Карандышев. Чего вы боитесь?

Лариса. Я не за себя боюсь.

Карандышев. За кого же?

Лариса. За вас.

Карандышев. О, за меня не бойтесь! Я в обиду не дамся. Попробуй он только задеть меня, так увидит...

Огудалова. Нет, что вы! Сохрани вас Бог! Это ведь не Вася. Вы поосторожнее с ним, а то жизни не рады будете.

Карандышев (у окна). Вот, извольте видеть, к вам подъехал; четыре иноходца в ряд и цыган на козлах с кучером. Какую пыль в глаза пускает.

Оно, конечно, никому вреда нет, пусть тешится, а в сущности-то, и гнусно и глупо.

Лариса (Карандышеву). Пойдемте, пойдемте ко мне в комнату. Мама, прими сюда, пожалуйста, отделайся от его визитов!

Лариса и Карандышев уходят. Входит Паратов.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Огудалова, Паратов.

Паратов (*всю сцену ведет в шутливо-серьезном тоне*). Тетенька, ручку!

Огудалова (*протягивая руку*). Ах, Сергей Сергеич! Ах, родной мой!

Паратов. В объятия желаете заключить? Можно. (*Обнимаются и целуются.*)

Огудалова. Каким ветром занесло? Проездом, вероятно?

Паратов. Нарочно сюда, и первый визит к вам, тетенька!

Огудалова. Благодарю. Как поживаете, как дела ваши?

Паратов. Гневить Бога нечего, тетенька, живу весело, а дела неважны.

Огудалова (*поглядев на Паратова*). Сергей Сергеич, скажите, мой родной, что это вы тогда так вдруг исчезли?

Паратов. Неприятную телеграмму получил, тетенька.

Огудалова. Какую?

Паратов. Управители мои и управляющие свели без меня домок мой в ореховую скорлупку-с. Своими операциями довели было до аукционной продажи мои пароходики и все движимое и недвижимое имение. Так я полетел тогда спасать свои животики-с.

Огудалова. И, разумеется, все спасли и все устроили.

Паратов. Никак нет-с; устроил, да не совсем, брешь порядочная осталась. Впрочем, тетенька, духу не теряю и веселого расположения не утратил.

Огудалова. Вижу, что не утратил.

Паратов. На одном потеряем, на другом выиграем, тетенька, вот наше дело какое.

Огудалова. На чем же вы выиграть хотите? Новые обороты завели?

Паратов. Не нам, легкомысленным джентльменам, новые обороты заводить! За это в долговое отделение, тетенька. Хочу продать свою волюшку.

Огудалова. Понимаю: выгодно жениться хотите? А во сколько вы цените свою волюшку?

Паратов. В полмиллиона-с.

Огудалова. Порядочно.

Паратов. Дешевле, тетенька, нельзя-с, расчету нет, себе дороже, сами знаете.

Огудалова. Молодец мужчина!

Паратов. С тем возьмите.

Огудалова. Экой сокол! Глядеть на тебя да радоваться.

Паратов. Очень лестно слышать от вас. Ручку пожалуйте. (*Целует руку.*)

Огудалова. А покупатели, то есть покупательницы-то, есть?

Паратов. Поискать, так найдутся.

Огудалова. Извините за нескромный вопрос!

Паратов. Коли очень нескромный, так не спрашивайте, я стыдлив.

Огудалова. Да полно тебе шутить-то! Есть невеста или нет? Коли есть, так кто она?

Паратов. Хоть зарежьте, не скажу.

Огудалова. Ну, как знаешь.

Паратов. Я бы желал засвидетельствовать свое почтение Ларисе Дмитриевне. Могу я ее видеть?

Огудалова. Отчего же... Я ее сейчас пришлю к вам. (*Берет футляр с вещами.*) Да вот, Сергей Сергеич, завтра Ларисы рождение, хотелось бы подарить ей эти вещи, да денег много не хватает.

Паратов. Тетенька, тетенька! ведь уж человек с трех взяли? Я тактику-то вашу помню.

Огудалова (*берет Паратова за ухо*). Ах ты, проказник!

Паратов. Я завтра сам привезу подарок, получше этого.

Огудалова. Я позову к вам Ларису. (*Уходит.*)

Входит Лариса.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Паратов, Лариса.

Паратов. Не ожидали?

Лариса. Нет, теперь не ожидала. Я ждала вас долго, но уж давно перестала ждать.

Паратов. Отчего же перестали ждать?

Лариса. Не надеялась дожждаться. Вы скрылись так неожиданно, и ни одного письма.

Паратов. Я не писал потому, что не мог сообщить вам ничего приятного.

Лариса. Я так и думала.

Паратов. И замуж выходите?

Лариса. Да, замуж.

Паратов. А позвольте вас спросить, долго вы меня ждали? Лариса. Зачем вам знать это?

Паратов. Мне не для любопытства, Лариса Дмитриевна, меня интересуют чисто теоретические соображения. Мне хочется знать, скоро ли женщина забывает страстно любимого человека: на другой день после разлуки с ним, через неделю или через месяц... имел ли право Гамлет сказать матери, что она «башмаков еще не износила» и так далее...

Лариса. На ваш вопрос я вам не отвечу, Сергей Сергеич, можете думать обо мне, что вам угодно.

Паратов. Об вас я всегда буду думать с уважением, но женщины вообще, после вашего поступка, много теряют в глазах моих.

Лариса. Да какой мой поступок? Вы ничего не знаете.

Паратов. Эти «кроткие, нежные взгляды», этот сладкий любовный шепот, когда каждое слово чередуется с глубоким вздохом, эти клятвы!.. И все это через месяц повторяется другому, как выученный урок. О, женщины!

Лариса. Что «женщины»?

Паратов. Ничтожество вам имя!

Лариса. Ах, как вы смеете так обижать меня? Разве вы знаете, что я после вас полюбила кого-нибудь? Вы уверены в этом?

Паратов. Я не уверен, но полагаю.

Лариса. Чтобы так жестоко упрекать, надо знать, а не полагать.

Паратов. Вы выходите замуж?

Лариса. Но что меня заставило?.. Если дома жить нельзя, если во время страшной, смертельной тоски заставляют любезничать, улыбаться, навязывают женихов, на которых без отвращения нельзя смотреть, если в доме скандалы, если надо бежать и из дому и даже из города?

Паратов. Лариса, так вы?..

Лариса. Что «я»? Ну, что вы хотели сказать?

Паратов. Извините! Я виноват перед вами. Так вы не забыли меня, вы еще... меня любите?

Лариса молчит.

Ну, скажите, будьте откровенны!

Лариса. Конечно, да. Нечего и спрашивать.

Паратов (*нежно целует руку Ларисы*). Благодарю вас, благодарю.

Лариса. Вам только и нужно было: вы — человек гордый.

Паратов. Уступить вас я могу, я должен по обстоятельствам, но любовь вашу уступить было бы тяжело.

Лариса. Неужели?

Паратов. Если б вы предпочли мне кого-нибудь, вы оскорбили бы меня глубоко, и я нелегко бы простил вам это.

Лариса. А теперь?

Паратов. А теперь я во всю жизнь сохраню самое приятное воспоминание о вас, и мы расстанемся как лучшие друзья.

Лариса. Значит, пусть женщина плачет, страдает, только бы любила вас?

Паратов. Что делать, Лариса Дмитриевна! В любви равенства нет, это уж не мной заведено. В любви приходится иногда и плакать.

Лариса. И непременно женщине?

Паратов. Уж, разумеется, не мужчине.

Лариса. Да почему?

Паратов. Очень просто, потому что если мужчина запла-

чет, так его бабой назовут, а эта кличка для мужчины хуже всего, что только может изобрести ум человеческий.

Лариса. Кабы любовь-то была равная с обеих сторон, так слез-то бы не было. Бывает это когда-нибудь?

Паратов. Изредка случается. Только уж это какое-то кондитерское пирожное выходит, какое-то безе.

Лариса. Сергей Сергеич, я сказала вам то, чего не должна была говорить; я надеюсь, что вы не употребите во зло моей откровенности.

Паратов. Помилуйте, за кого же вы меня принимаете! Если женщина свободна, ну, тогда другой разговор... Я, Лариса Дмитриевна, человек с правилами, брак для меня дело священное. Я этого вольнодумства терпеть не могу. Позвольте узнать: ваш будущий супруг обладает многими достоинствами?

Лариса. Нет, одним только.

Паратов. Немного.

Лариса. Зато дорогим.

Паратов. А именно?

Лариса. Он любит меня.

Паратов. Действительно, дорогим; это для домашнего обихода очень хорошо.

Входят Огудалова и Карандышев.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Паратов, Лариса, Огудалова, Карандышев, потом лакей.

Огудалова. Позвольте вас познакомить, господа! (*Паратову.*) Юлий Капитоныч Карандышев! (*Карандышеву.*) Сергей Сергеич Паратов!

Паратов (*подавая руку Карандышеву*). Мы уж знакомы. (*Кланяясь.*) Человек с большими усами и малыми способностями. Прошу любить и жаловать. Старый друг Хариты Игнатьевны и Ларисы Дмитриевны.

Карандышев (*сдержанно*). Очень приятно.

Огудалова. Сергей Сергеич у нас в доме как родной.

Карандышев. Очень приятно.

Паратов (*Карандышеву*). Вы не ревнивы?

Карандышев. Я надеюсь, что Лариса Дмитриевна не подаст мне никакого повода быть ревнивым.

Паратов. Да ведь ревнивые люди ревнуют без всякого повода.

Лариса. Я ручаюсь, что Юлий Капитоныч меня ревновать не будет.

Карандышев. Да, конечно, но если бы...

Паратов. О да, да. Вероятно, это было бы что-нибудь очень ужасное.

Огудалова. Что вы, господа, затеяли! Разве нет других разговоров, кроме ревности!

Лариса. Мы, Сергей Сергеич, скоро едем в деревню.

Паратов. От прекрасных здешних мест?

Карандышев. Что же вы находите здесь прекрасного?

Паратов. Ведь это как кому; на вкус, на цвет образца нет.

Огудалова. Правда, правда. Кому город нравится, а кому деревня.

Паратов. Тетенька, у всякого свой вкус: один любит арбуз, а другой — свиной хрящик.

Огудалова. Ах, проказник! Откуда вы столько пословиц знаете?

Паратов. С бурлаками водился, тетенька, так русскому языку выучишься.

Карандышев. У бурлаков учиться русскому языку!

Паратов. А почему ж у них не учиться?

Карандышев. Да потому, что мы считаем их...

Паратов. Кто это: мы?

Карандышев (*разгорячась*). Мы, то есть образованные люди, а не бурлаки.

Паратов. Ну-с, чем же вы считаете бурлаков? Я судово-зьян и вступаюсь за них, я сам такой же бурлак.

Карандышев. Мы считаем их образцом грубости и невежества.

Паратов. Ну, далее, господин Карандышев!

Карандышев. Все, больше ничего.

Паратов. Нет, не все, главного недостает: вам нужно просить извинения.

Карандышев. Мне — извиняться!

Паратов. Да, уж нечего делать, надо.

Карандышев. Да с какой стати! Это мое убеждение.

Паратов. Но-но-но-но! Отвилиять нельзя.

Огудалова. Господа, господа, что вы!

Паратов. Не беспокойтесь, я за это на дуэль не вызову: ваш жених цел останется; я только поучу его. У меня правило: никому ничего не прощать; а то страх забудут, забываясь станут.

Лариса (*Карандышеву*). Что вы делаете? Просите извинения сейчас, я вам приказываю.

Паратов (*Огудаловой*). Кажется, пора меня знать. Если я кого хочу поучить, так на неделю дома запираюсь да казнь придумываю.

Карандышев (*Паратову*). Я не понимаю...

Паратов. Так выучитесь прежде понимать, да потом и разговаривайте!

Огудалова. Сергей Сергеич, я на колени брошусь перед вами; ну, ради меня, извините его!

Паратов (*Карандышеву*). Благодарите Хариту Игнатьевну. Я вас прощаю. Только, мой родной, разбирайте людей! Я еду-еду — не свищу, а наеду — не спущу!

Робинзон целует руки у Огудаловой и Ларисы.

Ну, милорд, теперь поди сюда!

Огудалова. Что это вы как командуете вашим другом?

Вожеватов. Он почти не бывал в дамском обществе, так застенчив. Все больше путешествовал, и по воде и по суше, а вот недавно совсем было одичал на необитаемом острове. (*Карандышеву.*) Позвольте вас познакомить! Лорд Робинзон, Юлий Капитоныч, Карандышев.

Карандышев (*подавая руку Робинзону*). Вы уж давно выехали из Англии?

Робинзон. Yes (Йес)¹.

Вожеватов (*Паратову*). Я его слова три по-английски выучил, да, признаться, и сам-то не много больше знаю. (*Робинзону.*) Что ты на вино-то поглядываешь? Харита Игнатьевна, можно?

Огудалова. Сделайте одолжение.

Вожеватов. Англичане ведь целый день пьют вино, с утра.

Огудалова. Неужели вы целый день пьете?

Робинзон. Yes.

Вожеватов. Они три раза завтракают да потом обедают с шести часов до двенадцати.

Огудалова. Возможно ли?

Робинзон. Yes.

Вожеватов (*Робинзону*). Ну, наливай!

Робинзон (*налив стаканы*). If you please! (Иф ю плиз!)²

Пьют.

Паратов (*Карандышеву*). Пригласите и его обедать. Мы с ним везде вместе, я без него не могу.

Карандышев. Как его зовут?

Паратов. Да кто ж их по именам зовет? Лорд-милорд...

Карандышев. Разве он лорд?

Паратов. Конечно, не лорд; да они так любят. А то просто: сэр Робинзон.

Карандышев (*Робинзону*). Сэр Робинзон, прошу покорно сегодня откусать у меня.

Робинзон. I thank you (Ай сенк ю)³.

Карандышев (*Огудаловой*). Харита Игнатьевна, я отправляюсь домой, мне нужно похлопотать кой о чем. (*Кланяясь всем.*) Я вас жду, господа. Честь имею кланяться! (*Уходит.*)

Паратов (*берет шляпу*). Да и нам пора, надо отдохнуть с дороги.

Вожеватов. К обеду приготовиться.

Огудалова. Погодите, господа, не все вдруг.

Огудалова и Лариса уходят за Карандышевым в переднюю.

¹ Да (*англ.*).

² Пожалуйста! (*англ.*).

³ Я благодарю вас (*англ.*).

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Паратов, Вожеватов и Робинзон.

Вожеватов. Понравился вам жених?

Паратов. Чему тут нравиться! Кому он может нравиться! А еще разговаривает, гусь лапчатый!

Вожеватов. Разве было что?

Паратов. Был разговор небольшой. Топорщился тоже, как и человек, петушиться тоже вздумал. Да погоди, дружок, я над тобой, дружок, потешусь. (*Ударив себя по лбу.*) Ах, какая мысль блестящая! Ну, Робинзон, тебе предстоит работа трудная, старайся...

Вожеватов. Что такое?

Паратов. А вот что... (*Прислушиваясь.*) Идут! После скажу, господа!

Входят Огудалова и Лариса.

Честь имею кланяться.

Вожеватов. До свидания!

Раскланиваются.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЛИЦА

Евфросинья Потаповна, тетка Карандышева.	Кнуров. Вожеватов.
Карандышев.	Робинзон.
Огудалова.	Иван.
Лариса.	Илья, цыган.
Паратов.	

Кабинет Карандышева. Комната, меблированная с претензиями, но без вкуса; на одной стене прибит над диваном ковер, на котором развешано оружие. Три двери: одна посредине, две по бокам.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Евфросинья Потаповна, Иван (выходит из двери налево).

Иван. Лимонов пожалуйте!

Евфросинья Потаповна. Каких лимонов, аспид?

Иван. Мессинских-с.

Евфросинья Потаповна. На что они тебе понадобились?

Иван. После обеда которые господа кофей кушают, а которые чай, так к чаю требуются.

Евфросинья Потаповна. Вымотали вы из меня всю душеньку нынче. Поддай клюквенного морсу, разве не все равно. Возьми там у меня графинчик; ты поосторожнее, графинчик-то старенький, пробочка и так еле держится, сургучиком подклеена. Пойдем, я сама выдам. (*Уходит в среднюю дверь, Иван за ней.*)

Входят Огудалова и Лариса слева.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Огудалова, Лариса.

Лариса. Ах, мама, я не знала, куда деться.

Огудалова. Я так и ожидала от него.

Лариса. Что за обед, что за обед! А еще зовет Мокия Парменыча! Что он делает?

Огудалова. Да, угостил, нечего сказать.

Лариса. Ах, как нехорошо! Нет хуже этого стыда, когда приходится за других стыдиться... Вот мы ни в чем не виноваты, а стыдно, стыдно, так бы убежала куда-нибудь. А он как будто не замечает ничего, он даже весел.

Огудалова. Да ему и заметить нельзя: он ничего не знает, он никогда и не видывал, как порядочные люди обедают. Он еще думает, что удивил всех своей роскошью; вот он и весел. Да разве ты не замечаешь? Его нарочно подпаивают.

Лариса. Ах, ах! останови его, останови его!

Огудалова. Как остановить! он — не малолетний, пора без няньки жить.

Лариса. Да ведь он не глуп, как же он не видит этого!

Огудалова. Не глуп, да самолюбив. Над ним подтрунивают, вина похваливают, он и рад; сами-то только вид делают, что пьют, а ему подливают.

Лариса. Ах! я боюсь, всего боюсь. Зачем они это делают?

Огудалова. Да так просто, позабавиться хотят.

Лариса. Да ведь они меня терзают-то?

Огудалова. А кому нужно, что ты терзаешься. Вот, Лариса, еще ничего не видя, а уж терзание; что дальше-то будет?

Лариса. Ах, дело сделано, можно только жалеть, а поправить нельзя.

Входит Евфросинья Потаповна.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Огудалова, Лариса и Евфросинья Потаповна.

Евфросинья Потаповна. Уж откушали? А чаю не угодно?

Огудалова. Нет, увольте.

Евфросинья Потаповна. А мужчины-то что?

Огудалова. Они там сидят, разговаривают.

Евфросинья Потаповна. Ну, покушали и вставали бы; чего еще дожидаются? Уж достался мне этот обед; что хлопот, что изъяну! Поваришки разбойники, в кухню-то точно какой победитель придет, слова ему сказать не смей!

Огудалова. Да об чем с ним разговаривать? Коли он хороший повар, так учить его не надо.

Евфросинья Потаповна. Да не об ученье речь, а много очень добра изводят. Кабы свой материал, домашний, деревенский, так я бы слова не сказала, а то купленный, дорогой, так его и жалко. Помилуйте, требует сахару, ванилю, рыбьего клею; а ваниль этот дорогой, а рыбий клей еще дороже. Ну и положил бы чуточку для духу, а он валит зря: сердце-то и мрет, на него глядя.

Огудалова. Да, для расчетливых людей, конечно...

Евфросинья Потаповна. Какие тут расчеты, коли человек с ума сошел. Возьмем стерлядь: разве вкус-то в ней не один, что большая, что маленькая? А в цене-то разница^ ох, велика! Полтинничек десяток и за глаза бы, а он по полтиннику штуку платил.

Огудалова. Ну, этим, что были за обедом, еще погулять по Волге да подрасти бы не мешало.

Евфросинья Потаповна. Ах, да ведь, пожалуй, есть и в рубль и в два; плати, у кого деньги бешеные. Кабы для начальника какого высокого али для владыки, ну, уж это так и полагается, а то для кого! Опять вино хотел было дорогое покупать, в рубль и больше, да купец честный человек попался: берите, говорит, кругом по шести гривен за бутылку, а ерлыки наклеим, какие прикажете! Уж и вино отпустил! Можно сказать, что на чести. Попробовала я рюмочку, так и гвоздикой-то пахнет, и розаном пахнет, и еще чем-то. Как ему быть дешевым, когда в него столько дорогих духов кладется! И деньги немалые: шесть гривен за бутылку; а уж и стоит дать. А дороже платить не из чего, жалованьем живем. Вот у нас сосед женился, так к нему этого одного пуху: перин да подушек, возили-возили, возили-возили, да все чистого; потом пушного: и лисица, и куница, и соболь! Все это в дом, так есть из чего ему тратиться. А вот рядом чиновник женился, так всего приданого привезли фортепьяны старые. Не разживешься. Все равно и нам форсить нестати.

Лариса (Огудаловой). Бежала б я отсюда куда глаза глядят.

Огудалова. Невозможно, к несчастью.

Евфросинья Потаповна. Да коли вам не по себе, так пожалуйста ко мне в комнату, а то придут мужчины, накурят так, что не продохнешь. Что я стою-то! Бежать мне серебро сосчитать да запереть, нынче народ без креста.

Огудалова и Лариса уходят в дверь направо. Евфросинья Потаповна в среднюю.
Из двери налево выходят Паратов, Кнуров, Вожеватов.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Паратов, Кнуров и Вожеватов.

Кнуров. Я, господа, в клуб обедать поеду, я не ел ничего.

Паратов. Подождите, Мокий Парменыч!

Кнуров. Со мной первый раз в жизни такой случай. Приглашают обедать известных людей, а есть нечего... Он человек глупый, господа.

Паратов. Мы не спорим. Надо ему отдать справедливость: он действительно глуп.

Кнуров. И сам прежде всех напился.

Вожеватов. Мы его порядочно подстроили.

Паратов. Да, я свою мысль привел в исполнение. Мне еще давеча в голову пришло накатить его хорошенько и посмотреть, что выйдет.

Кнуров. Так у вас было задумано?

Паратов. Мы прежде условились. Вот, господа, для таких случаев Робинзону-то и дороги.

Вожеватов. Золото, а не человек!

Паратов. Чтобы напоить хозяина, надо самому пить с ним вместе; а есть ли возможность глотать эту микстуру, которую он вином величает. А Робинзон — натура выдержанная на заграничных винах ярославского производства, ему нипочем. Он пьет да похваливает, пробует то одно, то другое, сравнивает, смакует с видом знатока, но без хозяина пить не соглашается; тот и попался. Человек непривычный, много ль ему надо, скорехонько и дошел до восторга.

Кнуров. Это забавно; только мне, господа, не шутя есть хочется.

Паратов. Еще успеете. Погодите немного, мы попросим Ларису Дмитриевну спеть что-нибудь.

Кнуров. Это другое дело. А где ж Робинзон?

Вожеватов. Они там еще допивают.

Входит Робинзон.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Паратов, Кнуров, Вожеватов и Робинзон.

Робинзон (*падая на диван*). Батюшки, помогите! Ну, Серж, будешь ты за меня Богу отвечать.

Паратов. Что ж ты, пьян, что ли?

Робинзон. Пьян! Разве я на это жалуюсь когда-нибудь? Кабы пьян, это бы прелесть что такое — лучше бы и желать ни-

чего нельзя. Я с этим добрым намерением ехал сюда, да с этим намерением и на свете живу. Это цель моей жизни.

Паратов. Что ж с тобой?

Робинзон. Я отравлен, я сейчас караул закричу.

Паратов. Да ты что пил-то больше, какое вино?

Робинзон. Кто же его знает? Химик я, что ли! Ни один аптекарь не разберет.

Паратов. Да что на бутылке-то, какой этикет?

Робинзон. На бутылке-то «бургонское», а в бутылке-то «киндер-бальзам»¹ какой-то. Не пройдет мне даром эта специя, уж я чувствую.

Вожеватов. Это случается: как делают вино, так переложат лишнее что-нибудь против пропорции. Ошибиться долго ли? человек — не машина. Мухоморов не переложили ли?

Робинзон. Что тебе весело! Человек погибает, а ты рад.

Вожеватов. Шабаш! Помирать тебе, Робинзон.

Робинзон. Ну, это вздор, помирать я не согласен... Ах, хоть бы знать, какое увечье-то от этого вина бывает.

Вожеватов. Один глаз лопнет непременно, ты так и жди.

За сценой голос Карандышева: «Эй, дайте нам бургонского».

Робинзон. Ну, вот, изволите слышать, опять бургонского! Спасите, погибаю! Серж, пожалей хоть ты меня! Ведь я в цвете лет, господа, я подаю большие надежды. За что ж искусство должно лишиться...

Паратов. Да не плачь, я тебя вылечу; я знаю, чем помочь тебе; как рукой снимет.

Входит Карандышев с ящиком сигар.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон и Карандышев.

Робинзон (*взглянув на ковер*). Что это у вас такое?

Карандышев. Сигары.

Робинзон. Нет, что развешано-то? Бутафорские вещи?

Карандышев. Какие бутафорские вещи? Это турецкое оружие.

Паратов. Так вот кто виноват, что австрийцы турок одолеть не могут.

Карандышев. Как? что за шутки! Помилуйте, что это за вздор! Чем я виноват?

Паратов. Вы забрали у них все дрянное, негодное оружие; вот они с горя хорошим английским и запаслись.

¹ «Киндер-бальзам» — детский бальзам (нем. Kinder-balsam) — сладкая слабая спиртовая настойка.

Вожеватов. Да, да, вот кто виноват! теперь нашлось. Ну, вам австрийцы спасибо не скажут.

Карандышев. Да чем оно негодное? Вот этот пистолет, например. *(Снимает со стены пистолет.)*

Паратов *(берет у него пистолет)*. Этот пистолет?

Карандышев. Ах, осторожнее, он заряжен!

Паратов. Не бойтесь! Заряжен ли он, не заряжен ли, опасность от него одинаковая: он все равно не выстрелит. Стреляйте в меня в пяти шагах, я позволяю.

Карандышев. Ну нет-с, и этот пистолет пригодиться может.

Паратов. Да, в стену гвозди вколачивать. *(Бросает пистолет на стол.)*

Вожеватов. Ну нет, не скажите! По русской поговорке: «На грех и из палки выстрелишь».

Карандышев *(Паратову)*. Не угодно ли сигар?

Паратов. Да ведь, чай, дорогие? Рублей семь сотня, я думаю.

Карандышев. Да-с, около того: сорт высокий, очень высокий сорт.

Паратов. Я этот сорт знаю: Регалия капустиссима dos ami-gos¹, я его держу для приятелей, а сам не курю.

Карандышев *(Кнурову)*. Не прикажете ли?

Кнуров. Не хочу я ваших сигар — свои курю.

Карандышев. Хорошенькие сигары, хорошенькие-с.

Кнуров. Ну, а хорошие, так и курите сами.

Карандышев *(Вожеватову)*. Вам не угодно ли?

Вожеватов. Для меня эти очень дороги; пожалуй, избалуешься. Не нашему носу рябину клевать: рябина — ягода нежная.

Карандышев. А вы, сэр Робинзон, курите?

Робинзон. Я-то? Станный вопрос! Пожалуйста пяточек! *(Выбирает пять штук, вынимает из кармана бумажку и тщательно заворачивает.)*

Карандышев. Что же вы не закуриваете?

Робинзон. Нет, как можно! Эти сигары надо курить в природе, в хорошем местоположении.

Карандышев. Да почему же?

Робинзон. А потому, что если их закурить в порядочном доме, так, пожалуй, прибьют, чего я терпеть не могу.

Вожеватов. Не любишь, когда бьют?

Робинзон. Нет, с детства отвращение имею.

Карандышев. Какой он оригинал! А, господа, каков оригинал! Сейчас видно, что англичанин. *(Громко.)* А где наши дамы? *(Еще громче.)* Где дамы?

Входит Огудалова.

Примерный перевод: сигары «Королевские» из капустного листа для друзей.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон,
Карандышев и Огудалова.

Огудалова. Дамы здесь, не беспокойтесь. (*Карандышеву, тихо.*) Что вы делаете?

Посмотрите вы не себя!

Карандышев. Я, помилуйте, я себя знаю. Посмотрите, все пьяны, а я только весел. Я счастлив сегодня, я торжествую.

Огудалова. Торжествуйте, только не так громко. (*Подходит к Паратову.*) Сергей Сергеевич, перестаньте издеваться над Юлием Капитонычем! Нам больно видеть: вы обижаете меня и Ларису.

Паратов. Ах, тетенька, смею ли я!

Огудалова. Неужели вы еще не забыли давешнюю ссору? Как не стыдно!

Паратов. Что вы! Я, тетенька, не злопамятен. Да извольте, я для вашего удовольствия все это покончу одним разом. Юлий Капитоныч!

Карандышев. Что вам угодно?

Паратов. Хотите брудершафт со мной выпить?

Огудалова. Вот это хорошо. Благодарю вас!

Карандышев. Брудершафт, вы говорите? Извольте, с удовольствием.

Паратов (*Огудаловой*). Да попросите сюда Ларису Дмитриевну! Что она прячется от нас!

Огудалова. Хорошо, я приведу ее. (*Уходит.*)

Карандышев. Что же мы выпьем? Бургонского?

Паратов. Нет, уж от бургонского увольте! Я человек простой.

Карандышев. Так чего же?

Паратов. Знаете что: любопытно теперь нам с вами коньячку выпить. Коньяк есть?

Карандышев. Как не быть! У меня все есть. Эй, Иван, коньяку!

Паратов. Зачем сюда, мы там выпьем; только велите стаканчиков дать, я рюмок не признаю.

Робинзон. Что ж вы прежде не сказали, что у вас коньяк есть?

Сколько дорогого времени-то потеряно!

Вожеватов. Как он ожил!

Робинзон. С этим напитком я обращаться умею, я к нему применился.

Паратов и Карандышев уходят в дверь налево.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Кнуров, Вожеватов и Робинзон.

Робинзон (*глядит в дверь налево*). Погиб Карандышев. Я начал, а Серж его докончит. Наливают, устанавливаются в позу; живая картина. Посмотрите, какая у Сержа улыбка! Совсем Бертрам¹. (*Поет из «Роберта»*.) «Ты мой спаситель». — «Я твой спаситель!» — «И покровитель». — «И покровитель». Ну, проглотил. Целуются. (*Поет.*) «Как счастлив я!» — «Жертва моя!» Ай, уносит Иван коньяк, уносит! (*Громко.*) Что ты, что ты, оставь! Я его давно дожидаясь. (*Убегает.*)

Из средней двери выходит Илья.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Кнуров, Вожеватов, Илья, потом Паратов.

Вожеватов. Что тебе, Илья?

Илья. Да наши готовы, собрались совсем, на бульваре дожидаются. Когда ехать прикажете?

Вожеватов. Сейчас все вместе поедem, подождите немного!

Илья. Хорошо. Как прикажете, так и будет.

Входит Паратов.

Паратов. А, Илья, готовы?

Илья. Готовы, Сергей Сергеич!

Паратов. Гитара с тобой?

Илья. Не захватил, Сергей Сергеич.

Паратов. Гитару нужно, слышишь?

Илья. Сейчас сбегая, Сергей Сергеич! (*Уходит.*)

Паратов. Я хочу попросить Ларису Дмитриевну спеть нам что-нибудь, да и поедemте за Волгу.

Кнуров. Не весела наша прогулка будет без Ларисы Дмитриевны. Вот если бы... Дорого можно заплатить за такое удовольствие...

Вожеватов. Если бы Лариса Дмитриевна поехала, я бы с радости всех гребцов по рублю серебром оделил.

Паратов. Представьте, господа, я и сам о том же думаю; вот как мы сошлись.

Кнуров. Да есть ли возможность?

Паратов. На свете нет ничего невозможного, говорят философы.

Кнуров. А Робинзон, господа, лишний. Потешились, и будет. Напьется он там до звериного образа — что хорошего! Эта

¹ Бертрам — персонаж оперы Д. Мейербера «Роберт-Дьявол».

прогулка дело серьезное, он нам совсем не компания. (*Указывая в дверь.*) Вон он как к коньяку-то прильнул.

Вожеватов. Так не брать его.

Паратов. Увяжется как-нибудь.

Вожеватов. Погодите, господа, я от него отделаюсь. (*В дверь.*) Робинзон!

Входит Робинзон.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Паратов, Кнуров, Вожеватов и Робинзон.

Робинзон. Что тебе?

Вожеватов (*тихо*). Хочешь ехать в Париж?

Робинзон. Как в Париж, когда?

Вожеватов. Сегодня вечером.

Робинзон. А мы за Волгу собирались.

Вожеватов. Как хочешь; поезжай за Волгу, а я в Париж.

Робинзон. Да ведь у меня паспорта нет.

Вожеватов. Это уж мое дело.

Робинзон. Я пожалуй.

Вожеватов. Так отсюда мы поедем вместе; я тебя завезу домой к себе; там и жди меня, отдохни, усни. Мне нужно заехать по делам места в два.

Робинзон. А интересно бы и цыган послушать.

Вожеватов. А еще артист! Стыдись! Цыганские песни, ведь это невежество. То ли дело итальянская опера или оперетка веселенькая! Вот что тебе надо слушать. Чай, сам играл!

Робинзон. Еще бы! я в «Птичках певчих» играл.

Вожеватов. Кого?

Робинзон. Нотариуса.

Вожеватов. Ну, как же такому артисту да в Париже не побывать! После Парижа тебе какая цена-то будет!

Робинзон. Руку!

Вожеватов. Едешь?

Робинзон. Еду!

Вожеватов (*Паратову*). Как он тут пел из «Роберта». Что за голос!

Паратов. А вот мы с ним в Нижнем на ярмарке дел сделаем.

Робинзон. Еще поеду ли я, спросить надо.

Паратов. Что так?

Робинзон. Невежества я и без ярмарки довольно вижу.

Паратов. Ого, как он поговаривать начал!

Робинзон. Нынче образованные люди в Европу ездят, а не по ярмаркам шатаются.

Паратов. Какие же государства и какие города Европы вы осчастливить хотите?

Робинзон. Конечно, Париж, я уж туда давно собираюсь.

Вожеватов. Мы с ним сегодня вечером едем.

Паратов. А, вот что! Счастливого пути! В Париж тебе действительно надо ехать. Там только тебя и недоставало. А где же хозяин?

Робинзон. Он там, он говорил, что сюрприз нам готовит.

Входят справа Огудалова и Лариса; слева Карандышев
и Иван.

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Огудалова, Лариса, Паратов, Кнуров, Вожеватов,
Робинзон, Карандышев, Иван, потом Илья и
Евфросинья Потаповна.

Паратов (*Ларисе*). Что вы нас покинули?

Лариса. Мне что-то нездоровится.

Паратов. А мы сейчас с вашим женихом брудершафт выпили. Теперь уж друзья навек.

Лариса. Благодарю вас. (*Жмет руку Паратову.*)

Карандышев (*Паратову*). Серж!

Паратов (*Ларисе*). Вот видите, какая короткость! (*Карандышеву.*) Что тебе?

Карандышев. Тебя кто-то спрашивает.

Паратов. Кто там?

Иван. Цыган Илья.

Паратов. Так зови его сюда.

Иван уходит.

Господа, извините, что я приглашаю Илью в наше общество. Это мой лучший друг. Где принимают меня, там должны принимать и моих друзей. Это мое правило.

Вожеватов (*тихо, Ларисе*). Я новую песенку знаю.

Лариса. Хорошая?

Вожеватов. Бесподобная! «Веревьюшки веревью, на башышне башмачки».

Лариса. Это забавно.

Вожеватов. Я вас выучу.

Входит Илья с гитарой.

Паратов (*Ларисе*). Позвольте, Лариса Дмитриевна, попросить вас осчастливить нас! Спойте нам какой-нибудь романс или песенку! Я вас целый год не слышал, да, вероятно, и не услышу уж более.

Кнуров. Позвольте и мне повторить ту же просьбу!

Карандышев. Нельзя, господа, нельзя. Лариса Дмитриевна не станет петь.

Паратов. Да почему ты знаешь, что не станет? А может быть, и станет.

Лариса. Извините, господа, я и не расположена сегодня, и не в голосе.

Кнуров. Что-нибудь, что вам угодно!

Карандышев. Уж коли я говорю, что не станет, так не станет.

Паратов. А вот посмотрим. Мы попросим хорошенько, на колени станем.

Вожеватов. Это я сейчас, я человек гибкий.

Карандышев. Нет, нет, и не просите, нельзя; я запрещаю!

Огудалова. Что вы! Запрещайте тогда, когда будете иметь право, а теперь еще погодите запрещать, рано.

Карандышев. Нет, нет! я положительно запрещаю.

Лариса. Вы запрещаете? так я буду петь, господа.

Карандышев, надувшись, отходит в угол и садится.

Паратов. Илья!

Илья. Что будем петь, барышня?

Лариса. «Не искушай».

Илья (*подстраивая гитару*). Вот третий голос надо! Ах, беда! Какой тенор был! От своей от глупости. (*Поют в два голоса.*)

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей!
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней.

Все различным образом выражают восторг. Паратов сидит, запустив руки в волоса. Ко второму куплету слегка пристает Робинзон.

Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь
И не хочу предаться вновь
Раз обманувшим сновиденьям.

(*Робинзону.*) Вот спасибо, барин. Выручил.

Кнуров (*Ларисе*). Велико наслажденье видеть вас, а еще больше наслаждения слушать вас.

Паратов (*с мрачным видом*). Мне кажется, я с ума сойду. (*Целует руку Ларисы.*)

Вожеватов. Послушать, да и умереть — вот оно что! (*Карандышеву.*) А вы хотели лишить нас этого удовольствия.

Карандышев. Я, господа, не меньше вашего восхищаюсь пением Ларисы Дмитриевны. Мы сейчас выпьем шампанского за ее здоровье.

Вожеватов. Умную речь приятно и слышать.

Карандышев (*громко*). Подайте шампанского!

Огудалова (*тихо*). Потише! Что вы кричите!

Карандышев. Помилуйте, я у себя дома. Я знаю, что делаю. (*Громко.*) Подайте шампанского.

Входит Евфросинья Потаповна.

Евфросинья Потаповна. Какого тебе еще шампанского? Поминутно то того, то другого.

Карандышев. Не мешайтесь не в свое дело! Исполняйте, что вам приказывают!

Евфросинья Потаповна. Так поди сам! А уж я ноги отходила; я еще, может быть, не евши с утра. (*Уходит.*)

Карандышев идет в дверь налево.

Огудалова. Послушайте, Юлий Капитоныч... (*Уходит за Карандышевым.*)

Паратов. Илья, поезжай! Чтоб катера были готовы. Мы сейчас приедем.

Илья уходит в среднюю дверь.

Вожеватов (*Кнурову*). Оставим его одного с Ларисой Дмитриевной. (*Робинзону.*) Робинзон, смотри, Иван коньяк-то убирает.

Робинзон. Да я его убью. Мне легче с жизнью расстаться!

Уходят налево Кнуров, Вожеватов и Робинзон.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Лариса и Паратов.

Паратов. Очаровательница! (*Страстно смотрит на Ларису.*) Как я проклинал себя, когда вы пели!

Лариса. За что?

Паратов. Ведь я — не дерево; потерять такое сокровище, как вы, разве легко?

Лариса. Кто же виноват?

Паратов. Конечно, я, и гораздо более виноват, чем вы думаете. Я должен презирать себя.

Лариса. За что же, скажите!

Паратов. Зачем я бежал от вас? На что променял вас?

Лариса. Зачем же вы это сделали?

Паратов. Ах, зачем! Конечно, малодушие. Надо было поправить свое состояние. Да Бог с ним, с состоянием! Я проиграл больше, чем состояние, я потерял вас; я и сам страдаю, и вас заставил страдать.

Лариса. Да, надо правду сказать, вы надолго отравили мою жизнь.

Паратов. Погодите, погодите винить меня! Я еще не совсем

опошился, не совсем огрубел; во мне врожденного торгашества нет; благородные чувства еще шевелятся в душе моей. Еще несколько таких минут, да... еще несколько таких минут...

Лариса (*тихо*). Говорите!

Паратов. Я брошу все расчеты, и уж никакая сила не вырвет вас у меня; разве вместе с моею жизнью.

Лариса. Чего же вы хотите?

Паратов. Видеть вас, слушать вас... Я завтра уезжаю.

Лариса (*опустя голову*). Завтра.

Паратов. Слушать ваш очаровательный голос, забывать весь мир и мечтать только об одном блаженстве.

Лариса (*тихо*). О каком?

Паратов. О блаженстве быть рабом вашим, быть у ваших ног.

Лариса. Но как же?

Паратов. Послушайте: мы едем всей компанией кататься по Волге на катерах — поедemте?

Лариса. Ах! а здесь? Я не знаю, право... как же здесь?

Паратов. Что такое «здесь»? Сюда сейчас приедут: тетка Карандышева, барыня в крашенных шелковых платьях, разговор будет о соленых грибах.

Лариса. Когда же ехать?

Паратов. Сейчас.

Лариса. Сейчас?

Паратов. Сейчас или никогда.

Лариса. Едемте.

Паратов. Как, вы решаетесь ехать за Волгу?

Лариса. Куда вам угодно.

Паратов. С нами, сейчас?

Лариса. Когда вам угодно.

Паратов. Ну, признаюсь, выше и благородней этого я ничего и вообразить не могу. Очаровательное создание! Повелительница моя!

Лариса. Вы — мой повелитель!

Входят Огудалова, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Карандышев и Иван с подносом, на котором стаканы шампанского.

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Огудалова, Лариса, Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Карандышев и Иван.

Паратов (*Кнурову и Вожеватову*). Она поедет.

Карандышев. Господа, я предлагаю тост за Ларису Дмитриевну.

Все берут стаканы.

Господа, вы сейчас восхищались талантом Ларисы Дмитриевны. Ваши похвалы — для нее не новость; с детства она окружена поклонниками, которые восхваляют ее в глаза при каждом удобном случае. Да-с, талантов у нее действительно много. Но не за них я хочу похвалить ее. Главное, неосцененное достоинство Ларисы Дмитриевны то, господа... то, господа...

Вожеватов. Спутается.

Паратов. Нет, вынырнет, выучил.

Карандышев. То, господа, что она умеет ценить и выбирать людей. Да-с, Лариса Дмитриевна знает, что не все то золото, что блестит. Она умеет отличать золото от мишуры. Много блестящих молодых людей окружало ее; но она мишурным блеском не прельстилась. Она искала для себя человека не блестящего, а достойного...

Паратов (*одобрительно*). Bravo, bravo!

Карандышев. И выбрала...

Паратов. Вас! Bravo, bravo!

Вожеватов и Робинзон. Bravo, bravo!

Карандышев. Да, господа, я не только смею, я имею право гордиться и горжусь! Она меня поняла, оценила и предпочла всем. Извините, господа, может быть, не всем это приятно слышать; но я счел своим долгом поблагодарить публично Ларису Дмитриевну за такое лестное для меня предпочтение. Господа, я сам пью и предлагаю выпить за здоровье моей невесты!

Паратов, Вожеватов и Робинзон. Ура!

Паратов (*Карандышеву*). Еще есть вино-то?

Карандышев. Разумеется, есть; как же не быть! что ты говоришь? Уж я достану.

Паратов. Надо еще тост выпить.

Карандышев. Какой?

Паратов. За здоровье счастливейшего из смертных, Юлия Капитоныча Карандышева.

Карандышев. Ах, да. Так ты предложишь? Ты и предложи, Серж! А я пойду похлопочу; я достану. (*Уходит.*)

Кнуров. Ну, хорошенького понемножку. Прощайте! Я заеду закушу и сейчас же на сборный пункт. (*Кланяется дамам.*)

Вожеватов (*указывая на среднюю дверь*). Здесь пройдите, Мокий Парменыч! Тут прямо выход в переднюю, никто вас и не увидит.

Кнуров уходит.

Паратов (*Вожеватову*). И мы сейчас едем. (*Ларисе.*) Соберайтесь.

Лариса уходит направо.

Вожеватов. Не дождавшись тоста?

Паратов. Так лучше.

Вожеватов. Да чем же?

Паратов. Смешнее.

Выходит Лариса со шляпой в руках.

Вожеватов. И то смешнее. Робинзон! Едем!

Робинзон. Куда?

Вожеватов. Домой, собираться в Париж.

Робинзон и Вожеватов раскланиваются и уходят.

Паратов (*тихо, Ларисе*). Едем! (*Уходит.*)

Лариса. Прощай, мама!

Огудалова. Что ты! Куда ты!

Лариса. Или тебе радоваться, мама, или ищи меня в Волге.

Огудалова. Бог с тобой! Что ты!

Лариса. Видно, от своей судьбы не уйдешь! (*Уходит.*)

Огудалова. Вот наконец до чего дошло: всеобщее бегство! Ах, Лариса!.. Догонять мне ее или нет? Нет, зачем!.. Что бы там ни было, все-таки кругом нее люди... А здесь, хоть и бросить, так потеря не велика!

Входят Карандышев и Иван с бутылкой шампанского.

*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Огудалова, Карандышев, Иван,

'потом Евфросинья Потаповна.

Карандышев. Я, господа... (*Оглядывает комнату.*) Где же они? Уехали? Вот это учтиво, нечего сказать! Ну, да тем лучше! Однако когда ж они успели? И вы, пожалуй, уедете! Нет, уж вы-то с Ларисой Дмитриевной погодите! Обиделись? — понимаю. Ну, и прекрасно. И мы останемся в тесном семейном кругу... А где же Лариса Дмитриевна? (*У двери направо.*) Тенька, у вас Лариса Дмитриевна?

Евфросинья Потаповна (*входя*). Никакой у меня твоей Ларисы Дмитриевны нет.

Карандышев. Однако что ж это такое, в самом деле! Иван, куда девались все господа и Лариса Дмитриевна?

Иван. Лариса Дмитриевна, надо полагать, с господами вместе уехали... Потому как господа за Волгу собирались, вроде как пикник у них.

Карандышев. Как за Волгу?

Иван. На катерах-с. И посуда и вина, все от нас пошло-с; еще давеча отправили; ну, и прислуга — всё как следует-с.

Карандышев (*садится и хватается за голову*). Ах, что же это, что же это!

Иван. И цыгане и музыка с ними — всё как следует.

Карандышев (*с горячностью*). Харита Игнатьевна, где ваша дочь? Отвечайте мне, где ваша дочь?

Огудалова. Я к вам привезла дочь, Юлий Капитоныч; вы мне скажите, где моя дочь!

Карандышев. И все это преднамеренно, умышленно — все вы вперед сговорились... *(Со слезами.)* Жестоко, бесчеловечно жестоко!

Огудалова. Рано было торжествовать-то!

Карандышев. Да, это смешно... Я смешной человек... Я знаю сам, что я смешной человек. Да разве людей казнят за то, что они смешны? Я смешон — ну, смейся надо мной, смейся в глаза! Приходите ко мне обедать, пейте мое вино и ругайтесь, смейтесь надо мной — я того стою. Но разломать грудь у смешного человека, вырвать сердце, бросить под ноги и растоптать его! Ох, ох! Как мне жить! Как мне жить!

Евфросинья Потаповна. Да полно ты, перестань! Не о чем сокрушаться-то!

Карандышев. И ведь это не разбойники, это почетные люди... Это всё приятели Хариты Игнатьевны.

Огудалова. Я ничего не знаю.

Карандышев. Нет, у вас одна шайка, вы все заодно. Но знайте, Харита Игнатьевна, что и самого кроткого человека можно довести до бешенства. Не все преступники — злодеи, и смиренный человек решится на преступление, когда ему другого выхода нет. Если мне на белом свете остается только или повеситься от стыда и отчаяния, или мстить, так уж я буду мстить. Для меня нет теперь ни страха, ни закона, ни жалости; только злорадная и жажда мести душат меня. Я буду мстить каждому из них, каждому, пока не убьют меня самого. *(Схватывает со стола пистолет и убегает.)*

Огудалова. Что он взял-то?

Иван. Пистолет.

Огудалова. Беги, беги за ним, кричи, чтоб остановили.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ЛИЦА

Паратов.	Карандышев.
Кнуров.	Илья.
Вожеватов.	Гаврило.
Робинзон.	Иван.
Лариса.	Цыгане и цыганки.

Декорация первого действия. Светлая летняя ночь.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Робинзон с мазиком¹ в руке и Иван (выглядывает из кофейной).

Мазик (итал. *mazza*) — бильярдный кий особого устройства.

Иван. Мазик-то пожалуйста!

Робинзон. Не отдам. Ты играй со мной! Отчего ты не играешь?

Иван. Да как же играть с вами, когда вы денег не платите!

Робинзон. Я после отдам. Мои деньги у Василья Данилыча, он их увез с собой. Разве ты не веришь?

Иван. Как же вы это с ними на пикник не поехали?

Робинзон. Я заснул; а он не посмел меня беспокоить, будить, ну и уехал один. Давай играть.

Иван. Нельзя-с, игра не равна: я ставлю деньги, а вы нет; выигрываете — берете, а проигрываете — не отдаете. Ставьте деньги-с!

Робинзон. Что ж, разве мне кредиту нет? Это странно! Я первый город такой вижу; я везде, по всей России все больше в кредит.

Иван. Это я очень-очень верю-с. Коли спросить чего угодно, мы подадим; зная Сергея Сергеича и Василья Данилыча, какие они господа, мы обязаны для вас кредит сделать-с; а игра денег требует-с...

Робинзон. Так бы ты и говорил. Возьми мазик и дай мне бутылку... чего бы?..

Иван. Портвейн есть недурен-с

Робинзон. Я ведь дешевого не пью.

Иван. Дорогого подадим-с,

Робинзон. Да вели мне приготовить... знаешь, этого... как оно...

Иван. Дупелей зажарить можно; не прикажете ли?

Робинзон. Да, вот именно дупелей...

Иван. Слушаю-с. *(Уходит.)*

Робинзон. Они пошутить захотели надо мной; ну и прекрасно, и я пошучу над ними. Я с огорчения задолжаю рублей двадцать, пусть расплачиваются. Они думают, что мне общество их очень нужно — ошибаются; мне только бы кредит; а то я и один не соскучусь, я и solo могу разыграть очень веселое. К довершению удовольствия, денег бы занять...

Входит Иван с бутылкой.

Иван *(ставит бутылку)*. Дупеля заказаны-с.

Робинзон. Я здесь театр снимаю.

Иван. Дело хорошее-с.

Робинзон. Не знаю, кому буфет сдать. Твой хозяин не возьмет ли?

Иван. Отчего не взять-с!

Робинзон. Только у меня —чтоб содержать исправно! И, для верности, побольше задатку сейчас же!

Иван. Нет, уж он учен, задатку не дает: его так-то уж двое обманули.

Робинзон. Уж двое? Да, коли уж двое...

Иван. Так третьему не поверит.

Робинзон. Какой народ! Удивляюсь. Везде поспеют; где только можно взять, все уж взято, непочатых мест нет. Ну, не надо, не нуждаюсь я в нем. Ты ему не говори ничего, а то он подумает, что и я хочу обмануть; а я горд.

Иван. Да-с, оно, конечно... А как давеча господин Карандышев рассердились, когда все гости вдруг уехали! Очень гневались, даже убить кого-то хотели, так с пистолетом и ушли из дому.

Робинзон. С пистолетом? Это нехорошо.

Иван. Хмельненьки были; я полагаю, что это у них постепенно пройдет-с. Они по бульвару раза два проходили... да вон и сейчас идут.

Робинзон (*оробев*). Ты говоришь, с пистолетом? Он кого убить-то хотел — не меня ведь?

Иван. Уж не могу вам сказать. (*Уходит.*)

Входит Карандышев, Робинзон старается спрятаться за бутылку.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Робинзон, Карандышев, потом Иван.

Карандышев (*подходит к Робинзону*). Где ваши товарищи, господин Робинзон?

Робинзон. Какие товарищи? У меня нет товарищей.

Карандышев. А те господа, которые обедали у меня с вами вместе?

Робинзон. Какие ж это товарищи! Это так... мимолетное знакомство.

Карандышев. Так не знаете ли, где они теперь?

Робинзон. Не могу сказать, я стараюсь удалиться от этой компании; я человек смиренный, знаете ли... семейный...

Карандышев. Вы семейный?..

Робинзон. Очень семейный... Для меня тихая семейная жизнь выше всего; а неудовольствие какое или ссора — это Боже сохрани; я люблю и побеседовать, только чтоб разговор умный, учтивый, об искусстве, например... Ну, с благородным человеком, вот как вы, можно и выпить немножко. Не прикажете ли?

Карандышев. Не хочу.

Робинзон. Как угодно. Главное дело, чтобы неприятности не было.

Карандышев. Да вы должны же знать, где они.

Робинзон. Кутят где-нибудь; что ж им больше-то делать!

Карандышев. Говорят, они за Волгу поехали.

Робинзон. Очень может быть.

Карандышев. Вас не звали с собой?

Робинзон. Нет; я человек семейный.

Карандышев. Когда же они воротятся?

Робинзон. Уж это они и сами не знают, я думаю. К утру вернутся.

Карандышев. К утру?

Робинзон. Может быть, и раньше.

Карандышев. Все-таки надо подождать; мне кой с кем из них объясниться нужно.

Робинзон. Коли ждать, так на пристани; зачем они сюда пройдут! С пристани они прямо домой проедут. Чего им еще? Чай, и так сыты.

Карандышев. Да на какой пристани? Пристаней у нас много.

Робинзон. Да на какой угодно, только не здесь; здесь их не дождетесь.

Карандышев. Ну, хорошо, я пойду на пристань. Прощайте. *(Подает руку Робинзону.)* Не хотите ли проводить меня?

Робинзон. Нет, помилуйте, я человек семейный.

Карандышев уходит.

Иван, Иван!

Входит Иван.

Накрой мне в комнате и вино перенеси туда!

Иван. В комнате, сударь, душно. Что за неволя!

Робинзон. Нет, мне на воздухе вечером вредно; доктор запретил. Да если этот барин спрашивать будет, так скажи, что меня нет. *(Уходит в кофейную.)*

Из кофейной выходит Гаврило.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Гаврило и Иван.

Гаврило. Ты смотрел на Волгу? Не видать наших?

Иван. Должно быть, приехали.

Гаврило. Что так?

Иван. Да под горой шум, эфиопы загалдели. *(Берет со стола бутылку и уходит в кофейную.)*

Входит Иван и хор цыган.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Гаврило, Илья, цыгане и цыганки.

Гаврило. Хорошо съездили?

Илья. И, хорошо! Так хорошо, не говори!

Гаврило. Господа веселы?

Илья. Разгулялись, важно разгулялись, дай Бог на здоровье! Сюда идут; всю ночь, гляди, прогуляют.

Гаврило (*потирая руки*). Так ступайте, усаживайтесь! Женщинам велю чаю подать; а вы к буфету — закусите.

Илья. Старушкам к чаю-то ромку вели — любят.

Илья, цыгане, цыганки, Гаврило уходят в кофейную. Выходит
Кнуров и Вожеватов.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Кнуров и Вожеватов.

Кнуров. Кажется, драма начинается.

Вожеватов. Похоже.

Кнуров. Я уж у Ларисы Дмитриевны слезки видел.

Вожеватов. Да ведь у них дешевы.

Кнуров. Как хотите, а положение ее незавидное.

Вожеватов. Дело обойдется как-нибудь.

Кнуров. Ну, едва ли.

Вожеватов. Карандышев посердится немножко, поломаётся, сколько ему надо, и опять тот же будет.

Кнуров. Да она-то не та же. Ведь чтоб бросить жениха чуть не накануне свадьбы, надо иметь основание. Вы подумайте: Сергей Сергеич приехал на один день, и она бросает для него жениха, с которым ей жить всю жизнь. Значит, она надежду имеет на Сергея Сергеича; иначе зачем он ей!

Вожеватов. Так вы думаете, что тут не без обмана, что он опять словами поманил ее?

Кнуров. Да непременно. И, должно быть, обещания были определенные и серьезные, а то как бы она поверила человеку, который уж раз обманул ее!

Вожеватов. Мудреного нет; Сергей Сергеич ни над чем не задумается: человек смелый.

Кнуров. Да ведь как ни смел, а миллионную невесту на Ларису Дмитриевну не променяет.

Вожеватов. Еще бы! Что за расчет!

Кнуров. Так посудите, каково ей, бедной.

Вожеватов. Что делать-то! Мы не виноваты, наше дело сторона.

На крыльце кофейной показывается Робинзон.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Кнуров, Вожеватов и Робинзон.

Вожеватов. А, милорд! Что во сне видел?

Робинзон. Богатых дураков; то же, что и наяву вижу.

Вожеватов. Ну, как же ты, бедный умник, здесь время проводишь?

Робинзон. Превосходно! Живу в свое удовольствие и при том в долг, на твой счет. Что может быть лучше!

Вожеватов. Позавидуешь тебе. И долго ты намерен наслаждаться такой приятной жизнью?

Робинзон. Да ты — чудак, я вижу. Ты подумай: какой же мне расчет отказываться от таких прелестей!

Вожеватов. Что-то я не помню: как будто я тебе открытого листа не давал?

Робинзон. Так ты в Париж обещал со мной ехать — разве это не все равно?

Вожеватов. Нет, не все равно. Что я обещал, то исполню; для меня слово — закон, что сказано, то свято. Ты спроси: обманывал ли я кого-нибудь?

Робинзон. А куда ты собираешься в Париж, не воздухом же мне питаться?

Вожеватов. Об этом уговору не было. В Париж хоть сейчас. Робинзон. Теперь поздно; поедем, Вася, завтра.

Вожеватов. Ну, завтра так завтра. Послушай, вот что: поезжай лучше ты один, я тебе прогоны выдам взад и вперед.

Робинзон. Как один? Я дороги не найду!

Вожеватов. Довезут.

Робинзон. Послушай, Вася, я по-французски не совсем свободно... Хочу выучиться, да все времени нет.

Вожеватов. Да зачем тебе французский язык?

Робинзон. Как же, в Париже да по-французски не говорить?

Вожеватов. Да и не надо совсем, и никто там не говорит по-французски.

Робинзон. Столица Франции, да чтоб там по-французски не говорили! Что ты меня, за дурака, что ли, считаешь?

Вожеватов. Да какая столица! Что ты, в уме ли! О каком Париже ты думаешь? Трактир у нас на площади есть «Париж», вот я куда хотел с тобой ехать.

Робинзон. Браво, браво!

Вожеватов. А ты полагал, в настоящий? Хоть бы ты немножко подумал. А еще умным человеком считаешь себя! Ну, зачем я тебя туда возьму, с какой стати? Клетку, что ли, сделать да показывать тебя?

Робинзон. Хорошей ты школы, Вася, хорошей; серьезный из тебя негодник выйдет.

Вожеватов. Да ничего; я стороной слышал, одобряют.

Кнуров. Василий Данилыч, оставьте его! Мне нужно вам сказать кой-что.

Вожеватов *(подходя)*. Что вам угодно?

Кнуров. Я все думал о Ларисе Дмитриевне. Мне кажется, она теперь находится в таком положении, что нам, близким людям, не только позволительно, но мы даже обязаны принять участие в ее судьбе.

Вожеватов. То есть вы хотите сказать, что теперь представляется удобный случай взять ее с собой в Париж?

Кнуров. Да, пожалуй; если угодно: это одно и то же.

Вожеватов. Так за чем же дело стало? Кто мешает?

Кнуров. Вы мне мешаете, а я вам. Может быть, вы не боитесь соперничества? Я тоже не очень опасаясь; а все-таки неловко, беспокойно; гораздо лучше, когда поле чисто.

Вожеватов. Отступного я не возьму, Мокий Парменыч!

Кнуров. Зачем отступное? Можно иначе как-нибудь.

Вожеватов. Да вот, лучше всего. (*Вынимает из кармана монету и кладет под руку.*) Орел или решетка?

Кнуров (*в раздумье*). Если скажу: орел, так проиграю; орел, конечно, вы. (*Решительно.*) Решетка.

Вожеватов (*поднимая руку*). Ваше. Значит, мне одному в Париж ехать. Я не в убытке; расходов меньше.

Кнуров. Только, Василий Данилыч, давши слово, держись; а не давши, крепись! Вы купец, вы должны понимать, что значит слово.

Вожеватов. Вы меня обижаете. Я сам знаю, что такое купеческое слово. Ведь я с вами дело имею, а не с Робинзоном.

Кнуров. Вон Сергей Сергеич идет с Ларисой Дмитриевной! Войдемте в кофейную, не будем им мешать.

Кнуров и Вожеватов уходят в кофейную.

Входят Паратов и Лариса.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Паратов, Лариса и Робинзон.

Лариса. Ах, как я устала. Я теряю силы, я насилу взшла на гору. (*Садится в глубине сцены на скамейку у решетки.*)

Паратов. А, Робинзон! Ну, что ж ты, скоро в Париж едешь?

Робинзон. С кем это? С тобой, ля Серж, куда хочешь; а уж с купцом я не поеду. Нет, с купцами кончено.

Паратов. Что так?

Робинзон. Невежи!

Паратов. Будто? Давно ли ты догадался?

Робинзон. Всегда знал. Я всегда за дворян.

Паратов. Это делает тебе честь, Робинзон. Но ты не по времени горд. Применяйся к обстоятельствам, бедный друг мой! Время просвещенных покровителей, время меценатов прошло; теперь торжество буржуазии, теперь искусство на вес золота ценится, в полном смысле наступает золотой век. Но уж не взыщи, подчас и ваксой напоят, и в бочке с горы, для собственного удовольствия, прокатят — на какого Медичиса¹ нападешь. Не отлучайся, ты мне будешь нужен!

¹ *Медичис* — здесь: в значении меценат — богатый покровитель наук и искусств.

Робинзон. Для тебя в огонь и в воду. (*Уходит в кофейную.*)

Паратов (*Ларисе*). Позвольте теперь поблагодарить вас за удовольствие — нет, этого мало, — за счастье, которое вы нам доставили.

Лариса. Нет, нет, Сергей Сергееч, вы мне фраз не говорите! Вы мне скажите только: что я — жена ваша или нет?

Паратов. Прежде всего, Лариса Дмитриевна, вам нужно ехать домой. Поговорить обстоятельно мы еще успеем завтра.

Лариса. Я не поеду домой.

Паратов. Но и здесь оставаться вам нельзя. Прокатиться с нами по Волге днем — это еще можно допустить; но кутить всю ночь в трактире, в центре города, с людьми, известными дурным поведением! Какую пищу вы дадите для разговоров.

Лариса. Что мне за дело до разговоров! С вами я могу быть везде. Вы меня увезли, вы и должны привезти меня домой.

Паратов. Вы поедете на моих лошадях — разве это не все равно?

Лариса. Нет, не все равно. Вы меня увезли от жениха; маменька видела, как мы уехали, — она не будет беспокоиться, как бы мы поздно ни возвратились... Она покойна, она уверена в вас, она только будет ждать нас, ждать... чтоб благословить. Я должна или приехать с вами, или совсем не являться домой.

Паратов. Что такое? Что значит: «совсем не являться»? Куда деться вам?

Лариса. Для несчастных людей много простора в Божьем мире: вот сад, вот Волга. Здесь на каждом сучке удавиться можно, на Волге — выбирай любое место. Везде утопиться легко, если есть желание да сил достанет.

Паратов. Какая экзальтация! Вам можно жить и должно. Кто откажет вам в любви, в уважении! Да тот же ваш жених: он будет радехонек, если вы опять его приласкаете.

Лариса. Что вы говорите! Я мужа своего, если уж не любить, так хоть уважать должна; а как могу я уважать человека, который равнодушно несет насмешки и всевозможные оскорбления! Это дело конечно: он для меня не существует. У меня один жених: это вы.

Паратов. Извините, не обижайтесь на мои слова! Но едва ли вы имеете право быть так требовательными ко мне.

Лариса. Что вы говорите! Разве вы забыли? Так я вам опять повторю всё сначала. Я год страдала, год не могла забыть вас, жизнь стала для меня пуста; я решила наконец выйти замуж за Карандышева, чуть не за первого встречного. Я думала, что семейные обязанности наполнят мою жизнь и помирят меня с ней. Явились вы и говорите: «Брось все, я твой». Разве это не право? Я думала, что ваше слово искренне, что я его выстрадала.

Паратов. Все это прекрасно, и обо всем этом мы с вами поговорим завтра.

Лариса. Нет, сегодня, сейчас.

Паратов. Вы требуете?

Лариса. Требую.

В дверях кофейной видны Кнуров и Вожеватов.

Паратов. Извольте. Послушайте, Лариса Дмитриевна! Вы допускаете мгновенное увлечение?

Лариса. Допускаю. Я сама способна увлечься.

Паратов. Нет, я не так выразился; допускаете ли вы, что человек, скованный по рукам и по ногам неразрывными цепями, может так увлечься, что забудет все на свете, забудет и гнетущую его действительность, забудет и свои цепи?

Лариса. Ну, что же! И хорошо, что он забудет.

Паратов. Это душевное состояние очень хорошо, я с вами не спорю; но оно непродолжительно. Угар страстного увлечения скоро проходит, остаются цепи и здравый рассудок, который говорит, что этих цепей разорвать нельзя, что они неразрывны.

Лариса (*задумчиво*). Неразрывные цепи! (*Быстро*.) Вы женаты?

Паратов. Нет.

Лариса. А всякие другие цепи — не помеха! Будем носить их вместе, я разделю с вами эту ношу, большую половину тяжести я возьму на себя.

Паратов. Я обручен.

Лариса. Ах!

Паратов (*показывая обручальное кольцо*). Вот золотые цепи, которыми я скован на всю жизнь!

Лариса. Что же вы молчали? Безбожно, безбожно! (*Садится на стул*.)

Паратов. Разве я в состоянии был помнить что-нибудь! Я видел вас, и ничего более для меня не существовало.

Лариса. Поглядите на меня!

Паратов смотрит на нее.

«В глазах, как на небе, светло...» Ха, ха, ха! (*Истерически смеется*.) Подите от меня! Довольно! Я уж сама об себе подумаю. (*Опирает голову на руку*.)

Кнуров, Вожеватов и Робинзон выходят на крыльцо кофейной.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Паратов, Лариса, Кнуров, Вожеватов и Робинзон.

Паратов (*подходя к кофейной*). Робинзон, поди сыщи мою коляску! Она тут у бульвара. Ты свезешь Ларису Дмитриевну домой.

Робинзон. Ля Серж! Он тут, он ходит с пистолетом.

Паратов. Кто «он»?

Робинзон. Карандышев.

Паратов. Так что ж мне за дело!

Робинзон. Он меня убьет.

Паратов. Ну вот, велика важность! Исполни, что приказываю! Без рассуждений! Я этого не люблю, Робинзон.

Робинзон. Я тебе говорю: как он увидит меня с ней вместе, он меня убьет.

Паратов. Убьет он тебя или нет — это еще неизвестно; а вот если ты не исполнишь сейчас же того, что я тебе приказываю, так я тебя убью уж наверное! (*Уходит в кофейную.*)

Робинзон (*грозя кулаком*). О, варвары, разбойники! Ну, попал я в компанию! (*Уходит.*)

Вожеватов подходит к Ларисе.

Лариса (*взглянув на Вожеватова*). Вася, я погибаю.

Вожеватов. Лариса Дмитриевна, голубушка моя! Что делать-то! Ничего не поделаешь.

Лариса. Вася, мы с тобой с детства знакомы, почти родные; что мне делать — научи!

Вожеватов. Лариса Дмитриевна, уважаю я вас и рад бы... я ничего не могу. Верьте моему слову!

Лариса. Да я ничего и не требую от тебя, прошу только пожалеть меня. Ну, хоть поплачь со мной вместе!

Вожеватов. Не могу, ничего не могу.

Лариса. И у тебя тоже цепи?

Вожеватов. Кандалы, Лариса Дмитриевна.

Лариса. Какие?

Вожеватов. Честное купеческое слово. (*Отходит в кофейную.*)

Кнуров (*подходит к Ларисе*). Лариса Дмитриевна, выслушайте меня и не обижайтесь! У меня и в помышлении нет вас обидеть. Я только желаю вам добра и счастья, чего вы вполне заслуживаете. Не угодно ли вам ехать со мной в Париж, на выставку?

Лариса отрицательно качает головой.

И полное обеспечение на всю жизнь?

Лариса молчит.

Стыда не бойтесь, осуждений не будет. Есть границы, за которые осуждение не переходит; я могу предложить вам такое громадное содержание, что самые злые критики чужой нравственности должны будут замолчать и разинуть рты от удивления.

Лариса поворачивает голову в другую сторону.

Я бы ни на одну минуту не задумался предложить вам руку, но я женат.

Лариса молчит.

Вы расстроены, я не смею торопить вас ответом. Подумайте! Если вам будет угодно благосклонно принять мое предложение, известите меня; и с той минуты я сделаюсь вашим самым преданным слугой и самым точным исполнителем всех ваших желаний и даже капризов, как бы они странны и дороги ни были. Для меня невозможного мало. *(Почтительно кланяется и уходит в кофейню.)*

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Лариса одна.

Лариса. Я давеча смотрела вниз через решетку, у меня закружилась голова, и я чуть не упала. А если упасть, так, говорят... верная смерть! *(Подумав.)* Вот хорошо бы броситься! Нет, зачем бросаться!.. Стоять у решетки и смотреть вниз, закружится голова и упадешь... Да, это лучше... в беспомощности, ни боли... ничего не будешь чувствовать! *(Подходит к решетке и смотрит вниз. Нагибается, крепко хватается за решетку, потом с ужасом отбегает.)* Ой, ой! Как страшно! *(Чуть не падает, хватается за беседку.)* Какое головокружение! Я падаю, падаю, ай! *(Садится у стола подле беседки.)* Ох, нет!.. *(Сквозь слезы.)* Расставаться с жизнью совсем не так просто, как я думала. Вот и нет сил! Вот я какая несчастная! А ведь есть люди, для которых это легко. Видно, уж тем совсем жить нельзя, их ничто не прельщает, им ничто не мило, ничего не жалко. Ах, что я!.. Да ведь и мне ничто не мило, и мне жить нельзя, и мне жить незачем! Что ж я не решаюсь? Что меня держит над этой пропастью? Что мешает? *(Задумывается.)* Ах, нет, нет... не Кнуров... Роскошь, блеск... нет, нет... я далека от суеты... *(Вздвигнув.)* Разврат... ох, нет... Просто решимости не имею. Жалкая слабость: жить, хоть как-нибудь, да жить... когда нельзя жить и не нужно. Какая я жалкая, несчастная. Кабы теперь меня убил кто-нибудь... Как хорошо умереть... пока еще упрекнуть себя не в чем. Или захворать и умереть... Да я, кажется, захвораю. Как дурно мне!.. Хворать долго, успокоиться, со всем примириться, всем простить и умереть... Ах, как дурно, как кружится голова. *(Подпирает голову рукой и сидит в забытии.)*

Входят Робинзон и Карандышев.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Лариса, Робинзон и Карандышев.

Карандышев. Вы говорите, что вам велено отвезти ее домой.

Робинзон. Да-с, велено.

Карандышев. И вы говорили, что они оскорбили ее?

Робинзон. Уж чего еще хуже, чего обиднее?

Карандышев. Она сама виновата: ее поступок заслуживал наказания. Я ей говорил, что это за люди; наконец она сама могла, она имела время заметить разницу между мной и ими. Да, она виновата, но судить ее, кроме меня, никто не имеет права, а тем более оскорблять... Это уж мое дело: прошу я ее или нет; но защитником ее я обязан явиться. У ней нет ни братьев, ни близких; один я, только один я обязан вступить за нее и наказать оскорбителей. Где она?

Робинзон. Она здесь была. Вот она!

Карандышев. При нашем объяснении посторонних не должно быть; вы будете лишний. Оставьте нас!

Робинзон. С величайшим удовольствием. Я скажу, что вам сдал Ларису Дмитриевну. Честь имею кланяться. (*Уходит в кофейную.*)

Карандышев подходит к столу и садится против Ларисы.

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Лариса и Карандышев.

Лариса (*поднимая голову*). Как вы мне противны, кабы вы знали! Зачем вы здесь?

Карандышев. Где же быть мне?

Лариса. Не знаю. Где хотите, только не там, где я.

Карандышев. Вы ошибаетесь, я всегда должен быть при вас, чтобы оберегать вас. И теперь я здесь, чтобы отомстить за ваше оскорбление!

Лариса. Для меня самое тяжкое оскорбление — это ваше покровительство; ни от кого и никаких других оскорблений мне не было.

Карандышев. Уж вы слишком невзыскательны. Кнуров и Вожеватов мечут жребий, кому вы достанетесь, играют в орлянку — и это не оскорбление? Хороши ваши приятели! Какое уважение к вам! Они не смотрят на вас как на женщину, как на человека, — человек сам располагает своей судьбой; они смотрят на вас как на вещь. Ну, если вы вещь, это другое дело. Вещь, конечно, принадлежит тому, кто ее выиграл, вещь и обижаться не может.

Лариса (*глубоко оскорбленная*). Вещь... да, вещь. Они правы, я вещь, а не человек. Я сейчас убедилась в том, я испытала себя... я вещь! (*С горячностью.*) Наконец слово для меня найдено, вы нашли его. Уходите! Прошу вас, оставьте меня!

Карандышев. Оставить вас? Как я вас оставлю, на кого я вас оставлю?

Лариса. Всякая вещь должна иметь хозяина, я пойду к хозяину.

Карандышев *(с жаром)*. Я беру вас, я ваш хозяин. *(Хватает ее за руку.)*

Лариса *(оттолкнув его)*. О нет! Каждой вещи своя цена есть... Ха, ха, ха... я слишком, слишком дорога для вас.

Карандышев. Что вы говорите! Мог ли я ожидать от вас таких бесстыдных слов?

Лариса *(со слезами)*. Уж если быть вещью, так одно утешение — быть дорогой, очень дорогой. Сослужите мне последнюю службу: подите пошлите ко мне Кнурова.

Карандышев. Что вы, что вы, опомнитесь!

Лариса. Ну, так я сама пойду.

Карандышев. Лариса Дмитриевна! Остановитесь! Я вас прощаю, я все прощаю.

Лариса *(с горькой улыбкой)*. Вы меня прощаете? Благодарю вас. Только я-то себя не прощаю, что вздумала связать судьбу свою с таким ничтожеством, как вы.

Карандышев. Уедемте, уедемте сейчас из этого города, я на все согласен.

Лариса. Поздно. Я вас просила взять меня поскорей из цыганского табора, вы не умели этого сделать; видно, мне жить и умереть в цыганском таборе.

Карандышев. Ну, я вас умоляю, осчастливьте меня!

Лариса. Поздно. Уж теперь у меня перед глазами заблестело золото, засверкали бриллианты.

Карандышев. Я готов на всякую жертву, готов терпеть всякое унижение для вас.

Лариса *(с отвращением)*. Подите, вы слишком мелки, слишком ничтожны для меня.

Карандышев. Скажите же: чем мне заслужить любовь вашу? *(Падает на колени.)* Я вас люблю, люблю.

Лариса. Лжете. Я любви искала и не нашла. На меня смотрели и смотрят как на забаву. Никогда никто не постарался заглянуть ко мне в душу, ни от кого я не видела сочувствия, не слыхала теплого, сердечного слова. А ведь так жить холодно. Я не виновата, я искала любви и не нашла... ее нет на свете... нечего и искать. Я не нашла любви, так буду искать золота. Подите, я вашей быть не могу.

Карандышев *(вставая)*. О, не раскайтесь! *(Кладет руку за борт сюртука.)* Вы должны быть моей.

Лариса. Чьей ни быть, но не вашей!

Карандышев *(запальчиво)*. Не моей?

Лариса. Никогда.

Карандышев. Так не доставайся ж ты никому! *(Стреляет в нее из пистолета.)*

Лариса *(хватаясь за грудь)*. Ах! Благодарю вас! *(Опускается на стул.)*

Карандышев. Что я, что я... ах, безумный! (*Роняет пистолет.*)

Лариса (*нежно*). Милый мой, какое благодеяние вы для меня сделали! Пистолет сюда, сюда на стол! Это я сама... сама... Ах, какое благодеяние!.. (*Поднимает пистолет и кладет на стол.*)

Из кофейной выходят Паратов, Кнуров, Вожеватов,
Робинзон, Гаврило и Иван.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Лариса, Карандышев, Паратов, Кнуров, Вожеватов,
Робинзон, Гаврило и Иван.

Все. Что такое, что такое?

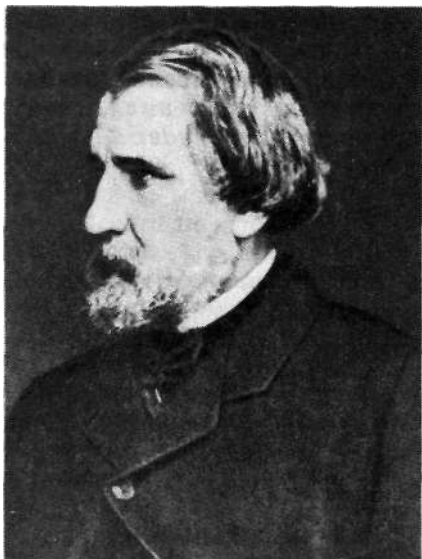
Лариса. Это я сама... Никто не виноват, никто... Это я сама.

За сценой цыгане запевают песню.

Паратов. Велите замолчать! Велите замолчать!

Лариса (*постепенно слабеющим голосом*). Нет, нет, зачем!.. Пусть веселятся, кому весело... Я не хочу мешать никому! Живите, живите все! Вам надо жить, а мне надо... умереть... Я ни на кого не жалею, ни на кого не обижаю... вы все хорошие люди... я вас всех... всех люблю. (*Посылает поцелуй.*)

Громкий хор цыган.



**Иван
Сергеевич
ТУРГЕНЕВ**

(1818—1883)

КРАТКАЯ БИОХРОНИКА И. С. ТУРГЕНЕВА

- 28 октября (9 ноября) 1818 года Иван Сергеевич Тургенев родился в г. Орле.
- 1821— 1827 — семья Тургеневых переселяется в родовое имение матери писателя Спасское-Лутовиново близ г. Мценска Орловской губернии. В этом имении проходит детство будущего писателя.
- 1822—1823 — заграничная поездка семьи Тургеневых (Германия, Швейцария, Франция).
- 1833— Иван Тургенев поступает на словесный факультет Московского университета.
- 1834— переводится на филологическое отделение философского факультета Петербургского университета.
- 1836— заканчивает Петербургский университет.
- 1838— опубликовано стихотворение «Вечер» («Современник», № 1).
- 1838—1839 — И. С. Тургенев слушает лекции в Берлинском университете.
- 1841— в «Современнике» и «Отечественных записках» печатаются стихотворения Ивана Тургенева.
- 1842— И. С. Тургенев выдерживает экзамен на степень магистра философии.
- 1843— выходит отдельным изданием поэма «Параша». И. С. Тургенев знакомится с Полиной Виардо (1 ноября). В «Отечественных записках» печатаются стихотворения и драма «Неосторожность».
- 1844— в «Отечественных записках» и «Современнике» печатают-

- ся стихотворения, в «Отечественных записках» (№ 11) — повесть «Андрей Колосов».
- 1846— в «Отечественных записках» напечатана поэма «Андрей», в «Петербургском сборнике» напечатаны рассказ «Три портрета», поэма «Помещик».
- 1847— в № 1 «Современника» напечатаны рассказ «Хорь и Калиныч», ряд стихотворений. В «Отечественных записках» опубликована повесть «Бретёр». В № 2—4 «Современника» напечатаны рассказы «Мой сосед Радилов», «Однодворец Овсянников», «Льгов», «Ермолай и мельничиха», в № 10 — «Бурмистр» и «Контора».
- 1848— в «Современнике» опубликованы рассказы «Малиновая вода», «Уездный лекарь», «Бирюк», «Лебедянь» и др.
- 1849— на страницах «Современника» опубликованы рассказы «Гамлет Шигровского уезда», «Чертопханов и Недоплюскин», «Лес и степь». Поставлена пьеса «Холостяк» в Александрийском театре в Петербурге (бенефис М. С. Щепкина 14 октября).
- 1850— первая постановка «Холостяка» в Малом театре в Москве. В «Современнике» напечатаны рассказы «Певцы» и «Свидание».
- 1851— первая постановка комедии «Провинциалка» в Малом театре в Москве (18 января, бенефис М. С. Щепкина). В «Современнике» напечатаны рассказы «Бежин луг», «Касьян с Красивой Мечи».
- 1852, апрель — за публикацию некролога о Гоголе Тургенев в течение месяца находится под арестом.
- 1852, август — отдельным изданием выходят «Записки охотника».
- 1854— в «Современнике» напечатаны повести «Муму», «Два приятеля», «Затишье».
- 1855— в «Современнике» напечатаны пьеса «Месяц в деревне», повесть «Яков Пасынков».
- 1856— в «Современнике» напечатаны роман «Рудин», комедия «Завтрак у предводителя».
- 1857— опубликована комедия «Чужой хлеб» («Нахлебник»).
- 1858— в № 1 «Современника» напечатана повесть «Ася».
- 1859— в № 1 «Современника» опубликован роман «Дворянское гнездо».
- 1860— в № 1 «Русского вестника» опубликован роман «Накануне». В «Библиотеке для чтения» напечатана повесть «Первая любовь». Разрыв с «Современником».
- 1862— в № 2 «Русского вестника» опубликован роман «Отцы и дети».
- 1863— во Франции выходит сборник избранных произведений Тургенева.
- 1867— в № 3 «Русского вестника» напечатан роман «Дым»
- 1870— в № 10 «Вестника Европы» опубликована повесть «Степной король Лир».

- 1872— в № 1 «Вестника Европы» опубликована повесть «Вешние воды».
- 1873— Тургенев в течение года живет за границей. Неоднократно встречается с Жорж Санд и Гюставом Флобером.
- 1877— в журнале «Вестник Европы» опубликован роман «Новь». Тургенев посещает умирающего Некрасова. Позже эта встреча описана в «Стихотворениях в прозе» («Последнее свидание»). Во второй половине года живет во Франции (Буживаль), общается с Г. Флобером, А. Додэ, Э. Золя, Г. де Мопассаном.
- 1879— первая постановка пьесы «Месяц в деревне» в Александрийском театре в Петербурге (17 января, бенефис М. Г. Савиной). Оксфордский университет присуждает Тургеневу степень доктора гражданского права (июнь).
- 1880— присутствует на открытии памятника Пушкину в Москве. Читает «Речь о Пушкине» на заседании «Общества любителей российской словесности».
- 1881— в № 11 «Вестника Европы» напечатана «Песнь торжествующей любви».
- 1882— в № 12 «Вестника Европы» напечатаны «Стихотворения в прозе».
- 1883, 22 августа, в 2 часа дня Иван Сергеевич Тургенев скончался в Буживале (Франция).
- 1883, 27 сентября — похороны И. С. Тургенева в Петербурге на Волковом кладбище.

»

ОТЦЫ И ДЕТИ

*Посвящается памяти
Виссариона Григорьевича
Белинского*

I

— Что, Петр, не видать еще? — спрашивал 20 мая 1859 года, выходя без шапки на низкое крылечко постоянного двора на*** шоссе, барин лет сорока с небольшим, в запыленном пальто и клетчатых панталонах, у своего слуги, молодого и щекастого малого с беловатым пухом на подбородке и маленькими тусклыми глазенками.

Слуга, в котором всё: и бирюзовая сережка в ухе, и напмаженные разноцветные волосы, и учтивые телодвижения, словом, всё изобличало человека новейшего, усовершенствованного поколения, посмотрел снисходительно вдоль дороги и ответил: «Никак нет-с, не видать».

— Не видать? — повторил барин.

— Не видать, — вторично ответил слуга.

Барин вздохнул и присел на скамеечку. Познакомим с ним читателя, пока он сидит, подогнувши под себя ножки и задумчиво поглядывая кругом.

Зовут его Николаем Петровичем Кирсановым. У него в пятнадцати верстах от постоянного дворика хорошее имение в двести душ, или, как он выражается с тех пор, как размежевался с крестьянами и завел «ферму», — в две тысячи десятин земли. Отец его, боевой генерал 1812 года, полуграмотный, грубый, но не злой русский человек, всю жизнь свою тянул ляжку, командовал сперва бригадой, потом дивизией и постоянно жил в провинции, где в силу своего чина играл довольно значительную роль. Николай Петрович родился на юге России, подобно старшему своему брату Павлу, о котором речь впереди, и воспитывался до четырнадцатилетнего возраста дома, окруженный дешевыми гувернерами, развязными, но подобострастными адъютантами и прочими полковыми и штабными личностями. Родительница его, из фамилии Колязиных, в девицах Agathe, а в генеральшах Агафоклея Кузьминишна Кирсанова, принадлежала к числу «матушек-командирш», носила пышные чепцы и шумные шелковые платья, в церкви подходила первая ко кресту, говорила громко

ОТЦЫ И ДЕТИ

*Посвящается памяти
Виссариона Григорьевича
Белинского*

I

— Что, Петр, не видать еще? — спрашивал 20 мая 1859 года, выходя без шапки на низкое крылечко постоянного двора на*** шоссе, барин лет сорока с небольшим, в запыленном пальто и клетчатых панталонах, у своего слуги, молодого и щекастого малого с беловатым пухом на подбородке и маленькими тусклыми глазенками.

Слуга, в котором всё: и бирюзовая сережка в ухе, и напмаженные разноцветные волосы, и учтивые телодвижения, словом, всё изобличало человека новейшего, усовершенствованного поколения, посмотрел снисходительно вдоль дороги и ответил: «Никак нет-с, не видать».

— Не видать? — повторил барин.

— Не видать, — вторично ответил слуга.

Барин вздохнул и присел на скамеечку. Познакомим с ним читателя, пока он сидит, подогнувши под себя ножки и задумчиво поглядывая кругом.

Зовут его Николаем Петровичем Кирсановым. У него в пятнадцати верстах от постоянного дворика хорошее имение в двести душ, или, как он выражается с тех пор, как размежевался с крестьянами и завел «ферму», — в две тысячи десятин земли. Отец его, боевой генерал 1812 года, полуграмотный, грубый, но не злой русский человек, всю жизнь свою тянул ляжку, командовал сперва бригадой, потом дивизией и постоянно жил в провинции, где в силу своего чина играл довольно значительную роль. Николай Петрович родился на юге России, подобно старшему своему брату Павлу, о котором речь впереди, и воспитывался до четырнадцатилетнего возраста дома, окруженный дешевыми гувернерами, развязными, но подобострастными адъютантами и прочими полковыми и штабными личностями. Родительница его, из фамилии Колязиных, в девицах Agathe, а в генеральшах Агафокля Кузьминишна Кирсанова, принадлежала к числу «матушек-командирш», носила пышные чепцы и шумные шелковые платья, в церкви подходила первая ко кресту, говорила громко

и много, допускала детей утром к ручке, на ночь их благословляла, — словом, жила в свое удовольствие. В качестве генеральского сына Николай Петрович — хотя не только не отличался храбростью, но даже заслужил прозвище трусишки — должен был, подобно брату Павлу, поступить в военную службу; но он переломил себе ногу в самый тот день, когда уже прибыло известие об его определении, и, пролежав два месяца в постели, на всю жизнь остался «хроменьким». Отец махнул на него рукой и пустил его по штатской. Он повез его в Петербург, как только ему минул восемнадцатый год, и поместил его в университет. Кстати, брат его о ту пору вышел офицером в гвардейский полк. Молодые люди стали жить вдвоем, на одной квартире, под отдаленным надзором двоюродного дяди с материнской стороны, Ильи Колязина, важного чиновника. Отец их вернулся к своей дивизии и к своей супруге и лишь изредка присылал сыновьям большие четвертушки серой бумаги, испещренные размашистым писарским почерком. На конце этих четвертушек красовались старательно окруженные «выкрутасами» слова «Пиотр Кирсаноф, генерал-майор». В 1835 году Николай Петрович вышел из университета кандидатом¹, и в том же году генерал Кирсанов, уволенный в отставку за неудачный смотр, приехал в Петербург с женою на житье. Он нанял было дом у Таврического сада² и записался в английский клуб³, но внезапно умер от удара. Агафоклея Кузьминишна скоро за ним последовала: она не могла привыкнуть к глухой столичной жизни; тоска отставного существования ее загрызла. Между тем Николай Петрович успел, еще при жизни родителей и к немалому их огорчению, влюбиться в дочку чиновника Преполовенского, бывшего хозяина его квартиры, миловидную и, как говорится, развитую девицу: она в журналах читала серьезные статьи в отделе «Наук». Он женился на ней, как только минул срок траура, и, покинув министерство уделов, куда по протекции отец его записал, блаженствовал со своею Машей сперва на даче около Лесного института, потом в городе, в маленькой и хорошенькой квартире, с чистою лестницей и холодноватою гостиною, наконец — в деревне, где он поселился окончательно и где у него в скором времени родился сын Аркадий. Супруги жили очень хорошо и тихо: они почти не расставались, читали вместе, играли в четыре руки на форте-

¹ *Кандидат*—младшая ученая степень; до 80-х годов XIX века присваивалась после окончания с отличием высшего учебного заведения.

² *Таврический сад* — большой сад с оранжереями, прудами и фонтанами при Таврическом дворце (дворец принадлежал «герою Тавриды» графу Потемкину, а затем — лицам царствующей фамилии).

³ *Английский клуб* (или *Английское собрание*) в Петербурге — старейший и наиболее фешенебельный из существовавших в России клубов, популярный среди русской знати; быть членом Английского клуба значило занимать достойное положение в свете.

пьяно, пели дуэты; она сажала цветы и наблюдала за птичьим двором, он изредка ездил на охоту и занимался хозяйством, а Аркадий рос да рос — тоже хорошо и тихо. Десять лет прошло как сон. В 47-м году жена Кирсанова скончалась. Он едва вынес этот удар, посидел в несколько недель; собрался было за границу, чтобы хотя немного рассеяться... но тут настал 48-й год. Он поневоле вернулся в деревню и после довольно продолжительного бездействия занялся хозяйственными преобразованиями. В 55-м году он повез сына в университет; прожил с ним три зимы в Петербурге, почти никуда не выходя и стараясь завести знакомства с молодыми товарищами Аркадия. На последнюю зиму он приехать не мог,— и вот мы видим его в мае месяце 1859 года, уже совсем седого, пухленького и немного сгорбленного: он ждет сына, получившего, как некогда он сам, звание кандидата.

Слуга, из чувства приличия, а может быть, и не желая остаться под барским глазом, зашел под ворота и закурил трубку. Николай Петрович поник головой и начал глядеть на ветхие ступеньки крылечка: крупный пестрый цыпленок степенно расхаживал по ним, крепко стуча своими большими желтыми ногами; запачканная кошка недружелюбно поглядывала на него, жеманно прикорнув на перила. Солнце пекло; из полутемных сеней постоянного дворика несло запахом теплого ржаного хлеба. Замечтался наш Николай Петрович. «Сын... кандидат... Аркаша...» — беспрестанно вертелось у него в голове; он пытался думать о чем-нибудь другом, и опять возвращались те же мысли. Вспомнилась ему покойница жена... «Не дождалась!» — шепнул он уныло... Толстый сизый голубь прилетел на дорогу и поспешно отправился пить в лужицу возле колодца. Николай Петрович стал глядеть на него, а ухо его уже ловило стук приближающихся колес...

— Никак они едут-с,— доложил слуга, вынырнув из-под ворот.

Николай Петрович вскочил и устремил глаза вдоль дороги. Показался тарантас, запряженный тройкой ямских лошадей; в тарантасе мелькнул околыш студентской фуражки, знакомый очерк дорогого лица...

— Аркаша! Аркаша! — закричал Кирсанов, и побежал, и замахал руками... Несколько мгновений спустя его губы уже прильнули к безбородой, запыленной и загорелой щеке молодого кандидата.

II

— Дай же отряхнуться, папаша,— говорил несколько сиплым от дороги, но звонким юношеским голосом Аркадий, весело отвечая на отцовские ласки,— я тебя всего запачкаю.

— Ничего, ничего,— твердил, умиленно улыбаясь, Николай Петрович и раза два ударил рукою по воротнику сыновней ши-

нели и по собственному пальто.— Покажи-ка себя, покажи-ка,— прибавил он, отодвигаясь, и тотчас же пошел торопливыми шагами к постоялому двору, приговаривая: «Вот сюда, сюда, да лошадей поскорее».

Николай Петрович казался гораздо встревоженнее своего сына; он словно потерялся немного, словно робел. Аркадий остановил его.

— Папаша,— сказал он,— позволь познакомить тебя с моим добрым приятелем, Базаровым, о котором я тебе так часто писал. Он так любезен, что согласился погостить у нас.

Николай Петрович быстро обернулся и, подойдя к человеку высокого роста в длинном балахоне с кистями, только что вылезшему из тарантаса, крепко стиснул его обнаженную красную руку, которую тот не сразу ему подал.

— Душевно рад,— начал он,— и благодарен за доброе намерение посетить нас; надеюсь... позвольте узнать ваше имя и отчество?

— Евгений Васильев,— отвечал Базаров ленивым, но мужественным голосом и, отвернув воротник балахона, показал Николаю Петровичу всё свое лицо. Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум.

— Надеюсь, любезнейший Евгений Васильич, что вы не сожучитесь у нас,— продолжал Николай Петрович.

Тонкие губы Базарова чуть тронулись; но он ничего не отвечал и только приподнял фуражку. Его темно-белокурые волосы, длинные и густые, не скрывали крупных выпуклостей просторного черепа.

— Так как же, Аркадий,— заговорил опять Николай Петрович, оборачиваясь к сыну,— сейчас закладывать лошадей, что ли? Или вы отдохнуть хотите?

— Дома отдохнем, папаша; вели закладывать.

— Сейчас, сейчас,— подхватил отец.— Эй, Петр, слышишь? Распорядись, братец, поживее.

Петр, который в качестве усовершенствованного слуги не пошел к ручке барича, а только издали поклонился ему, снова скрылся под воротами.

— Я здесь с коляской, но и для твоего тарантаса есть тройка,— хлопотливо говорил Николай Петрович, между тем как Аркадий пил воду из железного ковшика, принесенного хозяйкой постоялого двора, а Базаров закурил трубку и подошел к ямщику, отпрягавшему лошадей,— только коляска двухместная, и вот я не знаю, как твой приятель...

— Он в тарантасе поедет,— перебил вполголоса Аркадий.— Ты с ним, пожалуйста, не церемонься. Он чудесный малый, такой простой — ты увидишь.

Кучер Николая Петровича вывел лошадей.

— Ну, поворачивайся, толстобородый! — обратился Базаров к ямщику.

— Слышь, Митюха,— подхватил другой тут же стоявший ямщик с руками, засунутыми в задние прорехи тулупа,— барин-то тебя как прозвал? Толстобородый и есть.

Митюха только шапкой тряхнул и потащил вожжи с потной коренной.

— Живей, живей, ребята, подсобляйте,— воскликнул Николай Петрович,— на водку будет!

В несколько минут лошади были заложены; отец с сыном поместились в коляске; Петр взобрался на козлы; Базаров вскочил в тарантас, уткнулся головой в кожаную подушку — и оба экипажа покатали.

III

— Так вот как, наконец ты кандидат и домой приехал,— говорил Николай Петрович, потрогивая Аркадия то по плечу, то по колену.— Наконец!

— А что дядя? здоров? — спросил Аркадий, которому, несмотря на искреннюю, почти детскую радость, его наполнявшую, хотелось поскорее перевести разговор с настроения взволнованного на обыденное.

— Здоров. Он хотел было выехать со мной к тебе навстречу, да почему-то раздумал.

— А ты долго меня ждал? — спросил Аркадий.

— Да часов около пяти.

— Добрый папаша!

Аркадий живо повернулся к отцу и звонко поцеловал его в щеку. Николай Петрович тихонько засмеялся.

— Какую я тебе славную лошадь приготовил! — начал он,— ты увидишь. И комната твоя оклеена обоями.

— А для Базарова комната есть?

— Найдется и для него.

— Пожалуйста, папаша, приласкай его. Я не могу тебе выразить, до какой степени я дорожу его дружбой.

— Ты недавно с ним познакомился?

— Недавно.

— То-то прошлого зимой я его не видал. Он чем занимается?

— Главный предмет его — естественные науки. Да он все знает. Он в будущем году хочет держать на доктора.

— А! он по медицинскому факультету,— заметил Николай Петрович и помолчал.— Петр,— прибавил он и протянул руку,— это, никак, наши мужики едут?

Петр глянул в сторону, куда указывал барин. Несколько телег, запряженных разнузданными лошадьми, шибко катились по узкому проселку. В каждой телеге сидело по одному, много по два мужика в тулупах нараспашку.

— Точно так-с,— промолвил Петр.

— Куда это они едут, в город, что ли?

— Полагать надо, что в город. В кабак,— прибавил он презрительно и слегка наклонился к кучеру, как бы ссылаясь на него. Но тот даже не пошевелинулся: это был человек старого закала, не разделявший новейших воззрений.

— Хлопоты у меня большие с мужиками в нынешнем году,— продолжал Николай Петрович, обращаясь к сыну.— Не платят оброка. Что ты будешь делать?

— А своими наемными работниками ты доволен?

— Да,— процедил сквозь зубы Николай Петрович.— Подбивают их, вот что беда; ну, и настоящего старания всё еще нету. Сбрую портят. Пахали, впрочем, ничего. Перемелется — мука будет. Да разве тебя теперь хозяйство занимает?

— Тени нет у вас, вот что горе,— заметил Аркадий, не отвечая на последний вопрос.

— Я с северной стороны над балконом большую маркизу¹ приделал,— промолвил Николай Петрович,— теперь и обедать можно на воздухе.

— Что-то на дачу больно похоже будет... а впрочем, это все пустяки. Какой зато здесь воздух! Как славно пахнет! Право, мне кажется, нигде в мире так не пахнет, как в здешних краях! Да и небо здесь...

Аркадий вдруг остановился, бросил косвенный взгляд назад и умолк.

— Конечно,— заметил Николай Петрович,— ты здесь родился, тебе все должно казаться здесь чем-то особенным...

— Ну, папаша, это все равно, где бы человек ни родился.

— Однако...

— Нет, это совершенно все равно.

Николай Петрович посмотрел сбоку на сына, и коляска проехала с полверсты, прежде чем разговор возобновился между ними.

— Не помню, писал ли я тебе,— начал Николай Петрович,— твоя бывшая нянюшка, Егоровна, скончалась.

— Неужели? Бедная старуха! А Прокофьич жив?

— Жив и нисколько не изменился. Все так же брюзжит. Вообще ты больших перемен в Марьине не найдешь.

— Приказчик у тебя все тот же?

— Вот разве что приказчика я сменил. Я решился не держать больше у себя вольноотпущенных, бывших дворовых, или по крайней мере не поручать им никаких должностей, где есть ответственность. (Аркадий указал глазами на Петра.) *Il est libre, en effet*²,— заметил вполголоса Николай Петрович,— но ведь он — камердинер. Теперь у меня приказчик из мешан: кажется, дельный малый. Я ему назначил двести пятьдесят рублей в год.

¹ *Маркиза* — здесь: навес из плотной ткани для защиты от солнца и дождя.

² Он в самом деле вольный (*фр.*).

Впрочем,— прибавил Николай Петрович, потирая лоб и брови рукою,— я тебе сейчас сказал, что ты не найдешь перемен в Марьино... Это не совсем справедливо... Я считаю своим долгом пред-варить тебя, хотя...

Он запнулся на мгновение и продолжал уже по-французски:
— Строгий моралист найдет мою откровенность неуместною, но, во-первых, это скрыть нельзя, а во-вторых, тебе известно, у меня всегда были особенные принципы насчет отношений отца к сыну. Впрочем, ты будешь вправе осудить меня. В мои лета... Словом, эта... эта девушка, про которую ты уже слышал...

— Фенечка? — развязно спросил Аркадий.

Николай Петрович покраснел.

— Не называй ее, пожалуйста, громко... Ну, да... она теперь живет у меня. Я ее поместил в доме... там были две небольшие комнатки. Впрочем, это все можно переменить.

— Помилуй, папаша, зачем?

— Твой приятель у нас гостить будет... неловко...

— Насчет Базарова ты, пожалуйста, не беспокойся. Он выше всего этого.

— Ну, ты, наконец,— проговорил Николай Петрович.— Флигелек-то плох — вот беда.

— Помилуй, папаша,— подхватил Аркадий,— ты как будто извиняешься; как тебе не совестно.

— Конечно, мне должно быть совестно,— отвечал Николай Петрович, все более и более краснея.

— Полно, папаша, полно, сделай одолжение! — Аркадий ласково улыбнулся. «В чем извиняется!» — подумал он про себя, и чувство снисходительной нежности к доброму и мягкому отцу, смешанное с ощущением какого-то тайного превосходства, наполнило его душу.— Перестань, пожалуйста,— повторил он еще раз, невольно наслаждаясь сознанием собственной развитости и свободы.

Николай Петрович глянул на него из-под пальцев руки, которою он продолжал тереть себе лоб, и что-то кольнуло его в сердце... Но он тут же обвинил себя.

— Вот это уже наши поля пошли,— проговорил он после долгого молчания.

— А это впереди, кажется, наш лес? — спросил Аркадий.

— Да, наш. Только я его продал. В нынешнем году его сводить будут.

— Зачем ты его продал?

— Деньги были нужны; притом же эта земля отходит к мужикам.

— Которые тебе оброка не платят?

— Это уж их дело, а Впрочем, будут же они когда-нибудь платить.

— Жаль леса! — заметил Аркадий и стал глядеть кругом.

Места, по которым они проезжали, не могли назваться живописными. Поля, всё поля тянулись вплоть до самого небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова; кое-где виднелись небольшие леса, и, усеянные редким и низким кустарником, вились овраги, напоминая глазу их собственное изображение на старинных планах екатерининского времени. Попадались и речки с обрытыми берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими избенками под темными, часто до половины разметанными крышами, и покривившиеся моло'тильные сарайчики с плетеными из хвороста стенами и зевающими воротниками возле опустелых гумен, и церкви, то кирпичные с отвалившеюся кое-где штукатуркой, то деревянные с наклонившимися крестами и разоренными кладбищами. Сердце Аркадия понемногу сжималось. Как нарочно, мужички встречались все обтерханые, на плохих клячонках; как нищие в лохмотьях, стояли придорожные ракиты с ободранною корой и обломанными ветвями; исхудалые, шершавые, словно обглоданные, коровы жадно щипали траву по канавам. Казалось, они только что вырвались из чьих-то грозных, смертоносных когтей — и, вызванный жалким видом обессиленных животных, среди весеннего красного дня вставал белый призрак безотрадной, бесконечной зимы с ее метелями, морозами и снегами... «Нет, — подумал Аркадий, — небогатый край этот, не поражает он ни довольством, ни трудолюбием; нельзя, нельзя ему так остаться, преобразования необходимы... но как их исполнить, как приступить?..»

Так размышлял Аркадий... а пока он размышлял, весна брала свое. Все кругом золотисто зеленело, всё широко и мягко волновалось и лоснилось под тихим дыханием теплого ветерка, все — деревья, кусты и травы; повсюду нескончаемыми, звонкими струйками заливались жаворонки; чибисы то кричали, вися над низменными лугами, то молча перебежали по кочкам; красиво чернея в нежной зелени еще низких яровых хлебов, гуляли грачи; они пропадали во ржи, уже слегка побелевшей, лишь изредка выказывались их головы в дымчатых ее волнах. Аркадий глядел, глядел, и, понемногу ослабевая, исчезали его размышления... Он сбросил с себя шинель и так весело, таким молоденьким мальчиком посмотрел на отца, что тот опять его обнял.

— Теперь уже недалеко, — заметил Николай Петрович, — вот стоит только на эту горку подняться, и дом будет виден. Мы живем с тобой на славу, Аркаша; ты мне помогать будешь по хозяйству, если только это тебе не наскучит. Нам надобно теперь тесно сойтись друг с другом, узнать друг друга хорошенько, не правда ли?

— Конечно, — промолвил Аркадий, — но что за чудный день сегодня!

— Для твоего приезда, душа моя. Да, весна в полном блеске. А впрочем, я согласен с Пушкиным — помнишь, в «Евгении Онегине»:

Как грустно мне твое явление,
Весна, весна, пора любви!
Какое...

— Аркадий! — раздался из тарантаса голос Базарова, — пришли мне спичку, нечем трубку раскурить.

Николай Петрович умолк, а Аркадий, который начал было слушать его не без некоторого изумления, но и не без сочувствия, поспешил достать из кармана серебряную коробочку со спичками и послал ее Базарову с Петром.

— Хочешь сигарку? — закричал опять Базаров.

— Давай, — отвечал Аркадий.

Петр вернулся к коляске и вручил ему вместе с коробочкой толстую черную сигарку, которую Аркадий немедленно закурил, распространяя вокруг себя такой крепкий и кислый запах замятого табаку, что Николай Петрович, отроду не куривший, поневоле, хотя незаметно, чтобы не обидеть сына, отворачивал нос.

Четверть часа спустя оба экипажа остановились перед крыльцом нового деревянного дома, выкрашенного серою краской и покрытого железною красною крышей. Это и было Марьино, Новая слободка тож, или, по крестьянскому наименованию, Бобылий хутор.

IV

Толпа дворовых не высыпала на крыльцо встречать господ; показалась всего одна девочка лет двенадцати, а вслед за ней вышел из дому молодой парень, очень похожий на Петра, одетый в серую ливрейную куртку с белыми гербовыми пуговицами, слуга Павла Петровича Кирсанова. Он молча отворил дверцу коляски и отстегнул фартук тарантаса. Николай Петрович с сыном и с Базаровым отправились через темную и почти пустую залу, из-за двери которой мелькнуло молодое женское лицо, в гостиную, убранную уже в новейшем вкусе.

— Вот мы и дома, — промолвил Николай Петрович, снимая картуз и встряхивая волосами. — Главное, надо теперь поужинать и отдохнуть.

— Поесть действительно не худо, — заметил, потягиваясь, Базаров и опустился на диван.

— Да, да, ужинать давайте, ужинать поскорее. — Николай Петрович без всякой видимой причины потопал ногами. — Вот кстати и Прокофьич.

Вошел человек лет шестидесяти, беловолосый, худой и смуглый, в коричневом фраке с медными пуговицами и в розовом платочке на шее. Он осклабился, подошел к ручке к Аркадию и, поклонившись гостю, отступил к двери и положил руки за спину.

— Вот он, Прокофьич, — начал Николай Петрович, — приехал к нам наконец... Что? как ты его находишь?

— В лучшем виде-с,— проговорил старик и ослабился опять, но тотчас же нахмурил свои густые брови.— На стол накрывать прикажете? — проговорил он внушительно.

— Да, да, пожалуйста. Но не пройдете ли вы сперва в вашу комнату, Евгений Васильевич?

— Нет, благодарствуйте, незачем. Прикажете только чемоданишко мой туда стащить да вот эту одёженку,— прибавил он, снимая с себя свой балахон.

— Очень хорошо. Прокофьич, возьми же их шинель. (Прокофьич, как бы с недоумением, взял обеими руками базаровскую «одёженку» и, высоко подняв ее над головою, удалился на цыпочках.) А ты, Аркадий, пойдешь к себе на минутку?

— Да, надо почиститься,— отвечал Аркадий и направился было к дверям, но в это мгновение вошел в гостиную человек среднего роста, одетый в темный английский *сьют*¹, модный низенький галстук и лаковые полусапожки, Павел Петрович Кирсанов. На вид ему было лет сорок пять: его коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной; особенно хороши были светлые, черные, продолговатые глаза. Весь облик Аркадиева дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх, прочь от земли, которое большею частью исчезает после двадцатых годов.

Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными розовыми ногтями,— руку, казавшуюся еще красивей от снежной белизны рукавчика, застегнутого одиноким крупным опалом, и подал ее племяннику. Совершив предварительно европейское «shake hands»², он три раза, по-русски, поцеловался с ним, то есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щек, и проговорил: «Добро пожаловать».

Николай Петрович представил его Базарову: Павел Петрович слегка наклонил свой гибкий стан и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже положил ее обратно в карман.

— Я уже думал, что вы не приедете сегодня,— заговорил он приятным голосом, любезно покачиваясь, подергивая плечами и показывая прекрасные белые зубы.— Разве что на дороге случилось?

— Ничего не случилось,— отвечал Аркадий,— так, замешкались немного. Зато мы теперь голодны, как волки. Поторопи Прокофьича, папаша, а я сейчас вернусь.

— Постой, я с тобой пойду,— воскликнул Базаров, внезапно порываясь с дивана. Оба молодые человека вышли.

— Кто сей? — спросил Павел Петрович.

¹ *Сьют* (англ. suit)—костюм английского покроя.

² «рукопожатие» (англ.).

- Приятель Аркаши, очень, по его словам, умный человек.
- Он у нас гостить будет?
- Да.
- Этот волосатый?
- Ну да.

Павел Петрович постучал ногтями по столу.

— Я нахожу, что Аркадий *s'est degourdi*¹,— заметил он.— Я рад его возвращению.

За ужином разговаривали мало. Особенно Базаров почти ничего не говорил, но ел много. Николай Петрович рассказывал разные случаи из своей, как он выражался, фермерской жизни, толковал о предстоящих правительственных мерах, о комитетах, о депутатах², о необходимости заводить машины и т. д. Павел Петрович медленно похаживал взад и вперед по столовой (он никогда не ужинал), изредка отхлебывая из рюмки, наполненной красным вином, и еще реже произнося какое-нибудь замечание или скорее восклицание, вроде «а! эге! гм!». Аркадий сообщил несколько петербургских новостей, но он ощущал небольшую неловкость, ту неловкость, которая обыкновенно овладевает молодым человеком, когда он только что перестал быть ребенком и возвратился в место, где привыкли видеть и считать его ребенком. Он без нужды растягивал свою речь, избегал слова «папаша» и даже раз заменил его словом «отец», произнесенным, правда, сквозь зубы; с излишнею развязностью налил себе в стакан гораздо больше вина, чем самому хотелось, и выпил все вино. Прокофьич не спускал с него глаз и только губами пожевывал. После ужина все тотчас разошлись.

— А чудаковат у тебя дядя,— говорил Аркадию Базаров, сидя в халате возле его постели и насасывая короткую трубочку.— Щегольство какое в деревне, подумаешь! Ногти-то, ногти, хоть на выставку посылай!

— Да ведь ты не знаешь,— ответил Аркадий,— ведь он львом был в свое время. Я когда-нибудь расскажу тебе его историю. Ведь он красавцем был, голову кружил женщинам.

— Да, вот что! По старой, значит, памяти. Пленять-то здесь, жаль, некого. Я все смотрел: этакие у него удивительные воротнички, точно каменные, и подбородок так аккуратно выбрит. Аркадий Николаич, ведь это смешно?

— Пожалуй; только он, право, хороший человек.

— Архаическое явление! А отец у тебя славный малый. Сти-

¹ Стал развязнее (*фр.*).

² Речь идет о созданном в 1857 году под председательством Александра II Секретном комитете по крестьянскому делу, преобразованном в январе 1858 года в Главный комитет, и о депутатах губернских комитетов — выборных дворянско-помещичьих органах, в задачу которых входила подготовка проектов отмены крепостного права.

хи он напрасно читает и в хозяйстве вряд ли смыслит, но он добряк.

— Отец у меня золотой человек.

— Заметил ли ты, что он робеет?

Аркадий качнул головою, как будто он сам не робел.

— Удивительное дело,— продолжал Базаров,— эти старенькие романтики! Разовьют в себе нервную систему до раздражения... ну, равновесие и нарушено. Однако прощай! В моей комнате английский рукомоЙник, а дверь не запирается. Все-таки это поощрять надо — английские рукомоЙники, то есть прогресс!

Базаров ушел, а Аркадием овладело радостное чувство. Сладко засыпать в родимом доме, на знакомой постеле, под одеялом, над которым трудились любимые руки, быть может руки нянюшки, те ласковые добрые и неутомимые руки. Аркадий вспомнил Егоровну, и вздохнул, и пожелал ей царствия небесного... О себе он не молился.

И он и Базаров заснули скоро, но другие лица в доме долго еще не спали. Возвращение сына взволновало Николая Петровича. Он лег в постель, но не загасил свечки и, подперши рукою голову, думал долгие думы. Брат его сидел далеко за полночь в своем кабинете, на широком гамбсовом кресле, перед камином, в котором слабо тлел каменный уголь. Павел Петрович не разделся, только китайские красные туфли без задков сменили на его ногах лаковые полусапожки. Он держал в руках последний номер *Galignani*,¹ но он не читал; он глядел пристально в камин, где, то замирая, то вспыхивая, вздрагивало голубоватое пламя... Бог знает, где бродили его мысли, но не в одно только прошедшем бродили они: выражение его лица было сосредоточенно и угрюмо, чего не бывает, когда человек занят одними воспоминаниями. А в маленькой задней комнатке, на большом сундуке, сидела, в голубой душегрейке и с наброшенным белым платком на темных волосах, молодая женщина, Фенечка, и то прислушивалась, то дремала, то поглядывала на растворенную дверь, из-за которой виднелась детская кроватка и слышалось ровное дыхание спящего ребенка.

V

На другое утро Базаров раньше всех проснулся и вышел из дома. «Эге! — подумал он, посмотрев кругом, — местечко-то неказисто». Когда Николай Петрович размежевался с своими крестьянами, ему пришлось отвести под новую усадьбу десятины четыре совершенно ровного и голого поля. Он построил дом, службы и ферму, разбил сад, выкопал пруд и два колодца; но моло-

¹ Ежедневная либеральная газета «Galignanis Messenger» («Вестник Галиньяни»). Издавалась в Париже, с 1814 года, на английском языке. Основатель газеты — Джованни Антонио Галиньяни (1752—1821).

дые деревца плохо принимались, в пруде воды набралось очень мало, и колодцы оказались солонковатого вкуса. Одна только беседка из сиреней и акаций порядочно разрослась; в ней иногда пили чай и обедали. Базаров в несколько минут обегал все дорожки сада, зашел на скотный двор, на конюшню, отыскал двух дворовых мальчишек, с которыми тотчас свел знакомство и отправился с ними в небольшое болотце, с версту от усадьбы, за лягушками.

— На что тебе лягушки, барин? — спросил его один из мальчиков.

— А вот на что,— отвечал ему Базаров, который владел особенным умением возбуждать к себе доверие в людях низших, хотя он никогда не потакал им и обходился с ними небрежно,— я лягушку распластаю да посмотрю, что у нее там внутри делается; а так как мы с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим, я и буду знать, что и у нас внутри делается.

— Да на что тебе это?

— А чтобы не ошибиться, если ты занеможеешь и мне тебя лечить придется.

— Разве ты дохтур?

— Да.

— Васька, слышь, барин говорит, что мы с тобой те же лягушки. Чудно!

— Я их боюсь, лягушек-то,— заметил Васька, мальчик лет семи, с белою, как лен, головою, в сером казакине с стоячим воротником и босой.

— Чего бояться? разве они кусаются?

— Ну, полезайте в воду, философы,— промолвил Базаров.

Между тем Николай Петрович тоже проснулся и отправился к Аркадию, которого застал одетым. Отец и сын вышли на террасу, под навес маркизы; возле перил, на столе, между большими букетами сирени, уже кипел самовар. Явилась девочка, та самая, которая накануне первая встретила приезжих на крыльце, и тонким голосом проговорила:

— Федосья Николаевна не совсем здоровы, прийти не могут; приказали вас спросить, вам самим угодно разлить чай или прислать Дуняшу?

— Я сам разолью, сам,— поспешно подхватил Николай Петрович.— Ты, Аркадий, с чем пьешь чай, со сливками или с лимоном?

— Со сливками,— отвечал Аркадий и, помолчав немного, впросительно произнес: — Папаша?

Николай Петрович с замешательством посмотрел на сына.

— Что? — промолвил он.

Аркадий опустил глаза.

— Извини, папаша, если мой вопрос тебе покажется неуместным,— начал он,— но ты сам, вчерашнею своею откровенностью, меня вызываешь на откровенность... ты не рассердишься?..

— Говори.

— Ты мне даешь смелость спросить тебя... Не оттого ли Фен... не оттого ли она не приходит сюда чай разливать, что я здесь?

Николай Петрович слегка отвернулся.

— Может быть,— проговорил он наконец,— она предполагает... она стыдится...

Аркадий быстро вскинул глазами на отца.

— Напрасно ж она стыдится. Во-первых, тебе известен мой образ мыслей (Аркадию очень было приятно произнести эти слова), а во-вторых — захочу ли я хоть на волос стеснять твою жизнь, твои привычки? Притом, я уверен, ты не мог сделать дурной выбор; если ты позволил ей жить с тобой под одною кровлей, стало быть, она это заслуживает: во всяком случае, сын отцу не судья, и в особенности я, и в особенности такому отцу, который, как ты, никогда и ни в чем не стеснял моей свободы.

Голос Аркадия дрожал сначала: он чувствовал себя великодушным, однако в то же время понимал, что читает нечто вроде наставления своему отцу; но звук собственных речей сильно действует на человека, и Аркадий произнес последние слова твердо, даже с эффектом.

— Спасибо, Аркаша,— глухо заговорил Николай Петрович, и пальцы его опять заходили по бровям и по лбу.— Твои предположения действительно справедливы. Конечно, если б эта девушка не стоила... Это не легкомысленная прихоть. Мне неловко говорить с тобой об этом; но ты понимаешь, что ей трудно было прийти сюда при тебе, особенно в первый день твоего приезда.

— В таком случае я сам пойду к ней,— воскликнул Аркадий с новым приливом великодушных чувств и вскочил со стула.— Я ей растолкую, что ей нечего меня стыдиться.

Николай Петрович тоже встал.

— Аркадий,— начал он,— сделай одолжение... как же можно... там... Я тебя не предварил...

Но Аркадий уже не слушал его и убежал с террасы. Николай Петрович посмотрел ему вслед и в смущенье опустил на стул. Сердце его забилось... Представилась ли ему в это мгновение неизбежная странность будущих отношений между им и сыном, сознавал ли он, что едва ли не большее бы уважение оказал ему Аркадий, если б он вовсе не касался этого дела, упрекал ли он самого себя в слабости — сказать трудно; все эти чувства были в нем, но в виде ощущений — и то неясных; а с лица не сходила краска, и сердце билось.

Послышались торопливые шаги, и Аркадий вошел на террасу.

— Мы познакомились, отец! — воскликнул он с выражением какого-то ласкового и доброго торжества на лице.— Федосья Николаевна точно сегодня не совсем здорова и придет попозже. Но как же ты не сказал мне, что у меня есть брат? Я бы уже

вчера вечером его расцеловал, как я сейчас расцеловал его.

Николай Петрович хотел что-то вымолвить, хотел подняться и раскрыть объятия... Аркадий бросился ему на шею.

— Что это? опять обнимаетесь? — раздался сзади их голос Павла Петровича.

Отец и сын одинаково обрадовались появлению его в эту минуту; бывают положения трогательные, из которых все-таки хочется поскорее выйти.

— Чему ж ты удивляешься? — весело заговорил Николай Петрович.— В кои-то веки дождался я Аркаши... Я со вчерашнего дня и насмотреться на него не успел.

— Я вовсе не удивляюсь,— заметил Павел Петрович,— я даже сам не прочь с ним обняться.

Аркадий подошел к дяде и снова почувствовал на щеках своих прикосновение его душистых усов. Павел Петрович присел к столу. На нем был изящный утренний, в английском вкусе, костюм; на голове красовалась маленькая феска¹. Эта феска и небрежно повязанный галстучек намекали на свободу деревенской жизни; но тугие воротнички рубашки, правда, не белой, а пестренькой, как оно и следует для утреннего туалета, с обычною немолимостью упирались в выбритый подбородок.

— Где же новый твой приятель? — спросил он Аркадия.

— Его дома нет; он обыкновенно встает рано и отправляется куда-нибудь. Главное, не надо обращать на него внимания: он церемоний не любит.

— Да, это заметно.— Павел Петрович начал, не торопясь, намазывать масло на хлеб.— Долго он у нас прогостит?

— Как придется. Он заехал сюда по дороге к отцу.

— А отец его где живет?

— В нашей же губернии, верст восемьдесят отсюда. У него там небольшое имение. Он был прежде полковым доктором.

— Тэ-тэ-тэ-тэ... То-то я все себя спрашивал: где слышал я эту фамилию: Базаров?... Николай, помнится, в батюшкиной дивизии был лекарь Базаров?

— Кажется, был.

— Точно, точно. Так этот лекарь его отец. Гм! — Павел Петрович повел усами.— Ну, а сам господин Базаров собственно что такое? — спросил он с расстановкой.

— Что такое Базаров? — Аркадий усмехнулся.— Хотите, дядюшка, я вам скажу, что он собственно такое?

— Сделай одолжение, племянничек.

— Он нигилист.

— Как? — спросил Николай Петрович, а Павел Петрович поднял на воздух нож с куском масла на конце лезвия и остался неподвижен.

— Он нигилист,— повторил Аркадий.

¹ Турецкая фетровая шапочка.

— Нигилист,— проговорил Николай Петрович.— Это от латинского *nihil*, *ничего*, сколько я могу судить; стало быть, это слово означает человека, который... который ничего не признаёт?

— Скажи: который ничего не уважает,— подхватил Павел Петрович и снова принялся за масло.

— Который ко всему относится с критической точки зрения,— заметил Аркадий.

— А это не все равно? — спросил Павел Петрович.

— Нет, не все равно. Нигилист — это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип.

— И что ж, это хорошо? — перебил Павел Петрович.

— Смотря как кому, дядюшка. Иному от этого хорошо, а иному очень дурно.

— Вот как. Ну, это, я вижу, не по нашей части. Мы, люди старого века, мы полагаем, что без принсйпов (Павел Петрович выговаривал это слово мягко, на французский манер, Аркадий, напротив, произносил «прынцип», налегая на первый слог), без принсйпов, принятых, как ты говоришь, на веру, шагу ступить,дохнуть нельзя. *Vous avez change tout cela*¹, дай вам Бог здоровья и генеральский чин, а мы только любоваться вами будем, господа... как бишь?

— Нигилисты,— отчетливо проговорил Аркадий.

— Да. Прежде были гегелисты², а теперь нигилисты. Посмотрим, как вы будете существовать в пустоте, в безвоздушном пространстве; а теперь позвони-ка, пожалуйста, брат, Николай Петрович, мне пора пить мой какао.

Николай Петрович позвонил и закричал: «Дуняша!» Но вместо Дуняши на террасу вышла сама Фенечка. Это была молодая женщина лет двадцати трех, вся беленькая и мягкая, с темными волосами и глазами, с красными, детски пухлявыми губками и нежными ручками. На ней было опрятное ситцевое платье; голубая новая косынка легко лежала на ее круглых плечах. Она несла большую чашку какао и, поставив ее перед Павлом Петровичем, вся застыдилась: горячая кровь разлилась алою волной под тонкою кожей ее миловидного лица. Она опустила глаза и остановилась у стола, слегка опираясь на самые кончики пальцев. Казалось, ей и совестно было, что она пришла, и в то же время она как будто чувствовала, что имела право прийти.

Павел Петрович строго нахмурил брови, а Николай Петрович смутился.

— Здравствуй, Фенечка,— проговорил он сквозь зубы.

— Здравствуйте-с,— ответила она негромким, но звучным

¹ Вы всё это переменяли (*фр.*).

² *Гегелисты* (*гегельяницы*) — последователи немецкого философа-идеалиста Георга Вильгельма Гегеля (1770—1831).

голосом и, глянув искоса на Аркадия, который дружелюбно ей улыбался, тихонько вышла. Она ходила немножко вразвалку, но и это к ней пристало.

На террасе в течение нескольких мгновений господствовало молчание. Павел Петрович похлебывал свой какао и вдруг поднял голову.

— Вот и господин нигилист к нам жалует,— промолвил он вполголоса.

Действительно, по саду, шагая через клумбы, шел Базаров. Его полотняное пальто и панталоны были запачканы в грязи; цепкое болотное растение обвивало тулью его старой круглой шляпы; в правой руке он держал небольшой мешок; в мешке шевелилось что-то живое. Он быстро приблизился к террасе и, качнув головою, промолвил:

— Здравствуйте, господа; извините, что опоздал к чаю, сейчас вернусь; надо вот этих пленниц к месту пристроить.

— Что это у вас, пивяки? — спросил Павел Петрович.

— Нет, лягушки.

— Вы их едите или разводите?

— Для опытов,— равнодушно проговорил Базаров и ушел в дом.

— Это он их резать станет,— заметил Павел Петрович.— В принсипы не верит, а в лягушек верит.

Аркадий с сожалением посмотрел на дядю, и Николай Петрович украдкой пожал плечом. Сам Павел Петрович почувствовал, что сострил неудачно, и заговорил о хозяйстве и о новом управляющем, который накануне приходил к нему жаловаться, что работник Фома «либоширничает» и от рук отбился. «Такой уж он Езоп,— сказал он между прочим,— всюду протестовал себя¹ дурным человеком; поживет и с глупостью отойдет».

VI

Базаров вернулся, сел за стол и начал поспешно пить чай. Оба брата молча глядели на него, а Аркадий украдкой посматривал то на отца, то на дядю.

— Вы далеко отсюда ходили? — спросил наконец Николай Петрович.

— Тут у вас болотце есть, возле осинового роши. Я взогнал штук пять бекасов; ты можешь убить их, Аркадий.

— А вы не охотник?

— Нет.

— Вы собственно физикой занимаетесь? — спросил в свою очередь Павел Петрович.

— Физикой, да; вообще естественными науками.

Протестовал себя — зарекомендовал, показал себя.

— Говорят, германцы в последнее время сильно успели по этой части.

— Да, немцы в этом наши учителя,— небрежно отвечал Базаров.

Слово германцы, вместо немцы, Павел Петрович употребил ради иронии, которой, однако, никто не заметил.

— Вы столь высокого мнения о немцах? — проговорил с изысканною учтивостью Павел Петрович. Он начинал чувствовать тайное раздражение. Его аристократическую натуру возмущала совершенная развязность Базарова. Этот лекарский сын не только не робел, он даже отвечал отрывисто и неохотно, и в звуке его голоса было что-то грубое, почти дерзкое.

— Тамошние ученые дельный народ.

— Так, так. Ну, а об русских ученых вы, вероятно, не имеете столь лестного понятия?

— Пожалуй, что так.

— Это очень похвальное самоотвержение,— произнес Павел Петрович, выпрямляя стан и закидывая голову назад.— Но как же нам Аркадий Николаевич сейчас сказывал, что вы не признаете никаких авторитетов? Не верите им?

— Да зачем же я стану их признавать? И чему я буду верить? Мне скажут дело, я соглашаюсь, вот и все.

— А немцы все дело говорят? — промолвил Павел Петрович, и лицо его приняло такое безучастное, отдаленное выражение, словно он весь ушел в какую-то заоблачную высь.

— Не все,— ответил с коротким зевком Базаров, которому явно не хотелось продолжать словопрение.

Павел Петрович взглянул на Аркадия, как бы желая сказать ему: «Учтив твой друг, признаться».

— Что касается до меня,— заговорил он опять, не без некоторого усилия,— я немцев, грешный человек, не жалую. О русских немцах я уже не упоминаю: известно, что это за птицы. Но и немецкие немцы мне не по нутру. Еще прежние туда-сюда; тогда у них были — ну, там Шиллер, что ли, *Gemme*... Брат вот им особенно благоприятствует... А теперь пошли всё какие-то химики да материалисты...

— Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта,— перебил Базаров.

— Вот как,— промолвил Павел Петрович и, словно засыпая, чуть-чуть приподнял брови.— Вы, стало быть, искусства не признаете?

— Искусство наживать деньги, или нет более геморроя! — воскликнул Базаров с презрительной усмешкой.

— Так-с, так-с. Вот как вы изволите шутить. Это вы всё, стало быть, отвергаете? Положим. Значит, вы верите в одну науку?

— Я уже доложил вам, что ни во что не верю; и что такое наука — наука вообще? Есть науки, как есть ремесла, звания; а наука вообще не существует вовсе.

— Очень хорошо-с. Ну, а насчет других, в людском быту принятых, постановлений вы придерживаетесь такого же отрицательного направления?

— Что это, допрос? — спросил Базаров.

Павел Петрович слегка побледнел... Николай Петрович почел должным вмешаться в разговор.

— Мы когда-нибудь поподробнее побеседуем об этом предмете с вами, любезный Евгений Васильич; и ваше мнение узнаем и свое выскажем. С своей стороны, я очень рад, что вы занимаетесь естественными науками. Я слышал, что Либих¹ сделал удивительные открытия насчет удобрения полей. Вы можете мне помочь в моих агрономических работах: вы можете дать мне какой-нибудь полезный совет.

— Як вашим услугам, Николай Петрович; но куда нам до Либиха! Сперва азбуке надо выучиться и потом уже взяться за книгу, а мы еще аза в глаза не видали.²

«Ну, ты, я вижу, точно нигилист»,— подумал Николай Петрович.

— Все-таки позвольте прибегнуть к вам при случае,— прибавил он вслух.— А теперь нам, я полагаю, брат, пора пойти поговорить с приказчиком.

Павел Петрович поднялся со стула.

— Да,— проговорил он, ни на кого не глядя,— беда пожить этак годков пять в деревне, в отдалении от великих умов! Как раз дурак дураком станешь. Ты стараешься не забыть того, чему тебя учили, а там — хват! — оказывается, что все это вздор, и тебе говорят, что путные люди этакими пустяками больше не занимаются и что ты, мол, отсталый колпак. Что делать! Видно, молодежь точно умнее нас.

Павел Петрович медленно повернулся на каблуках и медленно вышел; Николай Петрович отправился вслед за ним.

— Что, он всегда у вас такой? — хладнокровно спросил Базаров у Аркадия, как только дверь затворилась за обоими братьями.

— Послушай, Евгений, ты уже слишком резко с ним обошелся,— заметил Аркадий.— Ты его оскорбил.

— Да, стану я их баловать, этих уездных аристократов! Ведь это всё самолюбие, львиные привычки, фатство. Ну, продолжал бы свое поприще в Петербурге, коли уж такой у него склад... А впрочем, Бог с ним совсем! Я нашел довольно редкий экземпляр водяного жука. *Dytiscus marginatus*, знаешь? Я тебе его покажу.

¹ *Либих* Юстус (1803—1873) — немецкий химик, автор работ по теории и практике сельского хозяйства, основоположник учения о минеральных удобрениях.

² *Аза в глаза не видать* — не знать с самого начала чего-либо; аз — первая буква славянской азбуки.

— Я тебе обещался рассказать его историю,— начал Аркадий.

— Историю жука?

— Ну, полно, Евгений. Историю моего дяди. Ты увидишь, что он не такой человек, каким ты его воображаешь. Он скорее сожаления достоин, чем насмешки.

— Я не спорю; да что он тебе так дался?

— Надо быть справедливым, Евгений.

— Это из чего следует?

— Нет, слушай...

И Аркадий рассказал ему историю своего дяди. Читатель найдет ее в следующей главе.

VII

Павел Петрович Кирсанов воспитывался сперва дома, так же как и младший брат его Николай, потом в пажемском корпусе. Он с детства отличался замечательной красотой; к тому же он был самоуверен, немного насмешлив и как-то забавно желчен — он не мог не нравиться. Он начал появляться всюду, как только вышел в офицеры. Его носили на руках, и он сам себя баловал, даже дурачился, даже ломался; но и это к нему шло. Женщины от него с ума сходили, мужчины называли его фатом и втайне завидовали ему. Он жил на одной квартире с братом, которого любил искренно, хотя нисколько на него не походил. Николай Петрович прихрамывал, черты имел маленькие, приятные, но несколько грустные, небольшие черные глаза и мягкие жидкие волосы; он охотно ленился, но и читал охотно, и боялся общества. Павел Петрович ни одного вечера не проводил дома, славился смелостию и ловкостию (он ввел было гимнастику в моду между светскою молодежью) и прочел всего пять, шесть французских книг. На двадцать восьмом году от роду он уже был капитаном; блестящая карьера ожидала его. Вдруг всё изменилось.

В то время в петербургском свете изредка появлялась женщина, которую не забыли до сих пор, княгиня Р. У ней был благовоспитанный и приличный, но глуповатый муж и не было детей. Она внезапно уезжала за границу, внезапно возвращалась в Россию, вообще вела странную жизнь. Она слыла за легкомысленную кокетку, с увлечением предавалась всякого рода удовольствиям, танцевала до упаду, хохотала и шутила с молодыми людьми, которых принимала перед обедом в полумраке гостиной, а по ночам плакала и молилась, не находила нигде покою и часто до самого утра металась по комнате, тоскливо ломая руки, или сидела, вся бледная и холодная, над псалтырем. День настаивал, и она снова превращалась в светскую даму, снова выезжала, смеялась, болтала и точно бросалась навстречу всему, что могло доставить ей малейшее развлечение. Она была удивительно сложена; ее коса золотого цвета и тяжелая, как золото, падала ниже колен, но красавицей ее никто бы не назвал;

во всем ее лице только и было хорошего, что глаза, и даже не самые глаза — они были невелики и серы, — но взгляд их, быстрый и глубокий, беспечный до удали и задумчивый до уныния, — загадочный взгляд. Что-то необычайное светилось в нем даже тогда, когда язык ее лепетал самые пустые речи. Одевалась она изысканно. Павел Петрович встретил ее на одном бале, протанцевал с ней мазурку, в течение которой она не сказала ни одного путного слова, и влюбился в нее страстно. Привыкший к победам, он и тут скоро достиг своей цели; но легкость торжества не охладила его. Напротив: он еще мучительнее, еще крепче привязался к этой женщине, в которой даже тогда, когда она отдавалась безвозвратно, все еще как будто оставалось что-то заветное и недоступное, куда никто не мог проникнуть. Что гнездилось в этой душе — Бог весть! Казалось, она находилась во власти каких-то тайных, для нее самой неведомых сил; они играли ею, как хотели; ее небольшой ум не мог сладить с их прихотью. Все ее поведение представляло ряд несообразностей; единственные письма, которые могли бы возбудить справедливые подозрения ее мужа, она написала к человеку почти ей чужому, а любовь ее отзывалась печалью; она уже не смеялась и не шутила с тем, кого избирала, и слушала его и глядела на него с недоумением. Иногда, большею частью внезапно, это недоумение переходило в холодный ужас; лицо ее принимало выражение мертвенное и дикое; она запиралась у себя в спальне, и горничная ее могла слышать, припав ухом к замку, ее глухие рыдания. Не раз, возвращаясь к себе домой после нежного свидания, Кирсанов чувствовал на сердце ту разрывающую и горькую досаду, которая поднимается в сердце после окончательной неудачи. «Чего же хочу я еще?» — спрашивал он себя, а сердце все ныло. Он однажды подарил ей кольцо с вырезанным на камне сфинксом.

— Что это? — спросила она, — сфинкс?

— Да, — ответил он, — и этот сфинкс — вы.

— Я? — спросила она и медленно подняла на него свой загадочный взгляд. — Знаете ли, что это очень лестно? — прибавила она с незначительной усмешкой, а глаза глядели все так же странно.

Тяжело было Павлу Петровичу даже тогда, когда княгиня Р. его любила, но когда она охладела к нему, а это случилось довольно скоро, он чуть с ума не сошел. Он терзался и ревновал, не давал ей покою, таскался за нею повсюду; ей надоело его неотвязное преследование, и она уехала за границу. Он вышел в отставку, несмотря на просьбы, приятелей, на увещания начальников, и отправился вслед за княгиней; года четыре провел он в чужих краях, то гоняясь за нею, то с намерением теряя ее из виду; он стыдился самого себя, он негодовал на свое малодушие... но ничто не помогало. Ее образ, этот непонятный, почти бессмысленный, но обаятельный образ слишком глубоко внедрился в его душу. В Бадене он как-то опять сошелся с нею по-

прежнему; казалось, никогда еще она так страстно его не любила... но через месяц все уже было кончено: огонь вспыхнул в последний раз и угас навсегда. Предчувствуя неизбежную разлуку, он хотел по крайней мере остаться ее другом, как будто дружба с такою женщиной была возможна... Она тихонько выехала из Бадена и с тех пор постоянно избегала Кирсанова. Он вернулся в Россию, попытался зажить старою жизнью, но уже не мог попасть в прежнюю колею. Как отравленный, бродил он с места на место; он еще выезжал, он сохранил все привычки светского человека; он мог похвастаться двумя, тремя новыми победами; но он уже не ждал ничего особенного ни от себя, ни от других и ничего не предпринимал. Он состарился, поседел; сидеть по вечерам в клубе, желчно скучать, равнодушно поспорить в холостом обществе стало для него потребностью,— знак, как известно, плохой. О женитьбе он, разумеется, и не думал. Десять лет прошло таким образом, бесцветно, бесплодно и быстро, страшно быстро. Нигде время так не бежит, как в России; в тюрьме, говорят, оно бежит еще скорее. Однажды, за обедом, в клубе, Павел Петрович узнал о смерти княгини Р. Она скончалась в Париже, в состоянии, близком к помешательству. Он встал из-за стола и долго ходил по комнатам клуба, останавливаясь, как вкопанный, близ карточных игроков, но не вернулся домой раньше обыкновенного. Через несколько времени он получил пакет, адресованный на его имя: в нем находилось данное им княгине кольцо. Она провела по сфинксу крестообразную черту и велела ему сказать, что крест — вот разгадка.

Это случилось в начале 48-го года, в то самое время, когда Николай Петрович, лишившись жены, приезжал в Петербург. Павел Петрович почти не видался с братом с тех пор, как тот поселился в деревне: свадьба Николая Петровича совпала с самыми первыми днями знакомства Павла Петровича с княгиней. Вернувшись из-за границы, он отправился к нему с намерением погостить у него месяца два, полюбоваться его счастьем, но выжил у него одну только неделю. Различие в положении обоих братьев было слишком велико. В 48-м году это различие уменьшилось: Николай Петрович потерял жену, Павел Петрович потерял свои воспоминания; после смерти княгини он старался не думать о ней. Но у Николая оставалось чувство правильно проведенной жизни, сын вырастал на его глазах; Павел, напротив, одинокий холостяк, вступал в то смутное, сумеречное время, время сожалений, похожих на надежды, надежд, похожих на сожаления, когда молодость прошла, а старость еще не настала.

Это время было труднее для Павла Петровича, чем для всякого другого: потеряв свое прошедшее, он всё потерял.

— Я не зову теперь тебя в Марьино,— сказал ему однажды Николай Петрович (он назвал свою деревню этим именем в честь жены),— ты и при покойнице там соскучился, а теперь ты, я думаю, там с тоски пропадешь.

— Я был еще глуп и суетлив тогда,— отвечал Павел Петрович,— с тех пор я уgomонился, если не поумнел. Теперь, напротив, если ты позволишь, я готов навсегда у тебя поселиться.

Вместо ответа Николай Петрович обнял его; но полтора года прошло после этого разговора, прежде чем Павел Петрович решился осуществить свое намерение. Зато, поселившись однажды в деревне, он уже не покидал ее даже и в те три зимы, которые Николай Петрович провел в Петербурге с сыном. Он стал читать, все больше по-английски; он вообще всю жизнь свою устроил на английский вкус, редко видался с соседями и выезжал только на выборы, где он большею частию помалчивал, лишь изредка дразня и пугая помещиков старого покроя либеральными выходками и не сближаясь с представителями нового поколения. И те и другие считали его гордецом; и те и другие его уважали за его отличные, аристократические манеры, за слухи о его победах; за то, что он прекрасно одевался и всегда останавливался в лучшем номере лучшей гостиницы; за то, что он вообще хорошо обедал, а однажды даже пообедал с Веллингтоном¹ у Людовика-Филиппа,² за то, что он всюду возил с собою настоящий серебряный несесер и походную ванну; за то, что от него пахло какими-то необыкновенными, удивительно «благородными» духами; за то, что он мастерски играл в вист и всегда проигрывал; йаконец, его уважали также за его безукоризненную честность. Дамы находили его очаровательным меланхоликом, но он не знался с дамами...

— Вот видишь ли, Евгений,— промолвил Аркадий, оканчивая свой рассказ,— как несправедливо ты судишь о дяде! Я уже не говорю о том, что он не раз выручал отца из беды, отдавал ему все свои деньги,— имение, ты, может быть, не знаешь, у них не разделено,— но он всякому рад помочь и, между прочим, всегда вступается за крестьян; правда, говоря с ними, он морщится и нюхает одеколон...

— Известное дело: нервы,— перебил Базаров.

— Может быть, только у него сердце предоброе. И он далеко не глуп. Какие он мне давал полезные советы... особенно... особенно насчет отношения к женщинам.

— Ага! На своем молоке обжегся, на чужую воду дует. Знаем мы это!

— Ну, словом,— продолжал Аркадий,— он глубоко несчастлив, поверь мне; презирать его — грешно.

¹ *Веллингтон* Артур Уэлсли (1769—1852) — английский полководец и политический деятель. При содействии прусской армии одержал победу над Наполеоном под Ватерлоо в 1815 году. Крайний консерватор.

² *Людовик-Филипп* (1773—1850) — французский король (1830—1848), ставленник крупной финансовой и промышленной буржуазии. Во время февральской революции 1848 года отрекся от престола и бежал в Англию.

— Да кто его презирает? — возразил Базаров. — А я все-таки скажу, что человек, который всю свою жизнь поставил на карту женской любви, и когда ему эту карту убили, раскис и опустил до того, что ни на что не стал способен, этакой человек — не мужчина, не самец. Ты говоришь, что он несчастлив: тебе лучше знать; но дурь из него не вся вышла. Я уверен, что он не шутя воображает себя дельным человеком, потому что читает Галиньашку и раз в месяц избавит мужика от экзекуции.

— Да вспомни его воспитание, время, в которое он жил, — заметил Аркадий.

— Воспитание? — подхватил Базаров. — Всякий человек сам себя воспитать должен — ну хоть как я, например... А что касается до времени — отчего я от него зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня. Нет, брат, это все распушенность, пустота! И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизм, чепуха, гниль, художество. Пойдем лучше смотреть жука.

И оба приятеля отправились в комнату Базарова, в которой уже успел установиться какой-то медицинско-хирургический запах, смешанный с запахом дешевого табаку.

VIII

Павел Петрович недолго присутствовал при беседе брата с управляющим, высоким и худым человеком с сладким чахоточным голосом и плутовскими глазами, который на все замечания Николая Петровича отвечал: «Помилуйте-с, известное дело-с», — и старался представить мужиков пьяницами и ворами. Недавно заведенное на новый лад хозяйство скрипело, как намазаное колесо, трещало, как доделанная мебель из сырого дерева. Николай Петрович не унывал, но частенько вздыхал и задумывался: он чувствовал, что без денег дело не пойдет, а деньги у него почти все перевелись. Аркадий сказал правду: Павел Петрович не раз помогал своему брату; не раз, видя, как он бился и ломал себе голову, придумывая, как бы извернуться, Павел Петрович медленно подходил к окну и, засунув руки в карманы, бормотал сквозь зубы: «Mais je puis vous donner de l'argent»¹ — и давал ему денег; но в этот день у него самого ничего не было, и он предпочел удалиться. Хозяйственные дразги наводили на него тоску; притом ему постоянно казалось, что Николай Петрович, несмотря на всё свое рвение и трудолюбие, не так принимается за дело, как бы следовало; хотя указать, в чем собственно ошибается Николай Петрович, он не сумел бы. «Брат не довольно практичен, — рассуждал он сам с собою, — его обманывают».

¹ «Но я могу дать тебе денег» (*фр.*).

Николай Петрович, напротив, был высокого мнения о практичности Павла Петровича и всегда спрашивал его совета. «Я человек мягкий, слабый, век свой провел в глуши,— говорил он,— а ты недаром так много жил с людьми, ты их хорошо знаешь: у тебя орлиный взгляд». Павел Петрович в ответ на эти слова только отворачивался, но не разувял брата.

Оставив Николая Петровича в кабинете, он отправился по коридору, отделявшему переднюю часть дома от задней, и, поравнявшись с низенькою дверью, остановился в раздумье, подергал себе усы и постучался в нее.

— Кто там? Войдите,— раздался голос Фенечки.

— Это я,— проговорил Павел Петрович и отворил дверь.

Фенечка вскочила со стула, на котором она уселась с своим ребенком, и, передав его на руки девушки, которая тотчас же вынесла его вон из комнаты, торопливо поправила свою косынку.

— Извините, если я помешал,— начал Павел Петрович, не глядя на нее,— мне хотелось только попросить вас... сегодня, кажется, в город посылают... велите купить для меня зеленого чаю.

— Слушаю-с,— отвечала Фенечка,— сколько прикажете купить?

— Да полфунта довольно будет, я полагаю. А у вас здесь, я вижу, перемена,— прибавил он, бросив вокруг быстрый взгляд, который скользнул и по лицу Фенечки.— Занавески вот,— промолвил он, видя, что она его не понимает.

— Да-с, занавески; Николай Петрович нам их пожаловал; да уж они давно повешены.

— Да и я у вас давно не был. Теперь у вас здесь очень хорошо.

— По милости Николая Петровича,— шепнула Фенечка.

— Вам здесь лучше, чем в прежнем флигельке? — спросил Павел Петрович вежливо, но без малейшей улыбки.

— Конечно, лучше-с.

— Кого теперь на ваше место поместили?

— Теперь там прачки.

— А!

Павел Петрович умолк: «Теперь уйдет»,— думала Фенечка, но он не уходил, и она стояла перед ним, как вкопанная, слабо перебирая пальцами.

— Отчего вы велели вашего маленького вынести? — заговорил, наконец, Павел Петрович.— Я люблю детей: покажите-ка мне его.

Фенечка вся покраснела от смущения и от радости. Она боялась Павла Петровича: он почти никогда не говорил с ней.

— Дуняша,— кликнула она,— принесите Митю (Фенечка всем в доме говорила *вы*). А не то погодите; надо ему платьице надеть.

Фенечка направилась к двери.

— Да всё равно,— заметил Павел Петрович.

— Я сейчас,— ответила Фенечка и проворно вышла.

Павел Петрович остался один и на этот раз с особенным вниманием оглянулся кругом. Небольшая, низенькая комнатка, в которой он находился, была очень чиста и уютна. В ней пахло недавно выкрашенным полом, ромашкой и мелиссой. Вдоль стен стояли стулья с задками в виде лир; они были куплены еще покойником генералом в Польше, во время похода; в одном углу возвышалась кровать под кисейным пологом, рядом с кованым сундуком с круглою крышкой. В противоположном углу горела лампадка перед большим темным образом Николая-чудотворца; крошечное фарфоровое яичко на красной ленте висело на груди святого, прицепленное к сиянию; на окнах банки с прошлогодним вареньем, тщательно завязанные, сквозили зеленым светом; на бумажных их крышках сама Фенечка написала крупными буквами: «кружовник»; Николай Петрович любил особенно это варенье. Под потолком, на длинном шнурке, висела клетка с короткохвостым чижом; он беспрестанно чирикал и прыгал, и клетка беспрестанно качалась и дрожала: конопляные зерна с легким стуком падали на пол. В простенке, над небольшим комодом, висели довольно плохие фотографические портреты Николая Петровича в разных положениях, сделанные заезжим художником; тут же висела фотография самой Фенечки, совершенно неудавшаяся: какое-то безглазое лицо напряженно улыбалось в темной рамочке,— больше ничего нельзя было разобрать; а над Фенечкой — Ермолов¹, в бурке, грозно хмурился на отдаленные Кавказские горы из-под шелкового башмачка для булавки, падавшего ему на самый лоб.

Прошло минут пять; в соседней комнате слышался шелест и шёпот. Павел Петрович взял с комода замазленную книгу, разрозненный том *Стрельцов* Масальского², перевернул несколько страниц... Дверь отворилась, и вошла Фенечка с Митей на руках. Она надела на него красную рубашечку с галуном на вороте, причесала его волосики и утерла лицо: он дышал тяжело, порывался всем телом и подергивал ручонками, как это делают все здоровые дети; но шегольская рубашечка видимо на него подействовала: выражение удовольствия отражалось на всей его пухлой фигурке. Фенечка и свои волосы привела в порядок, и козынку надела получше, но она могла бы остаться, как была. И в самом деле, есть ли на свете что-нибудь пленительнее молодой красивой матери с здоровым ребенком на руках?

¹ *Ермолов* Алексей Петрович (1772—1861) — генерал, соратник А. В. Суворова и М. И. Кутузова, герой Отечественной войны 1812 года, видный полководец и дипломат.

² Речь идет о вышедшем в 1832 году историческом четырехтомном романе «Стрельцы» К. П. Масальского, произведения которого отличались неглубоким содержанием.

— Экой бутуз,— снисходительно проговорил Павел Петрович и пощекотал двойной подбородок Мити концом длинного ногтя на указательном пальце; ребенок уставился на чижа и засмеялся.

— Это дядя,— промолвила Фенечка, склоняя к нему свое лицо и слегка его встряхивая, между тем как Дуняша тихонько ставила на окно зажженную курительную свечку, подложивши под нее грош.

— Сколько, бишь, ему месяцев? — спросил Павел Петрович.

— Шесть месяцев; скоро вот седьмой пойдет, одиннадцатого числа.

— Не восьмой ли, Федосья Николаевна? — не без робости вмешалась Дуняша.

— Нет, седьмой; как можно! — Ребенок опять засмеялся, уставился на сундук и вдруг схватил свою мать всюю пятерней за нос и за губы.— Баловник,— проговорила Фенечка, не отдвигая лица от его пальцев.

— Он похож на брата,— заметил Павел Петрович.

«На кого ж ему и походить?» — подумала Фенечка.

— Да,— продолжал, как бы говоря с самим собой, Павел Петрович,— несомненное сходство.— Он внимательно, почти печально посмотрел на Фенечку.

— Это дядя,— повторила она, уже шёпотом.

— А! Павел! вот где ты! — раздался вдруг голос Николая Петровича.

Павел Петрович торопливо обернулся и нахмурился; но брат его так радостно, с такою благодарностью глядел на него, что он не мог не ответить ему улыбкой.

— Славный у тебя мальчуган,— промолвил он и посмотрел на часы,— а я завернул сюда насчет чаю...

И, приняв равнодушное выражение, Павел Петрович тотчас же вышел вон из комнаты.

— Сам собою зашел? — спросил Фенечку Николай Петрович.

— Сами-с; постучали и вошли.

— Ну, а Аркаша больше у тебя не был?

— Не был. Не перейти ли мне во флигель, Николай Петрович?

— Это зачем?

— Я думаю, не лучше ли будет на первое время.

— Н... нет,— произнес с запинкой Николай Петрович и потер себе лоб.— Надо было прежде... Здравствуй, пузырь,— проговорил он с внезапным оживлением и, приблизившись к ребенку, поцеловал его в щеку; потом он нагнулся немного и приложил губы к Фенечкиной руке, белевшей, как молоко, на красной рубашечке Мити.

— Николай Петрович! что вы это? — пролепетала она и опустила глаза, потом тихонько подняла их... Прелестно было выра-

жение ее глаз, когда она глядела как бы исподлобья да посмеивалась ласково и немножко глупо.

Николай Петрович познакомился с Фенечкой следующим образом. Однажды, года три тому назад, ему пришлось ночевать на постоялом дворе в отдаленном уездном городе. Его приятно поразила чистота отведенной ему комнаты, свежесть постельного белья. «Уж не немка ли здесь хозяйка?» — пришло ему на мысль; но хозяйкой оказалась русская, женщина лет пятидесяти, опрятно одетая, с благообразным умным лицом и степенною речью. Он разговорился с ней за чаем; очень она ему понравилась. Николай Петрович в то время только что переселился в новую свою усадьбу и, не желая держать при себе крепостных людей, искал наемных; хозяйка, с своей стороны, жаловалась на малое число проезжающих в городе, на тяжелые времена; он предложил ей поступить к нему в дом в качестве экономки; она согласилась. Муж у ней давно умер, оставив ей одну только дочь, Фенечку. Недели через две Арина Савишна (так звали новую экономку) прибыла вместе с дочерью в Марьино и поселилась во флигельке. Выбор Николая Петровича оказался удачным. Арина завела порядок в доме. О Фенечке, которой тогда минул уже семнадцатый год, никто не говорил, и редкий ее видел: она жила тихонько, скромненько, и только по воскресеньям Николай Петрович замечал в приходской церкви, где-нибудь в сторонке, тонкий профиль ее беленького лица. Так прошло более года.

В одно утро Арина явилась к нему в кабинет и, по обыкновению, низко поклонившись, спросила его, не может ли он помочь ее дочке, которой искра из печки попала в глаз. Николай Петрович, как все домоседы, занимался лечением и даже выписал гомотическую аптечку. Он тотчас велел Арине привести больную. Узнав, что барин ее зовет, Фенечка очень перетрусилась, однако пошла за матерью. Николай Петрович подвел ее к окну и взял ее обеими руками за голову. Рассмотрев хорошенько ее покрасневший и воспаленный глаз, он прописал ей примочку, которую тут же сам составил, и, разорвав на части свой платок, показал ей, как надо примачивать. Фенечка выслушала его и хотела выйти. «Поцелуй же ручку у барина, глупенькая», — сказала ей Арина. Николай Петрович не дал ей своей руки и, сконфузившись, сам поцеловал ее в наклоненную голову, в пробор. Фенечкин глаз скоро выздоровел, но впечатление, произведенное ею на Николая Петровича, прошло не скоро. Ему все мерещилось это чистое, нежное, боязливо приподнятое лицо; он чувствовал под ладонями рук своих эти мягкие волосы, видел эти невинные, слегка раскрытые губы, из-за которых влажно блистали на солнце жемчужные зубки. Он начал с большим вниманием глядеть на нее в церкви, старался заговаривать с нею. Сначала она его дичилась и однажды, перед вечером, встретив его на узкой тропинке, проложенной пешеходами через ржаное поле, зашла

в высокую густую рожь, поросшую полынью и васильками, чтобы только не попасться ему на глаза. Он увидел ее головку сквозь золотую сетку колосьев, откуда она высматривала, как зверок, и ласково крикнул ей:

— Здравствуй, Фенечка! Я не кусаюсь.

— Здравствуйте,— прошептала она, не выходя из своей за-сады.

Понемногу она стала привыкать к нему, но все еще робела в его присутствии, как вдруг ее мать Арина умерла от холеры. Куда было деваться Фенечке? Она наследовала от своей матери любовь к порядку, рассудительность и степенность; но она была так молода, так одинока; Николай Петрович был сам такой добрый и скромный... Остальное досказывать нечего...

— Так-таки брат к тебе и вошел? — спрашивал ее Николай Петрович.— Постучался и вошел?

— Да-с.

— Ну, это хорошо. Дай-ка мне покачать Митю.

И Николай Петрович начал его подбрасывать почти под самый потолок, к великому удовольствию малютки и к немалому беспокойству матери, которая при всяком его взлете протягивала руки к обнажавшимся его ножкам.

А Павел Петрович вернулся в свой изящный кабинет, оклеенный по стенам красивыми обоями дикого цвета, с развешанным оружием на пестром персидском ковре, с орехового мебелью, обитой темно-зеленым трипом, с библиотекой *genais-sance*¹ из старого черного дуба, с бронзовыми статуэтками на великолепном письменном столе, с камином... Он бросился на диван, заложил руки за голову и остался неподвижен, почти с отчаяньем глядя в потолок. Захотел ли он скрыть от самых стен, что у него происходило на лице, по другой ли какой причине, только он встал, отстегнул тяжелые занавески окон и опять бросился на диван.

IX

В тот же день и Базаров познакомился с Фенечкой. Он вместе с Аркадием ходил по саду и толковал ему, почему иные деревца, особенно дубки, не принялись.

— Надо серебристых тополей побольше здесь сажать, да елок, да, пожалуй, липок, подбавивши чернозему. Вон беседка принялась хорошо,— прибавил он,— потому что акация да сирень — ребята добрые, ухода не требуют. Ба! да тут кто-то есть.

В беседке сидела Фенечка с Дуняшей и Митей. Базаров остановился, а Аркадий кивнул головою Фенечке, как старый знакомый.

— Кто это? — спросил его Базаров, как только они прошли мимо.— Какая хорошенькая!

— Да ты о ком говоришь?

— Известно о ком: одна только хорошенькая.

Аркадий, не без замешательства, объяснил ему в коротких словах, кто была Фенечка.

— Ага! — промолвил Базаров,— у твоего отца, видно, губа не дура. А он мне нравится, твой отец, ей-ей! Он молодец. Однако надо познакомиться,— прибавил он и отправился назад к беседке.

— Евгений! — с испугом крикнул ему вслед Аркадий,— осторожней, ради Бога.

— Не волнуйся,— проговорил Базаров,— народ мы тертый, в городах живали.

Приблизясь к Фенечке, он скинул картуз.

— Позвольте представиться,— начал он с вежливым поклоном,— Аркадию Николаевичу приятель и человек смирный.

Фенечка приподнялась со скамейки и глядела на него молча.

— Какой ребенок чудесный! — продолжал Базаров.— Не беспокойтесь, я еще никого не сглазил. Что это у него щеки такие красные? Зубки, что ли, прорезаются?

— Да-с,— промолвила Фенечка,— четверо зубков у него уже прорезались, а теперь вот десны опять припухли.

— Покажите-ка... да вы не бойтесь, я доктор.

Базаров взял на руки ребенка, который, к удивлению и Фенечки и Дуняши, не оказал никакого сопротивления и не испугался.

— Вижу, вижу... Ничего, всё в порядке: зубастый будет. Если что случится, скажите мне. А сами вы здоровы?

— Здорова, слава Богу.

— Слава Богу — лучше всего. А вы? — прибавил Базаров, обращаясь к Дуняше.

Дуняша, девушка очень строгая в хоромах и хохотунья за воротами, только фыркнула ему в ответ.

— Ну и прекрасно. Вот вам ваш богатырь.

Фенечка приняла ребенка к себе на руки.

— Как он у вас тихо сидел,— промолвила она, вполголоса.

— У меня все дети тихо сидят,— отвечал Базаров,— я такую штуку знаю.

— Дети чувствуют, кто их любит,— заметила Дуняша.

— Это точно,— подтвердила Фенечка.— Вот и Митя, к иному ни за что на руки не пойдет.

— А ко мне пойдет? — спросил Аркадий, который, постояв некоторое время в отдалении, приблизился к беседке.

Он поманил к себе Митю, но Митя откинул голову назад и запищал, что очень смутило Фенечку.

— В другой раз, когда привыкнуть успеет,— снисходительно промолвил Аркадий, и оба приятеля удалились.

— Как, бишь, ее зовут? — спросил Базаров.
— Фенечкой... Федосьей,— ответил Аркадий.
— А по батюшке? Это тоже нужно знать.
— Николаевной.
— *Vene*¹. Мне нравится в ней то, что она не слишком конфузится. Иной, пожалуй, это-то и осудил бы в ней. Что за вздор? чего ей конфузиться? Она мать — ну и права.

— Она-то права,— заметил Аркадий,— но вот отец мой...

— И он прав,— перебил Базаров.

— Ну, нет, я не нахожу.

— Видно, лишний наследничек нам не по нутру?

— Как тебе не стыдно предполагать во мне такие мысли! — с жаром подхватил Аркадий.— Я не с этой точки зрения считаю отца неправым; я нахожу, что он должен бы жениться на ней.

— Эге-ге! — спокойно проговорил Базаров.— Вот мы какие великодушные! Ты придаешь еще значение браку; я этого от тебя не ожидал.

Прятели сделали несколько шагов в молчанье.

— Видел я все заведения твоего отца,— начал опять Базаров.— Скот плохой, и лошади разбитые. Строения тоже подгуляли, и работники смотрят отъявленными ленивцами; а управляющий либо дурак, либо плут, я еще не разобрал хорошенько.

— Строг же ты сегодня, Евгений Васильевич.

— И добрые мужички надуют твоего отца всенепременно. Знаешь поговорку: «Русский мужик Бога слопаёт».

— Я начинаю соглашаться с дядей,— заметил Аркадий,— ты решительно дурного мнения о русских.

— Эка важность! Русский человек только тем и хорош, что он сам о себе прескверного мнения. Важно то, что дважды два четыре, а остальное все пустяки.

— И природа пустяки? — проговорил Аркадий, задумчиво глядя вдаль на пестрые поля, красиво и мягко освещенные уже невысоким солнцем.

— И природа пустяки в том значении, в каком ты ее понимаешь. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник.

Медлительные звуки виолончели долетели до них из дому в это самое мгновение. Кто-то играл с чувством, хотя и неопытной рукою «Ожидание» Шуберта, и медом разливалась по воздуху сладостная мелодия.

— Это что? — произнес с изумлением Базаров.

— Это отец.

— Твой отец играет на виолончели?

— Да.

— Да сколько твоему отцу лет?

— Сорок четыре.

¹ Хорошо (лат.).

Базаров вдруг расхохотался.

— Чему же ты смеешься?

— Помилуй! в сорок четыре года человек, *pater familias*¹, в ...м уезде — играет на виолончели!

Базаров продолжал хохотать; но Аркадий, как ни благоговел перед своим учителем, на этот раз даже не улыбнулся.

Х

Прошло около двух недель. Жизнь в Марьине текла своим порядком: Аркадий сибаритствовал², Базаров работал. Все в доме привыкли к нему, к его небрежным манерам, к его немногосложным и отрывочным речам. Фенечка в особенности до того с ним освоилась, что однажды ночью велела разбудить его: с Митей сделались судороги; и он пришел и, по обыкновению, полусуется, полусезая, просидел у ней часа два и помог ребенку. Зато Павел Петрович всеми силами души своей возненавидел Базарова: он считал его гордецом, нахалом, циником, плебеєм; он подозревал, что Базаров не уважает его, что он едва ли не презирает его — его, Павла Кирсанова! Николай Петрович по-баивался молодого «нигилиста» и сомневался в пользе его влияния на Аркадия; но он охотно его слушал, охотно присутствовал при его физических и химических опытах. Базаров привез с собой микроскоп и по целым часам с ним возился. Слуги также привязались к нему, хотя он над ними подтрунивал: они чувствовали, что он все-таки свой брат, не барин. Дуняша охотно с ним хихикала и искоса, значительно посматривала на него, пробегая мимо «перепелочкой»; Петр, человек до крайности самолюбивый и глупый, вечно с напряженными морщинами на лбу, человек, которого все достоинство состояло в том, что он глядел учтиво, читал по складам и часто чистил щеточкой свой сюртучок, — и тот ухмылялся и светлел, как только Базаров обращал на него внимание; дворовые мальчишки бегали за «дохтуром», как собачонки. Один старик Прокофьич не любил его, с угрюмым видом подавал ему за столом кушанья, называл его «живодером» и «прощельгой» и уверял, что он с своими бакенбардами — настоящая свинья в кусте. Прокофьич, по-своему, был аристократ не хуже Павла Петровича.

Наступили лучшие дни в году — первые дни июня. Погода стояла прекрасная; правда, издали грозилась опять холера, но жители ...й губернии успели уже привыкнуть к ее посещениям. Базаров вставал очень рано и отправлялся версты за две, за три, не гулять — он прогулок без цели терпеть не мог, — а собирать травы, насекомых. Иногда он брал с собой Аркадия. На

¹ отец семейства (*лат.*).

² *Сибаритствовать* — вести праздный, изнеженный образ жизни; *сибарит* — изнеженный, привыкший к роскоши человек.

возвратном пути у них обыкновенно завязывался спор, и Аркадий обыкновенно оставался побежденным, хотя говорил больше своего товарища.

Однажды они как-то долго замешкались; Николай Петрович вышел к ним навстречу в сад и, поравнявшись с беседкой, вдруг услышал быстрые шаги и голоса обоих молодых людей. Они шли по ту сторону беседки и не могли его видеть.

— Ты отца недостаточно знаешь,— говорил Аркадий.

Николай Петрович притаился.

— Твой отец добрый малый,— промолвил Базаров,— но он человек отставной, его песенка спета.

Николай Петрович приник ухом... Аркадий ничего не отвечал. «Отставной человек» постоял минуты две неподвижно и медленно поплелся домой.

— Третьего дня, я смотрю, он Пушкина читает,— продолжал между тем Базаров.— Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится. Ведь он не мальчик: пора бросить эту ерунду. И охота же быть романтиком в нынешнее время! Дай ему что-нибудь дельное почитать.

— Что бы ему дать? — спросил Аркадий.

— Да, я думаю, Бюхнеро *«Stoff und Kraft»*¹ на первый случай.

— Я сам так думаю,— заметил одобрительно Аркадий.— *«Stoff und Kraft»* написано популярным языком...

— Вот как мы с тобой,— говорил в тот же день после обеда Николай Петрович своему брату, сидя у него в кабинете: — в отставные люди попали, песенка наша спета. Что ж? Может быть, Базаров и прав; но мне, признаюсь, одно больно: я надеялся именно теперь тесно и дружески сойтись с Аркадием, а выходит, что я остался назади, он ушел вперед, и понять мы друг друга не можем.

— Да почему он ушел вперед? И чем он от нас так уж очень отличается? — с нетерпением воскликнул Павел Петрович.— Это все ему в голову синьор этот вбил, нигилист этот. Ненавижу я этого лекаришку; по-моему, он просто шарлатан; я уверен, что со всеми своими лягушками он и в физике недалеко ушел.

— Нет, брат, ты этого не говори: Базаров умен и знающ.

— И самолюбие какое противное,— перебил опять Павел Петрович.

— Да,— заметил Николай Петрович,— он самолюбив. Но без этого, видно, нельзя; только вот чего я в толк не возьму. Кажется, я все делаю, чтобы не отстать от века: крестьян устроил, ферму завел, так что даже меня во всей губернии *красным вели-*

¹ Имеется в виду книга немецкого философа и естествоиспытателя Фридриха Бюхнера *«Kraft und Stoff»* («Сила и материя»), обобщавшая новейшие для того времени знания о природе.

чают; читаю, учусь, вообще стараюсь стать в уровень с современными требованиями,— а они говорят, что песенка моя спета. Да что, брат, я сам начинаю думать, что она точно спета.

— Это почему?

— А вот почему. Сегодня я сижу да читаю Пушкина... Помнится, «Цыгане» мне попались... Вдруг Аркадий подходит ко мне и молча, с этаким ласковым сожалением на лице, тихонько, как у ребенка, отнял у меня книгу и положил передо мной другую, немецкую... улыбнулся и ушел, и Пушкина унес.

— Вот как! Какую же он книгу тебе дал?

— Вот эту.

И Николай Петрович вынул из заднего кармана сюртука пресловутую брошюру Бюхнера, девятого издания.

Павел Петрович повертел ее в руках.

— Гм! — промычал он.— Аркадий Николаевич заботится о твоём воспитании. Что ж, ты пробовал читать?

— Пробовал.

— Ну и что же?

— Либо я глуп, либо это все — вздор. Должно быть, я глуп.

— Да ты по-немецки не забыл? — спросил Павел Петрович.

— Я по-немецки понимаю.

Павел Петрович опять повертел книгу в руках и исподлобья взглянул на брата. Оба помолчали.

— Да, кстати,— начал Николай Петрович, видимо желая переменить разговор.— Я получил письмо от Колязина.

— От Матвея Ильича?

— От него. Он приехал в*** ревизовать губернию. Он теперь в тузы вышел и пишет мне, что желает, по-родственному, повидаться с нами и приглашает нас с тобой и с Аркадием в город.

— Ты поедешь? — спросил Павел Петрович.

— Нет; а ты?

— И я не поеду. Очень нужно тащиться за пятьдесят верст киселя есть. Mathieu хочет показаться нам во всей своей славе; черт с ним! будет с него губернского фимиама, обойдется без нашего. И велика важность, тайный советник! Если б я продолжал служить, тянуть эту глупую лямку, я бы теперь был генерал-адъютантом. Притом же мы с тобой отставные люди.

— Да, брат; видно пора гроб заказывать и ручки складывать крестом на груди,— заметил со вздохом Николай Петрович.

— Ну, я так скоро не сдамся,— пробормотал его брат.— У нас еще будет схватка с этим лекарем, я это предчувствую.

Схватка произошла в тот же день за вечерним чаем. Павел Петрович сошел в гостиную уже готовый к бою, раздраженный и решительный. Он ждал только предлога, чтобы накинуться на врага; но предлог долго не представлялся. Базаров вообще говорил мало в присутствии «старичков Кирсановых» (так он называл обоих братьев), а в тот вечер он чувствовал себя не в духе

и молча выпивал чашку за чашкой. Павел Петрович весь горел нетерпением; его желания сбылись наконец.

Речь зашла об одном из соседних помещиков. «Дрянь, аристократишко»,— равнодушно заметил Базаров, который встретался с ним в Петербурге.

— Позвольте вас спросить,— начал Павел Петрович, и губы его задрожали,— по вашим понятиям слова: «дрянь» и «аристократ» одно и то же означают?

— Я сказал: «аристократишко»,— проговорил Базаров, лениво отхлебывая глоток чаю.

— Точно так-с; но я полагаю, что вы такого же мнения об аристократах, как и об аристократишках. Я считаю долгом объявить вам, что я этого мнения не разделяю. Смеею сказать, меня все знают за человека либерального и любящего прогресс; но именно потому я уважаю аристократов — настоящих. Вспомните, милостивый государь (при этих словах Базаров поднял глаза на Павла Петровича), вспомните, милостивый государь,— повторил он с ожесточением,— английских аристократов. Они не уступают йоты от прав своих, и потому они уважают права других; они требуют исполнения обязанностей в отношении к ним, и потому они сами исполняют *свои* обязанности. Аристократия дала свободу Англии и поддерживает ее.

— Слыхали мы эту песню много раз,— возразил Базаров,— но что вы хотите этим доказать?

— Я *эфтим* хочу доказать, милостивый государь (Павел Петрович, когда сердился, с намерением говорил: «эфтим» и «эфто», хотя очень хорошо знал, что подобных слов грамматика не допускает. В этой причуде сказывался остаток преданий Александровского времени. Тогдашние тузы, в редких случаях, когда говорили на родном языке, употребляли одни — *эфто*, другие — *эhto*: мы, мол, коренные русаки, и в то же время мы вельможи, которым позволяется пренебрегать школьными правилами), я *эфтим* хочу доказать, что без чувства собственного достоинства, без уважения к самому себе,— а в аристократе эти чувства развиты,— нет никакого прочного основания общественному... *bien public*¹, общественному зданию. Личность, милостивый государь,— вот главное; человеческая личность должна быть крепка, как скала, ибо на ней всё строится. Я очень хорошо знаю, например, что вы изволите находить смешными мои привычки, мой туалет, мою опрятность наконец, но это всё проистекает из чувства самоуважения, из чувства долга, да-с, да-с, долга. Я живу в деревне, в глуши, но я не роняю себя, я уважаю в себе человека.

— Позвольте, Павел Петрович,— промолвил Базаров,— вы вот уважаете себя и сидите сложа руки; какая ж от этого польза для *bien public*? Вы бы не уважали себя и то же бы делали. Павел Петрович побледнел.

¹ общественному благу (*фр.*).

— Это совершенно другой вопрос. Мне вовсе не приходится объяснять вам теперь, йочему я сижу сложа руки, как вы изволите выражаться. Я хочу только сказать, что аристократизм — принцип, а без принципов жить в наше время могут одни безнравственные или пустые люди. Я говорил это Аркадию на другой день его приезда и повторяю теперь вам. Не так ли, Николай?

Николай Петрович кивнул головой.

— Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы, — говорил между тем Базаров, — подумаешь, сколько иностранных... и бесполезных слов! Русскому человеку они даром не нужны.

— Что же ему нужно, по-вашему? Послушать вас, так мы находимся вне человечества, вне его законов. Помилуйте — логика истории требует...

— Да на что нам эта логика? Мы и без нее обходимся.

— Как так?

— Да так же. Вы, я надеюсь, не нуждаетесь в логике для того, чтобы положить себе кусок хлеба в рот, когда вы голодны. Куда нам до этих отвлеченностей!

Павел Петрович взмахнул руками.

— Я вас не понимаю после этого. Вы оскорбляете русский народ. Я не понимаю, как можно не признавать принципов, прав! В силу чего же вы действуете?

— Я уже говорил вам, дядюшка, что мы не признаём авторитетов, — вмешался Аркадий.

— Мы действуем в силу того, что мы признаём полезным, — промолвил Базаров. — В теперешнее время полезнее всего отрицание — мы отрицаем.

— Всё?

— Всё.

— Как? не только искусство, поэзию... но и... страшно вымолвить...

— Всё, — с невыразимым спокойствием повторил Базаров.

Павел Петрович устался на него. Он этого не ожидал, а Аркадий даже покраснел от удовольствия.

— Однако позвольте, — заговорил Николай Петрович. — Вы всё отрицаете, или, выражаясь точнее, вы всё разрушаете... Да ведь надобно же и строить.

— Это уже не наше дело... Сперва нужно место расчистить.

— Современное состояние народа этого требует, — с важностью прибавил Аркадий, — мы должны исполнять эти требования, мы не имеем права предаваться удовлетворению личного эгоизма.

Эта последняя фраза, видимо, не понравилась Базарову; от нее вяло философией, то есть романтизмом, ибо Базаров и философию называл романтизмом; но он не почел за нужное опровергать своего молодого ученика.

— Нет, нет! — воскликнул с внезапным порывом Павел Пет-

рович,— я не хочу верить, что вы, господа, точно знаете русский народ, что вы представители его потребностей, его стремлений! Нет, русский народ не такой, каким вы его воображаете. Он свято чтит предания, он — патриархальный, он не может жить без веры...

— Я не стану против этого спорить,— перебил Базаров,— я даже готов согласиться, что *в этом* вы правы.

— А если я прав...

— И все-таки это ничего не доказывает.

— Именно ничего не доказывает,— повторил Аркадий с уверенностью опытного шахматного игрока, который предвидел опасный, по-видимому, ход противника и потому нисколько не смутился.

— Как ничего не доказывает? — пробормотал изумленный Павел Петрович.— Стало быть, вы идете против своего народа?

— А хоть бы и так! — воскликнул Базаров.— Народ полагает, что, когда гром гремит, это Илья Пророк в колеснице по небу разезжает. Что ж? Мне соглашаться с ним? Да притом — он русский, а разве я сам не русский?

— Нет, вы не русский после всего, что вы сейчас сказали! Я вас за русского признать не могу.

— Мой дед землю пахал,— с надменною гордостью отвечал Базаров.— Спросите любого из ваших же мужиков, в ком из нас — в вас или во мне — он скорее признает соотечественника. Вы и говорить-то с ним не умеете.

— А вы говорите с ним и презираете его в то же время.

— Что ж, коли он заслуживает презрения! Вы порицаете мое направление, а кто вам сказал, что оно во мне случайно, что оно не вызвано тем самым народным духом, во имя которого вы так ратуете?

— Как же! Очень нужны нигилисты!

— Нужны ли они, или нет — не нам решать. Ведь и вы считаете себя не бесполезным.

— Господа, господа, пожалуйте, без личностей! — воскликнул Николай Петрович и приподнялся.

Павел Петрович улыбнулся и, положив руку на плечо брату, заставил его снова сесть.

— Не беспокойся,— промолвил он.— Я не позабудусь именно вследствие того чувства достоинства, над которым так жестоко трунит господин... господин доктор. Позвольте,— продолжал он, обращаясь снова к Базарову,— вы, может быть, думаете, что ваше учение новость? Напрасно вы это воображаете. Материализм, который вы проповедуете, был уже не раз в ходу и всегда оказывался несостоятельным...

— Опять иностранное слово! — перебил Базаров. Он начал злиться, и лицо его приняло какой-то медный и грубый цвет.— Во-первых, мы ничего не проповедуем; это не в наших привычках...

— Что же вы делаете?

— А вот что мы делаем. Прежде, в недавнее еще время, мы говорили, что чиновники наши берут взятки, что у нас нет ни дорог, ни торговли, ни правильного суда...

— Ну да, да, вы обличители,— так, кажется, это называется. Со многими из ваших обличений и я соглашаюсь, но...

— А потом мы догадались, что болтать, все только болтать о наших язвах не стоит труда, что это ведет только к пошлости и доктринерству; мы увидали, что и умники наши, так называемые передовые люди и обличители, никуда не годятся, что мы занимаемся вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, об адвокатуре и чёрт знает о чем, когда дело идет о насущном хлебе, когда грубейшее суеверие нас душит, когда все наши акционерные общества лопаются единственно оттого, что оказывается недостаток в честных людях, когда самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке.

— Так,— перебил Павел Петрович,— так: вы во всем этом убедились и решились сами ни за что серьезно не приниматься.

— И решились ни за что не приниматься,— угрюмо повторил Базаров.

Ему вдруг стало досадно на самого себя, зачем он так распространился перед этим барином.

— А только ругаться?

— ^дИ ругаться.

— И это называется нигилизмом?

— И это называется нигилизмом,— повторил опять Базаров, на этот раз с особенною дерзостью.

Павел Петрович слегка прищурился.

— Так вот как! — промолвил он странно спокойным голосом.— Нигилизм всему горю помочь должен, и вы, вы наши избавители и герои. Но за что же вы других-то, хоть бы тех же обличителей, честите? Не так же ли вы болтаете, как и все?

— Чем другим, а этим грехом не грешны,— произнес сквозь зубы Базаров.

— Так что ж? вы действуете, что ли? Собираетесь действовать?

Базаров ничего не отвечал. Павел Петрович так и дрогнул, но тотчас же овладел собою.

— Гм!.. Действовать, ломать...— продолжал он.— Но как же это ломать, не зная даже почему?

— Мы ломаем, потому что мы сила,— заметил Аркадий.

Павел Петрович посмотрел на своего племянника и усмехнулся.

— Да, сила — так и не дает отчета,— проговорил Аркадий и выпрямился.

— Несчастный! — возопил Павел Петрович; он решительно не был в состоянии крепиться долее, — хоть бы ты подумал, *что* в России ты поддерживаешь твоею пошлою сентенцией! Нет, это может ангела из терпения вывести! Сила! И в диком калмыке и в монголе есть сила — да на что нам она? Нам дорога цивилизация, да-с, да-с, милостивый государь; нам дороги ее плоды. И не говорите мне, что эти плоды ничтожны: последний пачкун, *un barbouilleur*, тапер, которому дают пять копеек за вечер, и те полезнее вас, потому что они представители цивилизации, а не грубой монгольской силы! Вы воображаете себя передовыми людьми, а вам только в калмыцкой кибитке сидеть! Сила! Да вспомните, наконец, господа сильные, что вас всего четыре человека с половиною, а тех — миллионы, которые не позволят вам попирать ногами свои священнейшие верования, которые раздавят вас!

— Коли раздавят, туда и дорога, — промолвил Базаров. — Только бабушка еще надвое сказала. Нас не так мало, как вы полагаете.

— Как? Вы не шутя думаете сладить, сладить с целым народом?

— От копеечной свечи, вы знаете, Москва сгорела, — ответил Базаров.

— Так, так. Сперва гордость почти сатанинская, потом глумление. Вот, вот чем увлекается молодежь, вот чему покоряются неопытные сердца мальчишек! Вот, поглядите, один из них рядом с вами сидит, ведь он чуть не молится на вас, полюбуйтесь. (Аркадий отворотился и нахмурился.) И эта зараза уже далеко распространилась. Мне сказывали, что в Риме наши художники в Ватикан ни ногой¹. Рафаэля считают чуть не дураком, потому что это, мол, авторитет; а сами бессильны и бесплодны до гадости, а у самих фантазии дальше «Девушки у фонтана» не хватает, хоть ты что! И написана-то девушка прескверно. По-вашему, они молодцы, не правда ли?

— По-моему, — возразил Базаров, — Рафаэль гроша медного не стоит, да и они не лучше его.

— Bravo! bravo! Слушай, Аркадий... вот как должны современные молодые люди выражаться! И как, подумаешь, им не идти за вами! Прежде молодым людям приходилось учиться; не хо-

¹ В Ватикане (резиденция пап в Риме) много музеев с ценнейшими памятниками искусства (живописи, скульптуры и т. д.). В 50—60-х годах XIX века в русской живописи зарождается новое, реалистическое направление — передвижничество. Молодые художники отказывались от традиционного академизма, требовавшего подражания классическим образцам, главным образом итальянского искусства, и выступали за создание русского самобытного искусства, проникнутого передовыми, демократическими идеями. Этим в значительной мере и объясняется забвение Ватикана русскими художниками.

телось им прослыть за невежд, так они поневоле трудились. А теперь им стоит сказать: всё на свете вздор! — и дело в шляпе. Молодые люди обрадовались. И в самом деле, прежде они просто были болваны, а теперь они вдруг стали нигилисты.

— Вот и изменило вам хваленое чувство собственного достоинства,— флегматически заметил Базаров, между тем как Аркадий весь вспыхнул и засверкал глазами.— Спор наш зашел слишком далеко... Кажется, лучше его прекратить. А я тогда буду готов согласиться с вами,— прибавил он вставая,— когда вы представите мне хоть одно постановление в современном нашем быту, в семейном или общественном, которое бы не вызывало полного и беспощадного отрицания.

— Я вам миллионы таких постановлений представлю,— воскликнул Павел Петрович,— миллионы! Да вот хоть община, например.

Холодная усмешка скривила губы Базарова.

— Ну, насчет общины,— промолвил он,— поговорите лучше с вашим братцем. Он теперь, кажется, изведаль на деле, что такое община, круговая порука, трезвость и тому подобные штучки.

— Семья, наконец, семья, так, как она существует у наших крестьян!—закричал Павел Петрович.

— И этот вопрос, я полагаю, лучше для вас же самих не разбирать в подробности. Вы, чай, слышали о снохацах? Послушайте меня, Павел Петрович, дайте себе денька два сроку, сразу вы едва ли что-нибудь найдете. Переберите все наши сословия да подумайте хорошенько над каждым, а мы пока с Аркадием будем... *

— Надо всем глумиться,— подхватил Павел Петрович.

— Нет, лягушек резать. Пойдем, Аркадий; до свидания, господа!

Оба приятеля вышли. Братья остались наедине и сперва только посматривали друг на друга.

— Вот,— начал наконец Павел Петрович,— вот вам нынешняя молодежь! Вот они — наши наследники!

— Наследники,— повторил с унылым вздохом Николай Петрович. Он в течение всего спора сидел как на углях и только украдкой болезненно взглядывал на Аркадия.— Знаешь, что я вспомнил, брат? Однажды я с покойницей матушкой поссорился: она кричала, не хотела меня слушать... я наконец сказал ей, что вы, мол, меня понять не можете; мы, мол, принадлежим к двум различным поколениям. Она ужасно обиделась, а я подумал: что делать? Пилюля горька — а проглотить ее нужно. Вот теперь настала наша очередь, и наши наследники могут сказать нам: вы, мол, не нашего поколения, глотайте пилюлю.

— Ты уже чересчур благодушен и скромн,— возразил Павел Петрович,— я, напротив, уверен, что мы с тобой гораздо правее этих господчиков, хотя выражаемся, может быть, не-

сколько устарелым языком, *veilli*, и не имеем той дерзкой самонадеянности... И такая надутая эта нынешняя молодежь! Спросишь инога: какого вина вы хотите, красного или белого? «Я имею привычку предпочитать красное!» — отвечает он басом и с таким важным лицом, как будто вся вселенная глядит на него в это мгновение...

— Вам больше чаю не угодно? — промолвила Фенечка, просунув голову в дверь: она не решалась войти в гостиную, пока в ней раздавались голоса споривших.

— Нет, ты можешь велеть самовар принять, — отвечал Николай Петрович и поднялся к ней навстречу. Павел Петрович отрывисто сказал ему: *bon soir* и ушел к себе в кабинет.

XI

Полчаса спустя Николай Петрович отправился в сад, в свою любимую беседку. На него нашли грустные думы. Впервые он ясно сознал свое разъединение с сыном; он предчувствовал, что с каждым днем оно будет становиться все больше и больше. Стало быть, напрасно он, бывало, зимою в Петербурге по целым дням просиживал над новейшими сочинениями; напрасно прислушивался к разговорам молодых людей; напрасно радовался, когда ему удавалось вставить и свое слово в их кипучие речи. «Брат говорит, что мы правы, — думал он, — и, отложив всякое самолюбие в сторону, мне самому кажется, что они дальше от истины, нежели мы, а в то же время я чувствую, что за ними есть что-то, чего мы не имеем, какое-то преимущество над нами... Молодость? Нет: не одна только молодость. Не в том ли состоит это преимущество, что в них меньше следов барства, чем в нас?»

Николай Петрович потупил голову и провел рукой по лицу.

«Но отвергать поэзию? — подумал он опять, — не сочувствовать художеству, природе?..»

И он посмотрел кругом, как бы желая понять, как можно не сочувствовать природе. Уже вечерело; солнце скрылось за небольшую осиную рошу, лежавшую в полверсте от сада: тень от нее без конца тянулась через неподвижные поля. Мужичок ехал рысцей на белой лошадке по темной узкой дорожке вдоль самой роши; он весь был ясно виден, весь, до заплаты на плече, даром что ехал в тени; приятно-отчетливо мелькали ноги лошадки. Солнечные лучи с своей стороны забирались в рошу и, пробиваясь сквозь чащу, обливали стволы осин таким теплым светом, что они становились похожи на стволы сосен, а листва их почти синела и над нею поднималось бледно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей. Ласточки летали высоко; ветер совсем замер; за-

¹ добрый вечер (*фр.*)

поздалые пчелы лениво и сонливо жужжали в цветах сирени; мошки толклись столбом над одинокою, далеко протянутою веткою. «Как хорошо, Боже мой!» — подумал Николай Петрович, и любимые стихи пришли было ему на уста; он вспомнил Аркадия, *Stoff und Kraft* — и умолк, но продолжал сидеть, продолжал предаваться горестной и отрадной игре одиноких дум. Он любил помечтать; деревенская жизнь развила в нем эту способность. Давно ли он также мечтал, поджидая сына на постоялом дворике, а с тех пор уже произошла перемена, уже определились, тогда еще неясные, отношения... и как! Представилась ему опять покойница жена, но не такую, какую он ее знал в течение многих лет, не домовитою, доброю хозяйкою, а молодою девушкой с тонким станом, невинно-пытливым взглядом и туго закрученною косой над детской шейкой. Вспомнил он, как он увидал ее в первый раз. Он был тогда еще студентом. Он встретил ее на лестнице квартиры, в которой он жил, и, нечаянно толкнув ее, обернулся, хотел извиниться и только мог пробормотать: «*Parдон, monsieur*»¹, — а она наклонила голову, усмехнулась и вдруг как будто испугалась и побежала, а на повороте лестницы быстро взглянула на него, приняла серьезный вид и покраснела. А потом первые робкие посещения, полуслова, полуулыбки, и недоумение, и грусть, и порывы, и, наконец, эта задыхающаяся радость... Куда это всё умчалось? Она стала его женой, он был счастлив, как немногие на земле... «Но, — думал он, — те сладостные, первые мгновения, отчего бы не жить им вечною, неумирающею жизнью?»

Он не старался уяснить самому себе свою мысль, но он чувствовал, что ему хотелось удержать то блаженное время чем-нибудь более сильным, нежели память; ему хотелось вновь осязать близость своей Марии, ощутить ее теплоту и дыхание, и ему уже чудилось, как будто над ним...

— Николай Петрович, — раздался вблизи его голос Фенечки, — где вы?

Он вздрогнул. Ему не стало ни больно, ни совестно... Он не допускал даже возможности сравнения между женой и Фенечкой, но он пожалел о том, что она вздумала его отыскивать. Ее голос разом напомнил ему: его седые волосы, его старость, его настоящее...

Волшебный мир, в который он уже вступал, который уже возникал из туманных волн прошедшего, шевельнулся — и исчез.

— Я здесь, — отвечал он, — я приду, ступай. — «Вот они, следы-то барства», — мелькнуло у него в голове. Фенечка молча взглянула к нему в беседку и скрылась, а он с изумлением заметил, что ночь успела наступить с тех пор, как он замечтался. Все

¹ «Извините, сударь» (фр.).

потемнело и затихло кругом, и лицо Фенечки скользнуло перед ним, такое бледное и маленькое. Он приподнялся и хотел возвратиться домой; но размягченное сердце не могло успокоиться в его груди, и он стал медленно ходить по саду, то задумчиво глядя себе под ноги, то поднимая глаза к небу, где уже роились и перемигивались звезды. Он ходил много, почти до усталости, а тревога в нем, какая-то ищущая, неопределенная, печальная тревога, всё не унималась. О, как Базаров посмеялся бы над ним, если б он узнал, что в нем тогда происходило! Сам Аркадий осудил бы его. У него, у сорокачетырехлетнего человека, агронома и хозяина, навертывались слезы, беспричинные слезы; это было во сто раз хуже виолончели.

Николай Петрович продолжал ходить и не мог решиться войти в дом, в это мирное и уютное гнездо, которое так приветно глядело на него всеми своими освещенными окнами; он не в силах был расстаться с темнотой, с садом, с ощущением свежего воздуха на лице и с этою грустию, с этою тревогой...

На повороте дорожки встретился ему Павел Петрович.

— Что с тобой? — спросил он Николая Петровича, — ты бледен, как привиденье; ты нездоров; отчего ты не ложишься?

Николай Петрович объяснил ему в коротких словах свое душевное состояние и удалился. Павел Петрович дошел до конца сада, и тоже задумался, и тоже поднял глаза к небу. Но в его прекрасных темных глазах не отразилось ничего, кроме света звезд. Он не был рожден романтиком, и не умела мечтать его щегольски-сухая и страстная, на французский лад мизантропическая¹ душа...

— Знаешь ли что? — говорил в ту же ночь Базаров Аркадию. — Мне в голову пришла великолепная мысль. Твой отец сказывал сегодня, что он получил приглашение от этого вашего знатного родственника. Твой отец не поедет; махнем-ка мы с тобой в ***; ведь этот господин и тебя зовет. Вишь, какая сделалась здесь погода; а мы прокатимся, город посмотрим. Поболтаемся дней пять-шесть, и баста!

— А оттуда ты вернешься сюда?

— Нет, надо к отцу проехать. Ты знаешь, он от *** в тридцати верстах. Я его давно не видал, и мать тоже; надо стариков потешить. Они у меня люди хорошие, особенно отец: презабавный. Я же у них один.

— И долго ты у них пробудешь?

— Не думаю. Чай, скучно будет.

— А к нам на возвратном пути заедешь?

— Не знаю... посмотрю. Ну, так, что ли? Мы отправимся?

— Пожалуй, — лениво заметил Аркадий.

Он в душе очень обрадовался предложению своего приятеля,

но почел обязанностью скрыть свое чувство. Недаром же он был нигилист!

На другой день он уехал с Базаровым в ***. Молодежь в Марьине пожалела об их отъезде; Дуняша даже всплакнула... но старичкам вздохнулось легко.

XII

Город***, куда отправились наши приятели, состоял в ведении губернатора из молодых, прогрессиста и деспота, как это сплошь да рядом случается на Руси. Он, в течение первого года своего управления, успел перессориться не только с губернским предводителем, отставным гвардии штабс-ротмистром, конным заводчиком и хлебосолом, но и с собственными чиновниками. Возникшие по этому поводу распри приняли, наконец, такие размеры, что министерство в Петербурге нашло необходимым послать доверенное лицо с поручением разобрать все на месте. Выбор начальства пал на Матвея Ильича Колязина, сына того Колязина, над попечительством которого находились некогда братья Кирсановы. Он был тоже из «молодых», то есть ему недавно минуло сорок лет, но он уже метил в государственные люди и на каждой стороне груди носил по звезде. Одна, правда, была иностранная, из плохоньких. Подобно губернатору, которого он приехал судить, он считался прогрессистом и, будучи уже тузом, не походил на большую часть тузов. Он имел о себе самое высокое мнение; тщеславие его не знало границ, но он держался просто, глядел одобрительно, слушал снисходительно и так добродушно смеялся, что на первых порах мог даже прослыть за «чудного малого». В важных случаях он умел, однако, как говорится, задать пыли. «Энергия необходима,— говаривал он тогда,— *l'energie est la premiere qualite d'un homme d'etat*¹»; а со всем тем он обыкновенно оставался в дураках и всякий несколько опытный чиновник садился на него верхом. Матвей Ильич отзывался с большим уважением о Гизо² и старался внушить всем и каждому, что он не принадлежит к числу рутинеров и отсталых бюрократов, что он не оставляет без внимания ни одного важного проявления общественной жизни... Все подобные слова были ему хорошо известны. Он даже следил, правда, с небрежною величавостию, за развитием современной литературы: так взрослый человек, встретив на улице процессию мальчишек, иногда присоединяется к ней. В сущности Матвей Ильич недалеко ушел от тех государственных мужей Александровского времени,

¹ энергия — первейшее качество государственного человека (*фр.*).

² Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787—1874) — французский историк и реакционный политический деятель. Стремился к созданию во Франции блока буржуазии с дворянством и к предотвращению революции.

которые, готовясь идти на вечер к г-же Свечиной, жившей тогда в Петербурге, прочитывали поутру страницу из Кондильяка², только приемы у него были другие, более современные. Он был ловкий придворный, большой хитрец и больше ничего; в делах толку не знал, ума не имел, а умел вести свои собственные дела: тут уж никто не мог его оседлать, а ведь это главное.

Матвей Ильич принял Аркадия с свойственным просвещенному сановнику добродушием, скажем более, с игривостию. Он, однако, изумился, когда узнал, что приглашенные им родственники остались в деревне. «Чудак был твой папа всегда», заметил он, подбрасывая кистями своего великолепного бархатного шлафрока³, и вдруг, обратясь к молодому чиновнику в благонамереннейше застегнутом вицмундире, воскликнул с озабоченным видом: «Чего?» Молодой человек, у которого от продолжительного молчания слиплись губы, приподнялся и с недоумением посмотрел на своего начальника. Но, озадачив подчиненного, Матвей Ильич уже не обращал на него внимания. Сановники наши вообще любят озадачивать подчиненных; способы, к которым они прибегают для достижения этой цели, довольно разнообразны. Следующий способ, между прочим, в большом употреблении, «is quite a favorite»⁴, как говорят англичане: сановник вдруг перестает понимать самые простые слова, глухоту на себя напускает. Он спросит, например: какой сегодня день?

Ему почтительнейше докладывают: «Пятница сегодня, ваше с... с... с... ство».

— А? Что? Что такое? Что вы говорите? — напряженно повторяет сановник.

— Сегодня пятница, ваше с... с... ство.

— Как? Что? Что такое пятница? какая пятница?

— Пятница, ваше с... ссс... ссс... ство, день в неделе.

— Ну-у, ты учить меня вздумал?

Матвей Ильич все-таки был сановник, хоть и считался либералом.

— Я советую тебе, друг мой, съездить с визитом к губернатору, — сказал он Аркадию, — ты понимаешь, я тебе это советую не потому, чтоб я придерживался старинных понятий о необходимости ездить к властям на поклон, а просто потому, что губернатор порядочный человек; притом же ты, вероятно, желаешь познако-

¹ *Свечина* С. П. (1782—1859) — писательница-мистик. Жила главным образом в Париже. Ее сочинения (изданы в 1860 году) оживленно обсуждались в дворянских кругах русского общества.

² *Кондильяк* Этьенн де Бонно (1715—1780) — французский просветитель, философ-деист, сторонник сенсуализма. Основная его работа — «Трактат об ощущениях» (1754).

³ *Шлафрок* — домашний халат.

⁴ «самый излюбленный» (англ.).

миться с здешним обществом... ведь ты не медведь, надеюсь? А он послезавтра дает большой бал.

— Вы будете на этом бале? — спросил Аркадий.

— Он для меня его дает,— проговорил Матвей Ильич почти с сожалением.— Ты танцуешь?

— Танцую, только плохо.

— Это напрасно. Здесь есть хорошенькие, да и молодому человеку стыдно не танцевать. Опять-таки я это говорю не в силу старинных понятий; я вовсе не полагаю, что ум должен находиться в ногах, но байронизм смешон, *il a fait son temps*¹.

— Да я, дядюшка, вовсе не из байронизма не...

— Я познакомлю тебя с здешними барынями, я беру тебя под свое крылышко,— перебил Матвей Ильич и самодовольно засмеялся.— Тебе тепло будет, а?

Слуга вошел и доложил о приезде председателя казенной палаты, сладкоглазого старика с сморщенными губами, который чрезвычайно любил природу, особенно в летний день, когда, по его словам, «каждая пчелочка с каждого цветочка берет взяточку...». Аркадий удалился.

Он застал Базарова в трактире, где они остановились, и долго его уговаривал пойти к губернатору. «Нечего делать! — сказал, наконец, Базаров.— Взятся за гуж — не говори, что не дюж! Приехали смотреть помещиков — давай их смотреть!» Губернатор принял молодых людей приветливо, но не посадил их и сам не сел. Он вечно суетился и спешил; с утра надевал тесный вицмундир и чрезвычайно тугой галстук, недоедал и недопивал, все распорядился. Его в губернии прозвали Бурдалу, намекая тем не на известного французского проповедника, а на бурду. Он пригласил Кирсанова и Базарова к себе на бал и через две минуты пригласил их вторично, считая их уже братьями и называя их Кайсаровыми.

Они шли к себе домой от губернатора, как вдруг из проезжающих мимо дрожек выскочил человек небольшого роста, в славянофильской венгерке, и с криком: «Евгений Васильич!» — бросился к Базарову.

— А! это вы, герр Ситников,— проговорил Базаров, продолжая шагать по тротуару,— какими судьбами?

— Вообразите, совершенно случайно,— отвечал тот и, обернувшись к дрожкам, махнул раз пять рукой и закричал: — Ступай за нами, ступай! — У моего отца здесь дело,— продолжал он, перепрыгивая через канавку,— ну, так он меня просил... Я сегодня узнал о вашем приезде и уже был у вас... (Действительно, приятели, возвратясь к себе в номер, нашли там карточку с загнутыми углами и с именем Ситникова, на одной стороне по-французски, на другой — славянской вязью.) Я надеюсь, вы не от губернатора!

¹ прошло его время (*фр.*).

— Не надейтесь, мы прямо от него.

— А! в таком случае и я к нему пойду... Евгений Васильич, познакомьте меня с вашим... с ними...

— Ситников, Кирсанов,— проворчал, не останавливаясь, Базаров.

— Мне очень лестно,— начал Ситников, выступая боком, ухмыляясь и поспешно стаскивая свои уже чересчур элегантные перчатки.— Я очень много слышал... Я старинный знакомый Евгения Васильевича и могу сказать — его ученик. Я ему обязан моим перерождением...

Аркадий посмотрел на базаровского ученика. Тревожное и тупое выражение сказывалось в маленьких, впрочем приятных чертах его прилизанного лица; небольшие, словно вдавленные глаза глядели пристально и беспокойно, и смеялся он беспокойно: каким-то коротким, деревянным смехом.

— Поверите ли,— продолжал он,— что когда при мне Евгений Васильевич в первый раз сказал, что не должно признавать авторитетов, я почувствовал такой восторг... словно прозрел! «Вот,— подумал я,— наконец нашел я человека!» Кстати, Евгений Васильевич, вам непременно надобно сходить к одной здешней даме, которая совершенно в состоянии понять вас и для которой ваше посещение будет настоящим праздником; вы, я думаю, слышали о ней?

— Кто такая? — произнес нехотя Базаров.

— Кукшина, Eudoxie, Евдоксия Кукшина. Это замечательная натура, emancipée¹ в истинном смысле слова, передовая женщина. Знаете ли что? Пойдемте теперь к ней все вместе. Она живет отсюда в двух шагах. Мы там позавтракаем. Ведь вы еще не завтракали?

— Нет еще.

— Ну и прекрасно. Она, вы понимаете, разъехалась с мужем, ни от кого не зависит.

— Хорошенькая она? — перебил Базаров.

— Н... нет, этого нельзя сказать.

— Так для какого же дьявола вы нас к ней зовете?

— Ну, шутник, шутник... Она нам бутылку шампанского поставит.

— Вот как! Сейчас виден практический человек. Кстати, ваш батюшка все по откупам?

— По откупам,— торопливо проговорил Ситников и визгливо засмеялся.— Что же? идет?

— Не знаю, право.

— Ты хотел людей смотреть, ступай,— заметил вполголоса Аркадий.

— А вы-то что ж, господин Кирсанов? — подхватил Ситников.— Пожалуйте и вы, без вас нельзя.

¹ свободная от предрассудков (фр.).

- Да как же это мы все разом нагреем?
- Ничего! Кукшина — человек чудный.
- Бутылка шампанского будет? — спросил Базаров.
- Три! — воскликнул Ситников.— За это я ручаюсь!
- Чем?
- Собственную головую.
- Лучше бы мощною башки. А впрочем, пойдем.

XIII

Небольшой дворянский домик на московский манер, в котором проживала Авдотья Никитишна (или *Евдоксия*) Кукшина, находился в одной из нововыгоревших улиц города ***; известно, что наши губернские города горят через каждые пять лет. У дверей, над криво прибитою визитного карточкой, виднелась ручка колокольчика, и в передней встретила пришедших какая-то не то служанка, не то компаньонка в чепце — явные признаки прогрессивных стремлений хозяйки. Ситников спросил, дома ли Авдотья Никитишна.

— Это вы, Victor? — раздался тонкий голос из соседней комнаты.— Войдите.

Женщина в чепце тотчас исчезла.

— Я не один,— промолвил Ситников, лихо скидывая свою венгерку, под которою оказалось нечто вроде поддевки или пальто-сака, и бросая бойкий взгляд Аркадию и Базарову.

— Все равно,— отвечал голос.— Entrez¹.

Молодые люди вошли. Комната, в которой они очутились, походила скорее на рабочий кабинет, чем на гостиную. Бумаги, письма, толстые нумера русских журналов, большею частью неразрезанные, валялись по запыленным столам; везде белели разбросанные окурки папирос. На кожаном диване полулежала дама, еще молодая, белокурая, несколько растрепанная, в шелковом, не совсем опрятном, платье, с крупными браслетами на коротеньких руках и кружевною косынкой на голове. Она встала с дивана и, небрежно натягивая себе на плечи бархатную шубку на пожелтелом горностаевом меху, лениво промолвила: «Здравствуйте, Victor»,— и пожала Ситникову руку.

— Базаров, Кирсанов,— проговорил он отрывисто, в подражание Базарову.

— Милости просим,— отвечала Кукушкина и, оставив на Базарова свои круглые глаза, между которыми сиротливо краснел крошечный вздернутый носик, прибавила: — Я вас знаю,— и пожала ему руку тоже.

Базаров поморщился. В маленькой и невзрачной фигурке эманципированной женщины не было ничего безобразного; но выражение ее лица неприятно действовало на зрителя. Невольно

¹ Войдите (*фр.*)—

хотелось спросить у ней: «Что ты, голодна? Или скучаешь? Или робеешь? Чего ты дружишься?» И у ней, как у Ситникова, вечно скребло на душе. Она говорила и двигалась очень развязно и в то же время неловко: она, очевидно, сама себя считала за добродушное и простое существо, и между тем что бы она ни делала, вам постоянно казалось, что она именно это-то и не хотела сделать; все у ней выходило, как дети говорят — нарочно, то есть не просто, не естественно.

— Да, да, я знаю вас, Базаров,— повторила она. (За ней водилась привычка, свойственная многим провинциальным и московским дамам,— с первого дня знакомства звать мужчин по фамилии.) — Хотите сигарету?

— Сигарку сигаркой,— подхватил Ситников, который успел развалиться в креслах и задрать ногу кверху,— а дайте-ка нам позавтракать, мы голодны ужасно; да велите нам воздвигнуть бутылочку шампанского.

— Сибарит,— промолвила Евдоксия и засмеялась. (Когда она смеялась, ее верхняя десна обнажалась над зубами.) — Не правда ли, Базаров, он сибарит?

— Я люблю комфорт жизни,— произнес с важностью Ситников.— Это не мешает мне быть либералом.

— Нет, это мешает, мешает! — воскликнула Евдоксия и приказала, однако, своей прислужнице распорядиться и насчет завтрака и насчет шампанского.— Как вы об этом думаете? — прибавила она, обращаясь к Базарову.— Я уверена, вы разделяете мое мнение.

— Ну нет,— возразил Базаров,— кусок мяса лучше куска хлеба даже с химической точки зрения.

— А вы занимаетесь химией? Это моя страсть. Я даже сама выдумала одну мастику.

— Мастику? вы?

— Да, я. И знаете ли, с какой целью? Куклы делать, головки, чтобы не ломались. Я ведь тоже практическая. Но все это еще не готово. Нужно еще Либиха почитать. Кстати, читали вы статью Кислякова о женском труде в «Московских ведомостях»?¹ Прочтите, пожалуйста. Ведь вас интересует женский вопрос? И школы тоже? Чем ваш приятель занимается? Как его зовут?

Госпожа Кукшина *роняла* свои вопросы один за другим с изнеженной небрежностью, не дожидаясь ответов; избалованные дети так говорят с своими няньками.

— Меня зовут Аркадий Николаич Кирсанов,— проговорил Аркадий,— и я ничем не занимаюсь.

Евдоксия захохотала.

— Вот это мило! Что, вы не курите? Виктор, вы знаете, я на вас сердита.

¹ Фамилия Кисляков, очевидно, вымышленная; «Московские ведомости» — ежедневная газета; начала издаваться в 1756 году.

— За что?

— Вы говорят, опять стали хвалить Жорж Санда. Отсталая женщина и больше ничего! Как возможно сравнить ее с Эмерсоном¹! Она никаких идей не имеет ни о воспитании, ни о физиологии, ни о чем. Она, я уверена, и не слыхивала об эмбриологии, а в наше время — как вы хотите без этого? (Евдоксия даже руки расставила.) Ах, какую удивительную статью по этому поводу написал Елисевич²! Это гениальный господин! (Евдоксия постоянно употребляла слово «господин» вместо «человек».) Базаров, сядьте возле меня на диван. Вы, может быть, не знаете, я ужасно вас боюсь.

— Это почему? Позвольте полюбопытствовать.

— Вы опасный господин; вы такой критик. Ах, Боже мой! мне смешно, я говорю, как какая-нибудь степная помещица. Впрочем, я действительно помещица. Я сама именем управляю, и, представьте, у меня староста Ерофей — удивительный тип, точно Патфайндер³ Купера: что-то такое в нем непосредственное! Я окончательно поселилась здесь; несносный город, не правда ли? Но что делать!

— Город как город,— хладнокровно заметил Базаров.

— Всё такие мелкие интересы, вот что ужасно! Прежде я по зимам жила в Москве... но теперь там обитает мой благоверный, мсьё Кукшин. Да и Москва теперь... уж я не знаю — тоже уж не то. Я думаю съездить за границу; я в прошлом году уже совсем было собралась.

— В Париж, разумеется? — спросил Базаров.

— В Париж и в Гейдельберг.

— Зачем в Гейдельберг?

— Помилуйте, там Бунзен⁴!

На это Базаров ничего не нашелся ответить.

— Риеге Сапожников... вы его знаете?

— Нет, не знаю.

— Помилуйте, Риеге Сапожников... он еще всегда у Лидии Хостатовой бывает.

— Я и ее не знаю.

— Ну, вот он взял меня проводить. Слава Богу, я свободна, у меня нет детей... Что это я сказала: *слава Богу!* Впрочем, это все равно.

¹ Эмерсон Рольф Уолдо (1803—1882)—американский писатель и философ-идеалист.

² Тургенев здесь иронически намекает на сотрудников «Современника» Г. З. Елисеева (1821—1891) и М. А. Антоновича (1835—1918).

³ Патфайндер (следопыт) — герой романов «Кожаный чулок», «Следопыт», «Прерия», «Последний из могикиан» американского писателя Джеймса Фенимора Купера (1789—1851).

⁴ Бунзен Роберт Вильгельм (1811—1899) — немецкий химик, с 1852 по 1889 год—профессор Гейдельбергского университета.

Евдоксия свернула папироску своими побуревшими от табаку пальцами, провела по ней языком, пососала ее и закурила. Вошла прислужница с подносом.

— А, вот и завтрак! Хотите закусить? Виктор, откупорьте бутылку; это по вашей части.

— По моей, по моей,— пробормотал Ситников и опять визгливо засмеялся.

— Есть здесь хорошенькие женщины? — спросил Базаров, допивая третью рюмку.

— Есть,— отвечала Евдоксия,— да все они такие пустые. Например, *mon amie*¹ Одинцова — недурна. Жаль, что репутация у ней какая-то... Впрочем, это бы ничего, но никакой свободы воззрения, никакой ширины, ничего... этого. Всю систему воспитания надобно переменить. Я об этом уже думала; наши женщины очень дурно воспитаны.

— Ничего вы с ними не сделаете,— подхватил Ситников.— Их следует презирать, и я их презираю, вполне и совершенно! (Возможность презирать и выражать свое презрение было самым приятным ощущением для Ситникова; он в особенности напал на женщин, не подозревая того, что ему предстояло, несколько месяцев спустя, пресмыкаться перед своей женой потому только, что она была урожденная княжна Дурдолеосова.) Ни одна из них не была бы в состоянии понять нашу беседу; ни одна из них не стоит того, чтобы мы, серьезные мужчины, говорили о ней!

— Да им совсем не нужно понимать нашу беседу,— промолвил Базаров.

— О ком вы говорите? — вмешалась Евдоксия.

— О хорошеньких женщинах.

— Как! Вы, стало быть, разделяете мнение Прудона²?

Базаров надменно выпрямился.

— Я ничьих мнений не разделяю: я имею свои.

— Долой авторитеты! — закричал Ситников, обрадовавшись случаю резко выразиться в присутствии человека, перед которым раболепствовал.

— Но сам Маколей³,— начала было Кукшина.

— Долой Маколея! — загредел Ситников.— Вы застываете за этих бабенок?

— Не за бабенок, а за права женщин, которые я поклялась защищать до последней капли крови.

¹ моя приятельница (*фр.*).

² Прудон Пьер Жозеф (1809—1865) — французский публицист, экономист и социолог, основоположник анархизма. Противник женской эмансипации: утверждал, что назначение женщины — быть матерью и заниматься хозяйством.

³ Маколей Томас Бабингтон (1800—1859) — английский либеральный историк. Главная работа «История Англии».

— Долой! — Но тут Ситников остановился.— Да я их не отрицаю,— промолвил он.

— Нет, я вижу, вы славянофил!

— Нет, я не славянофил, хотя, конечно...

— Нет, нет, нет! Вы славянофил. Вы последователь *Домостроя*. Вам бы плетку в руки!

— Плетка дело доброе,— заметил Базаров,— только мы вот добрались до последней капли...

— Чего? — перебила Евдокия.

— Шампанского, почтеннейшая Авдотья Никитишна, шампанского — не вашей крови.

— Я не могу слышать равнодушно, когда нападают на женщин,— продолжала Евдокия.— Это ужасно, ужасно. Вместо того чтобы нападать на них, прочтите лучше книгу Мишле *De l'atmour*\ Это чудо! Господа, будемте говорить о любви,— прибавила Евдокия, томно уронив руку на смятую подушку дивана.

Наступило внезапное молчание.

— Нет, зачем говорить о любви,— промолвил Базаров,— а вот вы упомянули об Одиной... Так, кажется, вы ее назвали? Кто эта барыня?

— Прелесть! прелесть! — записал Ситников.— Я вас представлю. Умница, богачка, вдова. К сожалению, она еще не довольно развита: ей бы надо с нашею Евдокией поближе познакомиться. Пью ваше здоровье, Eudoxie! Чокнемтесь! «Et toe, et toe, et tin-tin-tin! Et toe, et toe, et tin-tin-tin!»

— Victor, вы шалун.

Завтрак продолжался долго. За первую бутылкой шампанского последовала другая, третья и даже четвертая... Евдокия болтала без умолку; Ситников ей вторил. Много толковали они о том, что такое брак — предрассудок или преступление, и какие рождаются люди — одинаковые или нет? и в чем собственно состоит индивидуальность? Дело дошло, наконец, до того, что Евдокия, вся красная от выпитого вина и стуча плоскими ногтями по клавишам расстроенного фортепьяно, принялась петь сиплым голосом сперва цыганские песни, потом романс Сеймур-Шиффа «Дремлет сонная Гранада», а Ситников повязал голову шарфом и представлял замиравшего любовника при словах:

И уста твои с моими

В поцелуй горячий слить.

Аркадий не вытерпел наконец. «Господа, уж это что-то на Бедлам² похоже стало»,— заметил он вслух.

Базаров, который лишь изредка вставлял в разговор насмешливое слово,— он занимался больше шампанским,— громко зев-

¹ О любви (*фр.*).

² *Бедлам* — название психиатрической больницы в Лондоне; в переносном смысле: безобразия, безумие.

нул, встал и, не прощаясь с хозяйкой, вышел вон вместе с Аркадием. Ситников выскочил вслед за ними.

— Ну что, ну что? — спрашивал он, подобострастно бегая то справа, то слева, — ведь я говорил вам: замечательная личность! Вот таких бы нам женщин побольше! Она, в своем роде, высоко-нравственное явление.

— А это заведение *твоего* отца тоже нравственное явление? — промолвил Базаров, ткнув пальцем на кабака, мимо которого они в это мгновение проходили.

Ситников опять засмеялся с визгом. Он очень стыдился своего происхождения и не знал, чувствовать ли ему себя польщенным или обиженным от неожиданного *тыканья* Базарова.

XIV

Несколько дней спустя состоялся бал у губернатора. Матвей Ильич был настоящим «героем праздника», губернский предводитель объявлял всем и каждому, что он приехал собственно из уважения к нему, а губернатор даже и на бале, даже оставаясь неподвижным, продолжал «распоряжаться». Мягкость в обращении Матвея Ильича могла равняться только с его величавостью. Он ласкал всех — одних с оттенком гадливости, других с оттенком уважения; рассыпался «en vrai chevalier francais»¹ перед дамами и беспрестанно смеялся крупным, звучным и одиноким смехом, как оно и следует сановнику. Он потрепал по спине Аркадия и громко назвал его «племянничком», удостоил Базарова, облеченного в староватый фрак, рассеянного, но снисходительного мычанья, в котором только и можно было разобрать, что «я...» да «ссыма»; подал палец Ситникову и улынулся ему, но уже отвернув голову; даже самой Кукшиной, явившейся на бал безо всякой кринолины и в грязных перчатках, но с райскою птицею в волосах, даже Кукшиной он сказал: «Enchante!»². Народу было пропасть, и в кавалерах не было недостатка; штатские более теснились вдоль стен, но военные танцевали усердно, особенно один из них, который прожил недель шесть в Париже, где он выучился разным залихватским восклицаниям вроде: «Zut», «Ah fichtrrre», «Pst, pst, mon bibi»³ и т. п. Он приносил их в совершенстве, с настоящим парижским *шиком*, и в то же время говорил «si j'aurais» вместо «si j'avais»⁴, «absolument»⁵ в смысле: «непременно», словом, выражался на том велико-русско-фран-

¹ «как истинный французский рыцарь» (фр.).

² «Очарован» (фр.).

³ «Зют», «Черт возьми», «Пет, пет, моя крошка» (фр.).

⁴ Неправильное употребление условного наклонения вместо прошедшего времени: «если б я имел» (фр.).

⁵ «совершенно» (фр.).

цузском наречии, над которым так смеются французы, когда они не имеют нужды уверять нашу братью, что мы говорим на их языке, как ангелы, «*comme des anges*».

Аркадий танцевал плохо, как мы уже знаем, а Базаров вовсе не танцевал: они оба поместились в уголке; к ним присоединился Ситников. Изобразив на лице своем презрительную насмешку и отпуская ядовитые замечания, он дерзко поглядывал кругом и, казалось, чувствовал истинное наслаждение. Вдруг лицо его изменилось и, обернувшись к Аркадию, он, как бы с смущением, проговорил: «Одинцова приехала».

Аркадий оглянулся и увидел женщину высокого роста в черном платье, остановившуюся в дверях залы. Она поразила его достоинством своей осанки. Обнаженные ее руки красиво лежали вдоль стройного стана; красиво падали с блестящих волос на покатые плечи легкие ветки фуксий; спокойно и умно, именно спокойно, а не задумчиво, глядели светлые глаза из-под немного нависшего белого лба, и губы улыбались едва заметною улыбкою. Какою-то ласковой и мягкой силой веяло от ее лица.

— Вы с ней знакомы? — спросил Аркадий Ситникова.

— Коротко. Хотите, я вас представлю?

— Пожалуй... после этой кадрили.

Базаров также обратил внимание на Одинцову.

— Это что за фигура? — проговорил он. — На остальных баб не похожа.

Дождавшись конца кадрили, Ситников подвел Аркадия к Одинцовой; но едва ли он был коротко с ней знаком: и сам он запутался в речах своих, и она глядела на него с некоторым изумлением. Однако лицо ее приняло радушное выражение, когда она услышала фамилию Аркадия. Она спросила его, не сын ли он Николая Петровича?

— Точно так.

— Я видела вашего батюшку два раза и много слышала о нем, — продолжала она, — я очень рада с вами познакомиться.

В это мгновение подлетел к ней какой-то адъютант и пригласил ее на кадрили. Она согласилась.

— Вы разве танцуете? — почтительно спросил Аркадий.

— Танцую. А вы почему думаете, что я не танцую? Или я вам кажусь слишком стара?

— Помилуйте, как можно... Но в таком случае позвольте мне пригласить вас на мазурку.

Одинцова снисходительно усмехнулась.

— Извольте, — сказала она и посмотрела на Аркадия не то чтобы свысока, а так, как замужние сестры смотрят на очень молодых братьев.

Одинцова была немного старше Аркадия, ей пошел двадцать девятый год, но в ее присутствии он чувствовал себя школьником, студентиком, точно разница лет между ними была гораздо значительнее. Матвей Ильич приблизился к ней с величествен-

ным видом и подобострастными речами. Аркадий отошел в сторону, но продолжал наблюдать за нею: он не спускал с нее глаз и во время кадрили. Она так же непринужденно разговаривала с своим танцором, как и с сановником, тихо поводила головой и глазами, и раза два тихо засмеялась. Нос у ней был немного толст, как почти у всех русских, и цвет кожи не был совершенно чист: со всем тем Аркадий решил, что он еще никогда не встречал такой прелестной женщины. Звук ее голоса не выходил у него из ушей; самые складки ее платья, казалось, ложились у ней иначе, чем у других, стройнее и шире, и движения ее были особенно плавны и естественны в одно и то же время.

Аркадий ощущал на сердце некоторую робость, когда, при первых звуках мазурки, он усаживался возле своей дамы и, готовясь вступить в разговор, только проводил рукой по волосам и не находил ни единого слова. Но он робел и волновался недолго; спокойствие Одинцовой сообщилось и ему: четверти часа не прошло, как уж он свободно рассказывал о своем отце, дяде, о жизни в Петербурге и в деревне. Одинцова слушала его с вежливым участием, слегка раскрывая и закрывая веер; болтовня его прерывалась, когда ее выбирали кавалеры; Ситников, между прочим, пригласил ее два раза. Она возвращалась, садилась снова, брала веер, и даже грудь ее не дышала быстрее, а Аркадий опять принимался болтать, весь проникнутый счастьем находиться в ее близости, говорить с ней, глядя в ее глаза, в ее прекрасный лоб, во всё ее милое, важное и умное лицо. Сама она говорила мало, но знание жизни сказывалось в ее словах; по иным ее замечаниям Аркадий заключил, что эта молодая женщина уже успела перечувствовать и передумать многое...

— С кем вы это стояли? — спросила она его, — когда господин Ситников подвел вас ко мне.

— А вы его заметили? — спросил в свою очередь Аркадий. — Не правда ли, какое у него славное лицо? Это некто Базаров, мой приятель.

Аркадий принялся говорить о «своем приятеле».

Он говорил о нем так подробно и с таким восторгом, что Одинцова обернулась к нему и внимательно на него посмотрела. Между тем мазурка приближалась к концу. Аркадию стало жалко расстаться с своей дамой: он так хорошо провел с ней около часа! Правда, он в течение всего этого времени постоянно чувствовал, как будто она к нему снисходила, как будто ему следовало быть ей благодарным... но молодые сердца не тяготеют этим чувством.

Музыка умолкла.

— Мерсі, — промолвила Одинцова, вставая. — Вы обещали мне посетить меня, привезите же с собой и вашего приятеля. Мне будет очень любопытно видеть человека, который имеет смелость ни во что не верить.

Губернатор подошел к Одинцовой, объявил, что ужин готов,

и с озабоченным лицом подал ей руку. Уходя, она обернулась, чтобы в последний раз улыбнуться и кивнуть Аркадию. Он низко поклонился, посмотрел ей вслед (как строен показался ему ее стан, облитый сероватым блеском черного шелка!) и, подумав: «В это мгновенье она уже забыла о моем существовании», — почувствовал на душе какое-то изящное смирение...

— Ну что? — спросил Базаров Аркадия, как только тот вернулся к нему в уголок, — получил удовольствие? Мне сейчас казался один барин, что эта госпожа — ой-ой-ой; да барин-то, кажется, дурак. Ну, а по-твоему, что она, точно — ой-ой-ой?

— Я этого определенья не совсем понимаю, — отвечал Аркадий.

— Вот еще! Какой невинный!

— В таком случае я не понимаю твоего барина. Одинцова очень мила — бесспорно, но она так холодно и строго себя держит, что...

— В тихом омуте... ты знаешь! — подхватил Базаров. — Ты говоришь, она холодна. В этом-то самый вкус и есть. Ведь ты любишь мороженое?

— Может быть, — пробормотал Аркадий, — я об этом судить не могу. Она желает с тобой познакомиться и просила меня, чтоб я привез тебя к ней.

— Воображаю, как ты меня расписывал! Впрочем, ты поступил хорошо. Вези меня. Кто бы она ни была — просто ли губернская львица, или «эманципё» вроде Кукшиной, только у ней такие плечи, каких я не видывал давно.

Аркадия покорило от цинизма Базарова, но — как это часто случается — он упрекнул своего приятеля не за то именно, что ему в нем не понравилось...

— Отчего ты не хочешь допустить свободы мысли в женщинах? — проговорил он вполголоса.

— Оттого, братец, что, по моим замечаниям, свободно мыслят между женщинами только уроды.

Разговор на этом прекратился. Оба молодых человека уехали тотчас после ужина. Кукшина нервически злобно, но не без робости, засмеялась им вслед: ее самолюбие было глубоко уязвлено тем, что ни тот, ни другой не обратил на нее внимания. Она осталась позже всех на бале и в четвертом часу ночи протанцевала польку-мазурку с Ситниковым на парижский манер. Этим почетным зрелищем и завершился губернаторский праздник.

XV

— Посмотрим, к какому разряду млекопитающих принадлежит сия особа, — говорил на следующий день Аркадию Базаров, поднимаясь вместе с ним по лестнице гостиницы, в которой остановилась Одинцова. — Чувствует мой нос, что тут что-то не ладно.

— Я тебе удивляюсь! — воскликнул Аркадий.— Как? Ты, ты, Базаров, придержишься той узкой морали, которую...

— Экой ты чудак! — небрежно перебил Базаров.— Разве ты не знаешь, что на нашем наречии и для нашего брата «не ладно» значит «ладно»? Пожива есть, значит. Не сам ли ты сегодня говорил, что она странно вышла замуж, хотя, по мнению моему, выйти за богатого старика — дело ничуть не странное, а, напротив, благоразумное. Я городским толкам не верю; но люблю думать, как говорит наш образованный губернатор, что они справедливы.

Аркадий ничего не отвечал и постучался в дверь номера. Молодой слуга в ливрее ввел обоих приятелей в большую комнату, меблированную дурно, как все комнаты русских гостиниц, но уставленную цветами. Скоро появилась сама Одинцова в простом утреннем платье. Она казалась еще моложе при свете весеннего солнца. Аркадий представил ей Базарова и с тайным удивлением заметил, что он как будто сконфузился, между тем как Одинцова оставалась совершенно спокойною, по-вчерашнему. Базаров сам почувствовал, что сконфузился, и ему стало досадно: «Вот тебе раз! бабы испугался!» — подумал он и, развалясь в кресле не хуже Ситникова, заговорил преувеличенно развязно, а Одинцова не спускала с него своих ясных глаз.

Анна Сергеевна Одинцова родилась от Сергея Николаевича Локтева, известного красавца, афериста и игрока, который, продержавшись и прошумев лет пятнадцать в Петербурге и в Москве, кончил тем, что проигрался в прах и принужден был поселиться в деревне, где, впрочем, скоро умер, оставив крошечное состояние двум своим дочерям, Анне — двадцати и Катерине — двенадцати лет. Мать их, из обедневшего рода князей Х....., скончалась в Петербурге, когда муж ее находился еще в полной силе. Положение Анны после смерти отца было очень тяжело. Блестящее воспитание, полученное ею в Петербурге, не подготовило ее к перенесению забот по хозяйству и по дому, — к глухому деревенскому житью. Она не знала никого решительно в целом околотке, и посоветоваться ей было не с кем. Отец ее старался избегать сношений с соседями; он их презирал, и они его презирали, каждый по-своему. Она, однако, не потеряла головы и немедленно выписала к себе сестру своей матери, княжну Авдотью Степановну Х.....ю, злую и чванную старуху, которая, поселившись у племянницы в доме, забрала себе все лучшие комнаты, ворчала и брюзжала с утра до вечера и даже по саду гуляла не иначе как в сопровождении единственного своего крепостного человека, угрюмого лакея в изношенной гороховой ливрее с голубым позументом и в треуголке. Анна терпеливо выносила все причуды тетки, исподволь занималась воспитанием сестры и, казалось, уже примирилась с мыслию увянуть в глуши... Но судьба сулила ей другое. Ее случайно увидел некто Одинцов, очень богатый человек лет сорока шести, чудак, ипохондрик, пухлый, тя-

желый и кислый, впрочем не глупый и не злой; влюбился в нее и предложил ей руку. Она согласилась быть его женой, — а он пожил с ней лет шесть и, умирая, упрочил за ней все свое состояние. Анна Сергеевна около года после его смерти не выезжала из деревни; потом отправилась вместе с сестрой за границу, но побывала только в Германии; соскучилась и вернулась на жительство в свое любезное Никольское, отстоявшее верст сорок от города***. Там у ней был великолепный, отлично убранный дом, прекрасный сад с оранжереями: покойный Одинцов ни в чем себе не отказывал. В город Анна Сергеевна являлась очень редко, большею частью по делам, и то ненадолго. Ее не любили в губернии, ужасно кричали по поводу ее брака с Одинцовым, рассказывали про нее всевозможные небылицы, уверяли, что она помогала отцу в его шулерских проделках, что и за границу она ездила недаром, а из необходимости скрыть несчастные последствия... «Вы понимаете чего?» — договаривали негодующие рассказчики. «Прошла через огонь и воду», — говорили о ней; а известный губернский остряк обыкновенно прибавлял: «И через медные трубы». Все эти толки доходили до нее, но она пропускала их мимо ушей: характер у нее был свободный и довольно решительный.

Одинцова сидела, прислонясь к спинке кресел, и, положив руку на руку, слушала Базарова. Он говорил, против обыкновения, довольно много и явно старался занять свою собеседницу, что опять удивило Аркадия. Он не мог решить, достигал ли Базаров своей цели. По лицу Анны Сергеевны трудно было догадаться, какие она испытывала впечатления: оно сохраняло одно и то же выражение, приветливое, тонкое; ее прекрасные глаза светились вниманием, но вниманием безмятежным. Ломание Базарова в первые минуты посещения неприятно подействовало на нее, как дурной запах или резкий звук; но она тотчас же поняла, что он чувствовал смущение, и это ей даже польстило. Одно пошлое ее отталкивало, а в пошлости никто бы не упрекнул Базарова. Аркадию пришлось в тот день не переставать удивляться. Он ожидал, что Базаров заговорит с Одинцовой, как с женщиной умною, о своих убеждениях и воззрениях: она же сама изъявила желание послушать человека, «который имеет смелость ничему не верить», но вместо того Базаров толковал о медицине, о гомеопатии, о ботанике. Оказалось, что Одинцова не теряла времени в уединении: она прочла несколько хороших книг и выражалась правильным русским языком. Она навела речь на музыку, но, заметив, что Базаров не признает искусства, потихоньку возвратилась к ботанике, хотя Аркадий и пустился было толковать о значении народных мелодий. Одинцова продолжала обращаться с ним, как с младшим братом: казалось, она ценила в нем доброту и простодушие молодости — и только. Часа три с лишком длилась беседа, неторопливая, разнообразная и живая.

Прятели, наконец, поднялись и стали прощаться. Анна Сергеевна ласково поглядела на них, протянула обоим свою красивую белую руку и, подумав немного, с нерешительной, но хорошо улыбкой проговорила:

— Если вы, господа, не боитесь скуки, приезжайте ко мне в Никольское.

— Помилуйте, Анна Сергеевна,— воскликнул Аркадий,— я за особенное счастье почту...

— А вы, мсьё Базаров?

Базаров только поклонился — и Аркадию в последний раз пришлось удивиться: он заметил, что приятель его покраснел.

— Ну? — говорил он ему на улице,— ты всё того же мнения, что она — ой-ой-ой?

— А кто ее знает! Вишь, как она себя заморозила! — возразил Базаров и, помолчав немного, прибавил: — Герцогиня, владетельная особа. Ей бы только шлейф сзади носить да корону на голове.

— Наши герцогини так по-русски не говорят,— заметил Аркадий.

— В переделе была, братец ты мой, нашего хлеба покушала.

— А все-таки она прелесть,— промолвил Аркадий.

— Этакое богатое тело! — продолжал Базаров,— хоть сейчас в анатомический театр.

— Перестань, ради Бога, Евгений! это ни на что не похоже.

— Ну, не сердись, неженка. Сказано — первый сорт. Надо будет поехать к ней.

— Когда?

— Да хоть послезавтра. Что нам здесь делать-то! Шампанское с Кукшиной пить? Родственника твоего, либерального савонника, слушать?.. Послезавтра же и махнем. Кстати — и моего отца усадьбишка оттуда не далеко. Ведь это Никольское по *** дороге?

— Да.

— Ортtime¹. Нечего мешкать; мешкают одни дураки — да умники. Я тебе говорю: богатое тело!

Три дня спустя оба приятеля катили по дороге в Никольское. День стоял светлый и не слишком жаркий, и ямские сытые лошадки дружно бежали, слегка помахивая своими закрученными и заплетенными хвостами. Аркадий глядел на дорогу и улыбался, сам не зная чему.

— Поздравь меня,— воскликнул вдруг Базаров,— сегодня двадцать второе июня, день моего ангела. Посмотрим, как-то он обо мне печется. Сегодня меня дома ждут,— прибавил он, понизив голос...— Ну, подождут, что за важность!

¹ Превосходно (лат.).

Усадьба, в которой жила Анна Сергеевна, стояла на пологом открытом холме, в недалеком расстоянии от желтой каменной церкви с зеленою крышей, белыми колоннами и живописью *al fresco*¹ над главным входом, представлявшею «Воскресение Христово» в «итальянском» вкусе. Особенно замечателен своими округленными контурами был распростертый на первом плане смуглый воин в шишаке. За церковью тянулось в два ряда длинное село с кое-где мелькающими трубами над соломенными крышами. Господский дом был построен в одном стиле с церковью, в том стиле, который известен у нас под именем Александровского; дом этот был также выкрашен желтою краской, и крышу имел зеленую, и белые колонны, и фронтоны с гербом. Губернский архитектор воздвигнул оба здания с одобрения покойного Одинцова, не терпевшего никаких пустых и самопроизвольных, как он выражался, нововведений. К дому с обеих сторон прилежали темные деревья старинного сада, аллея стриженных елок вела к подъезду.

Приятелей наших встретили в передней два рослые лакея в ливрее; один из них тотчас побежал за дворецким. Дворецкий, толстый человек в черном фраке, немедленно явился и направил гостей по устланной коврами лестнице в особую комнату, где уже стояли две кровати со всеми принадлежностями туалета. В доме видимо царствовал порядок: все было чисто, всюду пахло каким-то приличным запахом, точно в министерских приемных.

— Анна Сергеевна просят вас пожаловать к ним через полчаса,— доложил дворецкий.— Не будет ли от вас покамест каких приказаний?

— Никаких приказаний не будет, почтеннейший,— ответил Базаров,— разве рюмку водочки соблаговолите поднести.

— Слушаю-с,— промолвил дворецкий не без недоумения и удалился, скрипя сапогами.

— Какой гранжанр! — заметил Базаров,— кажется, это так по-вашему называется? Герцогиня, да и полно.

— Хороша герцогиня,— возразил Аркадий,— с первого раза пригласила к себе таких сильных аристократов, каковы мы с тобой.

— Особенно я, будущий лекарь, и лекарский сын, и дьячковский внук... Ведь ты знаешь, что я внук дьячка?..

— Как Сперанский², — прибавил Базаров после небольшого молчания и скривив губы.— А все-таки избаловала она себя; ох, как избаловала себя эта барыня! Уж не фраки ли нам надеть?

¹ фреской (*ит.*).

² *Сперанский* Михаил Михайлович (1772—1839)— русский государственный деятель, автор проекта государственных преобразований в царствование Александра I. Сын сельского священника.

Аркадий только плечом пожал... но и он чувствовал небольшое смущение.

Полчаса спустя Базаров с Аркадием сошли в гостиную. Это была просторная, высокая комната, убранная довольно роскошно, но без особенного вкуса. Тяжелая дорогая мебель стояла в обычном чопорном порядке вдоль стен, обитых коричневыми обоями с золотыми разводами; покойный Одинцов выписал ее из Москвы через своего приятеля и комиссионера, винного торговца. Над средним диваном висел портрет обрюзглого белокурого мужчины — и, казалось, недружелюбно глядел на гостей. «Должно быть, *сам*, — шепнул Базаров Аркадию и, сморщив нос, прибавил:— Аль удрать?» Но в это мгновение вошла хозяйка. На ней было легкое барежевое платье; гладко зачесанные за уши волосы придавали девическое выражение ее чистому и свежему лицу.

— Благодарствуйте, что сдержали слово,— начала она,— погостите у меня: здесь, право, недурно. Я вас познакомлю с моей сестрою, она хорошо играет на фортепьяно. Вам, мсьё Базаров, это все равно; но вы, мсьё Кирсанов, кажется, любите музыку; кроме сестры, у меня живет старушка тетка, да сосед один иногда наезжает в карты играть: вот и все наше общество. А теперь сядем.

Одинцова произнесла весь этот маленький спич с особенною отчетливостью, словно она наизусть его выучила; потом она обратилась к Аркадию. Оказалось, что мать ее знала Аркадиеву мать и была даже поверенною ее любви к Николаю Петровичу. Аркадий с жаром заговорил о покойнице; а Базаров между тем принялся рассматривать альбомы. «Какой я смиренный стал»,— думал он про себя.

Красивая борзая собака с голубым ошейником вбежала в гостиную, стуча ногтями по полу, а вслед за нею вошла девушка лет восемнадцати, черноволосая и смуглая, с несколько круглым, но приятным лицом, с небольшими темными глазами. Она держала в руках корзину, наполненную цветами.

— Вот вам и моя Катя,— проговорила Одинцова, указав на нее движением головы.

Катя слегка присела, поместилась возле сестры и принялась разбирать цветы. Борзая собака, имя которой было Фифи, подошла, махая хвостом, поочередно к обоим гостям и ткнула каждого из них своим холодным носом в руку.

— Это ты все сама нарвала? — спросила Одинцова.

— Сама,— отвечала Катя.

— А тетушка придет к чаю?

— Придет.

Когда Катя говорила, она очень мило улыбалась, застенчиво и откровенно, и глядела как-то забавно-сурово, снизу вверх. Все в ней было еще молодо-зелено: и голос, и пушок на всем лице, и розовые руки с беловатыми кружками на ладонях, и чуть-чуть

сжатые плечи... Она беспрестанно краснела и быстро переводила дух.

Одинцова обратилась к Базарову.

— Вы из приличия рассматриваете картинку, Евгений Васильич,— начала она.— Вас это не занимает. Подвиньтесь-ка лучше к нам, и давайте поспоримте о чем-нибудь.

Базаров приблизился.

— О чем прикажете-с? — промолвил он.

— О чем хотите. Предупреждаю вас, что я ужасная спорщица.

— Вы?

— Я. Вас это как будто удивляет. Почему?

— Потому что, сколько я могу судить, у вас нрав спокойный и холодный, а для спора нужно увлечение.

— Как это вы успели меня узнать так скоро? Я, во-первых, нетерпелива и настойчива, спросите лучше Катю; а во-вторых, я очень легко увлекаюсь.

Базаров поглядел на Анну Сергеевну.

— Может быть, вам лучше знать. Итак, вам угодно спорить,— извольте. Я рассматривал виды Саксонской Швейцарии в вашем альбоме, а вы мне заметили, что это меня занять не может. Вы это сказали оттого, что не предполагаете во мне художественного смысла,— да, во мне действительно его нет; но эти виды могли меня заинтересовать с точки зрения геологической, с точки зрения формации гор, например.

— Извините; как геолог вы скорее к книге прибегнете, к специальному сочинению, а не к рисунку.

— Рисунок наглядно представит мне то, что в книге изложено на целых десяти страницах.

Анна Сергеевна помолчала.

— И все-таки у вас ни капельки художественного смысла нет? — промолвила она, облокотись на стол и этим самым движением приблизив свое лицо к Базарову.— Как же вы это без него обходитесь?

— А на что он нужен, позвольте спросить?

— Да хоть на то, чтоб уметь узнавать и изучать людей.

Базаров усмехнулся.

— Во-первых, на это существует жизненный опыт; а во-вторых, доложу вам, изучать отдельные личности не стоит труда. Все люди друг на друга похожи как телом, так и душой; у каждого из нас мозг, селезенка, сердце, легкие одинаково устроены; и так называемые нравственные качества одни и те же у всех: небольшие видоизменения ничего не значат. Достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы судить обо всех других. Люди, что деревья в лесу; ни один ботаник не станет заниматься каждою отдельною березой.

Катя, которая, не спеша, подбирала цветок к цветку, с недоумением подняла глаза на Базарова — и, встретив его быстрый

и небрежный взгляд, вспыхнула вся до ушей. Анна Сергеевна покачала головой.

— Деревья в лесу,— повторила она.— Стало быть, по-вашему, нет разницы между глупым и умным человеком, между добрым и злым?

— Нет, есть: как между больным и здоровым. Легкие у чахоточного не в том положении, как у нас с вами, хоть устроены одинаково. Мы приблизительно знаем, отчего происходят телесные недуги; а нравственные болезни происходят от дурного воспитания, от всяких пустяков, которыми сызмала набивают людские головы, от безобразного состояния общества, одним словом. Исправьте общество, и болезней не будет.

Базаров говорил все это с таким видом, как будто в то же время думал про себя: «Верь мне или не верь, это мне все едино!» Он медленно проводил своими длинными пальцами по бабенбардам, а глаза его бегали по углам.

— И вы полагаете,— промолвила Анна Сергеевна,— что, когда общество исправится, уже не будет ни глупых, ни злых людей?

— По крайней мере при правильном устройстве общества совершенно будет равно, глуп ли человек или умен, зол или добр.

— Да, понимаю; у всех будет одна и та же селезенка.

— Именно так-с, сударыня.

Одинцова обратилась к Аркадию:

— А ваше какое мнение, Аркадий Николаевич?

— Я согласен с Евгением,— отвечал он.

Катя поглядела на него исподлобья.

— Вы меня удивляете, господа,— промолвила Одинцова,— но мы еще с вами потолкуем. А теперь, я слышу, тетушка идет чай пить; мы должны пощадить ее уши.

Тетушка Анны Сергеевны, княжна Х...я, худенькая и маленькая женщина с сжатым в кулачок лицом и неподвижными злыми глазами под седою накладкой, вошла и, едва поклонившись гостям, опустила в широкое бархатное кресло, на которое никто, кроме ее, не имел права садиться. Катя поставила ей скамейку под ноги; старуха не поблагодарила ее, даже не взглянула на нее, только пошевелила руками под желтую шалью, покрывавшею почти все ее тщедушное тело. Княжна любила желтый цвет: у ней и на чепце были ярко-желтые ленты.

— Как вы почивали, тетушка? — спросила Одинцова, возвысив голос.

— Опять эта собака здесь,— проворчала в ответ старуха и, заметив, что Фифи сделала два нерешительные шага в ее направлении, воскликнула: — Брысь, брысь!

Катя позвала Фифи и открыла ей дверь.

Фифи радостно бросилась вон в надежде, что ее поведут гулять, но, оставшись одна за дверью, начала скрестись и повизгивать. Княжна нахмурилась, Катя хотела было выйти...

— Я думаю, чай готов? — промолвила Одинцова.— Господа, пойдемте; тетушка, пожалуйста чай кушать.

Княжна молча встала с кресла и первая вышла из гостиной. Все отправилось вслед за ней в столовую. Казачок в ливрее с шумом отодвинул от стола обложенное подушками, также заветное, кресло, в которое опустилась княжна; Катя, разливавшая чай, первой ей подала чашку с раскрашенным гербом. Старуха положила себе меду в чашку (она находила, что пить чай с сахаром и грешно и дорого, хотя сама не тратила копейки ни на что) и вдруг спросила хриплым голосом:

— А что пишет *кнесь* Иван?

Ей никто не отвечал. Базаров и Аркадий скоро догадались, что на нее не обращали внимания, хотя обходились с нею почтительно. «*Для ради* важности держат, потому что княжеское отродье»,— подумал Базаров... После чаю Анна Сергеевна предложила пойти гулять; но стал накрапывать дождик, и все общество, за исключением княжны, вернулось в гостиную. Приехал сосед, любитель карточной игры, по имени Порфирий Платоныч, толстенький седенький человек с коротенькими, точно выточенными ножками, очень вежливый и смешливый. Анна Сергеевна, которая разговаривала все больше с Базаровым, спросила его — не хочет ли он сразиться с ними по-старомодному в преферанс. Базаров согласился, говоря, что ему надобно заранее приготовить к предстоящей ему должности уездного лекаря.

— Берегитесь,— заметила Анна Сергеевна,— мы с Порфирием Платонычем вас разобьем. А ты, Катя,— прибавила она,— сыграй что-нибудь Аркадию Николаевичу; он любит музыку, мы кстати послушаем.

Катя неохотно приблизилась к фортепьяно; и Аркадий, хотя точно любил музыку, неохотно пошел за ней: ему казалось, что Одинцова его отсылает, а у него на сердце, как у всякого молодого человека в его годы, уже накипало какое-то смутное и томительное ощущение, похожее на предчувствие любви. Катя подняла крышку фортепьяно и, не глядя на Аркадия, промолвила вполголоса:

— Что же вам сыграть?

— Что хотите,— равнодушно ответил Аркадий.

— Вы какую музыку больше любите?— повторила Катя, не переменяя положения.

— Классическую,— тем же голосом ответил Аркадий.

— Моцарта любите?

— Моцарта люблю.

Катя достала це-мольную сонату-фантазию Моцарта. Она играла очень хорошо, хотя немного строго и сухо. Не отводя глаз от нот и крепко стиснув губы, сидела она неподвижно и прямо, и только к концу сонаты лицо ее разгорелось и маленькая прядь развившихся волос упала на темную бровь.

Аркадия в особенности поразила последняя часть сонаты, та

часть, в которой, посреди пленительной веселости беспечного напева, внезапно возникают порывы такой горестной, почти трагической скорби... Но мысли, возбужденные в нем звуками Моцарта, относились не к Кате. Глядя на нее, он только подумал: «А ведь недурно играет эта барышня, и сама она недурна».

Кончив сонату, Катя, не принимая рук с клавишей, спросила: «Довольно?» Аркадий объявил, что не смеет утруждать ее более, и заговорил с ней о Моцарте; спросил ее — сама ли она выбрала эту сонату, или кто ей ее отреккомендовал? Но Катя отвечала ему односложно: она *спряталась*, ушла в себя. Когда это с ней случилось, она не скоро выходила наружу; самое ее лицо принимало тогда выражение упрямое, почти тупое. Она была не то что робка, а недоверчива и немного запугана воспитавшею ее сестрой, чего, разумеется, та и не подозревала. Аркадий кончил тем, что, подзвав возвратившуюся Фифи, стал для контенансу¹, с благосклонною улыбкой, гладить ее по голове. Катя опять взялась за свои цветы.

А Базаров между тем ремизился да ремизился. Анна Сергеевна играла мастерски в карты, Порфирий Платоныч тоже мог постоять за себя. Базаров остался в проигрыше хотя незначительном, но все-таки не совсем для него приятном. За ужином Анна Сергеевна снова завела речь о ботанике.

— Пойдемте гулять завтра поутру,— сказала она ему,— я хочу узнать от вас латинские названия полевых растений и их свойства.

— На что вам латинские названия?— спросил Базаров.

— Во всем нужен порядок,— отвечала она.

— Что за чудесная женщина Анна Сергеевна,— воскликнул Аркадий, оставшись наедине с своим другом в отведенной им комнате.

— Да,— отвечал Базаров,— баба с мозгом. Ну, и видала же она виды.

— В каком смысле ты это говоришь, Евгений Васильич?

— В хорошем смысле, в хорошем, батюшка вы мой, Аркадий Николаич! Я уверен, что она и своим именем отлично распоряжается. Но чудо — не она, а ее сестра.

— Как? эта смугленькая?

— Да, эта смугленькая. Это вот свежо, и нетронуто, и пугливо, и молчаливо, и все, что хочешь. Вот кем можно заняться. Из этой еще что вздумаешь, то и сделаешь; а та — тертый калач.

Аркадий ничего не отвечал Базарову, и каждый из них лег спать с особенными мыслями в голове.

И Анна Сергеевна в тот вечер думала о своих гостях. Базаров ей понравился — отсутствием кокетства и самую резкостью суждений. Она видела в нем что-то новое, с чем ей не случалось встретиться, а она была любопытна.

¹ Для вида (от фр. *contenance* — вид, осанка).

Анна Сергеевна была довольно странное существо. Не имея никаких предрассудков, не имея даже никаких сильных верований, она ни перед чем не отступала и никуда не шла. Она многое ясно видела, многое ее занимало, и ничто не удовлетворяло ее вполне; да она едва ли и желала полного удовлетворения. Ее ум был пытлив и равнодушен в одно и то же время: ее сомнения не утихали никогда до забывчивости и никогда не дорастали до тревоги. Не будь она богата и независима, она, быть может, бросилась бы в битву, узнала бы страсть... Но ей жилось легко, хотя она и скучала подчас, и она продолжала провожать день за днем, не спеша и лишь изредка волнуясь. Радужные краски загорались иногда и у ней перед глазами, но она отдыхала, когда они угасали, и не жалела о них. Воображение ее уносилось даже за пределы того, что по законам обыкновенной морали считается дозволенным; но и тогда кровь ее по-прежнему тихо катилась в ее обаятельно стройном и спокойном теле. Бывало, выйдя из благовонной ванны, вся теплая и разнеженная, она замечается о ничтожности жизни, об ее горе, труде и зле... Душа ее наполняется внезапною смелостию, закипит благородным стремлением; но сквозной ветер подует из полужакрытого окна, и Анна Сергеевна вся сожмется, и жалуется, и почти сердится, и только одно ей нужно в это мгновение: чтобы не дул на нее этот гадкий ветер.

Как все женщины, которым не удалось полюбить, она хотела чего-то, сама не зная, чего именно. Собственно, ей ничего не хотелось, хотя ей казалось, что ей хотелось всего. Покойного Одицова она едва выносила (она вышла за него по расчету, хотя она, вероятно, не согласилась бы сделаться его женой, если б она*не считала его за доброго человека) и получила тайное отращение ко всем мужчинам, которых представляла себе не иначе как неопрытными, тяжелыми и вялыми, бессильно докучливыми существами. Раз она где-то за границей встретила молодого, красивого шведа с рыцарским выражением лица, с честными голубыми глазами под открытым лбом; он произвел на нее сильное впечатление, но это не помешало ей вернуться в Россию.

«Странный человек этот лекарь!» — думала она, лежа в своей великолепной постеле на кружевных подушках, под легким шёлковым одеялом... Анна Сергеевна наследовала от отца частицу его наклонности к роскоши. Она очень любила своего грешного, но доброго отца, а он обожал ее, дружелюбно шутил с ней, как с ровней, и доверял ей вполне, советовался с ней. Мать свою она едва помнила.

«Странный этот лекарь!» — повторила она про себя. Она потянулась, улыбнулась, закинула руки за голову, потом пробежала глазами страницы две глупого французского романа, выронила книжку — и заснула, вся чистая и холодная, в чистом и душистом белье.

На следующее утро Анна Сергеевна тотчас после завтрака

отправилась ботанизировать с Базаровым и возвратилась перед самым обедом; Аркадий никуда не отлучался и провел около часа с Катей. Ему не было скучно с нею, она сама вызвалась повторить ему вчерашнюю сонату; но когда Одинцова возвратилась, наконец, когда он увидел ее — сердце в нем мгновенно сжалось... Она шла по саду несколько усталою походкой; щеки ее алели и глаза светились ярче обыкновенного под соломенной круглою шляпой. Она вертела в пальцах тонкий стебелек полевого цветка, легкая мантилья спускалась ей на локти, и широкие серые ленты шляпы прильнули к ее груди. Базаров шел сзади ее, самоуверенно и небрежно, как всегда, но выражение его лица, хотя веселое и даже ласковое, не понравилось Аркадию. Пробормотав сквозь зубы: «Здравствуй!» — Базаров отправился к себе в комнату, а Одинцова рассеянно пожала Аркадию руку и тоже прошла мимо его.

«Здравствуй,— подумал Аркадий...— Разве мы не виделись сегодня?»

XVII

Время (дело известное) летит иногда птицей, иногда ползет червяком; но человеку бывает особенно хорошо тогда, когда он даже не замечает — скоро ли, тихо ли оно проходит. Аркадий и Базаров именно таким образом провели дней пятнадцать у Одинцовой. Этому отчасти способствовал порядок, который она завела у себя в доме и в жизни. Она строго его придерживалась и заставляла других ему покоряться. Все в течение дня совершалось в известную пору. Утром, ровно в восемь часов, все общество собиралось к чаю; от чая до завтрака всякий делал что хотел, сама хозяйка занималась с приказчиком (имение было на оброке), с дворецким, с главною ключницей. Перед обедом общество опять сходилось для беседы или для чтения; вечер посвящался прогулке, картам, музыке; в половине одиннадцатого Анна Сергеевна уходила к себе в комнату, отдавала приказания на следующий день и ложилась спать. Базарову не нравилась эта размеренная, несколько торжественная правильность ежедневной жизни; «как по рельсам катишься», — уверял он: ливрейные лакеи, чинные дворецкие оскорбляли его демократическое чувство. Он находил, что уж если на то пошло, так и обедать следовало бы по-английски, во фраках и в белых галстуках. Он однажды объяснился об этом с Анной Сергеевной. Она так себя держала, что каждый человек, не обвиняясь, высказывал перед ней свои мнения. Она выслушала его и промолвила: «С вашей точки зрения, вы правы — и, может быть, в этом случае, я — барыня; но в деревне нельзя жить беспорядочно, скука одолеет», — и продолжала делать по-своему. Базаров ворчал, но и ему и Аркадию оттого и жилось так легко у Одинцовой, что все в ее доме «катились как по рельсам». Со всем тем в обоих молодых лю-

дах, с первых же дней их пребывания в Никольском, произошла перемена. В Базарове, к которому Анна Сергеевна очевидно благоволила, хотя редко с ним соглашалась, стала проявляться небывалая прежде тревога: он легко раздражался, говорил нехотя, глядел сердито и не мог усидеть на месте, словно что его подмывало; а Аркадий, который окончательно сам с собой решил, что влюблен в Одинцову, начал предаваться тихому унынию. Впрочем, это уныние не мешало ему сблизиться с Катей; оно даже помогло ему войти с ней в ласковые, приятельские отношения. «Меня *она* не ценит! Пусть!.. А вот доброе существо меня не отвергает»,— думал он, и сердце его снова вкушало сладость великодушных ощущений. Катя смутно понимала, что он искал какого-то утешения в ее обществе, и не отказывала ни ему, ни себе в невинном удовольствии полустыдливой, полудоверчивой дружбы. В присутствии Анны Сергеевны они не разговаривали между собою: Катя всегда сжималась под зорким взглядом сестры, а Аркадий, как оно и следует влюбленному человеку, вблизи своего предмета уже не мог обращать внимание ни на что другое: но хорошо ему было с одной Катей. Он чувствовал, что не в силах занять Одинцову; он робел и терялся, когда оставался с ней наедине; и она не знала, что ему сказать: он был слишком для нее молод. Напротив, с Катей Аркадий был как дома; он обращался с ней снисходительно, не мешал ей высказывать впечатления, возбужденные в ней музыкой, чтением повестей, стихов и прочими пустяками, сам не замечая или не сознавая, что эти *пустяки* и его занимали. С своей стороны, Катя не мешала ему грустить. Аркадию было хорошо с Катей, Одинцовою — с Базаровым, а потому обыкновенно случалось так: обе парочки, побыв немного вместе, расходились каждая в свою сторону, особенно во время прогулок. Катя *обожала* природу, и Аркадий ее любил, хоть и не смел признаться в этом; Одинцова была к ней довольно равнодушна, так же как и Базаров. Почти постоянное разъединение наших приятелей не осталось без последствий: отношения между ними стали меняться. Базаров перестал говорить с Аркадием об Одинцовой, перестал даже бранить ее «аристократические замашки»; правда, Катю он хвалил по-прежнему и только советовал умерять в ней сентиментальные наклонности, но похвалы его были торопливы, советы сухи, и вообще он с Аркадием беседовал гораздо меньше прежнего... он как будто избегал, как будто стыдился его...

Аркадий все это замечал, но хранил про себя свои замечания.

Настоящею причиною всей этой «новизны» было чувство, внушенное Базарову Одинцовой,— чувство, которое его мучило и бесило и от которого он тотчас отказался бы с презрительным хохотом и циническою бранью, если бы кто-нибудь хотя отдаленно намекнул ему на возможность того, что в нем происходило. Базаров был великий охотник до женщин и до женской красоты, но любовь в смысле идеальном, или, как он выражался, роман-

тическом, называл белибердой, непростительной дурью, считал рыцарские чувства чем-то вроде уродства или болезни и не однажды выражал свое удивление: почему не посадили в желтый дом Тоггенбурга¹ со всеми миннезингерами и трубадурами²? «Нравится тебе женщина, — говаривал он, — старайся добиться толку; а нельзя — ну, не надо, отвернись — земля не клином сошлась». Одинцова ему нравилась: распространенные слухи о ней, свобода и независимость ее мыслей, ее несомненное расположение к нему — всё, казалось, говорило в его пользу; но он скоро понял, что с ней «не добьешься толку», а отвернуться от нее он, к изумлению своему, не имел сил. Кровь его загоралась, как только он вспоминал о ней; он легко сладил бы с своею кровью, но что-то другое в него вселилось, чего он никак не допускал, над чем всегда трунил, что возмущало всю его гордость. В разговорах с Анной Сергеевной он еще больше прежнего высказывал свое равнодушное презрение ко всему романтическому; а оставшись наедине, он с негодованием сознавал романтика в самом себе. Тогда он отправлялся в лес и ходил по нем большими шагами, ломая попадавшиеся ветки и браня вполголоса и ее и себя; или забирался на сеновал, в сарай, и, упрямо закрывая глаза, заставлял себя спать, что ему, разумеется, не всегда удавалось. Вдруг ему представится, что эти целомудренные руки когда-нибудь обовьются вокруг его шеи, что эти гордые губы ответят на его поцелуи, что эти умные глаза с нежностью — да, с нежностью остановятся на его глазах, и голова его закружится и он забудется на миг, пока опять не вспыхнет в нем негодование. Он ловил самого себя на всякого рода «постыдных» мыслях, точно бес его дразнил. Ему казалось иногда, что и в Одинцовой происходит перемена, что в выражении ее лица проясняется что-то особенное, что, может быть... Но тут он обыкновенно топал ногою или скрежетал зубами и грозил себе кулаком.

А между тем Базаров не совсем ошибался. Он поразил воображение Одинцовой; он занимал ее, она много о нем думала. В его отсутствие она не скучала, не ждала его, но его появление тотчас ее оживляло; она охотно оставалась с ним наедине и охотно с ним разговаривала, даже тогда, когда он ее сердил или оскорблял ее вкус, ее изящные привычки. Она как будто хотела и его испытать и себя изведать.

Однажды он, гуляя с ней по саду, внезапно промолвил угрюмым голосом, что намерен скоро уехать в деревню к отцу... Она побледнела, словно ее что в сердце кольнуло, да так кольнуло, что она удивилась и долго потом размышляла о том, что бы это значило. Базаров объявил ей о своем отъезде не с мыслию испы-

¹ *Тоггенбург* — романтический герой одноименной баллады Шиллера.

² *Миннезингеры, трубадуры* — средневековые поэты-певцы из рыцарского сословия, воспевавшие преимущественно любовь.

тать ее, посмотреть, что из этого выйдет: он никогда не «сочинял». Утром того дня он виделся с отцовским приказчиком, бывшим своим дядькой, Тимофеичем. Этот Тимофеич, потертый и проворный старичок, с выцветшими желтыми волосами, выветренным, красным лицом и крошечными слезинками в съезженных глазах, неожиданно предстал перед Базаровым, в своей коротенькой чуйке из толстого серо-синеватого сукна, подпоясанный ремненным обрывочком и в дегтярных сапогах.

— А, старина, здравствуй!— воскликнул Базаров.

— Здравствуйте, батюшка Евгений Васильевич,— начал старичок и радостно улыбнулся, отчего всё лицо его вдруг покрылось морщинами.

— Зачем пожаловал? За мной, что ль, прислали?

— Помилуйте, батюшка, как можно!— залепетал Тимофеич (он вспомнил строгий наказ, полученный от барина при отъезде).— В город по господским делам ехали, да про вашу милость услышали, так вот и завернули по пути, то есть — посмотреть на вашу милость... а то как же можно беспокоить!

— Ну, не ври,— перебил его Базаров.— В город тебе разве здесь дорога?

Тимофеич помялся и ничего не отвечал.

— Отец здоров?

— Слава Богу-с.

— И мать?

— И Арина Власьевна, слава тебе Господи.

— Ждут меня небось?

Старичок склонил набок свою крошечную головку.

— Ах, Евгений Васильевич, как не ждать-то-с! Верите ли Богу, сердце изныло на родителей на ваших глядючи.

— Ну, хорошо, хорошо! не расписывай. Скажи им, что скоро буду.

— Слушаю-с,— со вздохом отвечал Тимофеич.

Выйдя из дома, он обеими руками нахлобучил себе картуз на голову, взобрался на убогие беговые дрожки, оставленные им у ворот, и поплелся рысцей, только не в направлении города.

Вечером того же дня Одинцова сидела у себя в комнате с Базаровым, а Аркадий расхаживал по зале и слушал игру Кати. Княжна ушла к себе наверх; она вообще терпеть не могла гостей, и в особенности этих «новых оголтелых», как она их называла. В парадных комнатах она только дулась; зато у себя, перед своею горничной, она раздражалась иногда такую бранью, что чепец прыгал у ней на голове вместе с накладкой. Одинцова всё это знала.

— Как же это вы ехать собираетесь,— начала она,— а обещание ваше?

Базаров встрепенулся.

— Какое-с?

— Вы забыли? Вы хотели дать мне несколько уроков химии.

— Что делать-с! Отец меня ждет; нельзя мне больше мешать. Впрочем, вы можете прочесть Pelouse et Fremy, *Notions generates de Chimie*¹; книга хорошая и написана ясно. Вы в ней найдете всё, что нужно.

— А помните: вы меня уверяли, что книга не может заменить... я забыла, как вы выразились, но вы знаете, что я хочу сказать... помните?

— Что делать-с? — повторил Базаров.

— Зачем ехать? — проговорила Одинцова, понизив голос.

Он взглянул на нее. Она закинула голову на спинку кресел и скрестила на груди руки, обнаженные до локтей. Она казалась бледней при свете одинокой лампы, завешенной вырезною бумажною сеткой. Широкое белое платье покрывало ее всю своими мягкими складками; едва виднелись кончики ее ног, тоже скрещенных.

— А зачем оставаться? — отвечал Базаров.

Одинцова слегка повернула голову.

— Как зачем? разве вам у меня не весело? Или вы думаете, что об вас здесь жалеть не будут?

— Я в этом убежден.

Одинцова помолчала.

— Напрасно вы это думаете. Впрочем, я вам не верю. Вы не могли сказать это серьезно.— Базаров продолжал сидеть неподвижно.— Евгений Васильевич, что же вы молчите?

— Да что мне сказать вам? О людях вообще жалеть не стоит, а обо мне подавно.

— Это почему?

— Я человек положительный, неинтересный. Говорить не умею.

— Вы напрашиваетесь на любезность, Евгений Васильевич.

— Это не в моих привычках. Разве вы не знаете сами, что изящная сторона жизни мне недоступна, та сторона, которою вы так дорожите?

Одинцова покусала угол носового платка.

— Думайте что хотите, но мне будет скучно, когда вы уедете.

— Аркадий останется,— заметил Базаров.

Одинцова слегка пожала плечом.

— Мне будет скучно,— повторила она.

— В самом деле? Во всяком случае, долго вы скучать не будете.

— Отчего вы так полагаете?

— Оттого, что вы сами мне сказали, что скучаете только тогда, когда ваш порядок нарушается. Вы так непогрешительно правильно устроили вашу жизнь, что в ней не может быть места ни скуке, ни тоске... никаким тяжелым чувствам.

¹ Пелуз и Фреми, Общие основы химии, (фр.).

— И вы находите, что я непогрешительна... то есть что я так правильно устроила свою жизнь?

— Еще бы! Да вот, например: через несколько минут пробьет десять часов, и я уже наперед знаю, что вы прогоните меня.

— Нет, не прогоню, Евгений Васильевич. Вы можете остаться. Отворите это окно... мне что-то душно.

Базаров встал и толкнул окно. Оно разом со стуком распахнулось... Он не ожидал, что оно так легко отворялось; притом его руки дрожали. Темная мягкая ночь глянула в комнату с своим почти черным небом, слабо шумевшими деревьями и свежим запахом вольного, чистого воздуха.

— Спустите стору и сядьте,— промолвила Одинцова,— мне хочется поболтать с вами перед вашим отъездом. Расскажите мне что-нибудь о самом себе; вы никогда о себе не говорите.

— Я стараюсь беседовать с вами о предметах полезных, Анна Сергеевна.

— Вы очень скромны... Но мне хотелось бы узнать что-нибудь о вас, о вашем семействе, о вашем отце, для которого вы нас покидаете.

«Зачем она говорит такие слова?» — подумал Базаров.

— Всё это несколько не занимательно,— произнес он вслух,— особенно для вас; мы люди темные...

— А я, по-вашему, аристократка?

Базаров поднял глаза на Одинцову.

— Да,— промолвил он преувеличенно резко.

Она усмехнулась.

— Я вижу, вы меня знаете мало, хотя вы и уверяете, что все люди друг на друга похожи и что их изучать не стоит. Я вам когда-нибудь расскажу свою жизнь... но вы мне прежде расскажете свою.

— Я вас знаю мало,— повторил Базаров.— Может быть, вы правы; может быть, точно, всякий человек — загадка. Да хотя вы, например: вы чуждаетесь общества, вы им тяготитесь — и пригласили к себе на жительство двух студентов. Зачем вы, с вашим умом, с вашею красотою, живете в деревне?

— Как? Как вы это сказали? — с живостью подхватила Одинцова.— С моей... красотой?

Базаров нахмурился.

— Это все равно,— пробормотал он,— я хотел сказать, что не понимаю хорошенько, зачем вы поселились в деревне?

— Вы этого не понимаете... Однако вы объясняете это себе как-нибудь?

— Да... я полагаю, что вы постоянно остаетесь на одном месте потому, что вы себя избаловали, потому, что вы очень любите комфорт, удобства, а ко всему остальному очень равнодушны.

Одинцова опять усмехнулась.

— Вы решительно не хотите верить, что я способна увлекаться?

Базаров исподлобья взглянул на нее.

— Любопытством — пожалуй: но не иначе.

— В самом деле? Ну, теперь я понимаю, почему мы сошлись с вами; ведь и вы такой же, как я.

— Мы сошлись... — глухо промолвил Базаров.

— Да!., ведь я забыла, что вы хотите уехать.

Базаров встал. Лампа тускло горела посреди потемневшей, благовоной, уединенной комнаты; сквозь изредка колыхавшуюся стору вливалась раздражительная свежесть ночи, слышалось ее таинственное шептание. Одинцова не шевелилась ни одним членом, но тайное волнение охватывало ее понемногу... Оно сообщило Базарову. Он вдруг почувствовал себя наедине с молодую, прекрасную женщину...

— Куда вы? — медленно проговорила она.

Он ничего не отвечал и опустил на стул.

— Итак, вы считаете меня спокойным, изнеженным, избалованным существом, — продолжала она тем же голосом, не спуская глаз с окна. — А я так знаю о себе, что я очень несчастлива.

— Вы несчастливы! Отчего? Неужели вы можете придавать какое-нибудь значение дрянным сплетням?

Одинцова нахмурилась. Ей стало досадно, что он так ее понял.

— Меня эти сплетни даже не смешат, Евгений Васильевич, и я слишком горда, чтобы позволить им меня беспокоить. Я несчастлива оттого... что нет во мне желания, охоты жить. Вы недоверчиво на меня смотрите, вы думаете: это говорит «аристократка», которая вся в кружевах и сидит на бархатном кресле. Я и не скрываюсь: я люблю то, что вы называете комфортом, и в то же время я мало желаю жить. Примирите это противоречие как знаете. Впрочем, это всё в ваших глазах романтизм.

Базаров покачал головою.

— Вы здоровы, независимы, богаты; чего же еще? Чего вы хотите?

— Чего я хочу, — повторила Одинцова и вздохнула. — Я очень устала, я стара, мне кажется, я очень давно живу. Да, я стара, — прибавила она, тихонько натягивая концы мантильи на свои обнаженные руки. Ее глаза встретились с глазами Базарова, и она чуть-чуть покраснела. — Позади меня уже так много воспоминаний: жизнь в Петербурге, богатство, потом бедность, потом смерть отца, замужество, потом заграничная поездка, как следует... Воспоминаний много, а вспомнить нечего, и впереди передо мной — длинная, длинная дорога, а цели нет... Мне и не хочется идти.

— Вы так разочарованы? — спросил Базаров.

— Нет, — промолвила с расстановкой Одинцова, — но я не удовлетворена. Кажется, если б я могла сильно привязаться к чему-нибудь...

— Вам хочется полюбить, — перебил Базаров, — а полюбить вы не можете: вот в чем ваше несчастье.

Одинцова принялась рассматривать рукава своей мантильи.

— Разве я не могу полюбить? — промолвила она.

— Едва ли! Только я напрасно назвал это несчастием. Напротив, тот скорее достоин сожаления, с кем эта штука случается.

— Случается что?

— Полюбить.

— А вы почему это знаете?

— Понаслышке, — сердито отвечал Базаров.

«Ты кокетничаешь, — подумал он, — ты скучаешь и дразнишь меня от нечего делать, а мне...» Сердце у него действительно так и рвалось.

— Притом, вы, может быть, слишком требовательны, — промолвил он, наклонившись всем телом вперед и играя бахромою кресла.

— Может быть. По-моему, или всё, или ничего. Жизнь за жизнь. Взял мою, отдай свою, и тогда уже без сожаления и без возврата. А то лучше и не надо.

— Что ж? — заметил Базаров, — это условие справедливое, и я удивляюсь, как вы до сих пор... не нашли, чего желали.

— А вы думаете, легко отдаться вполне чему бы то ни было?

— Не легко, если станешь размышлять, да выжидать, да самому себе придавать цену, дорожить собою то есть; а не размышляя, отдаться очень легко.

— Как же собою не дорожить? Если я не имею никакой цены, кому же нужна моя преданность?

— Это уже не мое дело; это дело другого разбирать, какая моя цена. Главное, надо уметь отдаться.

Одинцова отделилась от спинки кресла.

— Вы говорите так, — начала она, — как будто все это испытали.

— К слову пришлось, Анна Сергеевна: это всё, вы знаете, не по моей части.

— Но вы бы сумели отдаться?

— Не знаю, хвастаться не хочу.

Одинцова ничего не сказала, и Базаров умолк. Звуки фортепьяно долетели до них из гостиной.

— Что это Катя так поздно играет, — заметила Одинцова.

Базаров поднялся.

— Да, теперь точно поздно, вам пора почивать.

— Погодите, куда же вы спешите... мне нужно сказать вам одно слово.

— Какое?

— Погодите, — шепнула Одинцова.

Ее глаза остановились на Базарове; казалось, она внимательно его рассматривала.

Он прошелся по комнате, потом вдруг приблизился к ней, то-

ропливо сказал «прошайте», стиснул ей руку так, что она чуть не вскрикнула, и вышел вон. Она поднесла свои склеившиеся пальцы к губам, подула на них и внезапно, порывисто поднявшись с кресла, направилась быстрыми шагами к двери, как бы желая вернуть Базарова... Горничная вошла в комнату с графином на серебряном подносе. Одинцова остановилась, велела ей уйти, и села опять, и опять задумалась. Коса ее развилась и темной змеей упала к ней на плечо. Лампа еще долго горела в комнате Анны Сергеевны, и долго она оставалась неподвижною, лишь изредка проводя пальцами по своим рукам, которые слегка покусывал ночной холод.

А Базаров, часа два спустя, вернулся к себе в спальню с мокрыми от росы сапогами, взерошенный и угрюмый. Он застал Аркадия за письменным столом, с книгой в руках, в застегнутом доверху сюртуке.

— Ты еще не ложишься? — проговорил он как бы с досадой.

— Ты долго сидел сегодня с Анной Сергеевной, — промолвил Аркадий, не отвечая на его вопрос.

— Да, я с ней сидел все время, пока вы с Катериной Сергеевной играли на фортепьяно.

— Я не играл... — начал было Аркадий и умолк. Он чувствовал, что слезы приступали к его глазам, а ему не хотелось заплакать перед своим насмешливым другом.

XVIII

На следующий день, когда Одинцова явилась к чаю, Базаров долго сидел нагнувшись над своею чашкою, да вдруг взглянул на нее. Она обернулась к нему, как будто он ее толкнул, и ему показалось, что лицо ее слегка побледнело за ночь. Она скоро ушла к себе в комнату и появилась только к завтраку. С утра погода стояла дождливая, не было возможности гулять. Все общество собралось в гостиную. Аркадий достал последний номер журнала и начал читать. Княжна, по обыкновению своему, сперва выразила на лице своем удивление, точно он затевал нечто неприличное, потом злобно уставилась на него; но он не обратил на нее внимания.

— Евгений Васильевич, — проговорила Анна Сергеевна, — пойдемте ко мне... Я хочу у вас спросить... Вы назвали вчера одно руководство...

Она встала и направилась к дверям. Княжна посмотрела вдруг с таким выражением, как бы желала сказать: «Посмотрите, посмотрите, как я изумляюсь!» — и опять уставилась на Аркадия, но он возвысил голос и, переглянувшись с Катей, возле которой сидел, продолжал чтение.

Одинцова скорыми шагами дошла до своего кабинета. Базаров проворно следовал за нею, не поднимая глаз и только ловя слухом тонкий свист и шелест скользившего перед ним шелково-

го платья. Одинцова опустилась на то же самое кресло, на котором сидела накануне, и Базаров занял вчерашнее свое место.

— Так как же называется эта книга? — начала она после небольшого молчания.

— *Pelouse et Fremy, Notions generates...*— отвечал Базаров.— Впрочем, можно вам также порекомендовать *Ganot, Traite elementaire de physigie experimentate*¹. В этом сочинении рисунки отчетливее, и вообще этот учебник...

Одинцова протянула руку.

— Евгений Васильич, извините меня, но я позвала вас сюда не с тем, чтобы рассуждать об учебниках. Мне хотелось возобновить наш вчерашний разговор. Вы ушли так внезапно... Вам не будет скучно?

— Як вашим услугам, Анна Сергеевна. Но о чем, бишь, беседовали мы вчера с вами?

Одинцова бросила косвенный взгляд на Базарова.

— Мы говорили с вами, кажется, о счастии. Я вам рассказывала о самой себе. Кстати вот, я упомянула слово «счастье». Скажите, отчего, даже когда мы наслаждаемся, например, музыкой, хорошим вечером, разговором с симпатическими людьми, отчего все это кажется скорее намеком на какое-то безмерное, где-то существующее счастье, чем действительным счастьем, то есть таким, которым мы сами обладаем? Отчего это? Или вы, может быть, ничего подобного не ощущаете?

— Вы знаете поговорку: «Там хорошо, где нас нет»,— возразил Базаров,— притом же вы сами сказали вчера, что вы не удовлетворены. А мне в голову, точно, такие мысли не приходят.

— Может быть, они кажутся вам смешными?

— Нет, но они мне не приходят в голову.

— В самом деле? Знаете, я бы очень желала знать, о чем *вы* думаете?

— Как? я вас не понимаю.

— Послушайте, я давно хотела объясниться с вами. Вам нечего говорить,— вам это самим известно,— что вы человек не из числа обыкновенных; вы еще молоды — вся жизнь перед вами. К чему вы себя готовите? какая будущность ожидает вас? Я хочу сказать — какой цели вы хотите достигнуть, куда вы идете, что у вас на душе? Словом, кто вы, что вы?

— Вы меня удивляете, Анна Сергеевна. Вам известно, что я занимаюсь естественными науками, а кто я...

— Да, кто вы?

— Я уже докладывал вам, что я будущий уездный лекарь. Анна Сергеевна сделала нетерпеливое движение.

— Зачем вы это говорите? Вы этому сами не верите. Аркадий мог бы мне ответить так, а не вы.

— Да чем же Аркадий...

¹ Гано, Элементарный учебник экспериментальной физики (фр.).

— Перестаньте! Возможно ли, чтобы вы удовольствовались такою скромною деятельностью, и не сами ли вы всегда утверждаете, что для вас медицина не существует. Вы — с вашим самолюбием — уездный лекарь! Вы мне отвечаете так, чтобы отделаться от меня, потому что вы не имеете никакого доверия ко мне. А знаете ли, Евгений Васильич, что я умела бы понять вас: я сама была бедна и самолюбива, как вы; я прошла, может быть, через такие же испытания, как и вы.

— Все это прекрасно, Анна Сергеевна, но вы меня извините... я вообще не привык высказываться, и между вами и мною такое состояние...

— Какое состояние? Вы опять мне скажете, что я аристократка? Полноте, Евгений Васильич; я вам, кажется, доказала...

— Да и кроме того,— перебил Базаров,— что за охота говорить и думать о будущем, которое большею частью не от нас зависит? Выйдет случай что-нибудь сделать — прекрасно, а не выйдет — по крайней мере тем будешь доволен, что заранее напрасно не болтал.

— Вы называете дружескую беседу болтовней... Или может быть, вы меня, как женщину, не считаете достойною вашего доверия? Ведь вы нас всех презираете.

— Вас я не презираю, Анна Сергеевна, и вы это знаете.

— Нет, я ничего не знаю... но положим: я понимаю ваше нежелание говорить о будущей вашей деятельности; но то, что в вас теперь происходит...

— Происходит! — повторил Базаров,— точно я государство какое или общество! Во всяком случае это вовсе не любопытно; и притом разве человек всегда может громко сказать все, что в нем «происходит»?

— А я не вижу, почему нельзя высказать всё, что имеешь на душе.

— *Вы* можете? — спросил Базаров.

— Могу,— отвечала Анна Сергеевна после небольшого колебания.

Базаров наклонил голову.

— Вы счастливее меня.

Анна Сергеевна вопросительно посмотрела на него.

— Как хотите,— продолжала она,— а мне все-таки что-то говорит, что мы сошлись недаром, что мы будем хорошими друзьями. Я уверена, что ваша эта, как бы сказать, ваша напряженность, сдержанность исчезнет наконец?

— А вы заметили во мне сдержанность... как вы еще выразились... напряженность?

— Да.

Базаров встал и подошел к окну.

— И вы желали бы знать причину этой сдержанности, вы желали бы знать, что во мне происходит?

— Да,— повторила Одинцова с каким-то, ей еще непонятным, испугом.

— И вы не рассердитесь?

— Нет.

— Нет? — Базаров стоял к ней спиной.— Так знайте же, что я люблю вас, глупо, безумно... Вот чего вы добились.

Одинцова протянула вперед обе руки, а Базаров уперся лбом в стекло окна. Он задыхался; все тело его видимо трепетало. Но это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого признания овладел им: это страсть в нем билась, сильная и тяжелая — страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей... Одинцовой стало и страшно и жалко его.

— Евгений Васильич,— проговорила она, и невольная нежность зазвенела в ее голосе.

Он быстро обернулся, бросил на нее пожирающий взор — и, схватив ее обе руки, внезапно привлек ее к себе на грудь.

Она не тотчас освободилась из его объятий; но мгновенно спустилась она уже стояла далеко в углу и глядела оттуда на Базарова. Он рванулся к ней...

— Вы меня не поняли,— прошептала она с торопливым испугом. Казалось, шагни он еще раз, она бы вскрикнула... Базаров закусил губы и вышел.

Полчаса спустя служанка подала Анне Сергеевне записку от Базарова; она состояла из одной только строчки: «Должен ли я сегодня уехать — или могу остаться до завтра?» — «Зачем уезжать? Я вас не понимала — вы меня не поняли»,— ответила ему Анна Сергеевна, а сама подумала: «Я и себя не понимала».

Она до обеда не показывалась и всё ходила взад и вперед по своей комнате, заложив руки назад, изредка останавливаясь то перед окном, то перед зеркалом, и медленно проводила платком по шее, на которой ей всё чудилось горячее пятно. Она спрашивала себя, что заставляло ее «добиваться», по выражению Базарова, его откровенности, и не подозревала ли она чего-нибудь... «Я виновата,— промолвила она вслух,— но я это не могла предвидеть». Она задумывалась и краснела, вспоминая почти зверское лицо Базарова, когда он бросился к ней...

«Или?» — произнесла она вдруг, и остановилась, и тряхнула кудрями... Она увидела себя в зеркале; ее назад закинута голова с таинственной улыбкой на полузакрытых, полураскрытых глазах и губах, казалось, говорила ей в этот миг что-то такое, от чего она сама смутилась...

«Нет,— решила она наконец,— Бог знает, куда бы это повело, этим нельзя шутить, спокойствие все-таки лучше всего на свете».

Ее спокойствие не было потрясено; но она опечалилась и даже всплакнула раз, сама не зная отчего, только не от нанесенного оскорбления. Она не чувствовала себя оскорбленной; она скорее чувствовала себя виноватою. Под влиянием различных смутных чувств, сознания уходящей жизни, желания новизны она

заставила себя дойти до известной черты, заставила себя заглянуть за нее — и увидела за ней даже не бездну, а пустоту... или безобразия.

XIX

Как ни владела собою Одинцова, как ни стояла выше всяких предрассудков, но и ей было неловко, когда она явилась в столовую к обеду. Впрочем, он прошел довольно благополучно. Порфирий Платоныч приехал, рассказал разные анекдоты; он только что вернулся из города. Между прочим, он сообщил, что губернатор, Бурдалу, приказал своим чиновникам по особым поручениям носить шпоры, на случай если он пошлет их куда-нибудь, для скорости, верхом. Аркадий вполголоса рассуждал с Катей и дипломатически прислуживался княжне. Базаров упорно и угрюмо молчал. Одинцова раза два — прямо, не украдкой — посмотрела на его лицо, строгое и желчное, с опущенными глазами, с отпечатком презрительной решимости в каждой черте, и подумала: «Нет... нет... нет...» После обеда она со всем обществом отправилась в сад и, видя, что Базаров желает заговорить с нею, сделала несколько шагов в сторону и остановилась. Он приблизился к ней, но и тут не поднял глаз и глухо промолвил:

— Я должен извиниться перед вами, Анна Сергеевна. Вы не можете не гневаться на меня.

— Нет, я на вас не сержусь, Евгений Васильич,— отвечала Одинцова,— но я огорчена.

— Тем хуже. Во всяком случае я довольно наказан. Мое положение, с этим вы, вероятно, согласитесь, самое глупое. Вы мне написали: зачем уезжать? А я не могу и не хочу остаться. Завтра меня здесь не будет.

— Евгений Васильич, зачем вы...

— Зачем я уезжаю?

— Нет, я не то хотела сказать.

— Прошедшего не воротить, Анна Сергеевна... а рано или поздно это должно было случиться. Следовательно, мне надобно уехать. Я понимаю только одно условие, при котором я бы мог остаться; но этому условию не бывать никогда. Ведь вы, извините мою дерзость, не любите меня и не полюбите никогда?

Глаза Базарова сверкнули на мгновение из-под темных его бровей.

Анна Сергеевна не отвечала ему. «Я боюсь этого человека»,— мелькнуло у ней в голове.

— Прощайте-с,— проговорил Базаров, как бы угадав ее мысль, и направился к дому.

Анна Сергеевна тихонько пошла вслед за ним и, подозревая Катю, взяла ее под руку. Она не расставалась с ней до самого вечера. В карты она играть не стала и всё больше посмеивалась, что вовсе не шло к ее побледневшему и смущенному лицу. Аркадий

недоумевал и наблюдал за нею, как молодые люди наблюдают, то есть постоянно вопрошал самого себя: что, мол, это значит? Базаров заперся у себя в комнате; к чаю он, однако, вернулся. Анне Сергеевне хотелось сказать ему какое-нибудь доброе слово, но она не знала, как заговорить с ним...

Неожиданный случай вывел ее из затруднения: дворецкий доложил о приезде Ситникова.

Трудно передать словами, какую перепелкой влетел в комнату молодой прогрессист. Решившись, с свойственной ему назойливостью, поехать в деревню к женщине, которую он едва знал, которая никогда его не приглашала, но у которой, по собранным сведениям, гостили такие умные и близкие ему люди, он все-таки робел до мозга костей и, вместо того чтобы произнести заранее затверженные извинения и приветствия, пробормотал какую-то дрянь, что Евдоксия, дескать, Кукушина прислала его узнать о здоровье Анны Сергеевны и что Аркадий Николаевич тоже ему всегда отзывался с величайшею похвалой... На этом слове он запнулся и потерялся до того, что сел на собственную шляпу. Однако, так как никто его не прогнал и Анна Сергеевна даже представила его тетке и сестре, он скоро оправился и затрещал на славу. Появление пошлости бывает часто полезно в жизни: оно ослабляет слишком высоко настроенные струны, отрезвляет самоуверенные или самозабывчивые чувства, напоминая им свое близкое родство с ними. С прибытием Ситникова всё стало как-то тупее — и проще; все даже поужинали плотней и разошлись спать получасом раньше обыкновенного.

— Я могу тебе теперь повторить — говорил, лежа в постели, Аркадий Базарову, который тоже разделся — то, что ты мне сказал однажды: «Отчего ты так грустен? Верно, исполнил какой-нибудь священный долг?»

Между обоими молодыми людьми с некоторых пор установилось какое-то лжеразвязное подтрунивание, что всегда служит признаком тайного неудовольствия или невысказанных подозрений.

— Я завтра к батьке уезжаю, — проговорил Базаров.

Аркадий приподнялся и оперся на локоть. Он и удивился и почему-то обрадовался.

— А! — промолвил он: — И ты от этого грустен?

Базаров зевнул.

— Много будешь знать, состареешься.

— А как же Анна Сергеевна? — продолжал Аркадий.

— Что такое Анна Сергеевна?

— Я хочу сказать: разве она тебя отпустит?

— Я у ней не нанимался.

Аркадий задумался, а Базаров лег и повернулся лицом к стене.

Прошло несколько минут в молчании.

— Евгений! — воскликнул вдруг Аркадий.

— Ну?

— Я завтра с тобой уеду тоже.

Базаров ничего не отвечал.

— Только я домой поеду,— продолжал Аркадий.— Мы вместе отправимся до Хохловских выселков, а там ты возьмешь у Федота лошадей. Я бы с удовольствием познакомился с твоими, да я боюсь и их стеснить и тебя. Ведь ты потом опять приедешь к нам?

— Я у вас свои вещи оставил,— отозвался Базаров, не обращившись.

«Зачем же он меня не спрашивает, почему я еду? и так же внезапно, как и он? — подумал Аркадий.— В самом деле, зачем я еду и зачем он едет?» — продолжал он свои размышления. Он не мог отвечать удовлетворительно на собственный вопрос, а сердце его наполнялось чем-то едким. Он чувствовал, что тяжело ему будет расстаться с этою жизнью, к которой он так привык; но и оставаться одному было как-то странно. «Что-то у них произошло,— рассуждал он сам с собою,— зачем же я буду торчать перед нею после отъезда? я ей окончательно надою; я и последнее потеряю». Он начал представлять себе Анну Сергеевну, потом другие черты понемногу проступили сквозь красивый облик молодой вдовы.

«Жаль и Кати!» — шепнул Аркадий в подушку, на которую уже капнула слеза... Он вдруг вскинул волосами и громко промолвил:

— На какого черта этот глупец Ситников пожаловал?

Базаров сперва пошевелился на постели, а потом произнес следующее:

— Ты, брат, глуп еще, я вижу. Ситниковы нам необходимы. Мне, пойми ты это, мне нужны подобные олухи. Не богам же, в самом деле, горшки обжигать!..

«Эге, ге!.. — подумал про себя Аркадий, и тут только открылась ему на миг вся бездонная пропасть базаровского самолюбия.— Мы, стало быть, с тобой боги? то есть — ты Бог, а олух уж не я ли?»

— Да,— повторил угрюмо Базаров,— ты еще глуп.

Одинцова не изъявила особенного удивления, когда на другой день Аркадий сказал ей, что уезжает с Базаровым; она казалась рассеянною и усталою. Катя молча и серьезно посмотрела на него, княжна даже перекрестилась под своею шалью, так что он не мог этого не заметить; зато Ситников совершенно переполошился. Он только что сошел к завтраку в новом шегольском, на этот раз не славянофильском, наряде; накануне он удивил приставленного к нему человека множеством навезенного им белья, и вдруг его товарищи его покидают! Он немножко посеменил ногами, пометался, как гонимый заяц на опушке леса,— и внезапно, почти с испугом, почти с криком объявил, что и он намерен уехать. Одинцова не стала его удерживать.

— У меня очень покойная коляска,— прибавил несчастный молодой человек, обращаясь к Аркадию,— я могу вас подвезти, а Евгений Васильич может взять ваш тарантас, так оно даже удобнее будет.

— Да помилуйте, вам совсем не по дороге, и до меня далеко.

— Это ничего, ничего; времени у меня много, притом у меня в той стороне дела есть.

— По откупам? — спросил Аркадий уже слишком прерзительно.

Но Ситников находился в таком отчаянии, что, против обыкновения, даже не засмеялся.

— Я вас уверяю, коляска чрезвычайно покойная,— пробормотал он,— и всем место будет.

— Не огорчайте мсьё Ситникова отказом,— промолвила Анна Сергеевна...

Аркадий взглянул на нее и значительно наклонил голову.

Гости уехали после завтрака. Прощаясь с Базаровым, Одицова протянула ему руку и сказала:

— Мы еще увидимся, не правда ли?

— Как прикажете,— ответил Базаров.

— В таком случае мы увидимся.

Аркадий первый вышел на крыльцо; он взобрался в ситниковскую коляску. Его почтительно подсаживал дворецкий, а он бы с удовольствием его побил или расплакался. Базаров поместился в тарантасе. Добравшись до Хохловских выселков, Аркадий подождал, пока Федот, содержатель постоянного двора, запряг лошадей, и, подойдя к тарантасу, с прежнею улыбкой сказал Базарову:

— Евгений, возьми меня с собой; я хочу к тебе поехать.

— Садись,— произнес сквозь зубы Базаров.

Ситников, который расхаживал, бойко посвистывая, вокруг колес своего экипажа, только рот разинул, услышав эти слова, а Аркадий хладнокровно вынул свои вещи из его коляски, сел возле Базарова — и, учтиво поклонившись своему бывшему спутнику, крикнул: «Трогай!» Тарантас покатил и скоро исчез из вида... Ситников, окончательно сконфуженный, посмотрел на своего кучера, но тот играл кнутиком над хвостом пристяжной. Тогда Ситников вскочил в коляску и, загремев на двух проходивших мужиков: «Наденьте шапки, дураки!» — потащился в город, куда прибыл очень поздно и где на следующий день, у Кукшиной, сильно досталось двум «противным гордецам и невежам».

Садясь в тарантас к Базарову, Аркадий крепко стиснул ему руку и долго ничего не говорил. Казалось, Базаров понял и оценил и это пожатие и это молчание. Предшествовавшую ночь он всю не спал и не курил, и почти ничего не ел уже несколько дней. Сумрачно и резко выдавался его похудалый профиль из-под нахлобученной фуражки.

— Что, брат,— проговорил он наконец,— дай-ка сигарку... Да посмотри, чай, желтый у меня язык?

— Желтый,— отвечал Аркадий.

— Ну да... вот и сигарка не вкусна.— Расклеилась машина.

— Ты действительно изменился в это последнее время,— заметил Аркадий.

— Ничего! поправимся. Одно, скучно — мать у меня такая сердобольная: коли брюха не отрастил да не ешь десять раз на день, она и убивается. Ну, отец ничего, тот сам был везде, и в сите и в решете. Нет, нельзя курить,— прибавил он и швырнул сигарку в пыль дороги.

— До твоего имени двадцать пять верст? — спросил Аркадий.

— Двадцать пять. Да вот спроси у этого мудреца.

Он указал на сидевшего на козлах мужика, Федотова работника.

Но мудрец отвечал, что «хтошь е знает — версты тутотка не меряные», и продолжал вполголоса бранить коренную за то, что она «головизной лягает», то есть дергает головой.

— Да, да,— заговорил Базаров,— урок вам, юный друг мой, поучительный некий пример. Чёрт знает, что за вздор! Каждый человек на ниточке висит, бездна ежеминутно под ним разверзнуться может, а он еще сам придумывает себе всякие неприятности, портит свою жизнь.

— Ты на что намекаешь? — спросил Аркадий.

— Я ни на что не намекаю, я прямо говорю, что мы оба с тобою очень глупо себя вели. Что тут толковать! Но я уже в клинике заметил: кто злится на свою боль — тот непременно ее победит.

— Я тебя не совсем понимаю,— промолвил Аркадий,— кажется, тебе не на что было жаловаться.

— А коли ты не совсем меня понимаешь, так я тебе доложу следующее: по-моему — лучше камни бить на мостовой, чем позволить женщине завладеть хотя бы кончиком пальца. Это всё... — Базаров чуть было не произнес своего любимого слова «романтизм», да удержался и сказал: — вздор. Ты мне теперь не поверишь, но я тебе говорю: мы вот с тобой попали в женское общество, и нам было приятно; но бросить подобное общество — всё равно, что в жаркий день холодной водой окатиться. Мужчине некогда заниматься такими пустяками; мужчина должен быть свиреп, гласит отличная испанская поговорка. Ведь вот ты,— прибавил он, обращаясь к сидевшему на козлах мужику,— ты, умница, есть у тебя жена?

Мужик показал обоим приятелям свое плоское и подслеповатое лицо.

— Жена-то? Есть. Как не быть жене?

— Ты ее бьешь?

— Жену-то? Всяко случается. Без причины не бьем.

— И прекрасно. Ну, а она тебя бьет?

Мужик задергал вожжами.

— Эко слово ты сказал, барин. Тебе бы всё шутить...— Он, видимо, обиделся.

— Слышишь, Аркадий Николаевич! А нас с вами прибили... вот оно что значит быть образованными людьми.

Аркадий принужденно засмеялся, а Базаров отвернулся и во всю дорогу уже не разевал рта.

Двадцать пять верст показались Аркадию за целых пятьдесят. Но вот на скате пологого холма открылась, наконец, небольшая деревушка, где жили родители Базарова. Рядом с нею, в молодой березовой рощице, виднелся дворянский домик под соломенной крышей. У первой избы стояли два мужика в шапках и бранились. «Большая ты свинья,— говорил один другому,— а хуже малого поросенка».— «А твоя жена — колдунья»,— возражал другой.

— По непринужденности обращения,— заметил Аркадию Базаров,— и по игривости оборотов речи ты можешь судить, что мужики у моего отца не слишком притеснены. Да вот и он сам выходит на крыльцо своего жилища. Услыхал, знать, колокольчик. Он, он — узнаю его фигуру. Эге, ге! как он, однако, поседел, бедняга!

XX

Базаров высунулся из тарантаса, а Аркадий вытянул голову из-за спины своего товарища и увидал на крыльчке господского домика высокого, худощавого человека, с взъерошенными волосами и тонким орлиным носом, одетого в старый военный сюртук нараспашку. Он стоял, растопырив ноги, курил длинную трубку и шурился от солнца.

Лошади остановились.

— Наконец пожаловал,— проговорил отец Базарова, всё продолжая курить, хотя чубук так и прыгал у него между пальцами.— Ну, вылезай, вылезай, почеломкаемся.

Он стал обнимать сына... «Енюшка, Енюша»,— раздался трепещущий женский голос. Дверь распахнулась, и на пороге показалась кругленькая, низенькая старушка в белом чепце и короткой пестрой кофточке. Она ахнула, пошатнулась и наверно бы упала, если бы Базаров не поддержал ее. Пухлые ее ручки мгновенно обвили вокруг его шеи, голова прижалась к его груди, и всё замолкло. Только слышались ее прерывистые всхлипы-ванья.

Старик Базаров глубоко дышал и шурился пуше прежнего.

— Ну, полно, полно, Ариша! перестань,— заговорил он, поменявшись взглядом с Аркадием, который стоял неподвижно

у тарантаса, между тем как мужик на козлах даже отвернулся.— Это совсем не нужно! пожалуйста, перестань.

— Ах, Василий Иванович,— пролепетала старушка,— в кои-то веки батюшку-то моего, голубчика-то, Енюшеньку...— и, не разжимая рук, она отодвинула от Базарова свое мокрое от слез, смятое и умиленное лицо, посмотрела на него какими-то блаженными и смешными глазами и опять к нему припала.

— Ну да, конечно, это все в натуре вещей,— промолвил Василий Иванович,— только лучше уж в комнату пойдём. С Евгением вот гость приехал. Извините,— прибавил он, обращаясь к Аркадию, и шаркнул слегка ногой,— вы понимаете, женская слабость; ну, и сердце матери...

А у самого губы и брови дергало, и подбородок трясся... но он, видимо, желал победить себя и казаться чуть равнодушным. Аркадий наклонился.

— Пойдемте, матушка, в самом деле,— промолвил Базаров и повел в дом ослабевшую старушку. Усадив ее в покойное кресло, он еще раз наскоро обнялся с отцом и представил ему Аркадия.

— Душевно рад знакомству,— проговорил Василий Иванович,— только уж вы не взыщите: у меня здесь всё по простоте, на военную ногу. Арина Власьевна, успокойся, сделай одолжение: что за малодушие? Господин гость должен осудить тебя.

— Батюшка,— сквозь слезы проговорила старушка,— имени и отчества не имею чести знать...

— Аркадий Николаевич,— с важностию, вполголоса, подсказал Василий Иванович.

— Извините меня, глупую. — Старушка высморкалась и, нагиная голову то направо, то налево, тщательно утерла один глаз после другого.— Извините вы меня. Ведь я так и думала, что умру, не дождусь моего го... о... о... лубчика.

— А вот и дождались, сударыня,— подхватил Василий Иванович.— Танюшка,— обратился он к босоногой девочке лет тринадцати, в ярко-красном ситцевом платье, пугливо выглядывавшей из-за двери,— принеси барыне стакан воды,— на подносе, слышишь? — а вас, господа,— прибавил он с какою-то старомодною игривостью,— позвольте попросить в кабинет к отставному ветерану.

— Хоть еще разочек дай обнять тебя, Енюшечка,— простонала Арина Власьевна. Базаров нагнулся к ней.— Да какой же ты красавчик стал!

— Ну, красавчик не красавчик,— заметил Василий Иванович,— а мужчина, как говорится: *оммфе*¹. А теперь, я надеюсь, Арина Власьевна, что, насытив свое материнское сердце, ты позаботишься о насыщении своих дорогих гостей, потому что, тебе известно, соловья баснями кормить не следует.

¹ настоящий мужчина (*homme fait* — *фр*-)-

Старушка привстала с кресел.

— Сию минуту, Василий Иванович, стол накрыт будет, сама в кухню сбегаю и самовар поставить велю, всё будет, всё. Ведь три года его не видала, не кормила, не поила, легко ли?

— Ну, смотри же, хозяйюшка, хлопочи, не осрамись; а вас, господа, прошу за мной пожаловать. Вот и Тимофеич явился к тебе на поклон, Евгений. И он, чай, обрадовался, старый барбос. Что? ведь обрадовался, старый барбос? Милости просим за мной.

И Василий Иванович суетливо пошел вперед, шаркая и шлепая стоптанными туфлями.

Весь его домик состоял из шести крошечных комнат. Одна из них, та, куда он привел наших приятелей, называлась кабинетом. Толстоногий стол, заваленный почерневшими от старинной пыли, словно прокопченными бумагами, занимал весь промежуток между двумя окнами; по стенам висели турецкие ружья, нагайки, сабля, две ландкарты, какие-то анатомические рисунки, портрет Гуфеланда¹, вензель из волос в черной рамке и диплом под стеклом; кожаный, кое-где продавленный и разорванный диван помещался между двумя громадными шкафами из карельской березы; на полках в беспорядке теснились книги, коробочки, птичьи чучелы, банки, пузырьки; в одном углу стояла сложенная электрическая машина.

— Я вас предупредил, любезный мой посетитель,— начал Василий Иванович,— что мы живем здесь, так сказать, на бивуаках...

— Да перестань, что ты извиняешься? — перебил Базаров. — Кирсанов очень хорошо знает, что мы с тобой не Крезы и что у тебя не дворец. Куда мы его поместим, вот вопрос?

— Помилуй, Евгений; там у меня во флигельке отличная комната: им там очень хорошо будет.

— Так у тебя и флигелек завелся?

— Как же-с; где баня-с,— вмешался Тимофеич.

— То есть рядом с баней,— поспешно присовокупил Василий Иванович.— Теперь же лето... Я сейчас сбегаю туда, распоряжусь; а ты бы, Тимофеич, пока их вещи внес. Тебе, Евгений, я, разумеется, предоставлю мой кабинет. *Suum cuique*².

— Вот тебе на! Презабавный старикашка и добрейший,— прибавил Базаров, как только Василий Иванович вышел.— Такой же чудак, как твой, только в другом роде. Много уж очень болтает.

— И мать твоя, кажется, прекрасная женщина,— заметил Аркадий.

¹ *Гуфеланд* Христофор Вильгельм (1762—1836) — немецкий ученый, автор книги «Искусство продления человеческой жизни (Макробиотика)».

² Всякому свое (*лат.*).

— Да, она у меня без хитрости. Обед нам, посмотри, какой задаст.

— Сегодня вас не ждали, батюшка, говядинки не привезли,— промолвил Тимофеич, который только что втащил базаровский чемодан.

— И без говядинки обойдемся, на нет и суда нет. Бедность, говорят, не порок.

— Сколько у твоего отца душ? — спросил вдруг Аркадий.

— Имение не его, а матери; душ, помнится, пятнадцать.

— И все двадцать две,— с неудовольствием заметил Тимофеич.

Послышалось шлепание туфель, и снова появился Василий Иванович.

— Через несколько минут ваша комната будет готова принять вас,— воскликнул он с торжественностью,— Аркадий... Николаич? так, кажется, вы изволите величаться? А вот вам и прислуга,— прибавил он, указывая на вошедшего с ним коротко остриженного мальчика в синем, на локтях прорванном, кафтане и в чужих сапогах.— Зовут его Федькой. Опять-таки повторяю, хоть сын и запрещает, не взыщите. Впрочем, трубку набивать он умеет. Ведь вы курите?

— Я курю больше сигары,— ответил Аркадий.

— И весьма благоразумно поступаете. Я сам отдаю преферанс сигаркам, но в наших уединенных краях доставать их чрезвычайно затруднительно.

— Да полно тебе Лазаря петь,— перебил опять Базаров.— Сядь лучше вот тут на диван да дай на тебя посмотреть.

Василий Иванович засмеялся и сел. Он очень походил лицом на своего сына, только лоб у него был ниже и уже, и рот немного шире, и он беспрестанно двигался, поводил плечами, точно платье ему под мышками резало, моргал, покашливал и шевелил пальцами, между тем как сын его отличался какою-то небрежною неподвижностью.

— Лазаря петь! — повторил Василий Иванович.— Ты, Евгений, не думай, что я хочу, так сказать, разжалобить гостя: вот, мол, мы в каком захолустье живем. Я, напротив, того мнения, что для человека мыслящего нет захолустья. По крайней мере я стараюсь, по возможности, не зарастить, как говорится, мохом, не отстать от века.

Василий Иванович вытащил из кармана новый желтый фуляр, который успел захватить, бегая в Аркадиеву комнату, и продолжал, помахивая им по воздуху:

— Я уже не говорю о том, что я, например, не без чувствительных для себя пожертвований, посадил мужиков на оброк и отдал им свою землю исполу. Я считал это своим долгом, самое благоразумие в этом случае повелевает, хотя другие владельцы даже не помышляют об этом: я говорю о науках, об образовании.

— Да; вот я вижу у тебя — «Друг здравия»¹ на тысяча восемьсот пятьдесят пятый год,— заметил Базаров.

— Мне его по знакомству старый товарищ высылает,— поспешно проговорил Василий Иванович,— но мы, например, и о френологии² имеем понятие,— прибавил он, обращаясь, впрочем, более к Аркадию и указывая на стоявшую на шкафе небольшую гипсовую головку, разбитую на нумерованные четырехугольники,— нам и Шенлейн не остался безызвестен, и Радемахер³.

— А в Радемахера еще верят в*** губернии? — спросил Базаров.

Василий Иванович закашлял.

— В губернии... Конечно, вам, господа, лучше знать; где ж нам за вами угоняться? Ведь вы нам на смену пришли. И в мое время какой-нибудь гуморалист Гоффман⁴, какой-нибудь Броун с его витализмом казались очень смешны, а ведь тоже гремели когда-то. Кто-нибудь новый заменил у вас Радемахера, вы ему поклоняетесь, а через двадцать лет, пожалуй, и над тем смеяться будут.

— Скажу тебе в утешенье,— промолвил Базаров,— что мы теперь вообще над медициной смеемся и ни перед кем не преклоняемся.

— Как же это так? Ведь ты доктором хочешь быть?

— Хочу, да одно другому не мешает.

Василий Иванович потыкал третьим пальцем в трубку, где еще оставалось немного горячей золы.

— Ну, может быть, может быть — спорить не стану. Ведь я что? Отставной штаб-лекарь, *волату*⁵; теперь вот в агрономы попал. Я у вашего дедушки в бригаде служил,— обратился он опять к Аркадию,— да-с, да-с; много я на своем веку видал видов. И в каких только обществах не бывал, с кем не важивался! Я, тот самый я, которого вы изволите видеть теперь перед собою,

¹ Речь идет о врачебной газете, издававшейся в Петербурге с 1833 по 1869 год.

² *Френология* — псевдонаука о зависимости психики человека от наружной формы черепа.

³ *Шейнлейн* Иоган Лукас (1793—1864) и *Радемахер* Иоган Готфрид (1772—1849) — немецкие ученые, медики, идеалисты.

⁴ *Гоффман* Фридрих (1660—1742)—немецкий ученый, медик. *Гуморалист*— сторонник идеалистической умозрительной теории, так называемой гуморальной патологии. Считая, что причины болезни коренятся в нарушении нормального соотношения соков в организме (*лат. humor* — жидкость), гуморалисты подкрепляли свои доводы не столько изучением организма, сколько схоластическими рассуждениями.

⁵ *Броун* Джон (1735—1788) — крупный английский врач-терапевт. *Витализм* (*лат. vita* — жизнь) — идеалистическое учение об особой духовной «жизненной силе» как начале, управляющем явлениями и процессами в живом организме.

⁶ вот и всё (*voilà tout* — *фр.*-)

я у князя Витгенштейна и у Жуковского пульс шупал! Тех-то, в южной-то армии, по четырнадцатому, вы понимаете (и тут Василий Иванович значительно сжал губы), всех знал наперечет. Ну, да ведь мое дело — сторона; знай свой ланцет, и баста! А дедушка ваш очень почтенный был человек, настоящий военный.

— Сознайся, дубина была порядочная,— лениво промолвил Базаров.

— Ах, Евгений, как это ты выражаешься! помилосердуй... Конечно, генерал Кирсанов не принадлежал к числу...

— Ну, брось его,— перебил Базаров.— Я, как подъезжал сюда, порадовался на твою березовую рожицу, славно вытянулась. Василий Иванович оживился.

— А ты посмотри, садик у меня теперь какой! Сам каждое деревцо сажал. И фрукты есть, и ягоды, и всякие медицинские травы. Уж как вы там ни хитрите, господа молодые, а все-таки старик Парацельский святую правду изрек: *in herbis, verbiset lapidibus...*¹ Ведь я, ты знаешь, от практики отказался, а раза два в неделю приходится стариной тряхнуть. Идут за советом — нельзя же гнать в шею. Случается, бедные прибегают к помощи. Да и докторов здесь совсем нет. Один здешний сосед, представь, отставной майор, тоже лечит. Я спрашиваю о нем: учился ли он медицине?.. Говорят мне: нет, он не учился, он больше из филантропии... Ха-ха, из филантропии! а? какво! Ха-ха! ха-ха!

— Федька! набей мне трубку! — сурово проговорил Базаров.

— А то здесь другой доктор, приезжает к больному,— продолжал с каким-то отчаяньем Василий Иванович,— а больной уже *ad patres*²; человек и не пускает доктора, говорит: теперь больше не надо. Тот этого не ожидал, сконфузился и спрашивает: «Что, барин перед смертью икал?» — «Икали-с».— «И много икал?» — «Много».— «А, ну — это хорошо»,— да и верть назад. Ха-ха-ха!

Старик один засмеялся; Аркадий выразил улыбку на своем лице. Базаров только затынулся. Беседа продолжалась таким образом около часа; Аркадий успел сходить в свою комнату, которая оказалась предбанником, но очень уютным и чистым. Наконец вошла Танюша и доложила, что обед готов.

Василий Иванович первый поднялся.

— Пойдемте, господа! Извините великодушно, коли наскучил. Авось хозяйка моя удовлетворит вас более моего.

Обед, хотя наскоро сготовленный, вышел очень хороший, даже обильный; только вино немного, как говорится, подгуляло: почти черный херес, купленный Тимофеичем в городе у знакомого купца, отзвывался не то медью, не то канифолью; и мухи тоже мешали. В обыкновенное время дворовый мальчик отгонял их большую зеленой веткой; но на этот раз Василий Иванович

¹ в травах, словах и камнях (*лат.*).

² отправился к праотцам (*лат.*).

услал его из боязни осуждения со стороны юного поколения. Арина Власьевна успела принарядиться; надела высокий чепец с шелковыми лентами и голубую шаль с разводами. Она опять всплакнула, как только увидела своего Енюшу, но мужу не пришлось ее усовещевать: она сама поскорей утерла свои слезы, чтобы не закапать шаль. Ели одни молодые люди: хозяева давно пообедали. Прислуживал Федька, видимо обремененный необычными сапогами, да помогала ему женщина с мужественным лицом и кривая, по имени Анфисушка, исполнявшая должности ключницы, птичницы и прачки. Василий Иванович во все время обеда расхаживал по комнате и с совершенно счастливым и даже блаженным видом говорил о тяжелых опасениях, внушаемых ему наполеоновскою политикой и запутанностью итальянского вопроса. Арина Власьевна не замечала Аркадия, не потчевала его; подперши кулачком свое круглое лицо, которому одутловатые, вишневого цвета губки и родинки на щеках и над бровями придавали выражение очень добродушное, она не сводила глаз с сына и все вздыхала; ей смертельно хотелось узнать, на сколько времени он приехал, но спросить его она боялась. «Ну, как скажет на два дня», — думала она, и сердце у ней замирало. После жареного Василий Иванович исчез на мгновение и возвратился с откупоренною полубутылкой шампанского. «Вот, — воскликнул он, — хоть мы и в глуши живем, а в торжественных случаях имеем чем себя повеселить!» Он налил три бокала и рюмку, провозгласил здоровье «неоцененных посетителей» и разом, повоенному, хлопнул свой бокал, а Арину Власьевну заставил выпить рюмку до последней капельки. Когда очередь дошла до варенья, Аркадий, не терпевший ничего сладкого, почел, однако, своею обязанностью отведать от четырех различных, только что сваренных сортов, тем более что Базаров отказался наотрез и тотчас закурил сигарку. Потом явился на сцену чай со сливками, с маслом и кренделями; потом Василий Иванович повел всех в сад, для того чтобы полюбоваться красотой вечера. Проходя мимо скамейки, он шепнул Аркадию:

— На сем месте я люблю философствовать, глядя на захождение солнца: оно приличествует пустынночку. А там, подальше, я посадил несколько деревьев, любимых Горацием.

— Что за деревья? — спросил, вслушавшись, Базаров.

— А как же... акации.

Базаров начал зевать.

— Я полагаю, пора путешественникам в объятия к Морфею, — заметил Василий Иванович.

— То есть пора спать! — подхватил Базаров. — Это суждение справедливое. Пора, точно.

Прощаясь с матерью, он поцеловал ее в лоб, а она обняла его и за спиной, украдкой, его благословила трижды. Василий Иванович проводил Аркадия в его комнату и пожелал ему «такого благодатного отдохновения, какое и я вкушал в ваши счастли-

вые лета». И действительно, Аркадию отлично спалось в своем предбаннике: в нем пахло мятой, и два сверчка вперебивку усыпительно трещали за печкой. Василий Иванович отправился от Аркадия в свой кабинет и, прикорнув на диване в ногах у сына, собирался было поболтать с ним, но Базаров тотчас его отослал, говоря, что ему спать хочется, а сам не заснул до утра. Широко раскрыв глаза, он злобно глядел в темноту: воспоминания детства не имели власти над ним, да к тому же он еще не успел отделаться от последних горьких впечатлений. Арина Власьевна сперва помолилась всласть, потом долго-долго беседовала с Анфисушкой, которая, став, как вкопанная, перед барыней и вперив в нее свой единственный глаз, передавала ей таинственным шепотом все свои замечания и соображения насчет Евгения Васильевича. У старушки от радости, от вина, от сигарочного дыма совсем закружилась голова; муж заговорил было с ней и махнул рукою.

Арина Власьевна была настоящая русская дворяночка прежнего времени; ей бы следовало жить лет за двести, в старомосковские времена. Она была очень набожна и чувствительна, верила во всевозможные приметы, гаданья, заговоры, сны; верила в юродивых, в домовых, в леших, в дурные встречи, в порчу, в народные лекарства, в четверговую соль, в скорый конец света; верила, что если в светлое воскресенье на всенощной не погаснут свечи, то гречиха хорошо уродится, и что гриб больше не растет, если его человеческий глаз увидит; верила, что чёрт любит быть там, где вода, и что у каждого жида на груди кровавое пятнышко; боялась мышей, ужей, лягушек, воробьев, пиявок, грома, холодной воды, сквозного ветра, лошадей, козлов, рыжих людей и чёрных кошек и почитала сверчков и собак нечистыми животными; не ела ни телятины, ни голубей, ни раков, ни сыру, ни спаржи, ни земляных груш, ни зайца, ни арбузов, потому что взрезанный арбуз напоминает голову Иоанна Предтечи¹, а об устрицах говорила не иначе как с содроганием; любила покушать — и строго постилась; спала десять часов в сутки — и не ложилась вовсе, если у Василия Ивановича заболела голова; не прочла ни одной книги, кроме *Алексиса, или Хижины в лесу*², писала одно, много два письма в год, а в хозяйстве, сушеные и варенье знала толк, хотя своими руками ни до чего не прикасалась и вообще неохотно двигалась с места. Арина Власьевна была очень добра и, по-своему, вовсе не глупа. Она знала, что есть на свете господа, которые должны приказывать, и простой народ, который должен служить, — и потому не гнушалась ни подо-

¹ *Иоанн Предтеча* — по библейскому преданию, предшественник и провозвестник Иисуса Христа. Был казнен по требованию Иродиады, мстившей ему за разоблачение ее порочной жизни.

² Имеется в виду сентиментально-нравоучительный роман французского писателя Дюкре-Дюмениля (1761—1819).

бострастием, ни земными поклонами; но с подчиненными обходилась ласково и кротко, ни одного нищего не пропускала без подачки и никогда никого не осуждала, хотя и сплетничала подчас. В молодости она была очень миловидна, играла на клавикордах и изъяснялась немного по-французски; но в течение многолетних странствий с своим мужем, за которого она вышла против воли, расплылась и позабыла музыку и французский язык. Сына своего она любила и боялась несказанно; управление имением предоставила Василию Ивановичу — и уже не входила ни во что: она охала, отмахивалась платком и от испуга подымала брови все выше и выше, как только ее старик начинал толковать о предстоявших преобразованиях и о своих планах. Она была мнительна, постоянно ждала какого-то большого несчастья и тотчас плакала, как только вспоминала о чем-нибудь печальном... Подобные женщины теперь уже переводятся. Бог знает — следует ли радоваться этому!

XXI

Встав с постели, Аркадий раскрыл окно — и первый предмет, бросившийся ему в глаза, был Василий Иванович. В бухарском шлафроке, подпоясанный носовым платком, старик усердно рылся в огороде. Он заметил своего молодого гостя и, опершись на лопатку, воскликнул:

— Здравия желаем! Как почивать изволили?

— Прекрасно,—• отвечал Аркадий.

— А я здесь, как видите, как некий Цинциннат, грядку под позднюю репу отбиваю. Теперь настало такое время,— да и слава Богу! — что каждый должен собственными руками пропитание себе доставать, на других нечего надеяться: надо трудиться самому. И выходит, что Жан-Жак Руссо прав. Полчаса тому назад, сударь вы мой, вы бы увидали меня в совершенно другой позиции. Одной бабе, которая жаловалась на гнетку — это поихнему, а по-нашему — дизентерию, я... как бы выразиться лучше... я вливал опиум; а другой я зуб вырвал. Этой я предложил эфиризацию... только она не согласилась. Все это я делаю *gratis* — *анаматёр*¹. Впрочем, мне не в диво: но я ведь плебей, *homo novus*² — не из столбовых, не то, что моя благоверная... А не угодно ли пожаловать сюда, в тень, вдохнуть перед чаем утреннюю свежесть?

Аркадий вышел к нему.

— Добро пожаловать еще раз! — промолвил Василий Иванович, прикладывая по-военному руку к засаленной ермолке, прикрывавшей его голову.— Вы, я знаю, привыкли к роскоши,

¹ даром (*лат.*), по-любительски (*en amateur* — *фр.*)-

² новый человек (*лат.*).

к удовольствиям, но и великие мира сего не гнушаются провести короткое время под кровом хижины.

— Помилуйте,— возопил Аркадий,— какой же я великий мира сего? И к роскоши я не привык.

— Позвольте, позвольте,— возразил с любезной ужимкой Василий Иванович.— Я хоть теперь и сдан в архив, а тоже потерся в свете — узнаю птицу по полету. Я тоже психолог по своему и физиогномист. Не имей я этого, смею сказать, дара — давно бы я пропал; затерли бы меня, маленького человека. Скажу вам без комплиментов: дружба, которую я замечаю между вами и моим сыном, меня искренно радует. Я сейчас виделся с ним; он, по обыкновению своему, вероятно вам известному, вскочил очень рано и побежал по окрестностям. Позвольте полюбопытствовать,— вы давно с моим Евгением знакомы?

— С нынешней зимы.

— Так-с. И позвольте вас еще спросить,— но не присесть ли нам? — Позвольте вас спросить, как отцу, со всею откровенностью: какого вы мнения о моем Евгении?

— Ваш сын — один из самых замечательных людей, с которыми я когда-либо встречался,— с живостью ответил Аркадий.

Глаза Василия Ивановича внезапно раскрылись, и щеки его слабо вспыхнули. Лопата вывалилась из его рук.

— Итак, вы полагаете,— начал он...

— Я уверен,— подхватил Аркадий,— что сына вашего ждет великая будущность, что он прославит ваше имя. Я убедился в этом с первой нашей встречи.

— Как... как это было? — едва проговорил Василий Иванович. Восторженная улыбка раздвинула его широкие губы и уже не сходила с них.

— Вы хотите знать, как мы встретились?

— Да... и вообще...

Аркадий начал рассказывать и говорить о Базарове еще с большим жаром, с большим увлечением, чем в тот вечер, когда он танцевал мазурку с Одинцовой.

Василий Иванович его слушал, слушал, сморкался, катал платок в обеих руках, кашлял, ерошил свои волосы — и, наконец, не вытерпел: нагнулся к Аркадию и поцеловал его в плечо.

— Вы меня совершенно осчастливили,— промолвил он, не переставая улыбаться,— я должен вам сказать, что я... боготворю моего сына; о моей старухе я уже не говорю: известно — мать! но я не смею при нем выказывать свои чувства, потому что он этого не любит. Он враг всех излишних; многие его даже осуждают за такую твердость его нрава и видят в ней признак гордости или бесчувствия; но подобных ему людей не приходится мерить обыкновенным аршином, не правда ли? Да вот, например: другой на его месте тянул бы да тянул с своих родителей; а у нас, поверите ли? он отроду лишней копейки не взял, ей-богу!

— Он бескорыстный, честный человек,— заметил Аркадий.

— Именно бескорыстный. А я, Аркадий Николаич, не только боготворю его, я горжусь им, и все мое честолюбие состоит в том, чтобы со временем в его биографии стояли следующие слова: «Сын простого штаб-лекаря, который, однако, рано умел разгадать его и ничего не жалел для его воспитания...» — Голос старика прервался.

Аркадий стиснул ему руку.

— Как вы думаете,— спросил Василий Иванович после некоторого молчания,— ведь он не на медицинском поприще достигнет той известности, которую вы ему пророчите?

— Разумеется, не на медицинском, хотя он и в этом отношении будет из первых ученых.

— На каком же, Аркадий Николаич?

— Это трудно сказать теперь, но он будет знаменит.

— Он будет знаменит! — повторил старик и погрузился в думу.

— Арина Власьевна приказали просить чай кушать,— проговорила Анфисушка, проходя мимо с огромным блюдом спелой малины.

Василий Иванович встрепенулся.

— А холодные сливки к малине будут?

— Будут-с.

— Да холодные, смотри! Не церемоньтесь, Аркадий Николаич, берите больше. Что ж это Евгений не идет?

— Я здесь,— раздался голос Базарова из Аркадиевой комнаты.

Василий Иванович быстро обернулся.

— Ага! ты захотел посетить своего приятеля; но ты опоздал, *amice*¹, и мы имели уже с ним продолжительную беседу. Теперь надо идти чай пить: мать зовет. Кстати, мне нужно с тобой поговорить.

— О чем?

— Здесь есть мужичок, он страдает иктером...

— То есть желтухой?

— Да, хроническим и очень упорным иктером. Я прописывал ему золототысячник и зверобой, морковь заставлял есть, давал соду; но это всё *паллиативные* средства; надо что-нибудь порешительней. Ты хоть и смеешься над медициной, а, я уверен, можешь подать мне дельный совет. Но об этом речь впереди. А теперь пойдем чай пить.

Василий Иванович живо вскочил с скамейки и запел из «Роберта»²:

Закон, закон, закон себе поставим

На ра... на ра... на радости пожить!

¹ дружище (*лат.*).

² Из оперы Джакомо Мейербера (1791 — 1864) «Роберт-Дьявол» (1831).

— Замечательная живучесть! — проговорил, отходя от окна, Базаров.

Настал полдень. Солнце жгло из-за тонкой завесы сплошных беловатых облаков. Все молчало, одни петухи задорно перекликались на деревне, возбуждая в каждом, кто их слышал, странное ощущение дремоты и скуки; да где-то высоко в верхушке деревьев звенел плаксивым призывом немолчный писк молодого ястребка. Аркадий и Базаров лежали в тени небольшого стога сена, подостлавши под себя охапки две шумливо-сухой, но еще зеленой и душистой травы.

— Та осина, — заговорил Базаров, — напоминает мне мое детство; она растет на краю ямы, оставшейся от кирпичного сарая, и я в то время был уверен, что эта яма и осина обладали особенным талисманом: я никогда не скучал возле них. Я не понимал тогда, что я не скучал оттого, что был ребенком. Ну, теперь я взрослый, талисман не действует.

— Сколько ты времени провел здесь всего? — спросил Аркадий.

— Года два сряду; потом мы наезжали. Мы вели бродячую жизнь; больше всё по городам шлялись.

— А дом этот давно стоит?

— Давно. Его еще дед построил, отец моей матери.

— Кто он был, твой дед?

— Чёрт его знает. Секунд-майор какой-то. При Суворове служил и все рассказывал о переходе через Альпы. Врал, должно быть.

— То-то у вас в гостиной портрет Суворова висит. А я люблю такие домики, как ваш, старенькие да тепленькие; и запах в них какой-то особенный.

— Лампадным маслом отзывает да донником, — произнес, зевая, Базаров. — А что мух в этих милых домиках... Фа!

— Скажи, — начал Аркадий после небольшого молчания, — тебя в детстве не притесняли?

— Ты видишь, какие у меня родители. Народ не строгий.

— Ты их любишь, Евгений?

— Люблю, Аркадий!

— Они тебя так любят!

Базаров помолчал.

— Знаешь ли ты, о чем я думаю? — промолвил он наконец, закидывая руки за голову.

— Не знаю. О чем?

— Я думаю: хорошо моим родителям жить на свете! Отец в шестьдесят лет хлопочет, толкует о «паллиативных» средствах, лечит людей, великодушничает с крестьянами — кутит, одним словом; и матери моей хорошо: день ее до того напичкан всякими занятиями, ахами да охами, что ей и опомниться некогда; а я...

— А ты?

— А я думаю: я вот лежу здесь под стогом... Узенькое мес-

течко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностью, где меня не было и не будет... А в этом атоме, в этой математической точке кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже... Что за безобразия! Что за пустяки!

— Позволь тебе заметить: то, что ты говоришь, применяется вообще ко всем людям...

— Ты прав,— подхватил Базаров.— Я хотел сказать, что они вот, мои родители то есть, заняты и не беспокоятся о собственном ничтожестве, оно им не смердит... а я... я чувствую только скуку да злость.

— Злость? почему же злость?

— Почему? Как почему? Да разве ты забыл?

— Я помню все, но все-таки я не признаю за тобою права злиться. Ты несчастлив, я согласен, но...

— Э! да ты, я вижу, Аркадий Николаевич, понимаешь любовь, как все новейшие молодые люди: цып, цып, цып, курочка, а как только курочка начинает приближаться, давай Бог ноги! Я не таков. Но довольно об этом. Чему помочь нельзя, о том и говорить стыдно.— Он повернулся на бок.— Эге! вон молодец муравей тащит полумертвую муху. Тащи ее, брат, тащи! Не смотри на то, что она упирается, пользуйся тем, что ты, в качестве животного, имеешь право не признавать чувства сострадания, не то что наш брат, самоломанный!

— Не ты бы говорил, Евгений! Когда ты себя ломал?

Базаров приподнял голову.

— Я только этим и горжусь. Сам себя не сломал, так и бабенка меня не ломает. Аминь! Кончено! Слова об этом больше от меня не услышишь.

Оба приятеля полежали некоторое время в молчании.

— Да,— начал Базаров,— странное существо человек. Как помотришь этак сбоку да издали на глухую жизнь, какую ведут здесь «отцы», кажется: чего лучше? Ешь, пей и знай, что поступаешь самым правильным, самым разумным манером. Ан нет; тоска одолеет. Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться с ними.

— Надо бы так устроить жизнь, чтобы каждое мгновение в ней было значительно,— произнес задумчиво Аркадий.

— Кто говорит! Значительное хоть и ложно бывает, да сладко, но и с незначительным помириться можно... а вот дразги, дразги... это беда.

— Дразги не существуют для человека, если он только не захочет их признать.

— Гм... это ты сказал *противоположное общее место*.

— Что? Что ты называешь этим именем?

— *к* вот что, сказать, например, что просвещение полезно, это общее место; а сказать, что просвещение вредно, это проти-

вположное общее место. Оно как будто щеголеватее, а в сущности одно и то же.

— Да правда-то где, на какой стороне?

— Где? Я тебе отвечу, как эхо: где?

— Ты в меланхолическом настроении сегодня, Евгений.

— В самом деле? Солнце меня, должно быть, распарило, да и малины нельзя так много есть.

— В таком случае не худо вздремнуть,— заметил Аркадий.

— Пожалуй; только ты не смотри на меня: всякого человека лицо глупо, когда он спит.

— А тебе не все равно, что о тебе думают?

— Не знаю, что тебе сказать. Настоящий человек об этом не должен заботиться; настоящий человек тот, о котором думать нечего, а которого надобно слушаться или ненавидеть.

— Странно! я никого не ненавижу,— промолвил, подумавши, Аркадий.

— А я так многих. Ты нежная душа, размазня, где тебе ненавидеть!.. Ты робеешь, мало на себя надеешься...

— А ты,— перебил Аркадий,— на себя надеешься? Ты высокого мнения о самом себе?

Базаров помолчал.

— Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною,— проговорил он с расстановкой,— тогда я изменю свое мнение о самом себе. Ненавидеть! Да вот, например, ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа,— она такая славная, белая,— вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать... А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет... да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?

— Полно, Евгений... послушать тебя сегодня, поневоле согласишься с теми, которые упрекают нас в отсутствии принципов.

— Ты говоришь, как твой дядя. Принципов вообще нет — ты об этом не догадался до сих пор! — а есть ощущения. Все от них зависит.

— Как так?

— Да так же. Например, я: я придерживаюсь отрицательного направления — в силу ощущения. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен — и basta! Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? — тоже в силу ощущения. Это всё едино. Глубже этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе этого не скажу.

— Что ж? и честность — ощущение?

— Еще бы!

— Евгений! — начал печальным голосом Аркадий.

— А? что? не по вкусу? — перебил Базаров. — Нет, брат! Ре-

шился всё косить — валяй и себя по ногам!.. Однако мы довольно философствовали. «Природа навевает молчание сна», — сказал Пушкин.

— Никогда он ничего подобного не сказал, — промолвил Аркадий.

— Ну, не сказал, так мог и должен был сказать, в качестве поэта. Кстати, он, должно быть, в военной службе служил.

— Пушкин никогда не был военным!

— Помилуй, у него на каждой странице: На бой, на бой! за честь России!¹

— Что ты это за небывлицы выдумываешь! Ведь это клевета, наконец.

— Клевета? Эка важность! Вот вздумал каким словом испугать! Какую клевету ни взведи на человека, он в сущности заслуживает в двадцать раз хуже того.

— Давай лучше спать! — с досадой проговорил Аркадий.

— С величайшим удовольствием, — ответил Базаров.

Но ни тому, ни другому не спалось. Какое-то почти враждебное чувство охватывало сердца обоих молодых людей. Минут пять спустя они открыли глаза и переглянулись молча.

— Посмотри, — сказал вдруг Аркадий, — сухой кленовый лист оторвался и падает на землю; его движения совершенно сходны с полетом бабочки. Не странно ли? Самое печальное и мертвое — сходно с самым веселым и живым.

— О друг мой, Аркадий Николаич! — воскликнул Базаров, — об одном прошу тебя: не говори красиво.

— Я говорю, как умею... Да и, наконец, это деспотизм. Мне пришла мысль в голову; отчего ее не высказать?

— Так; но почему же и мне не высказать своей мысли? Я нахожу, что говорить красиво — неприлично.

— Что же прилично? Ругаться?

— Э-э! да ты, я вижу, точно намерен пойти по стопам дядюшки. Как бы этот идиот порадовался, если б услышал тебя!

— Как ты назвал Павла Петровича?

— Я его назвал, как следует, — идиотом.

— Это, однако, нестерпимо! — воскликнул Аркадий.

— Ага! родственное чувство заговорило, — спокойно промолвил Базаров. — Я заметил: оно очень упорно держится в людях. От всего готов отказаться человек, со всяким предрассудком расстанется; но сознаться, что, например, брат, который чужие

¹ Здесь почти с буквальной точностью воспроизведена характеристика поэзии Пушкина, данная в 1861 году писателем-разночинцем Н. В. Успенским при его встрече с Тургеневым в Париже. В связи с этим Тургенев писал П. В. Анненкову: «На днях здесь проехал человеконенавидец Успенский (Николай) и обедал у меня. И он счел долгом бранить Пушкина, уверяя, что Пушкин во всех своих стихотворениях только и делал, что кричал: «На бой, на бой за святую Русь!»

платки крадет, вор,— это свыше его сил. Да и в самом деле: *мой брат, мой* — и не гений... возможно ли это?

— Во мне простое чувство справедливости заговорило, а все не родственное,— возразил запальчиво Аркадий.— Но так как ты этого чувства не понимаешь, у тебя нет этого *ощущения*, то ты и не можешь судить о нем.

— Другими словами: Аркадий Кирсанов слишком возвышен для моего понимания,— преклоняюсь и умолкаю.

— Полно, пожалуйста, Евгений; мы, наконец, поссоримся.

— Ах, Аркадий! сделай одолжение, поссоримся раз хорошенько — до положения риз, до истребления.

— Но ведь этак, пожалуй, мы кончим тем...

— Что подеремся? — подхватил Базаров.— Что ж? Здесь, на сене, в такой идиллической обстановке, вдали от света и людских взоров — ничего. Но ты со мной не сладишь. Я тебя сейчас схвачу за горло...

Базаров растопырил свои длинные и жесткие пальцы... Аркадий повернулся и приготовился, как бы шутя, сопротивляться... Но лицо его друга показалось ему таким зловещим, такая нештучная угроза почудилась ему в кривой усмешке его губ, в загоревшихся глазах, что он почувствовал невольную робость...

— А! вот вы куда забрались! — раздался в это мгновение голос Василия Ивановича, и старый штаб-лекарь предстал перед молодыми людьми, облеченный в доделанный полотняный пиджак и с соломенной, тоже доделанной, шляпой на голове.— Я вас искал, искал... Но вы отлично выбрали место и прекрасному предаетесь занятию. Лежа на «земле», глядеть в «небо»... Знаете ли — в этом есть какое-то особое значение!

— Я гляжу в небо только тогда, когда хочу чихнуть,— проворчал Базаров и, обратившись к Аркадию, прибавил вполголоса: — Жаль, что помешал.

— Ну, полно,— шепнул Аркадий и пожал украдкой своему другу руку. Но никакая дружба долго не выдержит таких столкновений.

— Смотрю я на вас, мои юные собеседники,— говорил между тем Василий Иванович, покачивая головой и опираясь скрещенными руками на какую-то хитро перекрученную палку собственного изделия, с фигурой турка вместо набалдашника,— смотрю и не могу не любоваться. Сколько в вас силы, молодости самой цветущей, способностей, талантов! Просто... Кастор и Поллукс!

— Вон куда — в мифологию метнул! — промолвил Базаров.— Сейчас видно, что в свое время сильный был латинист! Ведь ты, помнится, серебряной медали за сочинение удостоился, а?

— Диоскуры, Диоскуры! — повторял Василий Иванович.

¹ *Кастор и Поллукс* (они же Диоскуры)—мифологические герои-близнецы, сыновья Зевса и Леды. Здесь в смысле: неразлучные друзья.

— Однако полно, отец, не нежничай.

— В кои-то веки разик можно,— пробормотал старик.— Впрочем, я вас, господа, отыскал не с тем, чтобы говорить вам комплименты; но с тем, чтобы, во-первых, доложить вам, что мы скоро обедать будем; а во-вторых, мне хотелось предварить тебя, Евгений... Ты умный человек, ты знаешь людей, и женщин знаешь, и, следовательно, извинишь... Твоя матушка молебен отслужить хотела по случаю твоего приезда. Ты не воображай, что я зову тебя присутствовать на этом молебне: уж он кончен; но отец Алексей...

— Поп?

— Ну да, священник; он у нас... кушать будет... Я этого не ожидал и даже не советовал... но как-то так вышло... он меня не понял... Ну, и Арина Власьевна... Притом же он у нас очень хороший и рассудительный человек.

— Ведь он моей порции за обедом не съест? — спросил Базаров.

Василий Иванович засмеялся.

— Помилуй, что ты!

— А больше я ничего не требую. Я со всяким человеком готов за стол сесть.

Василий Иванович поправил свою шляпу.

— Я был наперед уверен,— промолвил он,— что ты выше всяких предрассудков. На что вот я — старик, шестьдесят второй год живу, а и я их не имею. (Василий Иванович не смел соznаться, что он сам пожелал молебна... Набожен он был не менее своей жены.) А отцу Алексею очень хотелось с тобой познакомиться. Он тебе понравится, ты увидишь. Он и в карточки не прочь поиграть, и даже... но это между нами... трубочку курит.

— Что же? Мы после обеда засядем в ералаш, и я его обыграю.

— Хе-хе-хе, посмотрим! Бабушка надвое сказала.

— А что? разве стариной тряхнешь? — промолвил с особенным ударением Базаров.

Бронзовые щеки Василия Ивановича смутно покраснели.

— Как тебе не стыдно, Евгений... Что было, то прошло. Ну да, я готов вот перед *ними* признаться, имел я эту страсть в молодости — точно; да и поплатился же я за нее! Однако, как жарко. Позвольте подсесть к вам. Ведь я не мешаю?

— Нисколько,— ответил Аркадий.

Василий Иванович кряхтя опустил на сено.

— Напоминает мне ваше теперешнее ложе, государи мои,— начал он,— мою военную, бивуачную жизнь, перевязочные пункты, тоже где-нибудь этак возле стога, и то еще слава Богу.— Он вздохнул.— Много, много испытал я на своем веку. Вот, например, если позволите, я вам расскажу любопытный эпизод чумы в Бессарабии.

— За который ты получил Владимира? — подхватил Ба-

заров. — Знаем, знаем... Кстати, отчего ты его не носишь?

— Ведь я тебе говорил, что я не имею предрассудков,— пробормотал Василий Иванович (он только накануне велел спороть красную ленточку с сюртука) и принялся рассказывать эпизод чумы.— А ведь он заснул,— шепнул он вдруг Аркадию, указывая на Базарова и добродушно подмигнув.— Евгений! вставай! — прибавил он громко: — Пойдем обедать...

Отец Алексей, мужчина видный и полный, с густыми, тщательно расчесанными волосами, с вышитым поясом на лиловой шелковой рясе, оказался человеком очень ловким и находчивым. Он первый поспешил пожать руку Аркадию и Базарову, как бы понимая заранее, что они не нуждаются в его благословении, и вообще держал себя непринужденно. И себя он не выдал и других не задел; кстати посмеялся над семинарскою латынью и заступился за своего архиерея; две рюмки вина выпил, а от третьей отказался; принял от Аркадия сигару, но курить ее не стал, говоря, что повезет ее домой. Не совсем приятно было в нем только то, что он то и дело медленно и осторожно заносил руку, чтобы ловить мух у себя на лице, и при этом иногда давил их. Он сел за зеленый стол с умеренным изъяснением удовольствия и кончил тем, что обыграл Базарова на два рубля пятьдесят копеек ассигнациями: в доме Арины Власьевны и понятия не имели о счете на серебро... Она по-прежнему сидела возле сына (в карты она не играла), по-прежнему подпирая щеку кулачком, и вставала только затем, чтобы велеть подать какое-нибудь новое яство. Она боялась ласкать Базарова, и он не ободрял ее, не вызывал ее на ласки; притом же и Василий Иванович присоветовал ей не очень его «беспокоить». «Молодые люди до этого не охотники»,— твердил он ей (нечего говорить, каков был в тот день обед: Тимофеич собственною персоной скакал на утренней заре за какую-то особенную черкасскую говядиной; староста ездил в другую сторону за налимками, ершами и раками; за одни грибы бабы получили сорок две копейки медью); но глаза Арины Власьевны, неотступно обращенные на Базарова, выражали не одну преданность и нежность: в них виднелась и грусть, смешанная с любопытством и страхом, виднелся какой-то смиренный укор.

Впрочем, Базарову было не до того, чтобы разбирать, что именно выражали глаза его матери; он редко обращался к ней, и то с коротеньким вопросом. Раз он попросил у ней руку «на счастье»; она тихонько положила свою мягкую ручку на его жесткую и широкую ладонь.

— Что,— спросила она, погода немного,— не помогло?

— Еще хуже пошло,— отвечал он с небрежною усмешкой.

— Очинно они уже рискуют,— как бы с сожалением произнес отец Алексей и погладил свою красивую бороду.

— Наполеоновское правило, батюшка, наполеоновское,— подхватил Василий Иванович и пошел с туза.

— Оно же и довело его до острова Святыя Елены,— промолвил отец Алексей и покрыл его туза козырем.

— Не желаешь ли смородиновой воды, Енюшечка? — спросила Арина Власьевна.

Базаров только плечами пожал.

— Нет! — говорил он на следующий день Аркадию,— уеду отсюда завтра. Скучно; работать хочется, а здесь нельзя. Отправлюсь опять к вам в деревню; я же там все свои препараты оставил. У вас по крайней мере запереться можно. А то здесь отец мне твердит: «Мой кабинет к твоим услугам — никто тебе мешать не будет»; а сам от меня ни на шаг. Да и совестно как-то от него запираяться. Ну и мать тоже. Я слышу, как она вздыхает за стеной, а выйдешь к ней — и сказать ей нечего.

— Очень она огорчится,— промолвил Аркадий,— да и он тоже.

— Як ним еще вернусь.

— Когда?

— Да вот как в Петербург поеду.

— Мне твою мать особенно жалко.

— Что так? Ягодами, что ли, она тебе угодила?

Аркадий опустил глаза.

— Ты матери своей не знаешь, Евгений. Она не только отличная женщина, она очень умна, право. Сегодня утром она со мной с полчаса беседовала, и так дельно, интересно.

— Верно, обо мне все распространялась?

— Не о тебе одном была речь.

— Может быть; тебе со стороны видней. Коли может женщина получасовую беседу поддержать, это уже знак хороший. А я все-таки уеду.

— Тебе нелегко будет сообщить им это известие. Они всё рассуждают о том, что мы через две недели делать будем.

— Нелегко. Черт меня дернул сегодня подразнить отца; он на днях велел высечь одного своего оброчного мужика — и очень хорошо сделал; да, да, не гляди на меня с таким ужасом — очень хорошо сделал, потому что вор и пьяница он страшнейший; только отец никак не ожидал, что я об этом, как говорится, известен стал. Он очень сконфузился, а теперь мне придется вдобавок его огорчить... Ничего! До свадьбы заживет.

Базаров сказал: «Ничего!» — но целый день прошел, прежде чем он решился уведомить Василия Ивановича о своем намерении. Наконец, уже прощаясь с ним в кабинете, он проговорил с натянутым зевком:

— Да... чуть было не забыл тебе сказать... Велика завтра наших лошадей к Федоту выслать на подставу.

Василий Иванович изумился.

— Разве господин Кирсанов от нас уезжает?

— Да; и я с ним уезжаю.

Василий Иванович перевернулся на месте.

— Ты уезжаешь?

— Да... мне нужно. Распорядись, пожалуйста, насчет лошадей.

— Хорошо...— залепетал старик,— на подставу... хорошо... только... только... Как же это?

— Мне нужно съездить к нему на короткое время. Я потом опять сюда вернусь.

— Да! На короткое время... Хорошо.— Василий Иванович вынул платок и, сморкаясь, наклонился чуть не до земли.— Что ж? это... все будет. Я было думал, что ты у нас... подольше. Три дня... Это, это, после трех лет, маловало; маловато, Евгений!

— Да я ж тебе говорю, что я скоро вернусь. Мне необходимо.

— Необходимо... Что ж? Прежде всего надо долг исполнять... Так выслать лошадей? Хорошо. Мы, конечно, с Ариной этого не ожидали. Она вот цветов выпросила у соседки, хотела комнату тебе убрать. (Василий Иванович уже не упомянул о том, что каждое утро, чуть свет, стоя о босу ногу в туфлях, он совещался с Тимофеичем и, доставая дрожащими пальцами одну изорванную ассигнацию за другою, поручал ему разные закупки, особенно налегая на съестные припасы и на красное вино, которое, сколько можно было заметить, очень понравилось молодым людям.) Главное — свобода; это мое правило... не надо стесняться... не...

Он вдруг умолк и направился к двери.

— Мы скоро увидимся, отец, право.

Но Василий Иванович, не оборачиваясь, только рукой махнул и вышел. Возвратясь в спальню, он застал свою жену в постели и начал молиться шепотом, чтобы ее не разбудить. Однако она проснулась.

— Это ты, Василий Иваныч? — спросила она.

— Я, матушка!

— Ты от Енюши? Знаешь ли, я боюсь: покойно ли ему спать на диване? Я Анфисушке велела положить ему твой походный матрасик и новые подушки; я бы наш пуховик ему дала, да он, помнится, не любит мягко спать.

— Ничего, матушка, не беспокойся. Ему хорошо. Господи, помилуй нас грешных,— продолжал он вполголоса свою молитву. Василий Иванович пожалел свою старушку; он не захотел сказать ей на ночь, какое горе ее ожидало.

Базаров с Аркадием уехали на другой день. С утра уже все приуныло в доме; у Анфисушки посуда из рук валилась; даже Федька недоумевал и кончил тем, что снял сапоги. Василий Иванович суетился больше чем когда-либо: он видимо храбрился, громко говорил и стучал ногами, но лицо его осунулось, и взгляды постоянно скользили мимо сына. Арина Власьевна тихо плакала; она совсем бы растерялась и не совладела бы с собой, если бы муж рано утром целые два часа ее не уговаривал. Когда же Базаров, после неоднократных обещаний вернуться никак не

позже месяца, вырвался наконец из удерживавших его объятий и сел в тарантас; когда лошади тронулись, и колокольчик зазвенел, и колеса завертелись,— и вот уже глядеть вслед было незачем, и пыль улеглась, и Тимофеич, весь сгорбленный и шатаясь на ходу, поплелся назад в свою каморку; когда старички остались одни в своем, тоже как будто внезапно съжившемся и подряхлевшем доме,— Василий Иванович, еще за несколько мгновений молодцевато махавший платком на крыльце, опустил на стул и уронил голову на грудь. «Бросил, бросил нас,— залепетал он,— бросил; скучно ему стало с нами. Один как перст теперь, один!» — повторил он несколько раз и каждый раз выносил вперед свою руку с отделенным указательным пальцем. Тогда Арина Власьева приблизилась к нему и, прислонив свою седую голову к его седой голове, сказала: «Что делать, Вася! Сын — отрезанный ломоть. Он что сокол: захотел — прилетел, захотел — улетел; а мы с тобой, как опенки на дупле, сидим рядком и ни с места. Только я останусь для тебя навек неизменно, как и ты для меня».

Василий Иванович принял от лица руки и обнял свою жену, свою подругу, так крепко, как и в молодости ее не обнимал: она утешила его в его печали.

XXII

Молча, лишь изредка меняясь незначительными словами, доехали наши приятели до Федота. Базаров был не совсем собою доволен. Аркадий был недоволен им. К тому же он чувствовал на сердце ту беспричинную грусть, которая знакома только одним очень молодым людям. Кучер перепряг лошадей и, взобравшись на козлы, спросил: направо аль налево?

Аркадий дрогнул. Дорога направо вела в город, а оттуда домой; дорога налево вела к Одинцовой.

Он взглянул на Базарова.

— Евгений,— спросил он,— налево?

Базаров отвернулся.

— Это что за глупость? — пробормотал он.

— Я знаю, что глупость,— ответил Аркадий.— Да что за беда? Разве нам в первый раз?

Базаров надвинул картуз себе на лоб.

— Как знаешь,— проговорил он наконец.

— Пошел налево! — крикнул Аркадий.

Тарантас покотил в направлении к Никольскому. Но, решившись на *глупость*, приятели еще упорнее прежнего молчали и даже казались сердитыми.

Уже по тому, как их встретил дворецкий на крыльце одинцовского дома, приятели могли догадаться, что они поступили неблагоразумно, поддавшись внезапно пришедшей им фантазии. Их, очевидно, не ожидали. Они просидели довольно долго и с до-

вольно глупыми физиономиями в гостиной. Одинцова вышла к ним наконец. Она приветствовала их с обыкновенного своей любезностью, но удивилась их скорому возвращению и, сколько можно было судить по медлительности ее движений и речей, не слишком ему обрадовалась. Они поспешили объявить, что заехали только по дороге и часа через четыре отправятся дальше в город. Она ограничилась легким восклицанием, попросила Аркадия поклониться отцу от ее имени и послала за своею теткой. Княжна явилась вся заспанная, что придавало еще более злобы выражению ее сморщенного, старого лица. Кате нездоровилось, она не выходила из своей комнаты. Аркадий вдруг почувствовал, что он по крайней мере столько же желал видеть Катю, сколько и самое Анну Сергеевну. Четыре часа прошло в незначительных толках о том о сем; Анна Сергеевна и слушала и говорила без улыбки. Только при самом прощании прежнее дружелюбие как будто шевельнулось в ее душе.

— На меня теперь нашла хандра,— сказала она,— но вы не обращайтесь на это внимания и приезжайте опять, я вам это обоим говорю, через несколько времени.

И Базаров и Аркадий ответили ей безмолвным поклоном, сели в экипаж и, уже нигде не останавливаясь, отправились домой, в Марьино, куда и прибыли благополучно на следующий день вечером. В продолжение всей дороги ни тот, ни другой не упомянул даже имени Одинцовой; Базаров в особенности почти не раскрывал рта и все глядел в сторону, прочь от дороги, с каким-то ожесточенным напряжением.

В Марьине им все чрезвычайно обрадовались. Продолжительное отсутствие сына начинало беспокоить Николая Петровича; он вскрикнул, заболтал ногами и подпрыгнул на диване, когда Фенечка вбежала к нему с сияющими глазами и объявила о приезде «молодых господ»; сам Павел Петрович почувствовал некоторое приятное волнение и снисходительно улыбался, потрясая руки возвратившихся странников. Пошли толки, расспросы; говорил больше Аркадий, особенно за ужином, который продолжался далеко за полночь. Николай Петрович велел подать несколько бутылок портера, только что привезенного из Москвы, и сам раскутился до того, что щеки у него сделались малиновые и он все смеялся каким-то не то детским, не то нервическим смехом. Всеобщее одушевление распространилось и на прислугу. Дуняша бегала взад и вперед как угорелая и то и дело хлопала дверями; а Петр даже в третьем часу ночи все еще пытался сыграть на гитаре вальс-казак. Струны жалобно и приятно звучали в неподвижном воздухе, но, за исключением небольшой первоначальной фиоритуры, ничего не выходило у образованного камердинера: природа отказала ему в музыкальной способности, как и во всех других.

А между тем жизнь не слишком красиво складывалась в Марьине, и бедному Николаю Петровичу приходилось плохо.

Хлопоты по ферме росли с каждым днем — хлопоты безотрадные, бестолковые. Возня с наемными работниками становилась невыносимой. Одни требовали расчета или прибавки, другие уходили, забравши задаток; лошади заболели; сбруя горела как на огне; работы исполнялись небрежно; выписанная из Москвы молотильная машина оказалась негодной по своей тяжести; другую с первого разу испортили; половина скотного двора стогрела, оттого что слепая старуха из дворовых в ветреную погоду пошла с головешкой окуривать свою корову... правда, по уверению той же старухи, вся беда произошла оттого, что барину вздумалось заводить какие-то небывалые сыры и молочные скопы. Управляющий вдруг обленился и даже начал толстеть, как толстеет всякий русский человек, попавший на «вольные хлеба». Завидя издали Николая Петровича, он, чтобы заявить свое рвение, бросал щепкой в пробегавшего мимо поросенка или грозился полунагому мальчишке, а впрочем, больше все спал. Посаженные на оброк мужики не вносили денег в срок, крали лес; почти каждую ночь сторожа ловили, а иногда с бою забирали крестьянских лошадей на лугах «фермы». Николай Петрович определил было денежный штраф за потраву, но дело обыкновенно кончалось тем, что, постояв день или два на господском корме, лошади возвращались к своим владельцам. К довершению всего, мужики начали между собою ссориться: братья требовали раздела, жены их не могли ужиться в одном доме; внезапно закипала драка, и все вдруг поднималось на ноги, как по команде, все сбегалось перед крыльцо конторы, лезло к барину, часто с избитыми рожами, в пьяном виде, и требовало суда и расправы; возникал шум, вопль, бабий хныкающий визг вперемежку с мужскою бранью. Нужно было разбирать враждующие стороны, кричать самому до хрипоты, зная наперед, что к правильному решению все-таки прийти невозможно. Не хватало рук для жатвы: соседний однодворец, с самым благообразным лицом, порядился доставить жнецов по два рубля с десятины и надул самым бессовестным образом; свои бабы заламывали цены неслыханные, а хлеб между тем осыпался, а тут с косьюбой не совладели, а тут Опекунский совет грозитя и требует немедленной и безнедоимочной уплаты процентов...

— Сил моих нет! — не раз с отчаянием восклицал Николай Петрович. — Самому драться невозможно, посылать за станковым — не позволяют принципы, а без страха наказания ничего не поделаешь!

— *Du calme, du calme!*, — замечал на это Павел Петрович, а сам мурлыкал, хмурился и подергивал усы.

Базаров держался в отдалении от этих «дрязгов», да ему, как гостю, не приходилось и вмешиваться в чужие дела. На другой день после приезда в Марьино он принялся за своих лягушек, за

Спокойно, спокойно (*фр.*).

инфузории, за химические составы и все возился с ними. Аркадий, напротив, почел своею обязанностью если не помогать отцу, то по крайней мере показать вид, что он готов ему помочь. Он терпеливо его выслушивал и однажды подал какой-то совет не для того, чтобы ему последовали, а чтобы заявить свое участие. Хозяйничанье не возбуждало в нем отвращения: он даже с удовольствием мечтал об агрономической деятельности, но у него в ту пору другие мысли зароились в голове. Аркадий, к собственному изумлению, беспрестанно думал о Никольском; прежде он бы только плечами пожал, если бы кто-нибудь сказал ему, что он может соскучиться под одним кровом с Базаровым, и еще под каким! — под родительским кровом, а ему точно было скучно, и тянуло его вон. Он вздумал гулять до усталости, но и это не помогло. Разговаривая однажды с отцом, он узнал, что у Николая Петровича находилось несколько писем, довольно интересных, писанных некогда матерью Одинцовой к покойной его жене, и не отстал от него до тех пор, пока не получил этих писем, за которыми Николай Петрович принужден был рыться в двадцати различных ящиках и сундуках. Вступив в обладание этими полуистлевшими бумажками, Аркадий как будто успокоился, точно он увидел перед собою цель, к которой ему следовало идти. «Я вам это обоим говорю,— беспрестанно шептал он,— сама прибавила. Поеду, поеду, черт возьми!» Но он вспоминал последнее посещение, холодный прием и прежнюю неловкость, и робость овладевала им. «Авось» молодости, тайное желание изведать свое счастье, испытать свои силы в одиночку, без чего бы то ни было покровительства — одолели наконец. Десяти дней не прошло со времени его возвращения в Марьино, как уже он опять, под предлогом изучения механизма воскресных школ, скакал в город, аготтуда в Никольское. Бесперывно погоняя ямщика, несся он туда, как молодой офицер на сражение: и страшно ему было, и весело, нетерпение его душило. «Главное — не надо думать»,— твердил он самому себе. Ямщик ему попался лихой; он останавливался перед каждым кабаком, приговаривая: «Чкнуть?» или: «Аль чкнуть?» — но зато, *икнувши*, не жалел лошадей. Вот, наконец, показалась высокая крыша знакомого дома... «Что я делаю? — мелькнуло вдруг в голове Аркадия.— Да ведь не вернуться же!» Тройка дружно мчалась; ямщик гикал и свистал. Вот уже мостик загредел под копытами и колесами, вот уже надвинулась аллея стриженных елок... Розовое женское платье мелькнуло в темной зелени, молодое лицо выглянуло из-под легкой бахромы зонтика... Он узнал Катю, и она его узнала. Аркадий приказал ямщику остановить рассказавшихся лошадей, выпрыгнул из экипажа и подошел к ней. «Это вы! — промолвила она, и понемножку вся покраснела,— пойдете к сестре, она тут, в саду: ей будет приятно вас видеть».

Катя повела Аркадия в сад. Встреча с нею показалась ему особенно счастливым предзнаменованием; он обрадовался ей,

словно родной. Все так отлично устроилось: ни дворецкого, ни доклада. На повороте дорожки он увидел Анну Сергеевну. Она стояла к нему спиной. Услышав шаги, она тихонько обернулась.

Аркадий смутился было снова, но первые слова, ею произнесенные, успокоили его тотчас. «Здравствуйте, беглец!» — проговорила она своим ровным, ласковым голосом и пошла к нему навстречу, улыбаясь и шурясь от солнца и ветра: «Где ты его нашла, Катя?»

— Я вам, Анна Сергеевна,— начал он,— привез нечто такое, чего вы никак не ожидаете...

— Вы себя привезли; это лучше всего.

XXIII

Проводив Аркадия с насмешливым сожалением и дав ему понять, что он нисколько не обманывается насчет настоящей цели его поездки, Базаров уединился окончательно: на него нашла лихорадка работы. С Павлом Петровичем он уже не спорил, тем более что тот в его присутствии принимал чересчур аристократический вид и выражал свои мнения более звуками, чем словами. Только однажды Павел Петрович пустился было в состязание с *нигилистом* по поводу модного в то время вопроса о правах остзейских дворян, но сам вдруг остановился, промолвив с холодной вежливостью:

— Впрочем, мы друг друга понять не можем, я по крайней мере не имею чести вас понимать.

— Еще бы! — воскликнул Базаров.— Человек все в состоянии понять — и как трепещет эфир и что на солнце происходит; а как другой человек может иначе сморкаться, чем он сам сморкается, этого он понять не в состоянии.

— Что, это остроумно? — проговорил вопросительно Павел Петрович и отошел в сторону.

Впрочем, он иногда просил позволения присутствовать при опытах Базарова, а раз даже приблизил свое раздушенное и вымытое отличным снадобьем лицо к микроскопу, для того чтобы посмотреть, как прозрачная инфузория глотала зеленую пылинку и хлопотливо пережевывала ее какими-то очень проворными кулачками, находившимися у ней в горле. Гораздо чаще своего брата посещал Базарова Николай Петрович; он бы каждый день приходил, как он выражался, «учиться», если бы хлопоты по хозяйству не отвлекали его. Он не стеснял молодого естествоиспытателя: садился где-нибудь в уголок комнаты и глядел внимательно, изредка позволяя себе осторожный вопрос. Во время обедов и ужинов он старался направлять речь на физику, геологию или химию, так как все другие предметы, даже хозяйственные, не говоря уже о политических, могли повести если не к столкновениям, то ко взаимному неудовольствию. Николай Петрович догадывался, что ненависть его брата к Базарову нисколько не

уменьшилась. Неважный случай, между многими другими, подтвердил его догадки. Холера стала появляться кое-где по окрестностям и даже «выдернула» двух людей из самого Марьяна. Ночью с Павлом Петровичем случился довольно сильный припадок. Он промучился до утра, но не прибег к искусству Базарова и, увидевшись с ним на следующий день, на его вопрос: «Зачем он не послал за ним?» — отвечал, весь еще бледный, но уже тщательно расчесанный и выбритый: «Ведь вы, помнится, сами говорили, что не верите в медицину?» — Так проходили дни. Базаров работал упорно и угрюмо... А между тем в доме Николая Петровича находилось существо, с которым он не то чтобы отводил душу, а охотно беседовал... Это существо была Фенечка.

Он встречался с ней большею частью по утрам рано, в саду или на дворе; в комнату к ней он не заходил, и она всего раз подошла к его двери, чтобы спросить его — купать ли ей Митю, или нет? Она не только доверялась ему, не только его не боялась, она при нем держалась вольнее и развязнее, чем при самом Николае Петровиче. Трудно сказать, отчего это происходило; может быть, оттого, что она бессознательно чувствовала в Базарове отсутствие всего дворянского, всего того высшего, что и привлекает и пугает. В ее глазах он и доктор был отличный и человек простой. Не стесняясь его присутствием, она возилась с своим ребенком, и однажды, когда у ней вдруг закружилась и заболела голова, из его рук приняла ложку лекарства. При Николае Петровиче она как будто чуждалась Базарова: она это делала не из хитрости, а из какого-то чувства приличия. Павла Петровича она боялась больше, чем когда-либо; он с некоторых пор стал наблюдать за нею и неожиданно появлялся, словно из земли вырастал за ее спиной в своем *сьюте*, с неподвижным зорким лицом и руками в карманах. «Так тебя холодом и обдаст», — жаловалась Фенечка Дуняше, а та в ответ ей вздыхала и думала о другом «бесчувственном» человеке. Базаров, сам того не подозревая, сделался *жестоким тираном* ее души.

Фенечке нравился Базаров; но и она ему нравилась. Даже лицо его изменялось, когда он с ней разговаривал: оно принимало выражение ясное, почти доброе, и к обычной его небрежности примешивалась какая-то шутливая внимательность. Фенечка хорошела с каждым днем. Бывает эпоха в жизни молодых женщин, когда они вдруг начинают расцветать и распускаться, как летние розы; такая эпоха наступила для Фенечки. Все к тому способствовало, даже июльский зной, который стоял тогда. Одетая в легкое белое платье, она сама казалась белее и легче: загар не приставал к ней, а жара, от которой она не могла уберечься, слегка румянила ее щеки да уши и, вливая тихую лень во все ее тело, отражалась дремотною томностью в ее хорошеньких глазках. Она почти не могла работать; руки у ней так и скользили на колени. Она едва ходила и все охала да жаловалась с забавным бессилием.

— Ты бы чаще купалась,— говорил ей Николай Петрович. Он устроил большую, полотном покрытую, купальню в том из своих прудов, который еще не совсем ушел.

— Ох, Николай Петрович! Да пока до пруда дойдешь — умрешь, и назад пойдешь — умрешь. Ведь тени-то в саду нет.

— Это точно, что тени нету,— отвечал Николай Петрович и потирал себе брови.

Однажды, часу в седьмом утра, Базаров, возвращаясь с прогулки, застал в давно отцветшей, но еще густой и зеленой сиреневой беседке Фенечку. Она сидела на скамейке, накинув по обыкновению белый платок на голову; подле нее лежал целый пук еще мокрых от росы красных и белых роз. Он поздоровался с нею.

— А! Евгений Васильич! — проговорила она и приподняла немного край платка, чтобы взглянуть на него, причем ее рука обнажилась до локтя.

— Что вы это тут делаете? — промолвил Базаров, садясь возле нее.— Букет вяжете?

— Да; на стол к завтраку. Николай Петрович это любит.

— Но до завтрака еще далеко. Экая пропасть цветов!

— Я их теперь нарвала, а то станет жарко и выйти нельзя. Только теперь и дышишь. Совсем я расслабела от этого жару. Уж я боюсь, не заболею ли я?

— Это что за фантазия! Дайте-ка ваш пульс пощупать.— Базаров взял ее руку, отыскал ровно бившуюся жилку и даже не стал считать ее ударов.— Сто лет проживете,— промолвил он, выпуская ее руку.

— Ах, сохрани Бог! — воскликнула она.

— А что? Разве вам не хочется долго пожить?

— Да ведь сто лет! У нас бабушка была восьмидесяти пяти лет — так уж что же это была за мученица! Черная, глухая, горбатая, все кашляла; себе только в тягость. Какая уж это жизнь!

— Так лучше быть молодую?

— А то как же?

— Да чем же оно лучше? Скажите мне!

— Как чем? Да вот я теперь, молодая, все могу сделать — и пойду, и приду, и принесу, и никого мне просить не нужно... Чего лучше?

— А вот мне все равно: молод ли я или стар.

— Как это вы говорите — все равно? это невозможно, что вы говорите.

— Да вы сами посудите, Федосья Николаевна, на что мне моя молодость? Живу я один, бобылем...

— Это от вас всегда зависит.

— То-то что не от меня! Хоть бы кто-нибудь надо мною сжался.

Фенечка сбоку посмотрела на Базарова, но ничего не сказала.

— Это что у вас за книга? — спросила она, погода немного.
— Это-то? Это ученая книга, мудреная.
— А вы все учитесь? И не скучно вам? Вы уж так, я чай, все знаете.

— Видно, не все. Попробуйте-ка вы прочесть немного.

— Да я ничего тут не пойму. Она у вас русская? — спросила Фенечка, принимая в обе руки тяжело переплетенный том. — Какая толстая!

— Русская.

— Все равно я ничего не пойму.

— Да я и не с тем, чтобы вы поняли. Мне хочется посмотреть на вас, как вы читать будете. У вас, когда вы читаете, кончик носа очень мило двигается.

Фенечка, которая принялась было разбирать вполголоса попавшуюся ей статью «о креозоте», засмеялась и бросила книгу... она скользнула со скамейки на землю.

— Я люблю тоже, когда вы смеетесь, — промолвил Базаров.

— Полноте!

— Я люблю, когда вы говорите. Точно ручеек журчит.

Фенечка отворотила голову.

— Какой вы! — промолвила она, перебирая пальцами по цветам. — И что вам меня слушать? Вы с такими умными дамами разговор имели.

— Эх, Федосья Николаевна! поверьте мне: все умные дамы на свете не стоят вашего локотка.

— Ну, вот еще что выдумали! — шепнула Фенечка и поджала руки.

Базаров поднял с земли книгу.

— Это лекарская книга, зачем вы ее бросаете?

— Лекарская? — повторила Фенечка и повернулась к нему. — А знаете что? Ведь с тех пор, как вы мне те капельки дали, помните? уж как Митя спит хорошо! Я уж и не придумаю, как мне вас благодарить; такой вы добрый, право.

— А по-настоящему, надо лекарям платить, — заметил с усмешкой Базаров. — Лекари, вы сами знаете, люди корыстные.

Фенечка подняла на Базарова свои глаза, казавшиеся еще темнее от беловатого отблеска, падавшего на верхнюю часть ее лица. Она не знала — шутит ли он или нет.

— Если вам угодно, мы с удовольствием... Надо будет у Николая Петровича спросить...

— Да вы думаете, я денег хочу? — перебил ее Базаров. — Нет, мне от вас не деньги нужны.

— Что же? — проговорила Фенечка.

— Что? — повторил Базаров. — Угадайте.

— Что я за отгадчица!

— Так я вам скажу; мне нужно... одну из этих роз.

Фенечка опять засмеялась и даже руками всплеснула, до того ей показалось забавным желание Базарова. Она смеялась

и в то же время чувствовала себя польщенной. Базаров пристально смотрел на нее.

— Извольте, извольте,— промолвила она наконец и, нагнувшись к скамейке, принялась перебирать розы.— Какую вам, красную или белую?

— Красную, и не слишком большую.

Она выпрямилась.

— Вот, возьмите,— сказала она, но тотчас же отдернула протянутую руку и, закусив губы, глянула на вход беседки, потом приникла ухом.

— Что такое? — спросил Базаров.— Николай Петрович?

— Нет... Они в поле уехали... да я и не боюсь их... а вот Павел Петрович... Мне показалось...

— Что?

— Мне показалось, что *они* тут ходят. Нет... Никого нет. Возьмите.— Фенечка отдала Базарову розу.

— С какой стати вы Павла Петровича боитесь?

— Они меня всё пугают. Говорить — не говорят, а так смотрят мудрено. Да ведь и вы его не любите. Помните, прежде вы все с ним спорили. Я и не знаю, о чем у вас спор идет; а вижу, что вы его и так вертите, и так...

Фенечка показала руками как, по ее мнению, Базаров вертел Павла Петровича.

Базаров улыбнулся.

— А если б он меня побеждать стал,— спросил он,— вы бы за меня заступились?

— Где же мне за вас заступиться? да нет, с вами не сладишь.

— Вы думаете? А я знаю руку, которая захочет, и пальцем меня сшибет.

— Какая такая рука?

— А вы небось не знаете? Понюхайте, как славно пахнет роза, что вы мне дали.

Фенечка вытянула шейку и приблизила лицо к цветку... Платок скатился с ее головы на плеча; показалась мягкая масса черных, блестящих, слегка растрепанных волос.

— Пойдите, я хочу понюхать с вами,— промолвил Базаров, нагнулся и крепко поцеловал ее в раскрытые губы.

Она дрогнула, уперлась обеими руками в его грудь, но уперлась слабо, и он мог возобновить и продлить свой поцелуй.

Сухой кашель раздался за сиренями. Фенечка мгновенно отодвинулась на другой конец скамейки. Павел Петрович показался, слегка поклонился и, проговорив с какой-то злобно унылостью: «Вы здесь»,— удалился. Фенечка тотчас подобрала все розы и вышла вон из беседки. «Грешно вам, Евгений Васильевич»,— шепнула она уходя. Неподдельный упрек слышался в ее шепоте.

Базаров вспомнил другую недавнюю сцену, и совестно ему

стало, и презрительно досадно. Но он тотчас же встряхнул головой, иронически поздравил себя «с формальным поступлением в селадоны» и отправился к себе в комнату.

А Павел Петрович вышел из сада и, медленно шагая, добрался до леса. Он оставался там довольно долго, и, когда он вернулся к завтраку, Николай Петрович заботливо спросил у него, здоров ли он? до того лицо его потемнело.

— Ты знаешь, я иногда страдаю разлитием желчи,— спокойно отвечал ему Павел Петрович.

XXIV

Часа два спустя он стучался в дверь к Базарову.

— Я должен извиниться, что мешаю вам в ваших ученых занятиях,— начал он, усаживаясь на стуле у окна и опираясь обеими руками на красивую трость с набалдашником из слоновой кости (он обыкновенно хаживал без трости),— но я принужден просить вас уделить мне пять минут вашего времени... не более.

— Все мое время к вашим услугам,— ответил Базаров, у которого что-то пробежало по лицу, как только Павел Петрович переступил порог двери.

— С меня пяти минут довольно. Я пришел предложить вам один вопрос.

— Вопрос? О чем это?

— А вот извольте выслушать. В начале вашего пребывания в доме моего брата, когда я еще не отказывал себе в удовольствии беседовать с вами, мне случалось слышать ваши суждения о многих предметах; но, сколько мне помнится, ни между нами, ни в моем присутствии речь никогда не заходила о поединках, о дуэли вообще. Позвольте узнать, какое ваше мнение об этом предмете?

Базаров, который встал было навстречу Павлу Петровичу, присел на край стола и скрестил руки.

— Вот мое мнение,— сказал он.— С теоретической точки зрения дуэль — нелепость; ну а с практической точки зрения — это дело другое.

— То есть вы хотите сказать, если я только вас понял, что какое бы ни было ваше теоретическое воззрение на дуэль, на практике вы бы не позволили оскорбить себя, не потребовав удовлетворения?

— Вы вполне отгадали мою мысль.

— Очень хорошо-с. Мне очень приятно это слышать от вас. Ваши слова выводят меня из неизвестности...

— Из нерешимости, хотите вы сказать.

— Это все равно-с; я выражаюсь так, чтобы меня поняли; я... не семинарская крыса. Ваши слова избавляют меня от некоторой печальной необходимости. Я решил драться с вами.

Базаров вытаращил глаза.

— Со мной?

— Непременно с вами.
— Да за что? помилуйте.
— Я бы мог объяснить вам причину,— начал Павел Петрович.— Но я предпочитаю умолчать о ней. Вы, на мой вкус, здесь лишний; я вас терпеть не могу, я вас презираю, и если вам этого не довольно...

Глаза Павла Петровича засверкали... Они вспыхнули и у Базарова.

— Очень хорошо-с,— проговорил он.— Дальнейших объяснений не нужно. Вам пришла фантазия испытать на мне свой рыцарский дух. Я бы мог отказать вам в этом удовольствии, да уж куда ни шло!

— Чувствительно вам обязан,— ответил Павел Петрович,— и могу теперь надеяться, что вы примете мой вызов, не заставив меня прибегнуть к насильственным мерам.

— То есть, говоря без аллегорий, к этой палке? — хладнокровно заметил Базаров.— Это совершенно справедливо. Вам нисколько не нужно оскорблять меня. Оно же и не совсем безопасно. Вы можете остаться джентльменом... Принимаю ваш вызов тоже по-джентльменски.

— Прекрасно,— промолвил Павел Петрович и поставил трость в угол.— Мы сейчас скажем несколько слов об условиях нашей дуэли; но я сперва желал бы узнать, считаете ли вы нужным прибегнуть к формальности небольшой ссоры, которая могла бы служить предлогом моему вызову?

— Нет, лучше без формальностей.

— Я сам так думаю. Полагаю также неуместным вникать в настоящие причины нашего столкновения. Мы друг друга терпеть не можем. Чего же больше?

— Чего же больше? — повторил иронически Базаров.

— Что же касается до самых условий поединка, то так как у нас секундантов не будет,— ибо где ж их взять?

— Именно, где их взять?

— То я имею честь предложить вам следующее: драться завтра рано, положим, в шесть часов, за рошей, на pistolетах; барьер в десяти шагах...

— В десяти шагах? Это так; мы на это расстояние ненавидим друг друга.

— Можно и восемь,— заметил Павел Петрович.

— Можно; отчего же!

— Стрелять два раза; а на всякий случай каждому положить себе в карман письмоце, в котором он сам обвинит себя в своей кончине.

— Вот с этим я не совсем согласен,— промолвил Базаров.— Немножко на французский роман сбивается, неправдоподобно что-то.

— Быть может. Однако согласитесь, что неприятно подвергнуться подозрению в убийстве?

— Соглашаюсь. Но есть средство избежать этого грустного нареkania. Секундантов у нас не будет, но может быть свидетель.

— Кто именно, позвольте узнать?

— Да Петр.

— Какой Петр?

— Камердинер вашего брата. Он человек, стоящий на высоте современного образования, и исполнит свою роль со всем необходимым в подобных случаях *комильфо*.

— Мне кажется, вы шутите, милостивый государь.

— Нисколько. Обсудивши мое предложение, вы убедитесь, что оно исполнено здравого смысла и простоты. Шила в мешке не утаишь, а Петра я берусь подготовить надлежащим образом и привести на место побоища.

— Вы продолжаете шутить,— произнес, вставая со стула Павел Петрович.— Но после любезной готовности, оказанной вами, я не имею права быть на вас в претензии... Итак, все устроено... Кстати, пистолетов у вас нет?

— Откуда будут у меня пистолеты, Павел Петрович? Я не воин.

— В таком случае предлагаю вам мои. Вы можете быть уверены, что вот уже пять лет, как я не стрелял из них.

— Это очень утешительное известие.

Павел Петрович достал свою трость...

— Засим, милостивый государь, мне остается только благодарить вас и возратить вас вашим занятиям. Честь имею кланяться.

— До приятного свидания, милостивый государь мой,— промолвил Базаров, провожая гостя.

Павел Петрович вышел, а Базаров постоял перед дверью и вдруг воскликнул: «Фу-ты, черт! как красиво и как глупо! Экую мы комедию отломали! Ученые собаки так на задних лапках танцуют. А отказать было невозможно; ведь он меня, чего доброго, ударил бы, и тогда... (Базаров побледнел при одной этой мысли; вся его гордость так и поднялась на дыбы.) Тогда пришлось бы задушить его, как котенка». Он возвратился к своему микроскопу, но сердце у него расшевелилось, и спокойствие, необходимое для наблюдений, исчезло. «Он нас увидел сегодня,— думал он,— но неужели ж это он за брата так вступился? Да и что за важность поцелуй? Тут что-нибудь другое есть. Ба! да не влюблен ли он сам? Разумеется, влюблен; это ясно как день. Какой переплет, подумаешь!.. Скверно! — решил он наконец,— скверно, с какой стороны ни посмотри. Во-первых, надо будет подставлять лоб и во всяком случае уехать; а тут Аркадий... и эта божья коровка, Николай Петрович. Скверно, скверно».

День прошел как-то особенно тихо и вяло. Фенечки словно на свете не бывало; она сидела в своей комнатке, как мышонок

в норке. Николай Петрович имел вид озабоченный. Ему донесли, что в его пшенице, на которую он особенно надеялся, показалась головня. Павел Петрович подавлял всех, даже Прокофьича, своею леденящею вежливостью. Базаров начал было письмо к отцу, да разорвал его и бросил под стол. «Умру,— подумал он,— узнают; да я не умру. Нет, я еще долго на свете маячить буду». Он велел Петру прийти к нему на следующий день чуть свет для важного дела; Петр вообразил, что он хочет взять его с собой в Петербург. Базаров лег поздно, и всю ночь его мучили беспорядочные сны... Одинцова кружилась перед ним, она же была его мать, за ней ходила кошечка с черными усиками, и эта кошечка была Фенечка; а Павел Петрович представлялся ему большим лесом, с которым он все-таки должен был драться. Петр разбудил его в четыре часа; он тотчас оделся и вышел с ним.

Утро было славное, свежее; маленькие пестрые тучки стояли барашками на бледно-ясной лазури; мелкая роса высыпала на листьях и травах, блистала серебром на паутинках; влажная темная земля, казалось, еще хранила румяный след зари; со всего неба сыпались песни жаворонков. Базаров дошел до роши, присел в тени на опушку и только тогда открыл Петру, какой он ждал от него услуги. Образованный лакей перепугался насмерть; но Базаров успокоил его уверением, что ему другого нечего будет делать, как только стоять в отдалении да глядеть, и что ответственности он не подвергается никакой. «А между тем,— прибавил он,— подумай, какая предстоит тебе важная роль!» Петр развел руками, потупился и, весь зеленый, прислонился к березе.

Дорога из Марьино огибала лесок; легкая пыль лежала на ней, еще не тронутая со вчерашнего дня ни колесом, ни ногою. Базаров невольно поглядывал вдоль той дороги, рвал и кусал траву, а сам все твердил про себя: «Экая глупость!» Утренний холодок заставил его раза два вздрогнуть... Петр уныло взглянул на него, но Базаров только усмехнулся: он не трусил.

Раздался топот конских ног по дороге... Мужик показался из-за деревьев. Он гнал двух спутанных лошадей перед собою и, проходя мимо Базарова, посмотрел на него как-то странно, не ломая шапки, что, видимо, смутило Петра, как недоброе предзнаменование. «Вот этот тоже рано встал,— подумал Базаров,— да по крайней мере за делом, а мы?»

— Кажись, они идут-с,— шепнул вдруг Петр.

Базаров поднял голову и увидел Павла Петровича. Одетый в легкий клетчатый пиджак и белые, как снег, панталоны, он быстро шел по дороге; под мышкой он нес ящик, завернутый в зеленое сукно.

— Извините, я, кажется, заставил вас ждать,— промолвил он, кланяясь сперва Базарову, потом Петру, в котором он в это мгновение уважал нечто вроде секунданта.— Я не хотел будить моего камердинера.

— Ничего-с,— ответил Базаров,— мы сами только что пришли.

— А! тем лучше! — Павел Петрович оглянулся кругом.— Никого не видеть, никто не помешает... Мы можем приступить?

— Приступим.

— Новых объяснений вы, я полагаю, не требуете?

— Не требую.

— Угодно вам заряжать? — спросил Павел Петрович, вынимая из ящика пистолеты.

— Нет; заряжайте вы, а я шаги отмеривать стану. Ноги у меня длиннее,— прибавил Базаров с усмешкой.— Раз, два, три...

— Евгений Васильич,— с трудом пролепетал Петр (он дрожал, как в лихорадке),— воля ваша, я отойду.

— Четыре... пять... Отойди, братец, отойди; можешь даже за дерево стать и уши заткнуть, только глаз не закрывай; а повалится кто, беги подымать. Шесть... семь... восемь...— Базаров остановился.— Довольно? — промолвил он, обращаясь к Павлу Петровичу,— или еще два шага накинуть?

— Как угодно,— проговорил тот, заколачивая вторую пулю.

— Ну, накинem еще два шага.— Базаров провел носком сапога черту по земле.— Вот и барьер. А кстати: на сколько шагов каждому из нас от барьера отойти? Это тоже важный вопрос. Вчера об этом не было дискуссии.

— Я полагаю, на десять,— ответил Павел Петрович, подавая Базарову оба пистолета.— Соболаговолите выбрать.

— Соболаговоляю. А согласитесь, Павел Петрович, что поединок наш необычаен до смешного. Вы посмотрите только на физиономию нашего секунданта.

— Вам все желательно шутить,— ответил Павел Петрович.— Я не отрицаю странности нашего поединка, но я считаю долгом предупредить вас, что я намерен драться серьезно. *A bon entendeur, salut!*¹

— О! я не сомневаюсь в том, что мы решились истреблять друг друга; но почему же не посмеяться и не соединить *utile dulci*? Так-то: вы мне по-французски, а я вам по-латыни.

— Я буду драться серьезно,— повторил Павел Петрович и отправился на свое место. Базаров, с своей стороны, отсчитал десять шагов от барьера и остановился.

— Вы готовы? — спросил Павел Петрович.

— Совершенно.

— Можем сходиться.

Базаров тихонько двинулся вперед, и Павел Петрович пошел на него, заложив левую руку в карман и постепенно поднимая дуло пистолета... «Он мне прямо в нос целит,— подумал Базаров,— и как шуруется старательно, разбойник! Однако это непри-

¹ Имеющий уши да услышит! (*фр.*).

² полезное с приятным? (*лат.*).

ятное ощущение. Стану смотреть на цепочку его часов...» Что-то резко зыкнуло около самого уха Базарова, и в то же мгновение раздался выстрел. «Слышал, стало быть ничего»,— успело мелькнуть в его голове. Он ступил еще раз и, не целясь, подавил пружинку.

Павел Петрович дрогнул слегка и хватился рукою за ляжку. Струйка крови потекла по его белым панталонам.

Базаров бросил пистолет в сторону и приблизился к своему противнику.

— Вы ранены? — промолвил он.

— Вы имели право подозвать меня к барьеру,— проговорил Павел Петрович,— а это пустяки. По условию каждый имеет еще по одному выстрелу.

— Ну, извините, это до другого раза,— отвечал Базаров и обхватил Павла Петровича, который начинал бледнеть.— Теперь я уже не дуэлист, а доктор и прежде всего должен осмотреть вашу рану. Петр! поди сюда, Петр! куда ты спрятался?

— Все это вздор... Я не нуждаюсь ни в чьей помощи,— промолвил с расстановкой Павел Петрович,— и... надо... опять...— Он хотел было дернуть себя за ус, но рука его ослабела, глаза закатились, и он лишился чувств.

— Вот новость! Обморок! С чего бы! — невольно воскликнул Базаров, опуская Павла Петровича на траву.— Посмотрим, что за штука? — Он вынул платок, отер кровь, пощупал вокруг раны...— Кость цела,— бормотал он сквозь зубы,— пуля прошла неглубоко насквозь, один мускул, *vastus externus*, задет. Хоть пляши через три недели!.. А обморок! Ох, уж эти мне нервные люди! Вишь, кожа-то какая тонкая.

— Убиты-с? — прошелестел за его спиной трепетный голос Петра.

Базаров оглянулся.

— Ступай за водой поскорее, братец, а он нас с тобой еще переживет.

Но усовершенствованный слуга, казалось, не понимал его слов и не двигался с места. Павел Петрович медленно открыл глаза. «Кончается!» — шепнул Петр и начал креститься.

— Вы правы... Экая глупая физиономия! — проговорил с насильственной улыбкой раненый джентльмен.

— Да ступай же за водой, черт! — крикнул Базаров.

— Не нужно... Это был минутный *vertige*!... Помогите мне сесть... вот так... Эту царапину стоит только чем-нибудь прихватить, и я дойду домой пешком, а не то можно дрожки за мной прислать. Дуэль, если вам угодно, не возобновляется. Вы поступили благородно... сегодня, сегодня — заметьте.

— О прошлом вспоминать незачем,— возразил Базаров,—

головокружение (фр.).

а что касается до будущего, то о нем тоже не стоит голову ломать, потому что я намерен немедленно улизнуть. Дайте, я вам перевяжу теперь ногу; рана ваша — не опасная, а все лучше остановить кровь. Но сперва необходимо этого смертного привести в чувство.

Базаров встряхнул Петра за ворот и послал его за дрожками.

— Смотри, брата не испугай,— сказал ему Павел Петрович,— не вздумай ему докладывать.

Петр помчался; пока он бегал за дрожками, оба противника сидели на земле и молчали. Павел Петрович старался не глядеть на Базарова; помириться с ним он все-таки не хотел; он стыдился своей заносчивости, своей неудачи, стыдился всего затеянного им дела, хотя и чувствовал, что более благоприятным образом оно кончиться не могло. «Не будет по крайней мере здесь торчать,— успокоивал он себя,— и на том спасибо». Молчание длилось, тяжелое и неловкое. Обоим было нехорошо. Каждый из них сознавал, что другой его понимает. Другьям это сознание приятно, и весьма неприятно недругам, особенно когда нельзя ни объясниться, ни разойтись.

— Не туго ли я завязал вам ногу? — спросил наконец Базаров.

— Нет, ничего, прекрасно,— отвечал Павел Петрович и, погода немного, прибавил: — Брата не обманешь, надо будет сказать ему, что мы повздорили из-за политики.

— Очень хорошо,— промолвил Базаров.— Вы можете сказать, что я бранил всех англоманов.

— И прекрасно. Как вы полагаете, что думает теперь о нас этот человек? — продолжал Павел Петрович, указывая на того самого мужика, который за несколько минут до дуэли прогнал мимо Базарова спутанных лошадей и, возвращаясь назад по дороге, «забочил» и снял шапку при виде «господ».

— Кто ж его знает! — ответил Базаров,— всего вероятнее, что ничего не думает. Русский мужик — это тот самый таинственный незнакомец, о котором некогда так много толковала госпожа Ратклифф¹. Кто его поймет? Он сам себя не понимает.

— А! вот вы как! — начал было Павел Петрович и вдруг воскликнул: — Посмотрите, что ваш глупец Петр наделал! Ведь брат сюда скачет!

Базаров обернулся и увидел бледное лицо Николая Петровича, сидевшего на дрожках. Он соскочил с них, прежде нежели они остановились, и бросился к брату.

— Что это значит? — проговорил он взволнованным голосом.— Евгений Васильич, помилуйте, что это такое?

¹ *Госпожа Ратклифф* — английская писательница Редклифф (Radcliffe) Энн (1764—1823). Для ее произведений характерны описания фантастических ужасов и таинственных происшествий.

— Ничего,— отвечал Павел Петрович,— напрасно тебя тревожили. Мы немножко повздорили с господином Базаровым, и я за это немножко поплатился.

— Да из-за чего все вышло, ради Бога?

— Как тебе сказать? Господин Базаров непочтительно отозвался о сэре Роберте Пиле¹. Спешу прибавить, что во всем этом виноват один я, а господин Базаров вел себя отлично. Я его вызвал.

— Да у тебя кровь, помилуй!

— А ты полагаю, у меня вода в жилах? Но мне это кровопускание даже полезно. Не правда ли, доктор? Помоги мне сесть на дрожки и не предавайся меланхолии. Завтра я буду здоров. Вот так; прекрасно. Трогай, кучер.

Николай Петрович пошел за дрожками; Базаров остался было позади...

— Я должен вас просить заняться братом,— сказал ему Николай Петрович,— пока нам из города привезут другого врача. Базаров молча наклонил голову.

Час спустя Павел Петрович уже лежал в постеле с искусно забинтованной ногой. Весь дом переполошился; Фенечке сделалось дурно. Николай Петрович втихомолку ломал себе руки, а Павел Петрович смеялся, шутил, особенно с Базаровым; надел тонкую батистовую рубашку, шегольскую утреннюю курточку и феску, не позволил опускать шторы окон и забавно жаловался на необходимость воздержаться от пищи.

К ночи с ним, однако, сделался жар; голова у него заболела. Явился доктор из города. (Николай Петрович не послушался брата, да и сам Базаров этого желал; он целый день сидел у себя в комнате, весь желтый и злой, и только на самое короткое время забегал к больному; раза два ему случилось встретиться с Фенечкой, но она с ужасом от него отскакивала.) Новый доктор посоветовал прохладительные питья, а в прочем подтвердил уверения Базарова, что опасности не предвидится никакой. Николай Петрович сказал ему, что брат сам себя поранил по неосторожности, на что доктор отвечал: «Гм!» — но, получив тут же в руку двадцать пять рублей серебром, промолвил: «Скажите! это часто случается, точно».

Никто в доме не ложился и не раздевался. Николай Петрович то и дело входил на цыпочках к брату и на цыпочках выходил от него; тот забывался, слегка охал, говорил ему по-французски: «*Couchez-vous*»²,— и просил пить. Николай Петрович заставил раз Фенечку поднести ему стакан лимонаду; Павел Петрович посмотрел на нее пристально и выпил стакан до дна. К утру жар немного усилился, показался легкий бред. Сперва Павел Петро-

¹ *Пиль* Роберт (1788—1850) — английский государственный деятель, консерватор.

² «Ложитесь» (фр.).

вич произносил несвязные слова; потом он вдруг открыл глаза и, увидав возле своей постели брата, заботливо наклонившегося над ним, промолвил:

— А не правда ли, Николай, в Фенечке есть что-то общее с Нелли?

— С какою Нелли, Паша?

— Как это ты спрашиваешь? С княгинею Р... Особенно в верхней части лица. C'est de la meme famille¹.

Николай Петрович ничего не отвечал, а сам про себя подивился живучести старых чувств в человеке.

«Вот когда всплыло»,— подумал он.

— Ах, как я люблю это пустое существо! — простонал Павел Петрович, тоскливо закидывая руки за голову.— Я не потерплю, чтобы какой-нибудь наглец посмел коснуться...— лепетал он несколько мгновений спустя.

Николай Петрович только вздохнул; он и не подозревал, к кому относились эти слова.

Базаров явился к нему на другой день, часов в восемь. Он успел уже уложиться и выпустить на волю всех своих лягушек, насекомых и птиц.

— Вы пришли со мной проститься? — проговорил Николай Петрович, поднимаясь ему навстречу.

— Точно так-с.

— Я вас понимаю и одобряю вас вполне. Мой бедный брат, конечно, виноват: за то он и наказан. Он мне сам сказал, что поставил вас в невозможность иначе действовать. Я верю, что вам нельзя было избежать этого поединка, который... который до некоторой степени объясняется одним лишь постоянным антагонизмом ваших взаимных воззрений. (Николай Петрович путался в своих словах.) Мой брат — человек прежнего закала, вспыльчивый и упрямый... Слава Богу, что еще так кончилось. Я принял все нужные меры к избежанию огласки...

— Я вам оставлю свой адрес на случай, если выйдет история,— заметил небрежно Базаров.

— Я надеюсь, что никакой истории не выйдет, Евгений Васильич... Мне очень жаль, что ваше пребывание в моем доме получило такое... такой конец. Мне это тем огорчительнее, что Аркадий...

— Я, должно быть, с ним увижусь,— возразил Базаров, в котором всякого рода «объяснения» и «изъявления» постоянно возбуждали нетерпеливое чувство,— в противном случае прошу вас поклониться ему от меня и принять выражение моего сожаления.

— И я прошу...— ответил с поклоном Николай Петрович. Но Базаров не дождался конца его фразы и вышел.

Узнав об отъезде Базарова, Павел Петрович пожелал его видеть и пожал ему руку. Но Базаров и тут остался холоден как

¹ В том же роде (фр.).

лед; он понимал, что Павлу Петровичу хотелось повеликодушничать. С Фенечкой ему не удалось проститься: он только переглянулся с нею из окна. Ее лицо показалось ему печальным. «Пропадет, пожалуй! — сказал он про себя... — Ну, выдерется как-нибудь!» Зато Петр расчувствовался до того, что плакал у него на плече, пока Базаров не охладил его вопросом: «Не на моем ли месте у него глаза?»; — а Дуняша принуждена была убежать в рошу, чтобы скрыть свое волнение. Виновник всего этого горя взобрался на телегу, закурил сигару, и когда на четвертой версте, при повороте дороги, в последний раз предстала его глазам развернутая в одну линию кирсановская усадьба с своим новым господским домом, он только сплюнул и, пробормотав: «Барчуки проклятые», плотнее завернулся в шинель.

Павлу Петровичу скоро полегчило; но в постели пришлось ему пролежать около недели. Он переносил свой, как он выражался, *плен* довольно терпеливо, только уж очень возился с туалетом и все приказывал курить одеколоном. Николай Петрович читал ему журналы, Фенечка ему прислуживала по-прежнему, приносила бульон, лимонад, яйца всмятку, чай; но тайный ужас овладевал ею каждый раз, когда она входила в его комнату. Неожиданный поступок Павла Петровича запугал всех людей в доме, а ее больше всех; один Прокофьич не смутился и толковал, что и в его время господа дирывались, «только благородные господа между собою, а этаких прощелыг они бы за грубость на коношне отодрать велели».

Совесь почти не упрекала Фенечку, но мысль о настоящей причине ссоры мучила ее по временам; да и Павел Петрович глядел на нее так странно... так, что она, даже обернувшись к нему спиной, чувствовала на себе его глаза. Она похудела от непрестанной внутренней тревоги и, как водится, стала еще милей.

Однажды — дело было утром — Павел Петрович хорошо себя чувствовал и перешел с постели на диван, а Николай Петрович, осведомившись об его здоровье, отлучился на гумно. Фенечка принесла чашку чаю и, поставив ее на столик, хотела было удалиться. Павел Петрович ее удержал.

— Куда вы так спешите, Федосья Николаевна? — начал он. — Разве у вас дело есть?

— Нет-с... да-с... Нужно там чай разливать.

— Дуняша это без вас сделает; посидите немножко с больным человеком. Кстати, мне нужно поговорить с вами.

Фенечка молча присела на край кресла.

— Послушайте, — промолвил Павел Петрович и подергал свои усы, — я давно хотел у вас спросить: вы как будто меня боитесь?

— Я-с?

— Да, вы. Вы на меня никогда не смотрите, точно у вас совесь не чиста.

Фенечка покраснела, но взглянула на Павла Петровича. Он показался ей каким-то странным, и сердце у ней тихонько задрожало.

— Ведь у вас совесть чиста? — спросил он ее.

— Отчего же ей не быть чистою? — шепнула она.

— Мало ли отчего! Впрочем, перед кем можете вы быть виноватою? Передо мной? Это невероятно. Перед другими лицами здесь в доме? Это тоже дело несбыточное. Разве перед братом? Но ведь вы его любите?

— Люблю.

— Всей душой, всем сердцем?

— Я Николая Петровича всем сердцем люблю.

— Право? Посмотрите-ка на меня, Фенечка (он в первый раз так называл ее...). Вы знаете — большой грех лгать!

— Я не лгу, Павел Петрович. Мне Николая Петровича не любить — да после этого мне и жить не надо!

— И ни на кого вы его не променяете?

— На кого ж могу я его променять?

— Мало ли на кого! Да вот хоть бы на этого господина, что отсюда уехал.

Фенечка встала.

— Господи Боже мой, Павел Петрович, за что вы меня мучите? Что я вам сделала? Как это можно такое говорить?..

— Фенечка,— промолвил печальным голосом Павел Петрович,— ведь я видел...

— Что вы видели-с?

— Да там... в беседке.

Фенечка зарделась вся до волос и до ушей.

— А чем же я тут виновата? — произнесла она с трудом.

Павел Петрович приподнялся.

— Вы не виноваты? Нет? Нисколько?

— Я Николая Петровича одного на свете люблю и век любить буду! — проговорила с внезапною силой Фенечка, между тем как рыданья так и поднимали ее горло,— а что вы видели, так я на страшном суде скажу, что вины моей в том нет и не было, и уж лучше умереть мне сейчас, коли меня в таком деле подозревать могут, что я перед моим благодетелем, Николаем Петровичем...

Но тут голос изменил ей, и в то же время она почувствовала, что Павел Петрович ухватил и стиснул ее руку... Она посмотрела на него, и так и окаменела. Он стал еще бледнее прежнего; глаза его блистали, и, что всего было удивительнее, тяжелая, одинокая слеза катилась по его щеке.

— Фенечка! — сказал он каким-то чудным шепотом,— любите, любите моего брата! Он такой добрый, хороший человек! Не изменяйте ему ни для кого на свете, не слушайте ничьих речей! Подумайте, что может быть ужаснее, как любить и не быть любимым! Не покидайте никогда моего бедного Николая!

Глаза высохли у Фенечки, и страх ее прошел, до того велико было ее изумление. Но что случилось с ней, когда Павел Петрович, сам Павел Петрович прижал ее руку к своим губам и так и приник к ней, не целуя ее и только изредка судорожно вздыхая...

«Господи! — подумала она, — уж не припадок ли с ним?..»

А в это мгновение целая погибая жизнь в нем трепетала.

Лестница заскрипела под быстрыми шагами... Он оттолкнул ее от себя прочь и откинулся головой на подушку. Дверь растворилась — и веселый, свежий, румяный появился Николай Петрович. Митя, такой же свежий и румяный, как и отец, подпрыгивал в одной рубашечке на его груди, цепляясь голыми ножками за большие пуговицы его деревенского пальто.

Фенечка так и бросилась к нему и, обвив руками и его и сына, припала головой к его плечу. Николай Петрович удивился: Фенечка, застенчивая и скромная, никогда не ласкалась к нему в присутствии третьего лица.

— Что с тобой? — промолвил он и, глянув на брата, передал ей Митю. — Ты не хуже себя чувствуешь? — спросил он, подходя к Павлу Петровичу.

Тот уткнул лицо в батистовый платок.

— Нет... так... ничего... Напротив, мне гораздо лучше.

— Ты напрасно поспешил перейти на диван. Ты куда? — прибавил Николай Петрович, оборачиваясь к Фенечке; но та уже захлопнула за собою дверь. — Я было принес показать тебе моего богатыря, он соскучился по своему дяде. Зачем это она унесла его? Однако что с тобой? Произошло у вас тут что-нибудь, что ли?

— Брат! — торжественно проговорил Павел Петрович.

Николай Петрович дрогнул. Ему стало жутко, он сам не понимал почему.

— Брат, — повторил Павел Петрович, — дай мне слово исполнить одну мою просьбу.

— Какую просьбу? Говори.

— Она очень важна; от нее, по моим понятиям, зависит все счастье твоей жизни. Я все это время много размышлял о том, что я хочу теперь сказать тебе. Брат, исполни обязанность твою, обязанность честного и благородного человека, прекрати соблазн и дурной пример, который подается тобою, лучшим из людей!

— Что ты хочешь сказать, Павел?

— Женись на Фенечке... Она тебя любит, она — мать твоего сына.

Николай Петрович отступил на шаг и всплеснул руками.

— Ты это говоришь, Павел? ты, которого я считал всегда самым непреклонным противником подобных браков! Ты это говоришь! Но разве ты не знаешь, что единственно из уважения к тебе я не исполнил того, что ты так справедливо назвал моим долгом!

— Напрасно ж ты уважал меня в этом случае,— возразил с унылою улыбкою Павел Петрович.— Я начинаю думать, что Базаров был прав, когда упрекал меня в аристократизме. Нет, милый брат, полно нам ломаться и думать о свете: мы люди уже старые и смиренные; пора нам отложить в сторону всякую суету. Именно, как ты говоришь, станем исполнять наш долг; и посмотри, мы еще и счастье получим в придачу.

Николай Петрович бросился обнимать своего брата.

— Ты мне окончательно открыл глаза! — воскликнул он.— Я недаром всегда утверждал, что ты самый добрый и умный человек в мире; а теперь я вижу, что ты такой же благоразумный, как и великодушный.

— Тише, тише,— перебил его Павел Петрович.— Не разбереди ногу твоего благоразумного брата, который под пятьдесят лет дрался на дуэли, как прапорщик. Итак, это дело решенное: Фенечка будет моею... *belle soeur*¹.

— Дорогой мой Павел! Но что скажет Аркадий?

— Аркадий? Он восторжествует, помилуй! Брак не в его интересах, зато чувство равенства будет в нем польщено. Да и действительно, что за касты *au dixneuvieme siecle*²?

— Ах, Павел, Павел! дай мне еще раз тебя поцеловать. Не бойся, я осторожно.

Братья обнялись.

— Как ты полагаешь, не объявить ли ей твое намерение теперь же? — спросил Павел Петрович.

— К чему спешить? — возразил Николай Петрович.— Разве у вас был разговор?

— Разговор, у нас? *Quelle idee*³!

— Ну и прекрасно. Прежде всего выздоравливай, а это от нас не уйдет, надо подумать хорошенько, сообразить...

— Но ведь ты решился?

— Конечно, решился и благодарю тебя от души. Я теперь тебя оставляю, тебе надо отдохнуть; всякое волнение тебе вредно... Но мы еще потолкуем. Засни, душа моя, и дай Бог тебе здоровья!

«За что он меня так благодарит? — подумал Павел Петрович, оставшись один.— Как будто это не от него зависело! А я, как только он женится, уеду куда-нибудь подальше, в Дрезден или во Флоренцию, и буду там жить, пока околею».

Павел Петрович помочил себе лоб одеколоном и закрыл глаза. Освещенная ярким дневным светом, его красивая, исхудалая голова лежала на белой подушке, как голова мертвеца... Да он и был мертвец.

¹ свояченицей (фр.).

² в девятнадцатом веке (фр.).

³ Что за мысль! (фр.).

В Никольском, в саду, в тени высокого ясеня, сидели на деревянной скамейке Катя с Аркадием; на земле возле них поместилась Фифи, придав своему длинному телу тот изящный поворот, который у охотников слывет «русачьей полежкой». И Аркадий и Катя молчали; он держал в руках полуоткрытую книгу, а она выбирала из корзинки оставшиеся в ней крошки белого хлеба и бросала их небольшой семейке воробьев, которые с свойственной им трусливою дерзостью прыгали и чирикали у самых ее ног. Слабый ветер, шевеля в листьях ясеня, тихонько двигал взад и вперед, и по темной дорожке и по желтой спине Фифи, бледно-золотые пятна света; ровная тень обливала Аркадия и Катю; только изредка в ее волосах зажигалась яркая полоска. Они молчали оба; но именно в том, как они молчали, как они сидели рядом, сказывалось доверчивое сближение: каждый из них как будто и не думал о своем соседе, а втайне радовался его близости. И лица их изменились с тех пор, как мы их видели в последний раз: Аркадий казался спокойнее, Катя оживленнее, смелей.

— Не находите ли вы,— начал Аркадий,— что *ясень* по-русски очень хорошо назван: ни одно дерево так легко и *ясно* не сквозит на воздухе, как он.

Катя подняла глаза вверх и промолвила: «Да», а Аркадий подумал: «Вот эта не упрекает меня за то, что я *красиво* выражаюсь».

— Я не люблю Гейне,— заговорила Катя, указывая глазами на книгу, которую Аркадий держал в руках,— ни когда он смеется, ни когда он плачет: я его люблю, когда он задумчив и грустит.

— А мне нравится, когда он смеется,— заметил Аркадий.

— Это в вас еще старые следы вашего сатирического направления... («Старые следы! — подумал Аркадий.— Если б Барзав это слышал!») Погодите, мы вас переделаем.

— Кто меня переделает? Вы?

— Кто? — Сестра; Порфирий Платонович, с которым вы уже не ссоритесь; тетюшка, которую вы третьего дня проводили в церковь.

— Не мог же я отказаться! А что касается до Анны Сергеевны, она сама, вы помните, во многом соглашалась с Евгением.

— Сестра находилась тогда под его влиянием, так же как и вы.

— Как и я! Разве вы замечаете, что я уже освободился изпод его влияния?

Катя промолчала.

— Я знаю,— продолжал Аркадий,— он вам никогда не нравился.

— Я не могу судить о нем.

— Знаете ли что, Катерина Сергеевна? Всякий раз, когда я слышу этот ответ, я ему не верю... Нет такого человека, о котором каждый из нас не мог бы судить! Это просто отговорка.

— Ну, так я вам скажу, что он... не то что мне не нравится, а я чувствую, что и он мне чужой, и я ему чужая... да и вы ему чужой.

— Это почему?

— Как вам сказать... Он хищный, а мы с вами ручные.

— И я ручной?

Катя кивнула головой.

Аркадий почесал у себя за ухом.

— Послушайте, Катерина Сергеевна: ведь это в сущности обидно.

— Разве вы хотели бы быть хищным?

— Хищным нет, но сильным, энергическим.

— Этого нельзя хотеть... Вот ваш приятель этого и не хочет, а в нем это есть.

— Гм! Так вы полагаете, что он имел большое влияние на Анну Сергеевну?

— Да. Но над ней никто долго взять верх не может,— прибавила Катя вполголоса.

— Почему вы это думаете?

— Она очень горда... я не то хотела сказать... она очень дорожит своею независимостью.

— Кто же ею не дорожит? — спросил Аркадий, а у самого в уме мелькнуло: «На что она?» — «На что она?» — мелькнуло и у Кати. Молодым людям, которые часто и дружелюбно сходятся, беспрестанно приходят одни и те же мысли.

Аркадий улыбнулся и, слегка придвинувшись к Кате, промолвил шёпотом:

— Сознайесь, что вы немножко *ее* боитесь.

— Кого?

— *Ее*,— значительно повторил Аркадий.

— А вы? — в свою очередь спросила Катя.

— И я, заметьте, я сказал: *и* я.

Катя погрозила ему пальцем.

— Это меня удивляет,— начала она,— никогда сестра так не была расположена к вам, как именно теперь, гораздо больше, чем в первый ваш приезд.

— Вот как!

— А вы этого не заметили! Вас это не радует?

Аркадий задумался.

— Чем я мог заслужить благоволение Анны Сергеевны? Уж не тем ли, что привез ей письма вашей матушки?

— И этим, и другие есть причины, которых я не скажу.

— Это почему?

— Не скажу.

— О! я знаю: вы очень упрямы.

— Упряма.

— И наблюдательны.

Катя посмотрела сбоку на Аркадия.

— Может быть, вас это сердит? О чем вы думаете?

— Я думаю о том, откуда могла прийти вам эта наблюдательность, которая действительно есть в вас. Вы так пугливы, недoverчивы; всех чуждаетесь...

— Я много жила одна: поневоле размышлять станешь. Но разве я всех чуждаюсь?

Аркадий бросил признательный взгляд на Катю.

— Все это прекрасно,— продолжал он,— но люди в вашем положении, я хочу сказать с вашим состоянием, редко владеют этим даром; до них, как до царей, истине трудно дойти.

— Да ведь я не богатая.

Аркадий изумился и не сразу понял Катю. «И в самом деле, имение-то все сестрино!» — пришло ему в голову; эта мысль ему не была неприятна.

— Как вы это хорошо сказали! — промолвил он.

— А что?

— Сказали хорошо; просто, не стыдясь и не рисуясь. Кстати: я воображаю, в чувстве человека, который знает и говорит, что он беден, должно быть что-то особенное, какое-то своего рода тщеславие.

— Я ничего этого не испытала по милости сестры; я упомянула о своем состоянии только потому, что к слову пришлось.

— Так; но сознайтесь, что и в вас есть частица того тщеславия, о котором я сейчас говорил.

— Например?

— Например, ведь вы,— извините мой вопрос,— вы бы не пошли замуж за богатого человека?

— Если б я его очень любила... Нет, кажется, и тогда бы не пошла.

— А! вот видите! — воскликнул Аркадий и, погода немного, прибавил: — А отчего бы вы за него не пошли?

— Оттого, что и в песне про неровнюшку поется.

— Вы, может быть, хотите властвовать или...

— О нет! к чему это? Напротив, я готова покоряться, только неравенство тяжело. А уважать себя и покоряться, это я понимаю; это счастье; но подчиненное существование... Нет, довольно и так.

— Довольно и так,— повторил за Катей Аркадий.— Да, да,— продолжал он,— вы недаром одной крови с Анной Сергеевной; вы так же самостоятельны, как она; но вы более скрытны. Вы, я уверен, ни за что первая не выскажете своего чувства, как бы оно ни было сильно и свято...

— Да как же иначе? — спросила Катя.

— Вы одинаково умны; у вас столько же, если не больше, характера, как у ней...

— Не сравнивайте меня с сестрой, пожалуйста,— поспешно перебила Катя,— это для меня слишком невыгодно. Вы как будто забыли, что сестра и красавица, и умница, и... вам в особенности, Аркадий Николаич, не следовало бы говорить такие слова, и еще с таким серьезным лицом.

— Что значит это: вам в особенности,— и из чего вы заключаете, что я шучу?

— Конечно, вы шутите.

— Вы думаете? А что, если я убежден в том, что говорю? Если я нахожу, что я еще не довольно сильно выразился?

— Я вас не понимаю.

— В самом деле? Ну, теперь я вижу: я точно слишком превозносил вашу наблюдательность.

— Как?

Аркадий ничего не ответил и отвернулся, а Катя отыскала в корзинке еще несколько крошек и начала бросать их воробьям; но взмах ее руки был слишком силен, и они улетали прочь, не успевши клюнуть.

— Катерина Сергеевна! — заговорил вдруг Аркадий,— вам это, вероятно, все равно; но знайте, что я вас не только на вашу сестру,— ни на кого в свете не променяю.

Он встал и быстро удалился, как бы испугавшись слов, сорвавшихся у него с языка.

А Катя уронила обе руки вместе с корзинкой на колени и, наклонив голову, долго смотрела вслед Аркадию. Понемногу алая краска чуть-чуть выступила на ее щеки; но губы не улыбались, и темные глаза выражали недоумение и какое-то другое, пока еще безымянное чувство.

— Ты одна? — раздался возле нее голос Анны Сергеевны.— Кажется, ты пошла в сад с Аркадием.

Катя не спеша перевела свои глаза на сестру (изящно, даже изысканно одетая, она стояла на дорожке и кончиком раскрытого зонтика шевелила уши Фифи) и не спеша промолвила:

— Я одна.

— Я это вижу,— отвечала та со смехом,— он, стало быть, ушел к себе?

— Да.

— Вы вместе читали?

— Да.

Анна Сергеевна взяла Катю за подбородок и приподняла ее лицо.

— Вы не поссорились, надеюсь?

— Нет,— сказала Катя и тихо отвела сестрину руку.

— Как ты торжественно отвечаешь! Я думала найти его здесь и предложить ему пойти гулять со мною. Он сам меня все просит об этом. Тебе из города привезли ботинки, поди примерь их: я уже вчера заметила, что твои прежние совсем износились. Вообще ты не довольно этим занимаешься, а у тебя еще такие

прелестные ножки! И руки твои хороши... только велики; так надо ножками брать. Но ты у меня не кокетка.

Анна Сергеевна отправилась дальше по дорожке, слегка шумя своим красивым платьем; Катя поднялась со скамейки и, взяв с собою Гейне, ушла тоже — только не примерять ботинки.

«Прелестные ножки, — думала она, медленно и легко входя по раскаленному от солнца каменным ступеням террасы, — прелестные ножки, говорите вы... Ну, он и будет у них».

Но ей тотчас стало стыдно, и она проворно побежала вверх.

Аркадий пошел по коридору к себе в комнату; дворецкий нагнал его и доложил, что у него сидит господин Базаров.

— Евгений! — пробормотал почти с испугом Аркадий, — давно ли он приехал?

— Сию минуту пожаловали и приказали о себе Анне Сергеевне не докладывать, а прямо к вам себя приказали провести.

«Уж не несчастье ли какое у нас дома?» — подумал Аркадий и, торопливо взбежав по лестнице, разом отворил дверь. Вид Базарова тотчас его успокоил, хотя более опытный глаз, вероятно, открыл бы в энергической по-прежнему, но осунувшейся фигуре неожиданного гостя признаки внутреннего волнения. С пыльной шинелью на плечах, с картузом на голове, сидел он на оконнице; он не поднялся и тогда, когда Аркадий бросился с шумными восклицаниями к нему на шею.

— Вот неожиданно! Какими судьбами! — твердил он, суетясь по комнате, как человек, который и сам воображает и желает показать, что радуется. — Ведь у нас всё в доме благополучно, все здоровы, не правда ли?

— Всё у вас благополучно, но не все здоровы, — проговорил Базаров. — А ты не тараторь, вели принести мне квасу, присядь и слушай, что я тебе сообщу в немногих, но, надеюсь, довольно сильных выражениях.

Аркадий притих, а Базаров рассказал ему свою дуэль с Павлом Петровичем. Аркадий очень удивился и даже опечалился; но не почел нужным это выказать; он только спросил, действительно ли не опасна рана его дяди? и, получив ответ, что она — самая интересная, только не в медицинском отношении, принужденно улыбнулся, а на сердце ему и жутко сделалось, и как-то стыдно. Базаров как будто его понял.

— Да, брат, — промолвил он, — вот что значит с феодалами пожить. Сам в феодалы попадешь и в рыцарских турнирах участвовать будешь. Ну-с, вот я и отправился к «отцам», — так заключил Базаров, — и на дороге завернул сюда... чтобы все это передать, сказал бы я, если б я не почитал бесполезную ложь — глупостью. Нет, я завернул сюда — черт знает зачем. Видишь ли, человеку иногда полезно взять себя за хохол да выдернуть себя вон, как редьку из гряды; это я совершил на днях... Но мне захотелось взглянуть еще раз на то, с чем я расстался, на ту грядку, где я сидел.

— Я надеюсь, что эти слова ко мне не относятся,— возразил с волнением Аркадий,— я надеюсь, что ты не думаешь расстаться со мной.

Базаров пристально, почти пронзительно взглянул на него.

— Будто это так огорчит тебя? Мне сдается, что *ты* уже расстался со мною. Ты такой свеженький да чистенький... должно быть, твои дела с Анной Сергеевной идут отлично.

— Какие мои дела с Анной Сергеевной?

— Да разве ты не для нее сюда приехал из города, пенчик? Кстати, как там подвизаются воскресные школы? Разве ты не влюблен в нее? Или уже тебе пришла пора скромничать?

— Евгений, ты знаешь, я всегда был откровенен с тобою; могу тебя уверить, боюсь тебе, что ты ошибаешься.

— Гм! Новое слово,— заметил вполголоса Базаров.— Но тебе не для чего горячиться, мне ведь это совершенно всё равно. Романтик сказал бы: я чувствую, что наши дороги начинают расходиться, а я просто говорю, что мы друг другу приелись.

— Евгений...

— Душа моя, это не беда; то ли еще на свете приедается! А теперь, я думаю, не проститься ли нам? С тех пор как я здесь, я препакостно себя чувствую, точно начитался писем Гоголя к калужской губернаторше¹. Кстати ж, я не велел откладывать лошадей.

— Помилуй, это невозможно!

— А почему?

— Я уже не говорю о себе; но это будет в высшей степени невежливо перед Анной Сергеевной, которая непременно пожелает тебя видеть.

— Ну, в этом ты ошибаешься.

— А я, напротив, уверен, что я прав,— возразил Аркадий.— И к чему ты притворяешься? Уж коли на то пошло, разве ты сам не для нее сюда приехал?

— Это, может быть, и справедливо, но ты все-таки ошибаешься.

Но Аркадий был прав. Анна Сергеевна пожелала повидаться с Базаровым и пригласила его к себе через дворецкого. Базаров переоделся, прежде чем пошел к ней: оказалось, что он уложил свое новое платье так, что оно было у него под рукою.

Одинцова его приняла не в той комнате, где он так неожиданно объяснился ей в любви, а в гостиной. Она любезно протянула ему кончики пальцев, но лицо ее выражало невольное напряжение.

¹ Имеется в виду письмо Н. В. Гоголя к А. О. Смирновой от июня 1846 года. В несколько переработанном виде письмо это под заглавием «Что такое губернаторша» было включено Гоголем в его книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», в которой он призывал к религиозно-нравственному совершенствованию и отрекался от своих художественных произведений.

— Анна Сергеевна,— поторопился сказать Базаров,— прежде всего я должен вас успокоить. Перед вами смертный, который сам давно опомнился и надеется, что и другие забыли его глупости. Я уезжаю надолго, и согласитесь, хоть я и не мягкое существо, но мне было бы невесело унести с собою мысль, что вы вспоминаете обо мне с отвращением.

Анна Сергеевна глубоко вздохнула, как человек, только что взошедший на высокую гору, и лицо ее оживилось улыбкой. Она вторично протянула Базарову руку и отвечала на его пожатие.

— Кто старое помянет, тому глаз вон,— сказала она,— тем более, что, говоря по совести, и я согрешила тогда если не кокетством, так чем-то другим. Одно слово: будемте приятелями по-прежнему. То был сон, не правда ли? А кто же сны помнит?

— Кто их помнит? Да притом любовь... ведь это чувство напукное.

— В самом деле? Мне очень приятно это слышать.

Так выражалась Анна Сергеевна, и так выражался Базаров; они оба думали, что говорили правду. Была ли правда, полная правда, в их словах? Они сами этого не знали, а автор и подавно. Но беседа у них завязалась такая, как будто они совершенно поверили друг другу.

Анна Сергеевна спросила, между прочим, Базарова, что он делал у Кирсановых? Он чуть было не рассказал ей о своей дуэли с Павлом Петровичем, но удержался при мысли, как бы она не подумала, что он интересничает, и отвечал ей, что он всё это время работал.

— А я,— промолвила Анна Сергеевна,— сперва хандрила, Бог знает отчего, даже за границу собиралась, вообразите!.. Потом это прошло; ваш приятель, Аркадий Николаич, приехал, и я опять попала в свою колею, в свою настоящую роль.

— В какую это роль, позвольте узнать?

— Роль тетки, наставницы, матери, как хотите назовите. Кстати, знаете ли, что я прежде хорошенько не понимала вашей тесной дружбы с Аркадием Николаичем; я находила его довольно незначительным. Но теперь я его лучше узнала и убедилась, что он умен... А главное, он молод, молод... не то, что мы с вами, Евгений Васильич.

— Он все так же робеет в вашем присутствии? — спросил Базаров.

— А разве...— начала было Анна Сергеевна и, подумав немного, прибавила: — Теперь он доверчивее стал, говорит со мною. Прежде он избегал меня. Впрочем, и я не искала его общества. Они большие приятели с Катей.

Базарову стало досадно. «Не может женщина не хитрить!» — подумал он.

— Вы говорите, он избегал вас,— произнес он с холодной усмешкой,— но, вероятно, для вас не осталось тайной, что он был в вас влюблен?

— Как? и он? — сорвалось у Анны Сергеевны.

— И он,— повторил Базаров с смиренным поклоном.— Неужели вы этого не знали и я вам сказал новость?

Анна Сергеевна опустила глаза.

— Вы ошибаетесь, Евгений Васильич.

— Не думаю. Но, может быть, мне не следовало упоминать об этом.— «А ты вперед не хитри»,— прибавил он про себя.

— Отчего не упоминать? Но я полагаю, что вы и тут придаете слишком большое значение мгновенному впечатлению. Я начинаю подозревать, что вы склонны к преувеличению.

— Не будемте лучше говорить об этом, Анна Сергеевна.

— Отчего же? — возразила она, а сама перевела разговор на другую дорогу. Ей все-таки было неловко с Базаровым, хотя она и ему сказала и сама себя уверила, что всё позабыто. Меняясь с ним самыми простыми речами, даже шутя с ним, она чувствовала легкое стеснение страха. Так люди на пароходе, в море, разговаривают и смеются беззаботно, ни дать, ни взять, как на твердой земле; но случись малейшая остановка, появись малейший признак чего-нибудь необычайного, и тотчас же на всех лицах выступит выражение особенной тревоги, свидетельствующее о постоянном сознании постоянной опасности.

Беседа Анны Сергеевны с Базаровым продолжалась недолго. Она начала задумываться, отвечать рассеянно и предложила ему, наконец, перейти в залу, где они нашли княжну и Катю. «А где же Аркадий Николаич?» — спросила хозяйка и, узнав, что он не показывался уже более часа, послала за ним. Его не скоро нашли: он забрался в самую глушь сада и, опершись подбородком на скрещенные руки, сидел, погруженный в думы. Они были глубоки и важны, эти думы, но не печальны. Он знал, что Анна Сергеевна сидит наедине с Базаровым, и ревности он не чувствовал, как бывало; напротив, лицо его тихо светлело; казалось, он и дивился чему-то, и радовался, и решался на что-то.

XXVI

Покойный Одинцов не любил нововведений, но допускал «некоторую игру облагороженного вкуса» и вследствие этого воздвигнул у себя в саду, между теплицей и прудом, строение вроде греческого портика из русского кирпича. На задней, глухой стене этого портика, или галереи, были вделаны шесть ниш для статуй, которые Одинцов собирался выписать из-за границы. Эти статуи должны были изображать собою: Уединение, Молчание, Размышление, Меланхолию, Стыдливость и Чувствительность. Одну из них, богиню Молчания, с пальцем на губах, привезли было и поставили; но ей в тот же день дворовые мальчишки отбили нос, и хотя соседний штукатур брался приделать ей нос «вдвое лучше прежнего», однако Одинцов велел ее принять, и она очутилась в углу молотильного сарая, где стояла долгие

годы, возбуждая суеверный ужас баб. Передняя сторона портика давно заросла густым кустарником: одни капители колонн виднелись над сплошной зеленью. В самом портике даже в полдень было прохладно. Анна Сергеевна не любила посещать это место с тех пор, как увидела там ужа; но Катя часто приходила садиться на большую каменную скамью, устроенную под одною из ниш. Окруженная свежестью и тенью, она читала, работала или предавалась тому ощущению полной тишины, которое, вероятно, знакомо каждому и прелесть которого состоит в едва сознательном, немотствующем подкарауливанье широкой жизненной волны, непрерывно катящейся и кругом нас и в нас самих.

На другой день по приезде Базарова Катя сидела на своей любимой скамье, и рядом с нею сидел опять Аркадий. Он упрощил ее пойти с ним в «портик».

До завтрака оставалось около часа; росистое утро уже сменялось горячим днем. Лицо Аркадия сохраняло вчерашнее выражение, Катя имела вид озабоченный. Сестра ее, тотчас после чаю, позвала ее к себе в кабинет и, предварительно приласкав ее, что всегда немного пугало Катю, посоветовала ей быть осторожней в своем поведении с Аркадием, а особенно избегать уединенных бесед с ним, будто бы замеченных и теткой и всем домом. Кроме того, уже накануне вечером Анна Сергеевна была не в духе; да и сама Катя чувствовала смущение, точно сознавала вину за собою. Уступая просьбе Аркадия, она себе сказала, что это в последний раз.

— Катерина Сергеевна,— заговорил он с какою-то застенчивою развязностью,— с тех пор как я имею счастье жить в одном доме с вами, я обо многом с вами беседовал, а между тем есть один очень важный для меня... вопрос, до которого я еще не касался. Вы заметили вчера, что меня здесь переделали,— прибавил он, и лоя и избегая вопросительно устремленный на него взор Кати.— Действительно, я во многом изменился, и это вы знаете лучше всякого другого,— вы, которой я, в сущности, и обязан эту переменой.

— Я?.. Мне?..— проговорила Катя.

— Я теперь уже не тот заносчивый мальчик, каким я сюда приехал,— продолжал Аркадий,— недаром же мне и минул двадцать третий год; я по-прежнему желаю быть полезным, желаю посвятить все мои силы истине; но я уже не там ищу свои идеалы, где искал их прежде; они представляются мне... гораздо ближе. До сих пор я не понимал себя, я задавал себе задачи, которые мне не по силам... Глаза мои недавно раскрылись благодаря одному чувству... Я выражаюсь не совсем ясно, но я надеюсь, что вы меня поймете...

Катя ничего не отвечала, но перестала глядеть на Аркадия.

— Я полагаю,— заговорил он снова уже более взволнованным голосом, а зяблик над ним в листве березы беззаботно распевал свою песенку,— я полагаю, что обязанность всякого чест-

ного человека быть вполне откровенным с теми... с теми людьми, которые... словом, с близкими ему людьми, а потому я... я намерен...

Но тут красноречие изменило Аркадию; он сбился, замялся и принужден был немного помолчать; Катя всё не поднимала глаз. Казалось, она и не понимала, к чему он это всё ведет, и ждала чего-то.

— Я предвижу, что удивлю вас,— начал Аркадий, снова собравшись с силами,— тем более что это чувство относится некоторым образом... некоторым образом, заметьте,— до вас. Вы меня, помнится, вчера упрекнули в недостатке серьезности,— продолжал Аркадий с видом человека, который вошел в болото, чувствует, что с каждым шагом погружается больше и больше, и все-таки спешит вперед, в надежде поскорее перебраться,— этот упрек часто направляется... падает... на молодых людей, даже когда они перестают его заслуживать; и если бы во мне было больше самоуверенности... («Да помоги же мне, помоги!» — с отчаянием думал Аркадий, но Катя по-прежнему не поворачивала головы.) Если б я мог надеяться...

— Если б я могла быть уверена в том, что вы говорите,— раздался в это мгновение ясный голос Анны Сергеевны.

Аркадий тотчас умолк, а Катя побледнела. Мимо самых кустов, заслонявших портик, пролегал дорожка. Анна Сергеевна шла по ней в сопровождении Базарова. Катя с Аркадием не могли их видеть, но слышали каждое слово, шелест платья, самое дыхание. Они сделали несколько шагов и, как нарочно, остановились прямо перед портиком.

— Вот видите ли,— продолжала Анна Сергеевна,— мы с вами ошиблись; мы оба уже не первой молодости, особенно я; мы пожили, устали; мы оба — к чему церемониться? — умны: сначала мы заинтересовали друг друга, любопытство было возбуждено... а потом...

— А потом я выдохся,— подхватил Базаров.

— Вы знаете, что не это было причиною нашей размолвки. Но как бы то ни было, мы не нуждались друг в друге, вот главное; в нас слишком много было... как бы это сказать... однородного. Мы это не сразу поняли. Напротив, Аркадий...

— Вы в нем нуждаетесь? — перебил Базаров.

— Полноте, Евгений Васильевич. Вы говорите, что он не равнодушен ко мне, и мне самой всегда казалось, что я ему нравлюсь. Я знаю, что я гожусь ему в тетки, но я не хочу скрывать от вас, что я стала чаще думать о нем. В этом молодом и свежем чувстве есть какая-то прелесть...

— Слово *обаяние* употребительнее в подобных случаях,— перебил Базаров; кипение желчи слышалось в его спокойном, но глухом голосе.— Аркадий что-то секретничал вчера со мною и не говорил ни о вас, ни о вашей сестре... Это симптом важный.

— Он с Катей совсем как брат,— промолвила Анна Серге-

евна,— и это мне в нем нравится, хотя, может быть, мне бы и не следовало позволять такую близость между ними.

— Это в вас говорит... сестра? — произнес протяжно Базаров.

— Разумеется... Но что же мы стоим? Пойдемте. Какой странный разговор у нас, не правда ли? И могла ли я ожидать, что буду говорить так с вами? Вы знаете, что я вас боюсь... и в то же время я вам доверяю, потому что в сущности вы очень добры.

— Во-первых, я вовсе не добр; а во-вторых, я потерял для вас всякое значение, и вы мне говорите, что я добр... Это всё равно, что класть венок из цветов на голову мертвеца.

— Евгений Васильевич, мы не властны...— начала было Анна Сергеевна; но ветер налетел, зашумел листьями и унес ее слова.

— Ведь вы свободны,— произнес немного погодя Базаров. Больше ничего нельзя было разобрать; шаги удалились... все затихло.

Аркадий обратился к Кате. Она сидела в том же положении, только еще ниже опустила голову.

— Катерина Сергеевна,— проговорил он дрожащим голосом и стиснув руки,— я люблю вас навек и безвозвратно, и никого не люблю, кроме вас. Я хотел вам это сказать, узнать ваше мнение и просить вашей руки, потому что я и не богат и чувствую, что готов на все жертвы... Вы не отвечаете? Вы мне не верите? Вы думаете, что я говорю легкомысленно? Но вспомните эти последние дни! Неужели вы давно не убедились, что всё другое — поймите меня,— всё, всё другое давно исчезло без следа? Посмотрите на меня, скажите мне одно слово... Я люблю... я люблю вас... поверьте же мне!

Катя взглянула на Аркадия важным и светлым взглядом и, после долгого раздумья, едва улыбнувшись, промолвила:

- Да .

Аркадий вскочил со скамьи.

— Да! Вы сказали: да, Катерина Сергеевна! Что значит это слово? То ли, что я вас люблю, что вы мне верите... Или... или... я не смею закончить...

— Да,— повторила Катя, и в этот раз он ее понял. Он схватил ее большие прекрасные руки и, задыхаясь от восторга, прижал их к своему сердцу. Он едва стоял на ногах и только твердил: «Катя, Катя...», а она как-то невинно заплакала, сама тихо смеясь своим слезам. Кто не видал таких слез в глазах любимого существа, тот еще не испытал, до какой степени, замирая весь от благодарности и от стыда, может быть счастлив на земле человек.

На следующий день, рано поутру Анна Сергеевна велела позвать Базарова к себе в кабинет и с принужденным смехом подала ему сложенный листок почтовой бумаги. Это было письмо от Аркадия: он в нем просил руки ее сестры.

Базаров быстро пробежал письмо и сделал усилие над собою, чтобы не выказать злорадного чувства, которое мгновенно вспыхнуло у него в груди.

• — Вот как,— проговорил он,— а вы, кажется, не далее как вчера полагали, что он любит Катерину Сергеевну братскою любовью. Что же вы намерены теперь сделать?

— Что *вы* мне посоветуете? — спросила Анна Сергеевна, продолжая смеяться.

— Да я полагаю,— ответил Базаров тоже со смехом, хотя ему вовсе не было весело и нисколько не хотелось смеяться, так же как и ей,— я полагаю, следует благословить молодых людей. Партия во всех отношениях хорошая; состояние у Кирсанова изрядное, он один сын у отца, да и отец добрый малый, прекословить не будет.

Одинцова прошла по комнате. Ее лицо попеременно краснело и бледнело.

— Вы думаете? — промолвила она.— Что ж? я не вижу препятствий... Я рада за Катю... и за Аркадия Николаича. Разумеется, я подожду ответа отца. Я его самого к нему пошлю. Но вот и выходит, что я была права вчера, когда я говорила вам, что мы оба уже старые люди... Как это я ничего не видала? Это меня удивляет!

Анна Сергеевна опять засмеялась и тотчас же отвортилась.

— Нынешняя молодежь больно хитра стала,— заметил Базаров и тоже засмеялся.— Прощайте,— заговорил он опять после небольшого молчания.— Желаю вам окончить это дело самым приятным образом; а я издали порадуюсь.

Одинцова быстро повернулась к нему.

— Разве вы уезжаете? Отчего же вам *теперь* не остаться? Оставайтесь... с вами говорить весело... точно по краю пропасти ходишь. Сперва робеешь, а потом откуда смелость возьметсЯ. Оставайтесь.

— Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуться в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка поддерживала его бледное лицо. «Этот меня любил!» — подумала она — и жалко ей стало его, и с участием протянула она ему Руку.

Но и он ее понял.

— Нет! — сказал он и отступил на шаг назад.— Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и будьте здоровы.

— Я убеждена, что мы не в последний раз видимся,— произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

— Чего на свете не бывает! — ответил Базаров, поклонился и вышел.

— Так ты задумал гнездо себе свить? — говорил он в тот же день Аркадию, укладывая на корточках свой чемодан. — Что ж? дело хорошее. Только напрасно ты лукавил. Я ждал от тебя совсем другой дирекции. Или, может быть, это тебя самого огорчило?

— Я точно этого не ожидал, когда расставался с тобою, — ответил Аркадий, — но зачем ты сам лукавишь и говоришь: «дело хорошее», точно мне неизвестно твое мнение о браке?

— Эх, друг любезный! — проговорил Базаров, — как ты выражаешься! Видишь, что я делаю: в чемодане оказалось пустое место, и я кладу туда сено; так и в жизненном нашем чемодане; чем бы его ни набили, лишь бы пустоты не было. Не обижайся, пожалуйста: ты ведь, вероятно, помнишь, какого я всегда был мнения о Катерине Сергеевне. Иная барышня только оттого и слывет умною, что умно вздыхает; а твоя за себя постоит, да и так постоит, что и тебя в руки заберет, — ну, да это так и следует. — Он захлопнул крышку и приподнялся с полу. — А теперь повторяю тебе на прощанье... потому что обманываться нечего: мы прощаемся навсегда, и ты сам это чувствуешь... ты поступил умно; для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не создан. В тебе нет ни дерзости, ни злости, а есть молодая смелость да молодой задор; для нашего дела это не годится. Ваш брат дворянин дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не может, а это пустяки. Вы, например, не деретесь — и уж воображаете себя молодцами, — а мы драться хотим. Да что! Наша пыль тебе глаза выест, наша грязь тебя замарает, да ты и не дорос до нас, ты невольно любишь собою, тебе приятно самого себя бранить; а нам это скучно — нам других подавай! нам других ломать надо! Ты славный малый; но ты все-таки мякенький, либеральный барич — э *волату*, как выражается мой родитель.

— Ты навсегда прощаешься со мною, Евгений, — печально промолвил Аркадий, — и у тебя нет других слов для меня?

Базаров почесал у себя в затылке.

— Есть, Аркадий, есть у меня другие слова, только я их не выскажу, потому что это романтизм, — это значит: рассыропиться. А ты поскорее женись; да своим гнездом обзаведись, да надей детей побольше. Умницы они будут уже потому, что вовремя они родятся, не то что мы с тобой. Эге! я вижу, лошади готовы. Пора! Со всеми я простился... Ну что ж? обняться, что ли?

Аркадий бросился на шею к своему бывшему наставнику и другу, и слезы так и брызнули у него из глаз.

— Что значит молодость! — произнес спокойно Базаров. — Да я на Катерину Сергеевну надеюсь. Посмотри, как живо она тебя утешит!

— Прощай, брат! — сказал он Аркадию, уже взобравшись на телегу, и, указав на пару галок, сидевших рядышком на крыше конюшни, прибавил: — Вот тебе! изучай!

— Это что значит? — спросил Аркадий.

— Как? Разве ты так плох в естественной истории или забыл, что галка самая почтенная, семейная птица? Тебе пример!.. Прощайте, синьор!

Телега задрезжалась и покатилась.

Базаров сказал правду. Разговаривая вечером с Катей, Аркадий совершенно позабыл о своем наставнике. Он уже начинал подчиняться ей, и Катя это чувствовала и не удивлялась. Он должен был на следующий день ехать в Марьино, к Николаю Петровичу. Анна Сергеевна не хотела стеснять молодых людей и только для приличия не оставляла их слишком долго наедине. Она великодушно удалила от них княжну, которую известие о предстоящем браке привело в слезливую ярость. Сначала Анна Сергеевна боялась, как бы зрелище их счастья не показалось ей самой немного тягостным; но вышло совершенно напротив: это зрелище не только не отягощало ее, оно ее занимало, оно ее умилило наконец. Анна Сергеевна этому и обрадовалась и опечалилась. «Видно, прав Базаров,— подумала она,— любопытство, одно любопытство, и любовь к покою, и эгоизм...»*

— Дети! — промолвила она громко,— что, любовь чувство напускное?

ч

Но ни Катя, ни Аркадий ее даже не поняли. Они ее дичились; невольно подслушанный разговор не выходил у них из головы. Впрочем, Анна Сергеевна скоро успокоила их; и это было ей не трудно: она успокоилась сама.

XXVII

Старики Базаровы тем больше обрадовались внезапному приезду сына, чем меньше они его ожидали. Арина Власьевна до того переполошилась и взбегалась по дому, что Василий Иванович сравнил ее с «куропатницей»: кушый хвостик ее коротенькой кофточки действительно придавал ей нечто птичье. А сам он только мычал да покусывал сбоку янтарчик своего чубука да, прихватив шею пальцами, вертел головою, точно пробовал, хорошо ли она у него привинчена, и вдруг разевал широкий рот и хохотал безо всякого шума.

— Як тебе на целых шесть недель приехал, старина,— сказал ему Базаров,— я работать хочу, так ты уж, пожалуйста, не мешай мне.

— Физиономию мою забудешь, вот как я тебе мешать буду! — отвечал Василий Иванович.

Он сдержал свое обещание. Поместив сына по-прежнему в кабинет, он только что не прятался от него и жену свою удерживал от всяких лишних изъявлений нежности. «Мы, матушка

моя,— говорил он ей,— в первый приезд Енюшки ему надоедали маленько: теперь надо быть умней». Арина Власьевна соглашалась с мужем, но немного от этого выигрывала, потому что видела сына только за столом и окончательно боялась с ним заговаривать. «Енюшенька!» — бывало скажет она,— а тот еще не успеет оглянуться, как уж она перебирает шнурками ридикюля и лепечет: «Ничего, ничего, я так»,— а потом отправится к Василию Ивановичу и говорит ему, подперши щеку: «Как бы, голубчик, узнать: чего Енюша желает сегодня к обеду, шей или борщу?» — «Да что ж ты у него сама не спросила?» — «А надо ем!» Впрочем, Базаров скоро сам перестал запираяться: лихорадка работы с него *соскочила* и заменилась тоскливою скукой и глухим беспокойством. Странная усталость замечалась во всех его движениях, даже походка его, твердая и стремительно смелая, изменилась. Он перестал гулять в одиночку и начал искать общества; пил чай в гостиной, бродил по огороду с Василием Ивановичем и курил с ним «в молчанку»; осведомился однажды об отце Алексее. Василий Иванович сперва обрадовался этой перемене, но радость его была непродолжительна. «Енюша меня сокрушает,— жаловался он втихомолку жене,— он не то что недоволен или сердит, это бы еще ничего; он огорчен, он грустен — вот что ужасно. Всё молчит, хоть бы побранил нас с тобою; худеет, цвет лица такой нехороший». — «Господи, Господи! — шептала старушка,— надела бы я ему ладанку на шею, да ведь он не позволит». Василий Иванович несколько раз пытался самым осторожным образом расспросить Базарова об его работе, об его здоровье, об Аркадии... Но Базаров отвечал ему нехотя и небрежно и однажды, заметив, что отец в разговоре понемножку подо что-то подбирается, с досадой сказал ему: «Что ты всё около меня словно на цыпочках ходишь? Эта манера еще хуже прежней». — «Ну, ну, ну, я ничего!» — поспешно отвечал бедный Василий Иванович. Так же бесплодны остались его политические намеки. Заговорив однажды, по поводу близкого освобождения крестьян, о прогрессе, он надеялся возбудить сочувствие своего сына; но тот равнодушно промолвил: «Вчера я прохожу мимо забора и слышу, здешние крестьянские мальчишки, вместо какой-нибудь старой песни, горланят: *Время верное приходит, сердце чувствует любовь...* Вот тебе и прогресс».

Иногда Базаров отправлялся на деревню и, подтрунивая по обыкновению, вступал в беседу с каким-нибудь мужиком. «Ну,— говорил он ему,— излагай мне свои воззрения на жизнь, братец: ведь в вас, говорят, вся сила и будущность России, от вас начнется новая эпоха в истории,— вы нам дадите и язык настоящий и законы». Мужик либо не отвечал ничего, либо произносил слова вроде следующих: «А мы можем... тоже, потому, значит... какой положон у нас, примерно, придел». — «Ты мне растолкуй, что такое есть ваш мир? — перебивал его Базаров,— и тот ли это самый мир, что на трех рыбах стоит?»

— Это, батюшка, земля стоит на трех рыбах,— успокоительно, с патриархально-добродушною певучестью объяснял мужик,— а против нашего, то есть, миру, известно, господская воля; потому вы наши отцы. А чем строже барин взыщет, тем милее мужику.

Выслушав подобную речь, Базаров однажды презрительно пожал плечами и отвернулся, а мужик побрел восвояси.

— О чем толковал? — спросил у него другой мужик средних лет и угрюмого вида, издали, с порога своей избы, присутствовавший при беседе его с Базаровым.— О недоимке, что ль?

— Какое о недоимке, братец ты мой! — отвечал первый мужик, и в голосе его уже не было следа патриархальной певучести, а, напротив, слышалась какая-то небрежная суровость,— так, болтал кое-что; язык почесать захотелось. Известно, барин; разве он что понимает?

— Где понять! — отвечал другой мужик, и, тряхнув шапками и осунув кушаки, оба они принялись рассуждать о своих делах и нуждах. Увы! презрительно пожимавший плечом, умевший говорить с мужиками Базаров (как хвалился он в споре с Павлом Петровичем), этот самоуверенный Базаров и не подозревал, что он в их глазах был все-таки чем-то вроде шута горохового...

Впрочем, он нашел, наконец, себе занятие. Однажды, в его присутствии, Василий Иванович перевязывал мужику раненую ногу, но руки тряслись у старика, и он не мог справиться с бинтами; сын ему помог и с тех пор стал участвовать в его практике, не переставая в то же время подсмеиваться и над средствами, которые сам же советовал, и над отцом, который тотчас же пускал их в ход. Но насмешки Базарова несколько не смущали Василия Ивановича; они даже утешали его. Придерживая свой засаленный шлафрок двумя пальцами на желудке и покуривая трубочку, он с наслаждением слушал Базарова, и чем больше злости было в его выходках, тем добродушнее хохотал, выказывая все свои черные зубы до единого, его осчастливленный отец. Он даже повторял эти, иногда тупые или бессмысленные, выходки и, например, в течение нескольких дней, ни к селу ни к городу, всё твердил: «Ну, это дело девятое!» — потому только, что сын его, узнав, что он ходил к заутрене, употребил это выражение. «Слава Богу! перестал хандрить! — шептал он своей супруге.— Как отделал меня сегодня, чудо!» Зато мысль, что он имеет такого помощника, приводила его в восторг, наполняя его гордостью. «Да, да,— говорил он какой-нибудь бабе в мужском армяке и рогатой кичке, вручая ей склянку Гулярдовой воды или банку беленной мази,— ты, голубушка, должна ежеминутно Бога благодарить за то, что сын мой у меня гостит: по самой научной и новейшей методе тебя лечат теперь, понимаешь ли ты это? Император французов, Наполеон, и тот не имеет лучшего врача». А баба, которая приходила жаловаться, что ее «на колотики подняло» (значения этих слов она, впрочем, сама растолковать

не умела), только кланялась и лезла за пазуху, где у ней лежали четыре яйца, завернутые в конец полотенца.

Базаров раз даже вырвал зуб у заезжего разносчика с красным товаром, и, хотя этот зуб принадлежал к числу обыкновенных, однако Василий Иванович сохранил его как редкость и, показывая его отцу Алексею, беспрестанно повторял:

— Вы посмотрите, что за корни! Этакая сила у Евгения! Красноярец так на воздух и поднялся... Мне кажется, дуб и тот бы вылетел вон!..

— Похвально! — промолвил, наконец, отец Алексей, не зная, что отвечать и как отделаться от пришедшего в экстаз старика.

Однажды мужичок соседней деревни привез к Василию Ивановичу своего брата, больного тифом. Лежа ничком на связке соломы, несчастный умирал; темные пятна покрывали его тело, он давно потерял сознание. Василий Иванович изъявил сожаление о том, что никто раньше не вздумал обратиться к помощи медицины, и объявил, что спасения нет. Действительно, мужичок не довез своего брата до дома: он так и умер в телеге.

Дня три спустя Базаров вошел к отцу в комнату и спросил, нет ли у него адского камня¹?

— Есть; на что тебе?

— Нужно... ранку прижечь.

— Кому?

— Себе.

— Как, себе! Зачем же это? Какая это ранка? Где она?

— Вот тут, на пальце. Я сегодня ездил в деревню, знаешь — откуда тифозного мужика привозили. Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно в этом не упражнялся.

— Ну?

— Ну, вот я и попросил уездного врача; ну, и порезался.

Василий Иванович вдруг побледнел весь и, ни слова не говоря, бросился в кабинет, откуда тотчас же вернулся с кусочком адского камня в руке. Базаров хотел было взять его и уйти.

— Ради самого Бога, — промолвил Василий Иванович, — позволь мне это сделать самому.

Базаров усмехнулся.

— Экой ты охотник до практики!

— Не шути, пожалуйста. Покажи свой палец. Ранка-то не велика. Не больно?

— Напирай сильнее, не бойся.

Василий Иванович остановился.

— Как ты полагаешь, Евгений, не лучше ли нам прижечь железом?

— Это бы раньше надо сделать; а теперь, по-настоящему,

¹ Ляпис, употребляемый в медицине для прижигания ран в целях их обеззараживания.

и адский камень не нужен. Если я заразился, так уж теперь поздно.

— Как... поздно...— едва мог произнести Василий Иванович.

— Еще бы! с тех пор четыре часа прошло с лишком.

Василий Иванович еще немного прижег ранку.

— Да разве у уездного лекаря не было адского камня?

— Не было.

— Как же это, Боже мой! Врач — и не имеет такой необходимой вещи!

— Ты бы посмотрел на его ланцеты,— промолвил Базаров и вышел вон.

До самого вечера и в течение всего следующего дня Василий Иванович придирался ко всем возможным предложениям, чтобы входить в комнату сына, и хотя он не только не упоминал об его ране, но даже старался говорить о самых посторонних предметах, однако он так настойчиво заглядывал ему в глаза и так тревожно наблюдал за ним, что Базаров потерял терпение и погрозился уехать. Василий Иванович дал ему слово не беспокоиться, тем более что и Арина Власьевна, от которой он, разумеется, все скрыл, начинала приставать к нему, зачем он не спит и что с ним такое подеялось? Целых два дня он крепился, хотя вид сына, на которого он всё посматривал украдкой, ему очень не нравился... но на третий день за обедом не выдержал. Базаров сидел потупившись и не касался ни до одного блюда.

— Отчего ты не ешь, Евгений? — спросил он, придав своему лицу самое беззаботное выражение.— Кушанье, кажется, хорошо сготовлено.

— Не хочется, так и не ем.

— У тебя аппетита нету? А голова? — прибавил он робким голосом,— болит?

— Болит. Отчего ей не болеть?

Арина Власьевна выпрямилась и насторожилась.

— Не рассердись, пожалуйста, Евгений,— продолжал Василий Иванович,— но не позволишь ли ты мне пульс у тебя пощупать?

Базаров приподнялся.

— Я и не шупая скажу тебе, что у меня жар.

— И озноб был?

— Был и озноб. Пойду прилягу, а вы мне пришлите липового чаю. Простудился, должно быть.

— То-то я слышала, ты сегодня ночью кашлял,— промолвила Арина Власьевна.

— Простудился,— повторил Базаров и удалился.

Арина Власьевна занялась приготовлением чаю из липового цветку, а Василий Иванович вошел в соседнюю комнату и молча схватил себя за волосы.

Базаров уже не вставал в тот день и всю ночь провел в тяжелой, позабывчивой дремоте. Часу в первом утра он, с усилием

раскрыв глаза, увидел над собою при свете лампадки бледное лицо отца и велел ему уйти; тот повиновался, но тотчас же вернулся на цыпочках и, до половины заслонившись дверцами шкафа, неотвратно глядел на своего сына. Арина Власьевна тоже не ложилась и, чуть отворив дверь кабинета, то и дело подходила послушать, «как дышит Енюша», и посмотреть на Василия Ивановича. Она могла видеть одну его неподвижную, сгорбленную спину, но и это ей доставляло некоторое облегчение. Утром Базаров попытался встать; голова у него закружилась, кровь пошла носом; он лег опять. Василий Иванович молча ему прислушивал; Арина Власьевна вошла к нему и спросила его, как он себя чувствует. Он отвечал: «Лучше» — и повернулся к стене. Василий Иванович замахал на жену обеими руками; она закусила губу, чтобы не заплакать, и вышла вон. Всё в доме вдруг словно потемнело; все лица вытянулись, сделалась странная тишина; со двора унесли на деревню какого-то горластого петуха, который долго не мог понять, зачем с ним так поступают. Базаров продолжал лежать, уткнувшись в стену. Василий Иванович пытался обращаться к нему с разными вопросами, но они утомляли Базарова, и старик замер в своих креслах, только изредка хрустя пальцами. Он отправлялся на несколько мгновений в сад, стоял там как истукан, словно пораженный несказанным изумлением (выражение изумления вообще не сходило у него с лица), и возвращался снова к сыну, стараясь избежать расспросов жены. Она наконец схватила его за руку и судорожно, почти с угрозой, промолвила: «Да что с ним?» Тут он спохватился и принудил себя улыбнуться ей в ответ; но, к собственному ужасу, вместо улыбки у него откуда-то взялся смех. За доктором он послал с утра. Он почел нужным предупредить об этом сына, чтобы тот как-нибудь не рассердился.

Базаров вдруг повернулся на диване, пристально и тупо посмотрел на отца и попросил напиться.

Василий Иванович подал ему воды и кстати пощупал его лоб. Он так и пылал.

— Старина, — начал Базаров сиплым и медленным голосом, — дело мое дрянное. Я заражен, и через несколько дней ты меня хоронить будешь.

Василий Иванович пошатнулся, словно кто по ногам его ударил.

— Евгений! — пролепетал он, — что ты это!.. Бог с тобою! Ты простудился...

— Полно, — не спеша перебил его Базаров. — Врачу позволительно так говорить. Все признаки заражения, ты сам знаешь.

— Где же признаки... заражения, Евгений?., помилуй!

— А это что? — промолвил Базаров и, приподняв рукав рубашки, показал отцу выступившие зловещие красные пятна.

Василий Иванович дрогнул и похолодел от страха.

— Положим,— сказал он наконец,— положим... если... если даже что-нибудь вроде... заражения...

— Пиэмии,— подсказал сын.

— Ну да... вроде... эпидемии...

— *Пиэмии*¹, — сурово и отчетливо повторил Базаров.— Аль уж позабыл свои тетрадки?

— Ну да, да, как тебе угодно... А все-таки мы тебя вылечим!

— Ну, это дудки. Но не в том дело. Я не ожидал, что так скоро умру; это случайность, очень, по правде сказать, неприятная. Вы оба с матерью должны теперь воспользоваться тем, что в вас религия сильна; вот вам случай поставить ее на пробу.— Он отпил еще немного воды.— А я хочу попросить тебя об одной вещи... пока еще моя голова в моей власти. Завтра или послезавтра мозг мой, ты знаешь, в отставку подаст. Я и теперь не совсем уверен, ясно ли я выражаюсь. Пока я лежал, мне всё казалось, что вокруг меня красные собаки бегали, а ты надо мной стойку делал, как над тетеревом. Точно я пьяный. Ты хорошо меня понимаешь?

— Помилуй, Евгений, ты говоришь совершенно как следует.

— Тем лучше; ты мне сказал, ты послал за доктором... Этим ты себя потешил... потешь и меня: пошли ты нарочного...

— К Аркадию Николаичу,— подхватил старик.

— Кто такой Аркадий Николаич? — проговорил Базаров как бы в раздумье.— Ах да! птенец этот! Нет, ты его не трогай: он теперь в галки попал. Не удивляйся, это еще не бред. А ты пошли нарочного к Одинцовой, Анне Сергеевне, тут есть такая помещица... Знаешь? (Василий Иванович кивнул головой.) Евгений, мол, Базаров кланяться велел и велел сказать, что умирает. Ты это исполнишь?

— Исполню... Только возможное ли это дело, чтобы ты умер, ты, Евгений... Сам посуди! Где ж после этого будет справедливость?

— Этого я не знаю; а только ты нарочного пошли.

— Сию минуту пошлю, и сам письмо напишу.

— Нет, зачем; скажи, что кланяться велел, больше ничего не нужно. А теперь я опять к моим собакам. Странно! хочу остановить мысль на смерти, и ничего не выходит. Вижу какое-то пяно... и больше ничего.

Он опять тяжело повернулся к стене; а Василий Иванович вышел из кабинета и, добравшись до жениной спальни, так и рухнулся на колени перед образами.

— Молись, Арина, молись! — простонал он,— наш сын умирает.

Доктор, тот самый уездный лекарь, у которого не нашлось адского камня, приехал и, осмотрев больного, посоветовал дер-

¹ *Пиэмия* (гноскровие) — заболевание от поступления в кровь микробов, вызывающих нагноение.

жаться методы выжидающей и тут же сказал несколько слов о возможности выздоровления.

— А вам случалось видеть, что люди в моем положении *не* отправляются в Елисейские? — спросил Базаров и, внезапно схватив за ножку тяжелый стол, стоявший возле дивана, потряс его и сдвинул с места.

— Сила-то, сила, — промолвил он, — вся еще тут, а надо умирать!.. Старик, тот по крайней мере успел отвыкнуть от жизни, а я... Да, поди попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает, и баста! Кто там плачет? — прибавил он, погода немного. — Мать? Бедная! Кого-то она будет кормить теперь своим удивительным борщом? А ты, Василий Иванович, тоже, кажется, нюнишь? Ну, коли христианство не помогает, будь философом, стоиком, что ли! Ведь ты хвастался, что ты философ?

— Какой я философ! — завопил Василий Иванович, и слезы так и закапали по его щекам.

Базарову становилось хуже с каждым часом; болезнь приняла быстрый ход, что обыкновенно случается при хирургических отравках. Он еще не потерял памяти и понимал, что ему говорили; он еще боролся. «Не хочу бредить, — шептал он, сжимая кулаки, — что за вздор!» И тут же говорил: «Ну, из восьми вычесть десять, сколько выйдет?» — Василий Иванович ходил как помешанный, предлагал то одно средство, то другое и только и делал, что покрывал сыну ноги. «Обернуть в холодные простыни... рвотное... горчишники к желудку... кровопускание», — говорил он с напряжением. Доктор, которого он умолил остаться, ему подкакивал, поил больного лимонадом, а для себя просил то трубочки, то «укрепляющего-согревающего», то есть водки. Арина Власьевна сидела на низенькой скамеечке возле двери и только по временам уходила молиться; несколько дней тому назад туалетное зеркальце выскользнуло у ней из рук и разбилось, а это она всегда считала худым предзнаменованием; сама Анф,йсушка ничего не умела сказать ей. Тимофеич отправился к Одинцовой.

Ночь была не хороша для Базарова... Жестокий жар его мучил. К утру ему полегчило. Он попросил, чтоб Арина Власьевна его причесала, поцеловал у ней руку и выпил глотка два чаю. Василий Иванович оживился немного.

— Слава Богу! — твердил он, — наступил кризис... прошел кризис.

— Эка, подумаешь! — промолвил Базаров, — слово-то что значит! Нашел его, сказал: «кризис» — и утешен. Удивительное дело, как человек еще верит в слова. Скажут ему, например, дурака и не прибьют, еще опечалится; назовут его умницей и денег ему не дадут — он почувствует удовольствие.

Эта маленькая речь Базарова, напоминавшая его прежние «выходки», привела Василия Ивановича в умиление.

— Bravo! прекрасно сказано, прекрасно! — воскликнул он, показывая вид, что бьет в ладоши.

Базаров печально усмехнулся.

— Так как же, по-твоему,— промолвил он,— кризис прошел или наступил?

— Тебе лучше, вот что я вижу, вот что меня радует,— отвечал Василий Иванович.

— Ну, и прекрасно; радоваться всегда не худо. А к той, помнишь? послал?

— Послал, как же.

Перемена к лучшему продолжалась недолго. Приступы болезни возобновились. Василий Иванович сидел подле Базарова. Казалось, какая-то особенная мука терзала старика. Он несколько раз собирался говорить — и не мог.

— Евгений! — произнес он наконец,— сын мой, дорогой мой, милый сын!

Это необычайное воззвание подействовало на Базарова... Он повернул немного голову и, видимо стараясь выбиться из-под бремени давившего его забвения, произнес:

— Что, мой отец?

— Евгений,— продолжал Василий Иванович и опустил на колени перед Базаровым, хотя тот не раскрывал глаз и не мог его видеть.— Евгений, тебе теперь лучше; ты, Бог даст, выздоровеешь; но воспользуйся этим временем, утешь нас с матерью, исполни долг христианина! Каково-то мне это тебе говорить, это ужасно; но еще ужаснее... ведь навек, Евгений... ты подумай, каково-то...

Голос старика перервался, а по лицу его сына, хотя он и продолжал лежать с закрытыми глазами, проползло что-то странное.

— Я не отказываюсь, если это может вас утешить,— промолвил он наконец,— но мне кажется, спешить еще не к чему. Ты сам говоришь, что мне лучше.

— Лучше, Евгений, лучше; но кто знает, ведь это всё в Божьей воле, а исполнивши долг...

— Нет, я подожду,— перебил Базаров.— Я согласен с тобою, что наступил кризис. А если мы с тобой ошиблись, что ж! ведь и беспмятных причащают.

— Помилуй, Евгений...

— Я подожду. А теперь я хочу спать. Не мешай мне.

И он положил голову на прежнее место.

Старик поднялся, сел на кресло и, взявшись за подбородок, стал кусать себе пальцы...

Стук рессорного экипажа, тот стук, который так особенно заметен в деревенской глуши, внезапно поразил его слух. Ближе, ближе катились легкие колеса; вот уже послышалось фырканье лошадей... Василий Иванович вскочил и бросился к окошку. На двор его домика, запряженная четверней, въезжала двухместная карета. Не давая себе отчета, что бы это могло значить, в порыве какой-то бессмысленной радости, он выбежал

на крыльцо... Ливрейный лакей отворял дверцы кареты; дама под черным вуалем, в черной мантилье, выходила из нее...

— Я Одинцова,— промолвила она.— Евгений Васильевич жив? Вы его отец? Я привезла с собой доктора.

— Благодетельница! — воскликнул Василий Иванович и, схватив ее руку, судорожно прижал ее к своим губам, между тем как привезенный Анной Сергеевной доктор, маленький человек в очках, с немецкою физиономией, вылезал не торопясь из кареты.— Жив еще, жив мой Евгений и теперь будет спасен! Жена! жена!.. К нам ангел с неба...

— Что такое, Господи! — пролепетала, выбегая из гостиной, старушка и, ничего не понимая, тут же в передней упала к ногам Анны Сергеевны и начала, как безумная, целовать ее платье.

— Что вы! что вы! — твердила Анна Сергеевна; но Арина Власьевна ее не слушала, а Василий Иванович только повторял: «Ангел! ангел!»

— Wo ist der Kranke?¹ И где же есть пациент? — проговорил наконец доктор не без некоторого негодования.

Василий Иванович опомнился.

— Здесь, здесь, пожалуйста за мной, *wertester herr kollega*²,— прибавил он по старой памяти.

— Э! — произнес немец и кисло осклабился.

Василий Иванович привел его в кабинет.

— Доктор от Анны Сергеевны Одинцовой,— сказал он, наклоняясь к самому уху своего сына,— и она сама здесь.

Базаров вдруг раскрыл глаза:

— Что ты сказал?

— Я говорю, что Анна Сергеевна Одинцова здесь и привезла к тебе сего господина доктора.

Базаров повел вокруг себя глазами.

— Она здесь... я хочу ее видеть.

— Ты ее увидишь, Евгений; но сперва надобно побеседовать с господином доктором. Я им расскажу всю историю болезни, так как Сидор Сидорыч уехал (так звали уездного врача), и мы сделаем маленькую консультацию.

Базаров взглянул на немца:

— Ну, беседуйте скорее, только не по-латыни; я ведь понимаю, что значит: *jam moritur*³.

— *Der Herr scheint des Deutschen machtig zu sein*⁴,— начал новый питомец Эскулапа, обращаясь к Василию Ивановичу.

— *Их... габе...*⁵ — говорите уж лучше по-русски,— промолвил старик.

¹ Где больной? (*нем.*).

² Уважаемый коллега (*wertester Herr Coilega — нем.*).

³ уже умирает (*лат.*).

⁴ Сударь, по-видимому, владеет немецким языком (*нем.*).

⁵ Я ... имею... (*Ich habe — нем.*).

— А, а! *так это фот как это...* Пошалуй...

И консультация началась.

Полчаса спустя Анна Сергеевна в сопровождении Василия Ивановича вошла в кабинет. Доктор успел шепнуть ей, что нечего и думать о выздоровлении больного.

Она взглянула на Базарова... и остановилась у двери, до того поразило ее это воспаленное и в то же время мертвенное лицо с устремленными на нее мутными глазами. Она просто испугалась каким-то холодным и томительным испугом; мысль, что она не то бы почувствовала, если бы точно его любила — мгновенно сверкнула у ней в голове.

— Спасибо,— усиленно заговорил он,— я этого не ожидал. Это доброе дело. Вот мы еще раз и увиделись, как вы обещали.

— Анна Сергеевна так была добра...— начал Василий Иванович.

— Отец, оставь нас.— Анна Сергеевна, вы позволяете? Кажется, теперь...

Он указал головою на свое распростертое бессильное тело. Василий Иванович вышел.

— Ну, спасибо,— повторил Базаров.— Это по-царски. Говорят, цари тоже посещают умирающих.

— Евгений Васильич, я надеюсь...

— Эх, Анна Сергеевна, станемте говорить правду. Со мной кончено. Попал под колесо. И выходит, что нечего было думать о будущем. Старая штука смерть, а каждому внове. До сих пор не трушу... а там придет беспамятство, и *фюить!* (Он слабо махнул рукой.) Ну, что ж мне вам сказать... я любил вас! Это и прежде не имело никакого смысла, а теперь подавно. Любовь — форма, а моя собственная форма уже разлагается. Скажу я лучше, что — какая вы славная! И теперь вот вы стоите, такая красивая...

Анна Сергеевна невольно содрогнулась.

— Ничего, не тревожьтесь... сядьте там... Не подходите ко мне: ведь моя болезнь заразительная.

Анна Сергеевна быстро перешла комнату и села на кресло возле дивана, на котором лежал Базаров.

— Великодушная! — шепнул он.— Ох, как близко, и какая молодая, свежая, чистая... в этой гадкой комнате!.. Ну, прощайте! Живите долго, это лучше всего, и пользуйтесь, пока время. Вы посмотрите, что за безобразное зрелище: червяк полураздавленный, а еще топорщится. И ведь тоже думал: обломаю дел много, не умру, куда! задача есть, ведь я гигант! А теперь вся задача гиганта — как бы умереть прилично, хотя никому до этого дела нет... Всё равно: вилять хвостом не стану.

Базаров умолк и стал ощупывать рукой свой стакан. Анна Сергеевна подала ему напиток, не снимая перчаток и боязливо дыша.

— Меня вы забудете,— начал он опять,— мертвый живому

не товарищ. Отец вам будет говорить, что вот, мол, какого человека Россия теряет... Это чепуха; но не разубеждайте старика. Чем бы дитя не тешилось... вы знаете. И мать приласкайте. Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днем с огнем не сыскать... Я нужен России... Нет, видно, не нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен, мясник... мясо продает... мясник... постойте, я путаюсь... Тут есть лес...

Базаров положил руку на лоб.

Анна Сергеевна наклонилась к нему.

— Евгений Васильевич, я здесь...

Он разом принял руку и приподнялся.

— Прощайте,— проговорил он с внезапной силой, и глаза его блеснули последним блеском.— Прощайте... Послушайте... ведь я вас не поцеловал тогда... Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет...

Анна Сергеевна приложила губами к его лбу.

— И довольно! — промолвил он и опустил на подушку.— Теперь... темнота...

Анна Сергеевна тихо вышла.

— Что? — спросил ее шёпотом Василий Иванович.

— Он заснул,— отвечала она чуть слышно.

Базарову уже не суждено было просыпаться. К вечеру он впал в совершенное беспамятство, а на следующий день умер. Отец Алексей совершил над ним обряды религии. Когда его соборовали, когда святое миро коснулось его груди, один глаз его раскрылся, и, казалось, при виде священника в облачении, дымящегося кадила, свеч перед образом что-то похожее на содрогание ужаса мгновенно отразилось на помертвелом лице. Когда же, наконец, он испустил последний вздох и в доме поднялось всеобщее стенание, Василием Ивановичем обуяло внезапное иступление. «Я говорил, что я возропшу,— хрипло кричал он, с пылающим, перекошенным лицом, потрясая в воздухе кулаком, как бы грозя кому-то,— и возропшу, возропшу!» Но Арина Власьева, вся в слезах, повисла у него на шее, и оба вместе пали ниц. «Так,— рассказывала потом в людской Анфисушка,— рядышком и понурили свои головки, словно овечки в полдень...»

Но полуденный зной проходит, и настает вечер и ночь, а там и возвращение в тихое убежище, где сладко спится измученным и усталым...

XXVIII

Прошло шесть месяцев. Стояла белая зима с жестокою тишиной безоблачных морозов, плотным, скрипучим снегом, розовым инеем на деревьях, бледно-изумрудным небом, шапками дыма над трубами, клубами пара из мгновенно раскрытых дверей, свежими, словно укушенными лицами людей и хлопотливым бегом продрогших лошадок. Январский день уже приближался

к концу; вечерний холод еще сильнее стискивал недвижимый воздух, и быстро гасла кровавая заря. В окнах марьянского дома зажигались огни; Прокофьич, в черном фраке и белых перчатках, с особенною торжественностию накрывал стол на семь приборов. Неделю тому назад, в небольшой приходской церкви, тихо и почти без свидетелей состоялись две свадьбы: Аркадия с Катей и Николая Петровича с Фенечкой; а в самый тот день Николай Петрович давал прощальный обед своему брату, который отправлялся по делам в Москву. Анна Сергеевна уехала туда же тотчас после свадьбы, щедро наделив молодых.

Ровно в три часа все собрались к столу. Митю поместили тут же; у него уже появилась нянюшка в глазетовом кокошнике. Павел Петрович восседал между Катей и Фенечкой; «мужья» пристроились возле своих жен. Знакомцы наши изменились в последнее время: все как будто похорошело и возмужало; один Павел Петрович похудел, что, впрочем, придавало еще больше изящества и *грансеньюрист*ва его выразительным чертам... Да и Фенечка стала другая. В свежем шелковом платье, с широкою бархатною наколкой на волосах, с золотою цепочкой на шее, она сидела почтительно-неподвижно, почтительно к самой себе, ко всему, что ее окружало, и так улыбалась, как будто хотела сказать: «Вы меня извините, я не виновата». И не она одна — другие все улыбались и тоже как будто извинялись; всем было немножко неловко, немножко грустно и в сущности очень хорошо. Каждый прислуживал другому с забавною предупредительностию, точно все согласились разыграть какую-то простодушную комедию. Катя была спокойнее всех: она доверчиво посматривала вокруг себя, и можно было заметить, что Николай Петрович успел уже полюбить ее без памяти. Перед концом обеда он встал и, взяв бокал в руки, обратился к Павлу Петровичу:

— Ты нас покидаешь... ты нас покидаешь, милый брат, — начал он, — конечно, ненадолго; но всё же я не могу не выразить тебе, что я... что мы... сколь я... сколь мы... Вот в том-то и беда, что мы не умеем говорить спичи! Аркадий, скажи ты.

— Нет, папаша, я не приготавливался.

— А я хорошо приготовился! Просто, брат, позволь тебя обнять, пожелать тебе всего хорошего, и вернись к нам поскорее!

Павел Петрович облобызался со всеми, не исключая, разумеется, Мити; у Фенечки он, сверх того, поцеловал руку, которую та еще не умела подавать как следует, и, выпивая вторично налитый бокал, промолвил с глубоким вздохом: «Будьте счастливы, друзья мои! Farewell!»¹ Этот английский хвостик прошел незамеченным, но все были тронуты.

— В память Базарова, — шепнула Катя на ухо своему мужу и чокнулась с ним. Аркадий в ответ пожал ей крепко руку, но не решился громко предложить этот тост.

¹ Прощайте! (англ.).

Казалось бы, конец? Но, быть может, кто-нибудь из читателей пожелает узнать, что делает теперь, именно теперь, каждое из выведенных нами лиц. Мы готовы удовлетворить его.

Анна Сергеевна недавно вышла замуж, не по любви, но по убеждению, за одного из будущих русских деятелей, человека очень умного, законника, с крепким практическим смыслом, твердою волей и замечательным даром слова,— человека еще молодого, доброго и холодного как лед. Они живут в большом ладу друг с другом и доживутся, пожалуй, до счастья... пожалуй, до любви. Княжна Х....я умерла, забытая в самый день смерти. Кирсановы, отец с сыном, поселились в Марьино. Дела их начинают поправляться. Аркадий сделался рьяным хозяином, и «ферма» уже приносит довольно значительный доход. Николай Петрович попал в мировые посредники и трудится изо всех сил; он беспрестанно разъезжает по своему участку; произносит длинные речи (он придерживается того мнения, что мужичков надо «вразумлять», то есть частым повторением одних и тех же слов доводить их до истомы) и все-таки, говоря правду, не удовлетворяет вполне ни дворян образованных, говорящих то с шиком, то с меланхолией о жакпации (произнося *ан* в нос), ни необразованных дворян, бесцеремонно бранящих «евту жг/нципацию». И для тех и для других он слишком мягок. У Катерины Сергеевны родился сын Коля, а Митя уже бегаёт молодцом и болтает речисто. Фенечка, Федосья Николаевна, после мужа и Мити никого так не обожает, как свою невестку, и когда та садится за фортепьяно, рада целый день не отходить от нее. Упомянем кстати о Петре. Он совсем ооченел от глупости и важности, произносит все *е* как *ю*: *тюпюрь*, *обюстююн*, но тоже женился и взял порядочное приданое за своей невестой, дочерью городского огородника, которая отказала двум хорошим женихам только потому, что у них часов не было: а у Петра не только были часы — у него были лаковые полусапожки.

В Дрездене, на Брюлевской террасе, между двумя и четырьмя часами, в самое фешенебельное время для прогулки, вы можете встретить человека лет около пятидесяти, уже совсем седого и как бы страдающего подагрой, но еще красивого, изящно одетого и с тем особенным отпечатком, который дается человеку одним лишь долгим пребыванием в высших слоях общества. Это Павел Петрович. Он уехал из Москвы за границу для поправления здоровья и остался на жительство в Дрездене, где знается больше с англичанами и с проезжими русскими. С англичанами он держится просто, почти скромно, но не без достоинства; они находят его немного скучным, но уважают в нем совершенного джентльмена, «*a perfect gentleman*». С русскими он развязнее, дает волю своей желчи, трунит над самим собой и над ними; но всё это выходит у него очень мило, и небрежно, и прилично. Он придерживается славянофильских воззрений: известно, что в выс-

шем свете это считается *tres distingue*¹. Он ничего русского не читает, но на письменном столе у него находится серебряная пепельница в виде мужицкого лаптя. Наши туристы очень за ним волочатся. Матвей Ильич Калязин, находящийся *vo временной оппозиции*, величаво посетил его, проезжая на богемские воды; а туземцы, с которыми он, впрочем, видится мало, чуть не благоговеют перед ним. Получить билет в придворную капеллу, в театр и т. д. никто не может так легко и скоро, как *der Herr Baron von Kirsanoff*. Он все делает добро, сколько может; он всё еще шумит, понемножку: недаром же он был некогда львом; но жить ему тяжело... тяжелей, чем он сам подозревает... Стоит взглянуть на него в русской церкви, когда, прислонясь в сторонке к стене, он задумывается и долго не шевелится, горько стиснув губы, потом вдруг опомнится и начнет почти незаметно креститься...

И/Кукшина попала за границу. Она теперь в Гейдельберге и изучает уже не естественные науки, но архитектуру, в которой, по ее словам, она открыла новые законы. Она по-прежнему yakшается с студентами, особенно с молодыми русскими физиками и химиками, которыми наполнен Гейдельберг и которые, удивляя на первых порах наивных немецких профессоров своим трезвым взглядом на вещи, впоследствии удивляют тех же самых профессоров своим совершенным бездействием и абсолютною ленью. С такими-то двумя-тремя химиками, не умеющими отличить кислорода от азота, но исполненными отрицания и самоуважения, да с великим Елисевичем Ситников, тоже готовящийся быть великим, толчется в Петербурге и, по его уверениям, продолжает «дело» Базарова. Говорят, его кто-то недавно побил, но он в долгу не остался: в одной темной статейке, тиснутой в одном темном журнальце, он намекнул, что побивший его — трус. Он называет это иронией. Отец им помыкает по-прежнему, а жена считает его дурачком... и литератором.

Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. Как почти все наши кладбища, оно являет вид печальный: окружающие его канавы давно заросли; серые деревянные кресты поникли и гниют под своими когда-то крашеными крышами; каменные плиты все сдвинуты, словно кто их подталкивает снизу; два-три ошипанных деревца едва дают скудную тень; овцы безвозбранно бродят по могилам... Но между ними есть одна, до которой не касается человек, которую не топчет животное: одни птицы садятся на нее и поют на заре. Железная ограда ее окружает; две молодые елки посажены по обоим ее концам: Евгений Базаров похоронен в этой могиле. К ней, из недалекой деревушки, часто приходят два уже дряхлых старика — муж с женою. Поддерживая друг друга, идут они отяже-

¹ весьма почтенным (фр.).

² господин барон фон Кирсанов (нем.).

левшею походкой; приблизятся к оgrade, припадут и станут на колени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын; поменяются коротким словом, пыль смахнут с камня да ветку елки поправят, и снова молятся, и не могут покинуть это место, откуда им как будто ближе до их сына, до воспоминаний о нем... Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всеильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной...

**Николай
Семенович
ЛЕСКОВ**

(1831—1895)



КРАТКАЯ БИОХРОНИКА Н. С. ЛЕСКОВА

- 4(16) февраля 1831 года Николай Семенович Лесков родился в селе Горохове Орловского уезда Орловской губернии.
- 1841—1846 — годы учебы в Орловской гимназии.
- 1847— Николай Лесков поступил на службу в Орловскую палату уголовного суда.
- 1849— будущий писатель переходит на службу в Киевскую казенную палату.
- 1857— Н. С. Лесков оставил государственную службу, перешел в Коммерческую компанию А. Я. Шкотта. По делам этого торгового дома «изъездил Россию в самых разнообразных направлениях».
- 1860— первые опубликованные статьи Н. С. Лескова в «Санкт-Петербургских новостях», «Указателе экономическом» и других изданиях.
- 1861— Н. С. Лесков становится сотрудником московской газеты «Русская речь».
- 1862— переезжает в Петербург, сотрудничает в газете «Северная пчела». В журнале «Век» опубликовано первое художественное произведение писателя — рассказ «Погасшее дело». В этом же году в «Северной пчеле» опубликованы рассказы «Разбойник», «В тарантасе».
- 1863— в журнале «Библиотека для чтения» опубликована повесть «Житие одной бабы».
- 1864— публикация «антинигилистического» романа «Некуда».
- 1865— публикация повести «Леди Макбет Мценского уезда» (журнал М. и Ф. Достоевских «Эпоха», № 1).

- 1866— в журнале «Отечественные записки» (№ 7) опубликована повесть «Воительница».
- 1868— в Малом театре впервые поставлена пьеса Лескова «Рас-точитель».
- 1870—1871— публикация романа «На ножах» (журнал «Русский вестник»).
- 1872— в журнале «Русский вестник» опубликован роман-хроника «Соборяне».
- 1873— в журнале «Русский вестник» (№ 1) напечатан рассказ «Запечатленный ангел». В течение этого же года на страницах газеты «Русский мир» печатается повесть «Очарованный странник».
- 1881— в еженедельнике «Русь» опубликован рассказ «Левша».
- 1883— в «Художественном журнале» (№ 2) опубликован рассказ «Тупейный художник».
- 1886—1891— публикация историко-религиозных легенд «Сказание о Федоре-христианине и Абраме-жидовине», «Скоморох Памфалон», «Легенда о совестном Даниле», «Лев старца Герасима», «Прекрасная Аза», «Аскалонский злодей», «Невинный Пруденций».
- 1895, 21 февраля (5 марта) Николай Семенович Лесков скончался в Петербурге.

ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мы плыли по Ладожскому озеру от острова Коневца к Валааму¹ и на пути зашли по корабельной надобности в пристань к Кореле. Здесь многие из нас полубопытствовали сойти на берег и съездили на бодрых чухонских лошадаках в пустынный городок. Затем капитан изготовился продолжать путь, и мы снова отплыли.

После посещения Корелы весьма естественно, что речь зашла об этом бедном, хотя и чрезвычайно старом русском поселке, грустнее которого трудно что-нибудь выдумать. На судне все разделяли это мнение, и один из пассажиров, человек, склонный к философским обобщениям и политической шутовости, заметил, что он никак не может понять: для чего это неудобных в Петербурге людей принято отправлять куда-нибудь в более или менее отдаленные места, от чего, конечно, происходит убыток казне на их провоз, тогда как тут же, вблизи столицы, есть на Ладожском берегу такое превосходное место, как Корела, где любое вольномыслие и свободомыслие не могут устоять перед апатиею населения и ужасною скукою гнетущей, скупой природы.

— Я уверен,— сказал этот путник,— что в настоящем случае непременно виновата рутина или в крайнем случае, может быть, недостаток подлежащих сведений.

Кто-то, часто здесь путешествующий, ответил на это, что будто и здесь разновременно живали какие-то изгнанники, но только все они недолго будто выдерживали.

— Один молодец из семинаристов сюда за грубость в дьячки был прислан (этого рода ссылки я уже и понять не мог). Так, приехавши сюда, он долго храбрился и все надеялся какое-то судбище² поднять; а потом как запил, так до тогопил, что совсем с ума сошел и послал такую просьбу, чтобы его лучше как можно скорее велели «расстрелять или в солдаты отдать, а за неспособностью повесить».

— Какая же на это последовала резолюция?

Валаам — остров на Ладожском озере, где с начала XIV века находится мужской монастырь.

² *Судбище* — судебное разбирательство, судебная расправа.

— М... н... не знаю, право; только он все равно этой резолюции не дождался: самовольно повесился.

— И прекрасно сделал,— откликнулся философ.

— Прекрасно? — переспросил рассказчик, очевидно купец, и притом человек солидный и религиозный.

— А что же? по крайней мере умер, и концы в воду.

— Как же концы в воду-с? А на том свете что ему будет? Самоубийцы, ведь они целый век будут мучиться. За них даже и молиться никто не может.

Философ ядовито улыбнулся, но ничего не ответил, но зато и против него и против купца выступил новый оппонент, неожиданно вступившийся за дьячка, совершившего над собою смертную казнь без разрешения начальства.

Это был новый пассажир, который ни для кого из нас незаметно присел с Коневца. Он до сих пор молчал, и на него никто не обращал никакого внимания, но теперь все на него оглянулись, и, вероятно, все подивились, как он мог до сих пор оставаться незамеченным. Это был человек огромного роста, с смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами свиного цвета: так странно отливала его проседь. Он был одет в послушничьем подряснике с широким монастырским ременным поясом и в высоком черном суконном колпачке. Послушник он был или постриженный монах¹ — этого отгадать было невозможно, потому что монахи ладожских островов не только в путешествиях, но и на самых островах не всегда надевают камилавки, а в сельской простоте ограничиваются колпачками. Этому новому нашему спутнику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим лет за пятьдесят; но он был в полном смысле слова богатырь, и притом типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа А. К. Толстого². Казалось, что ему бы не в ряске ходить, а сидеть бы ему на «чубаром» да ездить в лаптицах по лесу и лениво нюхать, как «смолой и земляникой пахнет темный бор».

Но, при всем этом добром простодушии, не много надо было наблюдательности, чтобы видеть в нем человека много видевшего и, что называется, «бывалого». Он держался смело, самоуве-

¹ *Послушник он был или постриженный монах.* — *Послушник* — готовящийся к принятию монашеского сана и выполняющий различные церковные и хозяйственные службы в монастырях. *Постриженный монах* — прошедший обряд посвящения в монахи, который сопровождался крестовидным выстрижением волос на голове.

² *...напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа А. К. Толстого.* — Имеются в виду картина В. П. Верещагина (1835—1909) «Илья Муромец на пиру у князя Владимира» (1871) и баллада А. К. Толстого (1817—1875) «Илья Муромец» (1871).

ренно, хотя и без неприятной развязности, и заговорил приятным басом с повадкой.

— Это все ничего не значит,— начал он, лениво и мягко выпуская слово за словом из-под густых, вверх по-гусарски закрученных седых усов.— Я, что вы насчет того света для самоубийцев говорите, что они будто никогда не простятся, не приемлю. И что за них будто некому молиться — это тоже пустяки, потому что есть такой человек, который все их положение самым легким манером очень просто может поправить.

Его спросили: кто же это такой человек, который ведаёт и управляет дела самоубийц после их смерти?

— А вот кто-с,— отвечал богатырь-черноризец,— есть в московской епархии¹ в одном селе попик — прегорчающий пьяница, которого чуть было не расстригли,— так он ими орудует.

— Как же вам это известно?

— А помилуйте-с, это не я один знаю, а все в московском округе про то знают, потому что это дело шло через самого высокопреосвященного митрополита Филарета.

Вышла маленькая пауза, и кто-то сказал, что все это довольно сомнительно.

Черноризец нимало не обиделся этим замечанием и отвечал:

— Да-с, оно по первому взгляду так-с, сомнительно-с. И что тут удивительного, что оно нам сомнительным кажется, когда даже сами его высокопреосвященство долго этому не верили, а потом, получив верные тому доказательства, увидали, что нельзя этому не верить, и поверили?

Пассажиры пристали к иноку с просьбою рассказать эту дивную историю, и он от этого не отказался и начал следующее:

— Повествуют так, что пишет будто бы раз один благочинный высокопреосвященному владыке, что будто бы, говорит, так и так, этот попик ужасная пьяница,— пьет вино и в приходе не годится. И оно, это донесение, по одной сущности было справедливо. Владыко и велели прислать к ним этого попика в Москву. Посмотрели на него и видят, что действительно этот попик запивашка, и решили, что быть ему без места. Попик огорчился и даже перестал пить, и все убивается и оплакивает: «До чего, думает, я себя довел, и что мне теперь больше делать, как не руки на себя наложить? Это одно, говорит, мне только и осталось: тогда, по крайней мере, владыко сжалятся над моею несчастною семьею и дочери жениха дадут, чтобы он на мое место заступил и семью мою питал». Вот и хорошо: так он порешил настоятельно себя кончить и день к тому определил, но только как был он человек доброй души, то подумал: «Хорошо же; умереть-то я, положим, умру, а ведь я не скотина: я не без души,— куда потом моя душа пойдет?» И стал он от этого часу еще больше скорбеть.

¹ *Епархия* — ведомство архиерея, область, управляемая им.

Ну, хорошо: скорбит он и скорбит, а владыко решили, что быть ему за его пьянство без места, и легли однажды после трапезы на диванчик с книжкой отдохнуть и заснули. Ну, хорошо: заснули они или этак только воздремали, как вдруг видят, будто к ним в келию двери отворяются. Они и окликнули: «Кто там?», потому что думали, будто служка им про кого-нибудь доложить пришел; ан, вместо служки, смотрят — входит старец, добрый-предобрый, и владыко его сейчас узнали, что это преподобный Сергей.

Владыко и говорят:

«Ты ли это, пресвятой отче Сергие?»

А угодник отвечает:

«Я, раб Божий Филарет».

Владыко спрашивают:

«Что же твоей чистоте угодно от моего недостойнства?»

А святой Сергей отвечает:

«Милости хочу».

«Кому же повелишь явить ее?»

А угодник и наименовал того попа, что за пьянство места лишен, и сам удалился; а владыко проснулись и думают: «К чему это причесть: простой это сон, или мечтание, или духоводительное видение?» И стали они размышлять и, как муж ума во всем свете именитого, находят, что это простой сон, потому что статочное ли дело, что святой Сергей, постник и доброго, строгого жития блюститель, ходатайствовал об иерее² слабом, творящем житие с небрежением. Ну-с, хорошо: рассудили так его высокопреосвященство и оставили все это дело естественному оною течению, как было начато, а сами провели время, как им надлежало, и отошли опять в должный час ко сну. Но только что они снова опочили, как снова видение, и такое, что великий дух владыки еще в большее смятение повергло. Можете вообразить: грохот... такой страшный грохот, что ничем его невозможно выразить... Скачут... числа им нет, сколько рыцарей... несутся, все в зеленом убранстве, латы и перья, и кони что львы, вороные, а впереди их горделивый стратопедарх³ в таком же уборе, и куда помахнет темным знаменем, туда все и скачут, а на знамени змей. Владыко не знают, к чему этот поезд, а оный горделивец командует: «Терзайте,— говорит,— их: теперь нет их молитвенника»,— и проскакал мимо; а за сим стратопедархом — его воины, а за ними, как стая весенних гусей тощих, потянулись скучные тени, и всё кивают владыке грустно и жалостно, и всё сквозь

¹ *Преподобный Сергей* — имеется в виду Сергей Радонежский (1314—1392), основатель Троице-Сергиева монастыря, видный деятель церкви и русский патриот, причисленный к лику святых (1452).

² *Иерей* — христианский священник, поп.

Стратопедарх—начальник военного лагеря.

плач тихо стонут: «Отпусти его! — он один за нас молится». Владыко как изволили встать, сейчас посылают за пьяным попиком и расспрашивают: как и за кого он молится? А поп по бедности духовной весь перед святителем растерялся и говорит: «Я, владыко, как положено совершаю». И насилу его высокопреосвященство добились, что он повинился: «Виноват,— говорит,— в одном, что сам, слабость душевную имея и от отчаяния думая, что лучше жизни себя лишить, я всегда на святой проскомидии¹ за без покаяния скончавшихся и руки на ся наложивших молюсь...» — Ну, тут владыко и поняли, что то за тени пред ним в видении, как тощие гуси, плыли, и не восхотели радовать тех демонов, что впереди их спешили с губительством, и благословили попка: «Ступай,— изволили сказать,— и к тому не согрешай, а за кого молился — молись», — и опять его на место отправили. Так вот он, этакий человек, всегда таковым людям, что жизни борения не переносят, может быть полезен, ибо он уже от дерзости своего призвания не отступит и все будет за них Создателю докучать, и тот должен будет их простить.

— Почему же «должен»?

— А потому, что «толщется»; ведь это от него же самого повелено, так ведь уже это не переменится же-с.

— А скажите, пожалуйста, кроме этого московского Священника за самоубийц разве никто не молится?

— А не знаю, право, как вам на это что доложить? Не следует, говорят, будто бы за них Бога просить, потому что они самоуправцы, а впрочем, может быть, иные, сего не понимая, и о них всем позволено за них молиться. Тогда и молитвы такие особенные читаются. Чудесные молитвы, чувствительные; кажется, всегда бы их слушал.

— А их нельзя разве читать в другие дни?

— Не знаю-с. Об этом надо спросить у кого-нибудь из начитанных: те, думается, должны бы знать; да как мне это ни к чему, так и не доводилось об этом говорить.

— А в служении вы не замечали, чтобы эти молитвы когда-нибудь повторялись?

— Нет-с, не замечал; да и вы, впрочем, на мои слова в этом не полагайтесь, потому что я ведь у службы редко бываю.

— Отчего же это?

— Занятия мои мне не позволяют.

— Вы иеромонах³ или иеродиакон?

— Нет, я еще просто в рясофоре⁴.

— Все же ведь уже это значит, вы инок?

¹ *Проскомидия* — первая часть церковной службы.

² *На Троицу, не то на Духов день*. — Религиозные праздники.

³ *Иеромонах*—монах, имеющий сан священника.

⁴ *...в рясофоре* — в монашеской одежде без пострижения.

— Н... да-с; вообще это так почитают.

— Почитать-то почитают,— отозвался на это купец,— но только из рясофора-то еще можно и в солдаты лоб забрить.

Богатырь-черноризец нимало этим замечанием не обиделся, а только пораздумал немножко и отвечал:

— Да, можно, и, говорят, бывали такие случаи; но только я уже стар: пятьдесят третий год живу, да и мне военная служба не в диковину.

— Разве вы служили в военной службе?

— Служил-с.

— Что же, ты из ундеров, что ли? — снова спросил его купец.

— Нет, не из ундеров.

— Так кто же: солдат, или вахтер, или помазок¹ — чей возок?

— Нет, не угадали: но только я настоящий военный, при полковых делах был почти с самого детства.

— Значит, кантонист²? — сердясь, добивался купец.

— Опять же нет.

— Так прах же тебя разберет, кто же ты такой?

— Я *конэсер*³.

— Что-о-о тако-о-е?

— Я конэсер-с, конэсер, или, как простонароднее выразить, я в лошадях знаток и при ремонтерах⁴ состоял для их руководства.

— Вот как!

— Да-с, не одну тысячу коней отобрал и отъездил. Таких зверей отучал, каковые, например, бывают, что встает на дыбы да со всего духу навзничь бросается и сейчас седоку седельного лукока может грудь проломить, а со мной этого ни одна не могла.

— Как же вы таких усмиряли?

— Я... я очень просто, потому что я к этому от природы своей особенное дарование получил. Я как вскочу, сейчас, бывало, не дам лошади опомниться, левою рукою ее со всей силы за ухо да в сторону, а правую кулаком между ушей по башке, да зубами страшно на нее заскриплю, так у нее у иной даже инда мозг из лба в ноздрах вместе с кровью покажется,— она и усмирится.

— Ну, а потом?

— Потом сойдешь, огладишь, дашь ей в глаза себе налюбоваться, чтобы в памяти у нее хорошее воображение осталось, да потом сядешь опять и поедешь.

— И лошадь после этого смирно идет?

¹ *Помазок* — плохой живописец.

² *Кантонист*.— Кантонистами до 1856 года назывались в России дети солдат, обязанные по своему происхождению служить в армии.

³ *Конэсер* — знаток (фр. *connaissanceur*).

Ремонтер — офицер, в обязанности которого входят подбор и закупка лошадей для кавалерийской части.

— Смирно пойдет, потому лошадь умна, она чувствует, какой человек с ней обращается и каких он насчет ее мыслей. Меня, например, лошадь в этом рассуждении всякая любила и чувствовала. В Москве, в манеже, один конь был, совсем у всех наездников от рук отбилась и изучил, профан, такую манеру, чтобы за колени седока есть. Просто, как черт, схватит зубищами, так всю коленную чашку и вышелушит. От него много людей погибло. Тогда в Москву англичанин Рарей¹ приезжал, — «бешеный усмиритель» он назывался, — так она, эта подлая лошадь, даже и его чуть не съела, а в позор она его все-таки привела; но он тем от нее только и уцелел, что, говорят, стальной наколенник имел, так что она его хотя и ела за ногу, но не могла прокусить и сбросила; а то бы ему смерть; а я ее направил как должно.

— Расскажите, пожалуйста, как же вы это сделали?

— С Божиею помощью-с, потому что, повторяю вам, я к этому дар имею. Мистер Рарей этот, что называется «бешеный укротитель», и прочие, которые за этого коня брались, все искусство противу его злобности в поводах держали, чтобы не допустить ему ни на ту, ни на другую сторону башкой мотнуть; а я совсем противное тому средство изобрел; я, как только англичанин Рарей от этой лошади отказался, говорю: «Ничего, говорю, это самое пустое, потому что этот конь ничего больше, как бесом одержим. Англичанин этого не может постичь, а я постигну и помогу». Начальство согласилось. Тогда я говорю: «Выведите его за Дрогомилловскую заставу!» Вывели. Хорошо-с; свели мы его в поводьях в лошину к Филям, где летом господа на дачах живут. Я вижу: тут место просторное и удобное, и давай действовать. Сел на него, на этого людоеда, без рубахи, босой, в одних шароварах да в картузе, а по голому телу имел тесменный поясok от святого храброго князя Всеволода-Гавриила² из Новгорода, которого я за молодечество его сильно уважал и в него верил; а на том пояске его надпись заткана: «*Чести моей никому не отдам*». В руках же у меня не было никакого особого инструмента, как опричь в одной — крепкая татарская нагайка с свинцовым головком, в конце так не более яко в два фунта, а в другой — простой муравный горшок³ с жидким тестом. Ну-с, уселся я, а четверо человек тому коню морду поводьями в разные стороны тащат, чтобы он на которого-нибудь из них зубом не кинулся. А он, бес, видя, что на него ополчаемся, и ржет, и визжит, и потеет, и весь от злости трусится, сожрать меня хочет. Я это вижу и велю конюхам: «Тащите, говорю, скорее с него, мерзавца, узду

¹ *Рарей* — имеется в виду американский дрессировщик лошадей Джон *Рарей* (1827—1866), приезжавший в Россию в 1857 году демонстрировать свой метод.

² *Князь Всеволод Гавриил* — новгородский князь Всеволод Мстиславич (Гавриил), умер в 1137 году, причислен к лику святых.

³ *Муравный горшок* — покрытый глазурью.

дойей». Те ушам не верят, что я им такое даю приказание, и глаза выпучили. Я говорю: «Что же вы стоите! или не слышите? Что я вам приказываю — вы то сейчас исполнять должны!» А они отвечают: «Что ты, Иван Северьяныч (меня в миру Иван Северьяныч, господин Флягин, звали): как, говорят, это можно, что ты велишь узду снять?» Я на них сердиться начал, потому что наблюдаю и чувствую в ногах, как конь от ярости бесится, и его хорошо подавил в коленях, а им кричу: «Снимай!» Они было еще слово; но тут уже и я совсем рассвирепел да как заскриплю зубами — они сейчас в одно мгновение узду сдернули, да сами, кто куда видит, бросились бежать, а я ему в ту же минуту сейчас первое, чего он не ожидал, трах горшок об лоб: горшок разбил, а тесто ему и потекло и в глаза и в ноздри. Он испужался, думает: «Что это такое?» А я скорее схватил с головы картуз в левую руку и прямо им коню еще больше на глаза теста натираю, а нагайкой его по боку шелк... Он ёк да вперед, а я его картузом по глазам тру, чтобы ему совсем зрение в глазах замутить, а нагайкой еще по другому боку... Да и пошел, да и пошел его парить. Не даю ему ни продохнуть, ни проглянуть, все ему своим картузом по морде тесто размазываю, слеплю, зубным скрежетом в трепет привожу, пугаю, а по бокам с обеих сторон нагайкой деру, чтобы понимал, что это не шутка... Он это понял и не стал на одном месте упорствовать, а ударился меня носить. Носил он меня, сердечный, носил, а я его порол да порол, так что чем он усерднее носится, тем и я для него еще ревностнее плетью стараюсь, и, наконец, оба мы от этой работы стали уставать: у меня плечо ломит и рука не поднимается, да и он, смотрю, уже перестал коситься и язык изо рта вон посунул. Ну, тут я вижу, что он пардону просит, поскорее с него сошел, протер ему глаза, взял за вихор и говорю: «Стой, собачье мясо, песья снесь!» да как дерну его книзу — он на колени передо мною и пал, и с той поры такой скромник сделался, что лучше требовать не надо: и садиться давался и ездил, но только скоро издох.

— Издох однако?

— Издох-с; гордая очень тварь был, поведением смирился, но характера своего, видно, не мог преодолеть. А господин Рарей меня тогда, об этом прослышав, к себе в службу приглашал.

— Что же, вы служили у него?

— Нет-с.

— Отчего же?

— Да как вам сказать! Первое дело, что я ведь был конэсер и больше к этой части привык — для выбора, а не для отъездки, а ему нужно было только для одного бешеного усмирительства, а второе, что это с его стороны, как я полагаю, была одна коварная хитрость.

— Какая же?

— Хотел у меня секрет взять.

— А вы бы его продали?

— Да, я бы продал.
— Так за чем же дело стало?
— Так... он сам меня, должно быть, испугался.
— Расскажите, сделайте милость, что это еще за история?
— Никакой-с особенной истории не было, а только он говорит: «Открой мне, братец, твой секрет — я тебе большие деньги дам и к себе в конзсеры возьму». Но как я никогда не мог никого обманывать, то и отвечаю: «Какой же секрет? — это глупость». А он все с аглицкой, ученой точки берет, и не поверил; говорит: «Ну, если ты не хочешь так, в своем виде, открыть, то давай с тобою вместе ром пить». После этого мы пили вдвоем с ним очень много рому, до того, что он раскраснелся и говорит, как умел: «Ну, теперь, мол, открывай, что ты с конем делал?» А я отвечаю: «Вот что...» — да глянул на него как можно пострашнее и зубами заскрипел, а как горшка с тестом на ту пору при себе не имел, то взял да для примера стаканом на него размахнул, а он вдруг, это видя, как нырнет — и спустился под стол, да потом как шаркнет к двери, да и был таков, и негде его стало и искать. Так с тех пор мы с ним уже и не видались.

— Поэтому вы к нему и не поступили?

— Поэтому-с. Да и как же поступить, когда он с тех пор даже встретить меня опасался? А я бы очень к нему тогда хотел, потому что он мне, пока мы с ним на роме на этом состязались, очень понравился, но, верно, своего пути не обежишь, и надо было другому призванию следовать.

— А вы что же почитаете своим призванием?

— А не знаю, право, как вам сказать... Я ведь много что происходил, мне довелось быть-с и на конях, и под конями, и в плену был, и воевал, и сам людей бил, и меня увечили, так что, может быть, не всякий бы вынес.

— А когда же вы в монастырь пошли?

— Это недавно-с, всего несколько лет после всей прошедшей моей жизни.

— И тоже призвание к этому почувствовали?

— М... н... н... не знаю, как это объяснить... впрочем, надо полагать, что имел-с.

— Почему же вы это так... как будто не наверное говорите?

— Да потому, что как же наверное сказать, когда я всей моей обширной протекшей жизненности даже обнять не могу?

— Это отчего?

— Оттого-с, что я многое даже не своею волею делал.

— А чьею же?

— По родительскому обещанию.

— И что же такое с вами происходило по родительскому обещанию?

— Всю жизнь свою я погибал, и никак не мог погибнуть.

— Будто так?

— Именно так-с.

- Расскажите же нам, пожалуйста, вашу жизнь.
- Отчего же, что вспомню, то, извольте, могу рассказать, но только я иначе не могу-с, как с самого первоначала.
- Сделайте одолжение. Это тем интереснее будет.
- Ну уж не знаю-с, будет ли это сколько-нибудь интересно, а извольте слушать.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Бывший конэсер Иван Северьяныч, господин Флягин, начал свою повесть так:

— Я родился в крепостном звании и происхожу из дворовых людей графа К- из Орловской губернии. Теперь эти имения при молодых господах расплылись, но при старом графе были очень значительные. В селе Г., где сам граф изволил жить, был огромный, великий домина, флигеля для приезду, театр, особая кегельная галерея, псарня, живые медведи на столбу сидели, сады, свои певчие концерты пели, свои актеры всякие сцены представляли; были свои ткацкие, и всякие свои мастерства содержались; но более всего обращалось внимание на конный завод. Ко всякому делу были приставлены особые люди, но конюшенная часть была еще в особом внимании и все равно как в военной службе от солдата в прежние времена кантонист происходил, чтобы сражаться, так и у нас от кучера шел кучеренок, чтобы ездить, от конюха — конюшонок, чтобы за лошадьми ходить, а от кормового мужика — кормовик, чтобы с гумна на ворки¹ корм возить. Мой родитель был кучер Северьян, и хотя приходился он не из самых первых кучеров, потому что у нас их было большое множество, но, однако, он шестериком правил, и в царский проезд один раз в седьмом номере был, и старинною синею ассигнациею жалован². От родительницы своей я в самом юном сиротстве остался и ее не помню, потому как я был у нее *молитвенный сын*, значит, она, долго детей не имея, меня себе у Бога все выпрашивала и как выпросила, так сейчас же, меня породивши, и умерла, оттого что я произошел на свет с необыкновенною большою головою, так что меня поэтому и звали не Иван Флягин, а просто *Голован*. Живучи при отце на кучерском дворе, всю жизнь свою я проводил на конюшне, и тут я постиг тайну познания в животном и, можно сказать, возлюбил коня, потому что маленьким еще на четвереньках я у лошадей промеж ног ползил, и они меня не увечили, а подрос, так и совсем с ними спознался. Завод у нас был отдельно, конюшни — отдельно, и мы, конюшенные люди, до завода не касались, а получали оттуда готовых воспитомков и обучали их. У нас у всякого кучера с фореитором были шестерики, и все разных сортов: вятки, ка-

¹ Ворок — скотный двор, загон.

² Старинною синею ассигнациею жалован — то есть пятью рублями.

занки, калмыки, битюцкие, донские — все это были из приводных коней, которые по ярмаркам покупались, а то, разумеется, больше было своих, заводских, но про этих говорить не стоит, потому что заводские кони смиренные и ни сильного характера, ни фантазии веселой не имеют, а вот эти дикари, это ужасные были звери. Покупают их, бывало, граф прямо целыми косяками, как есть весь табун, дешево, рублей по восьми, по десяти за голову, ну и как скоро мы их домой пригоним, сейчас начинаем их школить. Ужасно противляются. Половина даже, бывало, подохнет, а воспитанию не поддаются: стоят на дворе — всё дивятся и даже от стен шарахаются, а всё только на небо, как птицы, глазами косят. Даже инда жалость, глядя на иного, возьмет, потому что видишь, что вот так бы он, кажется, сердечный, и улетел, да крылышек у него нет... И овса или воды из корыта ни за что первоначально ни пить, ни есть не станет, и так все сохнет, сохнет, пока изведется совсем и околеет. Иногда этой траты бывает более как на половину того, что купим, а особенно из киргизских. Ужасно они степную волю любят. Ну зато которые оборкаются¹ и останутся жить, из тех тоже немалое число, учивши, покалечить придется, потому что на их дикость одно средство — строгость, но зато уже которые все это воспитание и науку вынесут, так из этих такая отборность выходит, что никогда с ними никакой заводской лошади не сравнится по ездовой добродетели.

Родитель мой, Северьян Иваныч, правил киргизским шестериком, а когда я подрост, так меня к нему в этот же шестерик фореитором² посадили. Лошади были жестокие, не то что нынешние какие-нибудь кавалерийские, что для офицеров берут. Мы этих офицерских кофишенками звали, потому что на них нет никакого удовольствия ехать, так как на них офицеры даже могут сидеть, а те были просто зверь, аспид и василиск, все вместе: морды эти одни чего стоили, или оскал, либо ножищи, или гривье... ну то есть, просто сказать, ужасть! Устали они никогда не знали; не только что восемьдесят, а даже и сто и сто пятнадцать верст из деревни до Орла или назад домой таким же манером, это им, бывало, без отдыха нипочем сделать. Как разнесутся, так только гляди, чтобы мимо не пролетели. А мне в ту пору, как я на фореиторскую подседельную сел, было еще всего одиннадцать лет, и голос у меня был настоящий такой, как по тогдашнему приличию для дворянских фореиторов требовалось: самый пронзительный, звонкий и до того продолжительный, что я мог эти «ддиди-и-и-тт-ы-о-о» завести и полчаса этак звенеть; но в теле своем силами я еще не могуч был, так что дальние пути не мог свободно верхом переносить, и меня еще приседывали к лошади, то есть к седлу и к подпругам, ко всему ремнями умо-

¹ *Оборкаются* — привыкнут.

² *Фореитор* (от нем. *Vorreiter*) — верховой кучер при запряжке четверкой или шестеркой на одной из передних лошадей.

тают и сделают так, что упасть нельзя. Расколотит насмерть, и даже не один раз сомлеешь и чувства потеряешь, а все в своей позиции верхом едешь, и опять, наскучив мотаться, в себя придешь. Должность нелегкая; за дорогу, бывало, несколько раз такие перемены происходят, то слабеешь, то исправишься, а дома от седла совсем уже как неживого отрешат, положат и станут давать хрен нюхать; ну а потом привык, и все это нипочем сделалось; еще, бывало, едешь, да все норовишь какого-нибудь встречного мужика кнутом по рубахе вытянуть. Это фореиторское озорство уже известно. Вот этак мы раз и едем с графом в гости. Погода летняя, прекрасная, и граф сидят с собакою в открытой коляске, батюшка четверней правит, а я впереди задуваю, а дорога тут с большака свертывает, и идет особый поворот верст на пятнадцать к монастырю, который называется П... пустынь¹. Дорожку эту монахи справили, чтобы заманчивее к ним ездить было: преестественно, там на казенной дороге нечисть и ракиты, одни корявые прутья торчат; а у монахов к пустыне дорожка в чистоте, разметена вся, и подчищена, и по краям сажеными березами обросла, и от тех берез такая зелень и дух, а вдаль полевой вид обширный... Словом сказать — столь хорошо, что вот так бы при всем этом и вскрикнул, а кричать, разумеется, без пути нельзя, так я держусь, скачу; но только вдруг на третьей или четвертой версте, не доезжая монастыря, стало этак клонить под взволочек, и вдруг я завидел тут впереди себя малую точку... что-то ползет по дороге, как ежик. Я обрадовался этому случаю и изо всей силы затынул «дди-и-и-и-т-т-ты-о-о», и с версту все это звучал, и до того разгорелся, что как стали мы нагонять парный воз, на кого я кричал-то, я и стал в стремянах подниматься и вижу, что человек лежит на сене на возу, и как его, верно, приятно на свежем поветрии солнышком пригрело, то он, ничего не опасался, крепко-прекрепко спит, так сладко вверх спиною раскинулся и даже руки врозь разложил, точно воз обнимает. Я вижу, что уже он не свернет, взял в сторону, да, поравнявшись с ним, стоя на стремянах, впервые тогда заскрипел зубами да как полосну его во всю мочь вдоль спины кнутом. Его лошади как подхватят с возом под гору, а он сразу как взметнется, старенький этакой, вот в таком, как я ноне, в послушничьем колпачке, и лицо какое-то такое жалкое, как у старой бабы, да весь перепуганный, и слезы текут, и ну виться на сене, словно пескарь на сковороде, да вдруг не разобрал, верно, спросонья, где край, да кувырк с воза под колесо и в пыли-то и пополз... в вожжи ногами замотался... Мне, и отцу 'моему, да и самому графу сначала это смешно показалось, как он кувыркнулся, а тут вижу я, что лошади внизу, у моста, зацепили коле-

¹ П... пустынь — по-видимому, Предтечева Яминская пустынь, находившаяся в Орловской губернии.

сом за надолбу и стали, а *он* не поднимается и не ворочается... Ближе подъехали, я гляжу, он весь серый, в пыли, и на лице даже носа не значится, а только трещина, и из нее кровь... Граф велели остановиться, сошли, посмотрели и говорят: «Убит». Погрозились мне дома за это выпороть и велели скорей в монастырь ехать. Оттуда людей послали на мост, а граф там с игуменом переговорили, и по осени от нас туда в дары целый обоз пошел с овсом, и с мукою, и с сушеными карасями, а меня отец кнутом в монастыре за сараем по штанам продрал, но настояще пороть не стали, потому что мне, по моей должности, сейчас опять верхом надо было садиться. Тем это дело и кончилось, но в эту же самую ночь приходит ко мне в видении этот монах, которого я засек, и опять, как баба, плачет. Я говорю:

«Чего тебе от меня надо? пошел прочь!»

А *он* отвечает:

«Ты,— говорит,— меня без покаяния жизни решил».

«Ну, мало чего нет,— отвечаю.— Что же мне теперь с тобой делать? Ведь я это не нарочно. Да и чем,— говорю,— тебе теперь худо? Умер ты, и все кончено».

«Кончено-то,— говорит,— это действительно так, и я тебе очень за это благодарен, а теперь я пришел от твоей родной матери сказать тебе, что знаешь ли ты, что ты у нее *молений сын?*»

«Как же,— говорю,— слышал я про это, бабушка Федосья мне про это не раз сказывала».

«А знаешь ли,— говорит,— ты еще и то, что ты сын *обещанный?*»

«Как это так?»

«А так,— говорит,— что ты Богу обещан».

«Кто же меня ему обещал?»

«Мать твоя».

«Ну так пускай же,— говорю,— она сама придет мне про это скажет, а то ты, может быть, это выдумал».

«Нет, я,— говорит,— не выдумывал, а ей прийти нельзя».

«Почему?»

«Так,— говорит,— потому, что у нас здесь не то, что у вас на земле: здешние не все говорят и не все ходят, а кто чем одарен, тот то и делает. А если ты хочешь,— говорит,— так я тебе дам знамение в удостоверение».

«Хочу,— отвечаю,— только какое же знамение?»

«А вот,— говорит,— тебе знамение, что будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, пока придет твоя настоящая гибель, и ты тогда вспомнишь материно обещание за тебя и пойдешь в чернецы».

«Чудесно,— отвечаю,— согласен и ожидаю».

Он и скрылся, а я проснулся и про все это позабыл и не чаю того, что все эти гибели сейчас по ряду и начнутся. Но только через некоторое время поехали мы с графом и с графиней в Во-

ронеж,— к новоявленным мощам¹ маленькую графиньку косолапую на исцеление туда везли,— и остановились в Елецком уезде, в селе Крутом лошадей кормить, я и опять под колодой уснул, и вижу — опять идет тот монашек, которого я решил, и говорит:

«Слушай, Голованька, мне тебя жаль, просись скорей у господ в монастырь — они тебя пустят».

Я отвечаю:

«Это с какой стати?»

А он говорит:

«Ну, гляди, сколько ты иначе зла претерпишь».

Думаю, ладно; надо тебе что-нибудь каркать, когда я тебя убил, и с этим встал, запряг с отцом лошадей, и выезжаем, а гора здесь прекрутая-крутищая, и сбоку обрыв, в котором тогда невесть что народу погибало. Граф и говорит:

«Смотри, Голован, осторожнее».

А я на это ловок был, и хоть вожжи от дышловых, которым надо спускать, в руках у кучера, но я много умел отцу помогать. У него дышловики были сильные и опористые: могли так спускать, что просто хвостом на землю садились, но один из них, подлец, с астрономией был — как только его сильно потянешь, он сейчас голову кверху дерет и прах его знает куда на небо созерцает. Эти астрономы в корню — нет их хуже, а особенно в дышле они самые опасные, за конем с такою повадкою форейтор завсегда смотри, потому что астроном сам не зрит, как тычет ногами, и невесть куда попадает. Все это я, разумеется, за своим астрономом знал и всегда помогал отцу: своих подседельную и подручную, бывало, на левом локте поводками держу и так их ставлю, что они хвостами дышловым в самую морду приходятся, а дышло у них промежду крупов, а у самого у меня кнут всегда наготове, у астронома перед глазами, и чуть вижу, что он уже очень в небо полез, я его по храпе, и он сейчас морду спустит, и отлично съедет. Так и на этот раз: спускаем экипаж, и я верчусь, знаете, перед дышлом и кнутом астронома остепеняю, как вдруг вижу, что уж он ни отцовых вожжей, ни моего кнута не чувствует, весь рот в крови от удилов и глаза выворотил, а сам я вдруг слышу, сзади что-то заскрипело, да хлоп, и весь экипаж сразу так и посунулся... Тормоз лопнул! Я кричу отцу: «Держи! держи!» И он сам орет: «Держи! держи!» А уж чего держать, когда весь шестерик как прокаженные несутся и сами ничего не видят, а перед глазами у меня вдруг что-то стрекнуло, и смотрю, отец с козел долой летит... вожжа оборвалась... А впереди та страшная пропасть... Не знаю, жалко ли мне господ или себя стало, но только я, видя неминуемую гибель, с подседельной бросился прямо на дышло и на конце повис... Не знаю опять, сколько тог-

¹ ...поехали мы... в Воронеж,— к новоявленным мощам.— Речь идет об открытии в 1832 году в Воронеже мощах епископа Митрофания.

да во мне весу было, но только на перевесе ведь это очень тяжело весит, и я дышловиков так сдушил, что они захрипели и... гляжу, уже моих передовых нет, как отрезало их, а я вишу над самою пропастью, а экипаж стоит и уперся в коренных, которых я дышлом подавил.

Тут только я опомнился и пришел в страх, и руки у меня оторвались, и я полетел и ничего уже не помню. Очнулся я тоже не знаю через сколько времени и вижу, что я в какой-то избе, и здоровый мужик говорит мне:

— Ну что, неужели ты, малый, жив?

Я отвечаю:

— Должно быть, жив.

— А помнишь ли, — говорит, — что с тобою было?

Я стал припоминать и вспомнил, как нас лошади понесли и я на конец дышла бросился и повис над ямищей; а что дальше было — не знаю.

А мужик и улыбается:

— Да и где же, — говорит, — тебе это знать. Туда, в пропасть, и кони-то твои передовые заживо не долетели — расшиблись, а тебя это словно какая невидимая сила спасла: как на глиняну глыбу сорвался, упал, так на ней вниз как на салазках и скатился. Думали, мертвый совсем, а глядим — ты дышишь, только воздухом дух оморило¹. Ну, а теперь, — говорит, — если можешь, вставай, поспешай скорее к угоднику: граф деньги оставил, чтобы тебя, если умрешь, схоронить, а если жив будешь, к нему в Воронеж привезть.

Я и поехал, но только всю дорогу ничего не говорил, а слушал, как этот мужик, который меня вез, все на гармонии «барыню» играл.

Как мы приехали в Воронеж, граф призвал меня в комнаты и говорит графинюшке:

— Вот, — говорит, — мы, графинюшка, этому мальчишке спасением своей жизни обязаны.

Графиня только головою закачала, а граф говорит:

— Проси у меня, Голован, что хочешь, — я все тебе сделаю.

Я говорю:

— Я не знаю, чего просить!

А он говорит:

— Ну, чего тебе хочется?

А я думал-думал да говорю:

— Гармонию.

Граф засмеялся и говорит:

— Ну, ты взаправду дурак, а впрочем, это само собою, я сам, когда придет время, про тебя вспомню, а гармонию, — говорит, — ему сейчас же купить.

Лакей сходил в лавки и приносит мне на конюшню гармонию:
— На,— говорит,— играй.

Я было ее взял и стал играть, но только вижу, что ничего не умею, и сейчас ее бросил, а потом ее у меня странницы на другой день из-под сарая и украли.

Мне надо было бы этим случаем графской милости пользоваться, да тогда же, как монах советовал, в монастырь проситься; а я, сам не знаю зачем, себе гармонию выпросил, и тем первое самое призвание опроверг, и оттого пошел от одной стражбы¹ к другой, все более и более претерпевая, но нигде не погиб, пока все мне монахом в видении предреченное в настоящем житейском исполнении оправдалось за мое недоверие.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Не успел я, по сем благодетельствованию своих господ, вернуться с ними домой на новых лошадях, коих мы в Воронеже опять шестерик собрали, как прилучилось мне завести у себя в конюшне на полочке хохлатых голубей — голубя и голубочку. Голубь был глинистого пера, а голубочка беленькая и такая красноногенькая, прехорошенькая!.. Очень они мне нравились: особенно, бывало, когда голубь ночью воркует, так это приятно слушать, а днем они между лошадей летают и в ясли садятся, корм клюют и сами с собою целуются... Утешно на все на это молодому ребенку смотреть.

И пошли у них после этого целования дети; одну пару вывели, и опять эти растут, а они целовались-целовались, да и опять на яички сели и еще вывели... Маленькие такие это голубяточки, точно в шерсти, а пера нет, и желтые, как бывают ядрышки на траве, что зовут «кошачьи просвирки», а носы притом хуже, как у черкесских князей, здоровенные... Стал я их, этих голубяток, разглядывать и, чтобы их не забыть, взял одного за носик и смотрел, смотрел на него и засмотрелся, какой он нежный, а голубь его у меня все отбивает. Я с ним и забавлялся — все его этим голубенком дразню; да потом как стал пичужку назад в гнездо класть, а он уже и не дышит. Этакая досада; я его и в горстях-то грел и дышал на него, все оживить хотел; нет, пропал, да и полно! Я рассердился, взял да и вышвырнул его вон за окно. Ну ничего; другой в гнезде остался, а этого дохлого откуда ни возьмись белая кошка какая-то мимо бежала и подхватила и помчала. И я ее, эту кошку, еще хорошо заметил, что она вся белая, а на лобочке, как шапочка, черное пятнышко. Ну да думаю себе, прах с ней — пусть она мертвого ест. Но только ночью я сплю и вдруг слышу, на полочке над моей кроватью голубь с кем-то сердито бьется. Я вскочил и гляжу, а ночь лунная,

¹ Стражба — мука.

и мне видно, что это опять та же кошечка белая уже другого, живого моего голубенка тащит.

«Ну,— думаю,— нет, зачем же, мол, это так делать?» — да вдогонку за нею и швырнул сапогом, но только не попал,— так она моего голубенка унесла и, верно, где-нибудь съела. Осиротели мои голубки, но недолго поскучали и начали опять целоваться, и опять у них парка детей готовы, а та проклятая кошка опять как тут... Лихо ее знает, как это она все это наблюдала, но только гляжу я, один раз она среди белого дня опять голубенка волочит, да так ловко, что мне и швырнуть-то за ней нечем было. Но зато же я решился ее пробрать и настроил в окне такой силоч, что чуть она ночью морду показала, тут ее сейчас и прихлопнуло, и она сидит и жалится, мяучит. Я ее сейчас из силка вынул, воткнул ее мордую и передними лапами в голенище, в сапог, чтобы она не царапалась, а задние лапки вместе с хвостом забрал в левую руку, в рукавицу, а в правую кнут со стены снял, да и пошел ее на своей кровати учить. Кнутов, я думаю, сотни полторы я ей закатил и то изо всей силы, до того, что она даже и биться перестала. Тогда я ее из сапога вынул и думаю: издохла или не издохла? Сем, думаю, испробовать, жива она или нет? и положил я ее на порог да топориком хвост ей и отсек: она этак «мяя», вся вздрогнула и перекрутилась раз десять, да и побежала.

«Хорошо,— думаю,— теперь ты сюда небось в другой раз на моих голубят не пойдешь»; а чтобы ей еще страшнее было, то я наутро взял да и хвост ее, который отсек, гвоздиком у себя над окном снаружи приколотил, и очень этим был доволен. Но только так через час или не более как через два, смотрю, вбегает графинина горничная, которая отроду у нас на конюшне никогда не была, и держит над собой в руке зонтик, а сама кричит: — Ага, ага! вот это кто? вот это кто!

Я говорю:

— Что такое?

— Это ты,— говорит,— Зозиньку изувечил? Признавайся: это ведь у тебя ее хвостик над окном приколочен?

Я говорю:

— Ну так что же такое за важность, что хвостик приколочен?

— А как же ты,— говорит,— это смел?

— А она, мол, как смела моих голубят есть?

— Ну, важное дело твои голубята!

— Да и кошка, мол, тоже небольшая барыня.

Я уже, знаете, на возрасте-то поругиваться стал.

— Что,— говорю,— за штука такая кошка.

А та стрекоза:

— Как ты эдак смеешь говорить: ты разве не знаешь, что это моя кошка и ее сама графиня ласкала,— да с этим ручкою хватя меня по щеке, а я, как сам тоже с детства был скор на руку, дол-

го не думая, схватил от дверей грязную метлу, да ее метлою по талии...

Боже мой, что тут поднялось! Повели меня в контору к немецу-управителю судить, и он рассудил, что меня как можно жесточе выпороть и потом с конюшни долой и в аглицкий сад для дорожки молотком камешки бить... Отодрали меня ужасно жестоко, даже подняться я не мог, и к отцу на рогоже снесли, но это бы мне ничего, а вот последнее осуждение, чтобы стоять на коленях да камешки бить... это уже домучило меня до того, что я думал-думал, как себе помочь, и решился с своею жизнью покончить. Припас я себе крепкую сахарную веревочку, у лакей-чонка ее выпросил, и пошел вечером выкупался, а оттудова в осиновый лесок за огузенником, стал на колены, помолился за вся христианы, привязал ту веревочку за сук, затравил петлю и всунул в нее голову. Осталось скакнуть, да и вся б недолга была... Я бы все это от своего характера пресвободно и исполнил, но только что размахнулся да соскочил с сука и повис, как, гляжу, уже я на земле лежу, а передо мною стоит цыган с ножом и смеется — белые-пребелые зубы, да так ночью середь черной морды и сверкают.

— Что это,— говорит,— ты, батрак, делаешь?

— А тебе, мол, что до меня за надобность?

— Или,— пристаает,— тебе жить худо?

— Видно,— говорю,— не сахарно.

— Так чем своей рукой вешаться, пойдем,— говорит,— лучше с нами жить, авось иначе повиснешь.

— А вы кто такие и чем живете? Вы ведь, небось, воры?

— Воры,— говорит,— мы и воры и мошенники.

— Да; вот видишь,— говорю,— а при случае, мол, вы, пожалуй, небось и людей режете?

— Случается,— говорит,— и это действуем.

Я подумал-подумал, что тут делать: дома завтра и послезавтра опять все то же самое, стой на дорожке на коленях, да тюп да тюп молоточком камешки бей, а у меня от этого рукомесла уже на коленках наросты пошли и в ушах одно слышание было, как надо мною все насмеваются, что осудил меня вражий немец за кошкин хвост целую гору камня перемусорить. Смеются все: «А еще,— говорят,— спаситель называешься: господам жизнь спас». Просто терпения моего не стало, и, взгадав все это, что если не удавиться, то опять к тому же надо вернуться, махнул я рукою, заплакал и пошел в разбойники.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Тут этот хитрый цыган не дал мне опомниться и говорит:

— Чтоб я,— говорит,— тебе поверил, что ты назад не уйдешь, ты должен мне сейчас из барской конюшни пару коней вывести, да бери коней таких, самых наилучших, чтобы мы на них до утра далеко могли ускакать.

Я закручинился: страсть как мне не хотелось воровать; однако, видно, назвавшись груздем, полезешь и в кузов; и я, зная в конюшне все ходы и выходы, без труда вывел за гумно пару лихих коней, кои совсем устали не ведали, а цыган еще до того сейчас достал из кармана на шнурочке волчьи зубы и повесил их и одному и другому коню на шею, и мы с цыганом сели на них и поехали. Лошади, чуя на себе волчью кость, так неслись, что и сказать нельзя, и мы на них к утру стали за сто верст под городом Карачевом. Тут мы этих коней враз продали какому-то дворнику, взяли деньги и пришли к одной речке и стали делиться. За коней мы взяли триста рублей, разумеется по-тогдашнему, на ассигнацию¹, а цыган мне дает всего один серебряный целковый и говорит:

— Вот тебе твоя доля.

Мне это обидно показалось.

— Как,— говорю,— я же тех лошадей крал и за то больше тебя пострадать мог, а за что же моя доля такая маленькая?

— Потому,— отвечает,— что такая выросла.

— Это,— говорю,— глупости: почему же ты себе много берешь?

— А опять,— говорит,— потому, что я мастер, а ты еще ученик.

— Что,— говорю,— ученик,— ты это все врешь! — да и пошло у нас с ним слово за слово, и оба мы поругались. А наконец я говорю:

— Я с тобою не хочу дальше идти, потому что ты подлец.

А он отвечает:

— И отстань, брат, Христа ради, потому что ты беспачпортный, еще с тобою спутаешься.

Так мы и разошлись, и я было пошел к заседателю, чтобы объявиться, что я сбежалый, но только рассказал я эту свою историю его писарю, а тот мне и говорит:

— Дурак ты, дурак: на что тебе объявляться; есть у тебя десять рублей?

— Нет,— говорю,— у меня один целковый есть, а десяти рублей нету.

— Ну так, может быть, еще что-нибудь есть, может быть, серебряный крест на шее или вон это что у тебя в ухе: серьга?

— Да,— говорю,— это серезжка.

— Серебряная?

— Серебряная, и крест, мол, тоже имею от Митрофания серебряный².

— Ну, скидавай,— говорит,— их скорее и давай их мне, я те-

¹ За коней мы взяли триста рублей... на ассигнацию. — Бумажная ассигнация достоинством в I рубль составляла 27 копеек серебром.

² Крест... от Митрофания — то есть от воронежского Благовещенского Митрофаньевского монастыря.

бе отпускной вид напишу, и уходи в Николаев, там много людей нужно, и страсть что туда от нас бродяг бежит.

Я ему отдал целковый, крест и сережку, а он мне вид написал и заседателю печать приложил и говорит:

— Вот за печать с тебя надо бы прибавку, потому что я так со всех беру, но только уже жалею твою бедность и не хочу, чтобы моих рук виды не в совершенстве были. Ступай,— говорит,— и кому еще нужно — ко мне посылай.

«Ладно,— думаю,— хорош милостивец: крест с шеи снял, да еще и жалеет». Никого я к нему не посылаю, а все только шел Христовым именем без грошика медного.

Прихожу в этот город и стал на торжок, чтобы наниматься. Народу наемного самая малость вышла — всего три человека, и тоже все, должно быть, точно такие, как я, полубродяжки, а нанимать выбежало много людей, и всё так нас нарасхват и рвут, тот к себе, а этот на свою сторону. На меня напал один барин, огромный-преогромный, больше меня, и прямо всех от меня отпихнул и схватил меня за обе руки и поволол за собою: сам меня ведет, а сам других во все стороны кулаками расталкивает и преподло бранится, а у самого на глазах слезы. Привел он меня в домишко, невесть из чего наскоро сколоченный, и говорит:

— Скажи правду: ты ведь беглый?

Я говорю:

— Беглый.

— Вор,— говорит,— или душегубец, или просто бродяга?

Я отвечаю:

— На что вам это спрашивать?

— А чтобы лучше знать, к какой ты должности годен.

Я рассказал все, отчего я сбежал, а он вдруг кинулся меня целовать и говорит:

— Такого мне и надо, такого мне и надо! Ты,— говорит,— верно, если голубят жалел, так ты можешь мое дитя выходить: я тебя в няньки беру.

Я ужаснулся.

— Как,— говорю,— в няньки? я к этому обстоятельству совсем не сроден.

— Нет, это пустяки,— говорит,— пустяки: я вижу, что ты можешь быть нянькой; а то мне беда, потому что у меня жена с ремонтером отсюда с тоски сбежала и оставила мне грудную дочку, а мне ее кормить некогда и нечем, так ты ее мне выкормишь, а я тебе по два целковых в месяц стану жалованья платить.

— Помилуйте,— отвечаю,— тут не о двух целковых, а как я в этой должности справлюсь?

— Пустяки,— говорит,— ведь ты русский человек? Русский человек со всем справится.

— Да, что же, мол, хоть я и русский, но ведь я мужчина, и чего нужно, чтобы грудное дитя воспитывать, тем не одарен.

— А я,— говорит,— на этот счет тебе в помощь у жида

козу куплю: ты ее дои и тем молочком мою дочку воспитывай.

Я задумался и говорю:

— Конечно, мол, с козой отчего дитя не воспитать, но только все бы,— говорю,— кажется, вам женщину к этой должности лучше иметь.

— Нет, ты мне про женщин, пожалуйста,— отвечает,— не говори: из-за них-то тут все истории и поднимаются, да и брать их неоткуда, а ты если мое дитя нянчить не согласишься, так я сейчас казаков позову и велю тебя связать да в полицию, оттуда по пересылке отправят. Выбирай теперь, что тебе лучше: опять у своего графа в саду на дорожке камни шелкать или мое дитя воспитывать?

Я подумал: нет, уже назад не пойду, и согласился остаться в няньках. В тот же день мы купили у жида белую козу с козленочком. Козленочка я заколол, и мы его с моим барином в лапше съели, а козочку я подоил и ее молочком начал дитя поить. Дитя было маленькое и такое поганое, жалкое: все пищит. Барин мой, отец его, из полячков был чиновник и никогда, прохвостик, дома не сидел, а все бегал по своим товарищам в карты играть, а я один с этой моей воспитомкой, с девчурочкой, и страшно я стал к ней привыкать, потому что скука для меня была тут нестерпимая, и я от нечего делать все с ней упражнялся. То положу дитя в корытце да хорошенько ее вымою, а если где на кожечке сыпка зацветет, я ее сейчас мучкой подсыплю; или головушку ей расчесываю, или на коленях качаю ее, либо, если дома очень соскучусь, суну ее за пазуху да пойду на лиман белье полоскать,— и коза-то, и та к нам привыкла, бывало, за нами тоже гулять идет. Так я дожил до нового лета, и дитя мое подросло и стало дыбки стоять, но замечаю я, что у нее что-то ножки колесом идут. Я было на эпо барину показал, но он ничего на то не уважил и сказал только:

— Я,— говорит,— тут чем причинен? снеси ее лекарю, покажи: пусть посмотрит.

Я понес, а лекарь говорит:

— Это аглицкая болезнь, надо ее в песок сажать.

Я так и начал исполнять; выбрал на бережку лимана такое местечко, где песок есть, и как погожий теплый день, я заберу и козу и девочку и туда с ними удаляюсь. Разгребу руками теплый песочек и закопаю туда девочку по пояс и дам ей палочек играть и камушков, а коза наша вокруг нас ходит, травку щиплет, а я сижу, сижу, руками ноги обхвативши, и засну, и сплю.

По целым дням таким манером мы втроем одни проводили, и это мне лучше всего было от скуки, потому что скука, опять повторю, была ужасная, и особенно мне тут весною, как я стал девочку в песок закапывать да над лиманом спать, пошли разные бестолковые сны. Как усну, а лиман рокочет, а со степи теплый ветер на меня несет, так точно с ним будто что-то плывет на меня чародейное, и нападает страшное мечтание: вижу какие-то

степи, коней, и все меня будто кто-то зовет и куда-то манит: слышу, даже имя кричит: «Иван! Иван! иди, брат Иван!» Встрепенешься, инда вздрогнешь и плюнешь: тьфу, пропасти на вас нет, чего вы меня вскрикались! оглянешься кругом: тоска; коза уже отойдет далеко, бродит, травку щипет, да дитя закопано в песке сидит, а больше ничего... Ух, как скучно! пустынь, солнце да лиман, и опять заснешь, а оно, это течение с поветрием, опять в душу лезет и кричит: «Иван! пойдем, брат Иван!» Даже выругаешься, скажешь: «Да покажись же ты, лихо тебя возьми, кто ты такой, что меня так зовешь?» И вот я так раз озлобился и сижу да гляжу вполне за лиман, и оттолк как облачко легкое поднялось и плывет, и прямо на меня, думаю: тпру, куда ты, благое, еще вымочишь! Ан вдруг вижу: это надо мною стоит тот монах с бабьим лицом, которого я давно, форейтором бывши, кнутом засек. Я говорю: «Тпружи! пошел прочь!» А он этак ласково звенит: «Пойдем, Иван, брат, пойдем! тебе еще много надо терпеть, а потом достигнешь». Я его во сне выругал и говорю: «Куда я с тобой пойду и чего еще достигать буду». А он вдруг опять облаком сделался и сквозь себя показал мне и сам не знаю что: степь, люди такие дикие, сарацины, как вот бывают при сказках в Еруслане и в Бове Королевиче; в больших шапках лохматых и с стрелами, на страшных диких конях. И с этим, что вижу, слышались мне и гогот, и ржанье, и дикий смех, а потом вдруг вихорь... взмело песок тучею, и нет ничего, только где-то тонко колокол тихо звонит, и весь как алою зарею облитый большой белый монастырь по вершине показывается, а по стенам крылатые ангелы с золотыми копьями ходят, а вокруг море, и как который ангел по щиту копьем ударит, так сейчас вокруг всего монастыря море всколышется и заплещет, а из бездны страшные голоса вопиют: «Свят!»

«Ну,— думаю,— опять это мне про монашество пошло!» и с досадою проснулся и в удивлении вижу, что над моею барышнею кто-то стоит на песку на коленях, самого нежного вида, и река-рекой разливается-плачет.

Я долго на это смотрел, потому что все думал: не длится ли мне это видение, но потом вижу, что оно не исчезает, я и встал и подхожу: вижу — дама девочку мою из песку выкопала, и схватила ее на руки, и целует, и плачет.

Я спрашиваю ее:

— Что надо?

А она ко мне и бросилась и жмет дитя к груди, а сама шепчет:

— Это мое дитя, это дочь моя, это дочь моя!

Я говорю:

— Ну так что же в этом такое?

— Отдай,— говорит,— мне ее.

— С чего же ты это,— говорю,— взяла, что я ее тебе отдам?

— Разве тебе,— плачет,— ее не жаль? видишь, как она ко мне жметя.

— Жаться, мол, она глупый ребенок — она тоже и ко мне жметса, а отдать я ее не отдам.

— Почему?

— Потому, мол, что она мне на соблюдение поверена — вон и коза с нами ходит, а я дитя должен отцу приносить.

Она, эта барынька, начала плакать и руки ломать.

— Ну, хорошо,— говорит,— ну, не хочешь дитя мне отдать, так по крайней мере не сказывай,— говорит,— моему мужу, а твоему господину, что ты меня видел, и приходи завтра опять сюда на это самое место с ребенком, чтобы я его еще поласкать могла.

— Это, мол, другое дело,— это я обещаю и исполню.

И точно, я ничего про нее своему барину не сказал, а наутро взял козу и ребенка и пошел опять к лиману, а барыня уже ждет. Все в ямочке сидела, а как нас завидела, выскочила, и бежит, и плачет, и смеется, и в обеих ручках дитю игрушечки сует и даже на козу на нашу колокольчик на красной суконке повесила, а мне трубку, и кiset с табаком, и расческу.

— Кури,— говорит,— пожалуйста, эту трубочку, а я буду дитя нянчить.

И таким манером пошли у нас тут над лиманом свидания: барыня все с дитем, а я сплю, а порой она мне начнет рассказывать, что она того... замуж в своем месте за моего барина насильно была выдана... злою мачехою и того... этого мужа своего она не того... говорит, никак не могла полюбить. А того... этого... другого-то, ремонтера-то... что ли... этого любит и жалуется, что против воли, говорит, своей я ему... предана. Потому муж мой, как сам, говорит, знаешь, неаккуратной жизни, а этот с этими... ну, как их?., с усиками, что ли, прах его знает, и очень чисто говорит, он завсегда одевается, и меня жалеет, но только же опять я, говорит, со всем с этим все-таки не могу быть счастлива, потому что мне и этого дитя жаль. А теперь мы, говорит, с ним сюда приехали и стоим здесь на квартире у одного у его товарища, но я живу под большим опасением, чтобы мой муж не узнал, и мы скоро уедем, и я опять о дите страдать буду.

— Ну что же, мол, делать: если ты, презрев закон и религию, свой обряд изменила, ты должна и пострадать.

А она начнет плакать, и от одного дня раз от разу больше и жалостнее стала плакать, и мне жалобами докучает, и вдруг ни с того ни с сего стала всё мне деньги сулить. И наконец пришла последний раз прошаться и говорит:

— Послушай, Иван (она уже имя мое знала), послушай,— говорит,— что я тебе скажу: нынче,— говорит,— он сам сюда к нам придет.

Я спрашиваю:

— Кто это такой?

Она отвечает:

— Ремонтер.

Я говорю:

— Ну так что ж мне за причина?

А она повествует, что будто он сею ночью страсть как много денег в карты выиграл и сказал, что хочет ей в удовольствие мне тысячу рублей дать за то, чтобы я, то есть, ей ее дочку отдал.

— Ну, уж вот этого,— говорю,— никогда не будет.

— Отчего же, Иван? отчего же? — пристаёт.— Неужто тебе меня и ее не жаль, что мы в разлуке?

— Ну, мол, жаль или не жаль, а только я себя не продавал ни за большие деньги, ни за малые, и не продам, а потому все ремонтеровы тысячи пусть при нем остаются, а твоя дочка при мне.

Она плакать, а я говорю:

— Ты лучше не плачь, потому что мне все равно.

Она говорит:

— Ты бессердечный, ты каменный.

А я отвечаю:

— Совсем, мол, я не каменный, а такой же как все, костяной да жильный, а я человек должностной и верный: взялся хранить дитя, и берегу его.

Она убеждает, что ведь посуды, говорит, и самому же дитяти у меня лучше будет!

— Опять-таки,— отвечаю,— это не мое дело.

— Неужто же,— вскрикивает она,— неужто же мне опять с дитем моим должно расставаться?

— А что же,— говорю,— если ты, презрев закон и религию...

Но только не договорил я этого, что хотел сказать, как вижу, к нам п® степи легкий улан идет. Тогда полковые еще как должно ходили, с форсом, в настоящей военной форме, не то что как нынешние, вроде писарей. Идет этот улан-ремонтёр, такой осанистый, руки в боки, а шинель широко наопашку несет... силы в нем, может быть, и нисколько нет, а форсисто... Гляжу на этого гостя и думаю: «Вот бы мне отлично с ним со скуки поиграть». И решил, что чуть если он ко мне какое слово заговорит, я ему непременно как ни можно хуже согрублю, и авось, мол, мы с ним здесь, Бог даст, в свое удовольствие подеремся. Это, восторгаюсь, будет чудесно, и того, что мне в это время говорит и со слезами моя барынька лепечет, уже не слушаю, а только играть хочу.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Только, решивши себе этакую потеху добыть, я думаю: как бы мне лучше этого офицера раздражить, чтобы он на меня нападать стал? и взял я сел, вынул из кармана гребень и зачал им себя будто в голове чесать; а офицер подходит и прямо к той своей барыньке.

Она ему — та-та-та, та-та: все, значит, о том, что я ей дитя не даю.

А он ее по головке гладит и говорит:

— Ничего это, душенька, ничего: я против него сейчас средство найду. Деньги,— говорит,— раскинем, у него глаза разбежатся; а если и это средство не подействует, так мы просто отнимем у него ребенка,— и с этим самым словом подходит ко мне и подает мне пучок ассигнаций, а сам говорит:

— Вот,— говорит,— тут ровно тысяча рублей,— отдай нам дитя, а деньги бери и ступай, куда хочешь.

А я нарочно невежничая, не скоро ему отвечаю: прежде встал потихонечку; потом гребень на поясок повесил, откашлянулся и тогда молвил:

— Нет,— говорю,— это твое средство, ваше благородие, не подействует,— а сам взял, вырвал у него из рук бумажки, поплевал на них да и бросил, говорю:

— Тубо,— пиль, апорт, подними!

Он огорчился, весь покраснел, да на меня; но мне, сами можете видеть мою комплекцию,— что же мне с форменным офицером долго справляться: я его так слегка пихнул, он и готов: полетел и шпоры вверх задрал, а сабля на сторону отогнулась. Я сейчас топнул, на эту саблю его ногой наступил и говорю:

— Вот тебе,— говорю,— и храбрость твою под ногой придавлю.

Но он хоть силой плох, но отважный был офицерик: видит, что сабельки ему у меня уже не отнять, так распоясал ее, да с кулачками ко мне борзо кидается... Разумеется, и эдак он от меня ничего, кроме телесного огорчения, для себя не получил, но понравилось мне, как он характером своим был горд и благороден: я не беру его денег, и он их тоже не стал подбирать.

Как перестали мы драться, я кричу:

— Возьми же, ваше сиятельство, свои деньги подбери, на прогны годится!

Что же вы думаете: ведь не поднял, а прямо бежит и за дитя хватается; но, разумеется, он берет дитя за руку, а я сейчас же хватать за другую и говорю:

— Ну, тяни его: на чию половину больше оторвется.

Он кричит:

— Подлец, подлец, изверг! — и с этим в лицо мне плюнул и ребенка бросил, а уже только эту барыньку увлекает, а она в отчаянии прежалобно вопит и, насильно влекома, за ним хотя следует, но глаза и руки сюда ко мне и к дите простирает... и вот вижу я и чувствую, как она, точно живая, пополам рвется, половина к нему, половина к дитяти... А в эту самую минуту от города, вдруг вижу, бежит мой барин, у которого я служу, и уже в руках пистолет, и он все стреляет из того пистолета да кричит:

— Держи их, Иван! Держи!

«Ну как же,— думаю себе,— так я тебе и стану их держать? Пускай любятся!» — да догнал барыньку с уланом, даю им дитя и говорю:

— Натe вам этого пострела! только уже теперь и меня,— говорю,— увозите, а то он меня правосудию сдаст, потому что я по незаконному паспорту.

Она говорит:

— Уедем, голубчик Иван, уедем, будешь с нами жить.

Так мы и ускакали и девчурку, мою воспитомку, с собой увезли, а тому моему барину коза, да деньги, да мой паспорт остались.

Всю дорогу я с этими своими с новыми господами все на козлах на гарантасе, до самой Пензы едучи, сидел и думал: хорошо ли же это я сделал, что я офицера бил? ведь он присягу принимал, и на войне с саблею отечество защищает, и сам государь ему, по его чину, может быть, «вы» говорит, а я, дурак, его так обидел!.. А потом это передумаю, начну другое думать: куда теперь меня еще судьба определит; а в Пензе тогда была ярмарка, и улан мне говорит:

— Послушай, Иван, ты ведь, я думаю, знаешь, что мне тебя при себе держать нельзя.

Я говорю:

— Почему же?

— А потому,— отвечает,— что я человек служащий, а у тебя никакого паспорта нет.

— Нет, у меня был,— говорю,— паспорт, только фальшивый.

— Ну вот видишь,— отвечает,— а теперь у тебя и такого нет. На же вот тебе двести рублей денег на дорогу и ступай с Богом, куда хочешь.

А мне, признаюсь, ужась как неохота была никуда от них идти, потому что я то дитя любил; но делать нечего, говорю:

— Ну, прощайте,— говорю,— покорно вас благодарю на вашем награждении, но только еще вот что.

— Что,— спрашивает,— такое?

— А то,— отвечаю,— что я перед вами виноват, что дрался с вами и грубил.

Он рассмеялся и говорит:

— Ну что это, Бог с тобой, ты добрый мужик.

— Нет-с, это,— отвечаю,— мало ли что добрый, это так нельзя, потому что это у меня может на совести остаться: вы защитник отечества, и вам, может быть, сам государь «вы» говорит.

— Это,— отвечает,— правда: нам, когда чин дают, в бумаге пишут: «Жалуем *вас* и повелеваем *вас* почитать и уважать».

— Ну, позвольте же,— говорю,— я этого никак дальше снести не могу...

— А что же,— говорит,— теперь с этим делать. Что ты меня сильнее и поколотил меня, того назад не вынешь.

— Вынуть,— говорю,— нельзя, а по крайности для облегчения моей совести, как вам угодно, а извольте сколько-нибудь раз меня сами ударить,— и взял обе щеки перед ним надул.

— Да за что же? — говорит,— за что же я тебя стану бить?

— Да так,— отвечаю,— для моей совести, чтобы я не без наказания своего государя офицера оскорбил.

Он засмеялся, а я опять надул щеки как можно полнее и опять стою.

Он спрашивает:

— Чего же ты это надуваешься, зачем гримасничаешь?

А я говорю:

— Это я по-солдатски, по артикулу приготовился: извольте,— говорю,— меня с обеих сторон ударить,— и опять щеки надул; а он вдруг, вместо того чтобы меня бить, сорвался с места и ну целовать меня и говорит:

— Полно, Христа ради, Иван, полно: ни за что на свете я тебя ни разу не ударю, а только уходи поскорее, пока Машеньки с дочкой дома нет, а то они по тебе очень плакать будут.

— А! это, мол, иное дело; зачем их огорчать?

И хоть не хотелось мне отходить, но делать нечего: так и ушел поскорей, не прощавшись, и вышел за ворота, и стал, и думаю:

«Куда я теперь пойду?» И взаправду, сколько времени прошло с тех пор, как я от господ бежал и бродяжу, а все я нигде места под собой не согрею... «Шабаш,— думаю,— пойду в полицию и объявлюсь, но только,— думаю,— опять теперь то нескладно, что у меня теперь деньги есть, а в полиции их все отберут: дай же хоть что-нибудь из них потрачу, хоть чаю с кренделями в трактире попью в свое удовольствие». И вот я пошел на ярмарку в трактир, спросил чаю с кренделями и долго пил, а потом вижу, дольше никак невозможно продолжать, и пошел походить. Выхожу за Суру за реку на степь, где там стоят конские косяки, и при них же тут и татары в кибитках. Все кибитки одинаковые, но одна пестрая-препестрая, а вокруг нее много разных господ занимают, ездых коней пробуют. Разные — и штатские, и военные, и помещики, которые приехали на ярмарку, все стоят, трубки курят, а посередине их на пестрой кошме сидит тонкий, как жердь, длинный степенный татарин в штучном халате и в золотой тюбетейке. Я оглядаюсь и, видя одного человека, который при мне в трактире чай пил, спрашиваю его: что это такой за важный татарин, что он один при всех сидит? А мне тот человек отвечает:

— Нешто ты,— говорит,— его не знаешь: это хан Джангар¹.

— Что, мол, еще за хан Джангар?

А тот и говорит:

— Хан Джангар,— говорит,— первый степной коневод, его табуны ходят от самой Волги до самого Урала во все Рынь-пески², и сам он, этот хан Джангар, в степи все равно что царь.

¹ Хан Джангар — предводитель Букеевской киргизской Орды, кочевавшей в Астраханской губернии; вел крупную торговлю лошадьми.

² Рынь-пески (от казахского «нарын» — узкий песок)—гряда холмов в низовьях Волги.

— Разве,— говорю,— эта степь не под нами?

— Нет, она,— отвечает,— под нами, но только нам ее никак достать нельзя, потому что там до самого Каспия либо солончаки, либо одна трава да птицы по поднебесью вьются, и чиновнику там совсем взять нечего, вот по этой причине,— говорит,— хан Джангар там и царюет, и у него там, в Рынь-песках, говорят, есть свои шихи, и ших-зады, и мало-зады, и мамы, и азии, и дербыши, и уланы, и он их всех, как ему надо, наказывает, а они тому рады повиноваться.

Я эти слова слушаю, а сам смотрю, что в то самое время один татарчонок пригонил перед этого хана небольшую белую кобылку и что-то залопотал; а тот встал, взял кнут на длинном кнutoвище и стал прямо против кобылицыной головы и кнут ей ко лбу вытянул и стоит. Но ведь как, я вам доложу, разбойник стоит? просто статуя великолепный, на которого на самого заглядеться надо, и сейчас по нем видно, что он в коне все нутро согладет. А как я по этой части сам с детства был наблюдателен, то мне видно, что и сама кобылица-то эта зрит в нем знатока, и сама вся навывтяжке перед ним держится: на-де, смотри на меня и любуйся! И таким манером он, этот степенный татарин, смотрел, смотрел на эту кобылицу и не обходил ее, как делают наши офицеры, что по суетливости всё вокруг коня мычутся, а он все с одной точки взирал и вдруг кнут опустил, а сам персты у себя на руке молча поцеловал: дескать, антик! и опять на кошме, склавши накрест ноги, сел, а кобылица сейчас ушми запряла, фыркнула и заиграла.

Господа, которые тут стояли, и пошли на нее вперебой торговаться: один дает сто рублей, а другой полтора и так далее, всё большую друг против друга цену нагоняют. Кобылица была, точно, дивная, ростом не великонька, в подобье арабской, но стройненькая, головка маленькая, глазок полный, яблочком, ушки сторожкие; бочка самые звонкие, воздушные, спинка как стрелка, а ножки легкие, точеные, самые уносистые. Я как подобной красоты был любитель, то никак глаз от этой кобылицы не отвлеку. А хан Джангар видит, что на всех от нее зорость¹ пришла и господа на нее как оглашенные цену наполняют, кивнул чумазому татарчонку, а тот как прыг на нее, на лебедушку, да и ну ее гонить,— сидит, знаете, по-своему, по-татарски, коленками ее ежит, а она под ним окрыляется и точно птица летит и не всколыхнет, а как он ей к холочке принагнется да на нее гикнет, так она так вместе с песком в один вихорь и воскурится. «Ах ты, змея! — думаю себе,— ах ты, стрепет степной, аспидский! где ты только могла такая зародиться?» И чувствую, что рванулась моя душа к ней, к этой лошади, родной страстию. Пригонил ее татарчище назад, она пыхнула сразу в обе ноздри, выдулась и всю усталость сбросила и больше ни дыхнет и ни сапнет. «Ах

¹ Зорость — желание, стремление, жажда.

ты,— думаю,— милушка; ах ты, милушка!» Кажется, спроси бы у меня за нее татарин не то что мою душу, а отца и мать родную, и тех бы не пожалел,— но где было о том и думать, чтобы этакого летуна достать, когда за нее между господами и ремонтерами невеста какая цена слагалась, но и это еще было все ничего, как вдруг тут еще торг не был кончен, и никому она не досталась, как видим, из-за Суры, от Селиксы, гонит на вороном коне борзый всадник, а сам широкою шляпой машет и подлетел, соскочил, коня бросил и прямо к той к белой кобылице и стал опять у нее в головах, как и первый статуй, и говорит:

— Моя кобылица.

А хан отвечает:

— Как не твоя: господа мне за нее пятьсот монетов дают.

А тот всадник, татарчище этакий огромный и пузатый, морда загорела и вся облупилась, словно кожа с нее сорвана, а глаза малые, точно щелки, и орет сразу:

— Сто монетов больше всех даю!

Господа взъерепенились, еще больше сулят, а сухой хан Джангар сидит да губы цмокает, а от Суры с другой стороны еще всадник-татарчище гонит на гривастом коне, на игренем, и этот опять весь худой, желтый, в чем кости держатся, а еще озорнее того, что первый приехал. Этот съерзнул с коня и как гвоздь воткнулся перед белой кобылицей и говорит:

— Всем отвечаю: хочу, чтобы моя была кобылица!

Я и спрашиваю соседа: в чем тут у них дело зависит. А он отвечает:

— Это,— говорит,— дело зависит от очень большого хана-Джангарова понятия. Он,— говорит,— не один раз, а чуть не всякую ярмарку тут такую штуку подводит, что прежде всех своих обыкновенных коней, коих пригонит сюда, распродаст, а потом в последний день, михорь его знает откуда, как из-за пазухи выймет такого коня, или двух, что конэсеры не знают что делают; а он, хитрый татарин, глядит на это да тешится, и еще деньги за то получает. Эту его привычку знавши, все уже так этого последнего от него и ожидают, и вот оно так и теперь вышло: все думали, хан ноне уедет, и он, точно, ночью уедет, а теперь ишь какую кобылицу вывел...

— Диво,— говорю,— какая лошадь!

— Подлинно диво, он ее, говорят, к ярмарке всередине косяка пригонил, и так гнал, что ее за другими конями никому видеть нельзя было, и никто про нее не знал, опричь этих татар, что приехали, да и тем он казал, что кобылица у него не продажная, а заветная, да ночью ее от других отлучил и под Мордовский ишим в лес отогнал и там на поляне с особым пастухом пас, а теперь вдруг ее выпустил и продавать стал, и ты погляди, что из-за нее тут за чудеса будут и что он, собака, за нее возьмет, а если хочешь, ударимся об заклад, кому она достанется?

— А что, мол, такое: из-за чего нам биться?

— А из-за того,— отвечает,— что тут страсть что сейчас почнется: и все господа непременно спятытся, а лошадь который-нибудь вот из этих двух азиатов возьмет.

— Что же они,— спрашиваю,— очень, что ли, богаты?

— И богатые,— отвечает,— и озорные охотники: они свои большие косяки гоняют и хорошей, заветной лошади друг другу в жизнь не уступят. Их все знают: этот брюхастый, что вся морда облуплена, это называется Бакшей Отучев, а худищий, что одни кости ходят, Чепкун Емгурчеев,— оба злые охотники, и ты только смотри, что они за потеху сделают.

Я замолчал и смотрю: господа, которые за кобылицу торговались, уже отступились от нее и только глядят, а те два татарина друг дружку отпихивают и всё хана Джангара по рукам хлопают, а сами за кобылицу держатся и всё трясутся да кричат; один кричит:

— Я даю за нее, кроме монетов, еще пять голов (значит пять лошадей),— а другой вопит:

— Врет твоя мордам, я даю десять.

Бакшей Отучев кричит:

— Я даю пятнадцать голов.

А Чепкун Емгурчеев:

— Двадцать.

Бакшей:

— Двадцать пять.

А Чепкун:

— Тридцать.

А больше ни у того, ни у другого, видно, уже нет... Чепкун крикнул тридцать, и Бакшей дает тоже только тридцать, а больше нет; но зато Чепкун еще в придачу седло сулит, а Бакшей седло и халат, и Чепкун халат скидает, больше опять друг друга им нечем одолевать. Чепкун крикнул: «Слушай меня, хан Джангар: я домой приеду, я к тебе свою дочь пригоню»,— и Бакшей тоже дочь сулит, а больше опять друг друга нечем пересилить. Тут вдруг вся татарва, кои тут это торговище зрели, заорали, загалдели по-своему; их разнимают, чтобы до разорения друг друга не довели, тормозят их, Чепкуна и Бакшея, в разные стороны, в бока их тычут, уговаривают.

Я спрашиваю у соседа:

— Скажи, пожалуйста, что это такое у них теперь пошло?

— А вот видишь,— говорит,— этим князьям, которые их разнимают, им Чепкуна с Бакшеем жалко, что они очень заторговались, так вот они их разлучают, чтобы опомнились и как-нибудь друг дружке честью кобылицу уступили.

— Как же,— спрашиваю,— можно ли, чтобы они друг дружке ее уступили, когда она обоим им так нравится? Этого быть не может.

— Отчего же,— отвечает,— азиаты народ рассудительный и степенный: они рассудят, что зачем напрасно именование терять,

и хану Джангару дадут, сколько он просит, а кому коня взять, с общего согласия наперепор пустят.

Я любопытствую:

— Что же, мол, такое это значит: «наперепор».

А тот мне отвечает:

— Нечего спрашивать, смотри, это видеть надо, а оно сейчас начинается.

Смотрю я и вижу, что и Бакшей Отучев и Чепкун Емгурчиев оба будто стихали и у тех своих татар-мировщиков вырываются и оба друг к другу бросились, подбежали и по рукам бьют.

— Сгода!— дескать, поладили.

И тот то же самое отвечает:

— Сгода: поладили!

И оба враз с себя и халаты долой и бешметы и чевяки сбросили, ситцевые рубахи сняли, и в одних широких полосатых портищах остались, и плюх один против другого, сели на землю, как курохтаны степные, и сидят.

В первый раз мне это такое диво видеть доводилось, и я смотрю, что дальше будет? А они друг дружке левые руки подали и крепко их держат, ноги растопырили и ими друг дружке следы в следы уперлись и кричат: «Подавай!»

Что такое они себе требуют «подавать», я не предвижу, но те, татарва-то, из кучки отвечают:

— Сейчас, бачка, сейчас.

И вот вышел из этой кучки татарин старый, степенный такой, и держит в руках две здоровые нагайки и сравнивал их в руках и кажет всей публике и Чепкуну с Бакшеем: «Глядите,— говорит,— обе штуки ровные».

— Ровные,— кричат татарва,— все мы видим, что благородно сделаны, плети ровные! Пусть садятся и начинают.

А Бакшей и Чепкун так и рвутся, за нагайки хватаются.

Степный татарин и говорит им: «подождите», и сам им эти нагайки подал: одну Чепкуну, а другую Бакшее, да ладошками хлопает тихо, раз, два и три... И только что он в третье хлопнул, как Бакшей стегнет изо всей силы Чепкуна нагайкою через плечо по голой спине, а Чепкун таким самым манером на ответ его. Да и пошли эдак один другого потчевать: в глаза друг другу глядят, ноги в ноги следками упираются и левые руки крепко жмут, а правыми с нагайками порются... Ух, как они знатно поролись! Один хорошо черкнет, а другой еще лучше. Глаза-то у обоих даже выстобенели, и левые руки замерли, а ни тот, ни другой не сдается.

Я спрашиваю у моего знакомца:

— Что же это, мол, у них, стало быть, вроде как господа на дуэль, что ли, выходят?

— Да,— отвечает,— тоже такой поединок, только это,— говорит,— не насчет чести, а чтобы не расхотаться.

— И что же,— говорю,— они эдак могут друг друга долго сечь?

— А сколько им,— говорит,— похочется и сколько силы станет.

А те всё хлещутся, а в народе за них спор пошел: одни говорят: «Чепкун Бакшея перепорет», а другие спорят: «Бакшей Чепкуна перебьет», и кому хочется, об заклад держат — те за Чепкуна, а те за Бакшея, кто на кого больше надеется. Поглядят им с познанием в глаза и в зубы, и на спины посмотрят, и по каким-то приметам понимают, кто надежнее, за того и держат. Человек, с которым я тут разговаривал, тоже из зрителей опытных был и стал сначала за Бакшея держать, а потом говорит:

— Ах, квит, пропал мой двугривенный: Чепкун Бакшея собьет.

А я говорю:

— Почему то знать? Еще, мол, ничего не можно утвердить: оба еще ровно сидят.

А тот мне отвечает:

— Сидят-то,— говорит,— они еще оба ровно, да не одна в них повадка.

— Что же,— говорю,— по моему мнению, Бакшей еще ярче стегает.

— А вот то,— отвечает,— и плохо. Нет, пропал за него мой двугривенный: Чепкун его запорет.

«Что это,— думаю,— такое за диковина: как он непонятно, этот мой знакомец, рассуждает? А ведь он же,— размышляю,— должно быть, в этом деле хорошо понимает практику, когда об заклад бьется!»

И стало мне, знаете, очень любопытно, и я к этому знакомцу пристаю.

— Скажи,— говорю,— милый человек, отчего ты теперь за Бакшея опасаясь?

А он говорит:

— Экой ты пригородник глупый! ты гляди,— говорит,— какая у Бакшея спина.

Я гляжу: ничего, спина этакая хорошая, мужественная, большая и пухлая, как подушка.

— А видишь,— говорит,— как он бьет?

Гляжу, и вижу тоже, что бьет яростно, даже глаза на лоб выпялил, и так его как ударит, так сразу до крови и режет.

— Ну, а теперь сообрази, как он нутрём действует?

— Что же, мол, такое нутрём? — я вижу одно, что сидит он прямо, и весь рот открыл, и воздух в себя шибко забирает.

А мой знакомец и говорит:

— Вот это-то и худо: спина велика, по ней весь удар просторно ложится; шибко бьет, запыхается, а в открытый рот дышит, он у себя воздухом все нутро пережжет.

— Что же,— спрашиваю,— стало быть, Чепкун надежней?

— Непременно,— отвечает,— надежнее: видишь, он весь сухой, кости в одной коже держатся, и спиночка у него как лопата

коробленная, по ней ни за что по всей удар не падет, а только местечками, а сам он, зри, как Бакшея спрехвала поливает, не частит, а с повадочкой, и плеть сразу не отхватывает, а под нею коже напухать дает. Вон она от этого, спина-то, у Бакшея вся и вздулась и как котел посинела, а крови нет, и вся боль у него теперь в теле стоит, а у Чепкуна на худой спине кожичка как на жареном поросенке трещит, прорывается, и оттого у него вся боль кровью сойдет, и он Бакшея заперет. Понимаешь ты это теперь?

— Теперь,— говорю,— понимаю,— и точно, тут я всю эту азиатскую практику сразу понял и сильно ею заинтересовался: как в таком случае надо полезнее действовать?

— А еще самое главное,— указывает мой знакомец,— замечай,— говорит,— как этот проклятый Чепкун хорошо мордой такту соблюдает; видишь: стегнет и на ответ сам вытерпит и соразмерно глазами хлопнет,— это легче, чем пялить глаза, как Бакшей пялит, и Чепкун зубы стиснул и губы прикусил, это тоже легче, оттого что в нем через эту замкнутость излишнего горения внутри нет.

Я все эти его любопытные примеры на ум взял и сам вглядываюсь и в Чепкуна и в Бакшея, и все мне стало и самому понятно, что Бакшей непременно свалится, потому что у него уже и глазища совсем обостолопели и губы веревочкой собрались и весь оскал открыли... И точно, глядим, Бакшей еще раз двадцать Чепкуна стеганул и все раз от разу слабее, да вдруг бряк назад и левую Чепкунову руку выпустил, а своею правою все еще двигает, как будто бьет, но уже без памяти, совсем в обмороке. Ну, тут мой знакомый говорит: «Шабаш: пропал мой двугривенный». Тут все и татары заговорили, поздравляют Чепкуна, кричат:

— Ай, башка Чепкун Емгурчеев, ай, умнай башка — совсем пересек Бакшея, садись — теперь твоя кобыла.

И сам хан Джангар встал с кошмы и похаживает, а сам губами шлепает и тоже говорит:

— Твоя, твоя, Чепкун, кобылица: садись, гони, на ней отдыхай.

Чепкун и встал: кровь струит по спине, а ничего виду болезни не дает, положил кобылице на спину свой халат и бешмет, а сам на нее брюхом вскинулся и таким манером поехал, и мне опять скучно стало.

«Вот,— думаю,— все это уже и окончилось, и мне опять про свое положение в голову полезет»,— а мне страх как не хотелось про это думать.

Но только, спасибо, мой тот знакомый человек говорит мне:

— Подожди, не уходи, тут непременно что-то еще будет. Я говорю:

— Чему же еще быть? все кончено.

— Нет,— говорит,— не кончено, ты смотри,— говорит,— как

хан Джангар трубку жжет. Видишь, палит: это он непременно еще про себя что-нибудь думает, самое азиатское.

Ну, а я себе думаю: «Ах, если еще что будет в этом самом роде, то уже было бы только кому за меня заложиться, а уже я не спущу!»

ГЛАВА ШЕСТАЯ

И что же вы изволите полагать? Все точно так и вышло, как мне желалось: хан Джангар трубку палит, а на него из чишобы гонит еще татарчонок, и уже этот не на такой кобылице, какую Чепкун с мировой у Бакшея взял, а караковый¹ жеребенок, какого и описать нельзя. Если вы видали когда-нибудь, как по меже в хлебах птичка коростель бежит,— по-нашему, по-орловски, дергач зовется: крыла он растопырит, а зад у него не как у прочих птиц, не распространяется по воздуху, а вниз висит и ноги книзу пустит, точно они ему не надобны,— настоящее, выходит, будто он едет по воздуху. Вот и этот новый конь, на эту птицу подобно, точно не своей силой несся.

Истинно не солгу скажу, что он даже не летел, а только земли за ним сзади прибавлялось. Я этакой легкости сроду не видал и не знал, как сего конька и ценить, на какие сокровища и кому его обречь, какому королевичу, а уже тем паче никогда того не думал, чтобы этот конь мой стал.

— Как он ваш стал? — перебили рассказчика удивленные слушатели.

— Так-с, мой, по всем правам мой, но только на одну минуту, а каким манером, извольте про это слушать, если угодно. Господа, по своему обыкновению, начали и на эту лошадь торговаться, и мой ремонтер, которому я дитя подарил, тоже встрял, а против них, точно ровня им, взялся татарин Савакирей, этакой коротыш, небольшой, но крепкий, верченый, голова бритая, словно точеная, и круглая, будто молодой кочешок крепенький, а рожа как морковь красная, и весь он будто огородинка какая здоровая и свежая. Кричит: «Что, говорит, по-пустому карман терять нечего, клади кто хочет деньги за руки, сколько хан просит, и давай со мною пороться, кому конь достанется?»

Господам, разумеется, это не пристало, и они от этого сейчас в сторону; да и где им с этим татаринком сечься, он бы, поганый, их всех перебил. А у моего ремонтера тогда уже и денег-то не очень густо было, потому он в Пензе опять в карты проигрался, а лошадь ему, я вижу, хочется. Вот я его сзади дернул за рукав, да и говорю: так и так, мол, лишнего сулить не надо, а что хан требует, то дайте, а я с Савакиреем сяду потягаться на мировую. Он было не хотел, но я упросил, говорю:

Караковый — темно-гнедой, почти вороной, с подпалинами, желтизной на морде и в пахах.

«Сделайте такую милость: мне хочется».

Ну, так и сделали.

— Вы с этим татаринном... что же... секли друг друга?

— Да-с, тоже таким манером попоролись на мировую, и же-ребенок мне достался.

— Значит, вы татарина победили?

— Победил-с, не без труда, но пересилил его.

— Ведь это, должно быть, ужасная боль.

— Ммм... как вам сказать... Да, вначале есть-с; и даже очень чувствительно, особенно потому, что без привычки, и он, этот Савакирей, тоже имел сноровку на опух бить, чтобы кровь не спускать, но я против этого его тонкого искусства свою хитрую сноровку взял: как он меня хлобыснет, я сам под нагайкой спи-ную поддерну, и так приноровался, что сейчас шкурку себе и со-рву, таким манером и обезопасился, и сам этого Савакирея за-порол.

— Как заporоли, неужто совершенно до смерти?

— Да-с, он через свое упорство да через политику так глупо себя допустил, что его больше и на свете не стало,— отвечал добродушно и бесстрастно рассказчик и, видя, что слушатели все смотрят на него, если не с ужасом, то с немым недоумением, как будто почувствовал необходимость пополнить свой рассказ пояснением.

— Видите,— продолжал он,— это стало не от меня, а от него, потому что он во всех Рынь-песках первый батырь считался и че-рез эту амбицию ни за что не хотел мне уступить, хотел благо-родно вытерпеть, чтобы позора через себя на азиатскую нацию не положить, но сомлел, беднячок, и против меня не вытерпел, верно потому, что я в рот грош взял. Ужасно это помогает, и я все его грыз, чтобы боли не чувствовать, а для рассеянности мыслей в уме удары считал, так мне и ничего.

— И сколько же вы насчитали ударов? — перебили рассказ-чика.

— А вот наверно этого сказать не могу-с, помню, что я сосчи-тал до двести до восемьдесят и два, а потом вдруг покачнуло ме-ня вроде обморока, я и сбился на минуту и уже так, без счета пушал, но только Савакирей тут же вскоре последний разок на меня замахнулся, а уже ударить не мог, сам, как кукла, на меня вперед и упал: посмотрели, а он мертвый... Тьфу ты, дурак эда-кий! до чего дотерпелся? Чуть я за него в острог не попал. Та-тарва — те ничего: ну, убил и убил: на то такие были кондиции, потому что и он меня мог засечь, но свои, наши русские, даже досадно, как этого не понимают, и взъелись. Я говорю:

«Ну, вам что такого? что вам за надобность?»

«Как,— говорят,— ведь ты азиата убил?»

«Ну так что же, мол, такое, что я его убил? Ведь это дело лю-бовное. А разве лучше было бы, если бы он меня засек?»

«Он,— говорят,— тебя мог засечь, и ему ничего, потому что

он иновер, а тебя,— говорят,— по христианству надо судить. Пойдем,— говорят,— в полицию».

Ну, я себе думаю: «Ладно, братцы, судите ветра в поле»; а как, по-моему, полиция, нет ее ничего вреднее, то я сейчас шмыг за одного татарина, да за другого. Шепчу им:

«Спасайте, князья: сами видели, все это было на честном бою...»

Они сжались, и пошли меня друг за дружку перепихивать, и скрыли.

— То есть позвольте... как же они вас *скрыли*?

— Совсем я с ними бежал в их степи.

— В степи даже!

— Да-с, в самые Рынь-пески.

— И долго там провели?

— Целые десять лет: двадцати трех лет меня в Рынь-пески доставили, по тридцать четвертому году я оттуда назад убежал.

— Что же, вам понравилось или нет в степи жить?

— Нет-с; что же там может нравиться? скучно, и больше ничего; а только же раньше уйти нельзя было.

— Отчего же: держали вас татары в яме или караулили?

— Нет-с, они добрые, они этого неблагородства со мною не допускали, чтобы в яму сажать или в колодки, а просто говорят: «Ты нам, Иван, будь приятель; мы, говорят, тебя очень любим, и ты с нами в степи живи и полезным человеком будь,— коней нам лечи и бабам помогай».

— И вы лечили?

— Лечил; я так у них за лекаря и был, и самих их, и скотину всю, и коней, и овец, всего больше жен ихних, татарок, пользовал.

— Да вы разве умеете лечить?

— Как бы вам это сказать... Да ведь в этом какая же хитрость? Чем кто заболит — я сабуру¹ дам или калганного корня², и пройдет, а сабуру у них много было,— в Саратове один татарин целый мешок нашел и привез, да они до меня не знали, к чему его определить.

— И обжились вы с ними?

— Нет-с, постоянно назад стремился.

— И неужто никак нельзя было уйти от них?

— Нет-с, отчего же, если бы у меня ноги в своем виде оставались, так я, наверно, давно бы назад в отечество ушел.

— А у вас что же с ногами случилось?

— Подштитинен я был после первого раза.

— Как это?.. Извините, пожалуйста, мы не совсем понимаем, что это значит, что вы били *подштитинены*?

— Это у них самое обыкновенное средство: если они кого по-

¹ *Сабур* — алоэ.

² *Налганный корень* — растение, употребляемое в пищу и как лекарство.

любят и удержать хотят, а тот тоскует или попытается бежать, то и сделают с ним, чтобы он не ушел. Так и мне, после того как я раз попробовал уходить, да сбился с дороги, они поймали меня и говорят: «Знаешь, Иван, ты, говорят, нам будь приятель, и чтобы ты опять не ушел от нас, мы тебе лучше пятки нарубим и малость щетинки туда пихнем»; ну и испортили мне таким манером ноги, так что все время на карачках ползал.

— Скажите, пожалуйста, как же они делают эту ужасную операцию?

— Очень просто-с: повалили меня на землю человек десять и говорят: «Ты кричи, Иван, погромче кричи, когда мы начнем резать: тебе тогда легче будет», и сверх меня сели, а один такой искусник из них в одну минуточку мне на подошвах шкурку подрезал да рубленой коневьей гривы туда засыпал и опять с этой подсыпкой шкурку завернул и стрункой зашил. После этого тут они меня, точно, дён несколько держали руки связавши,— всё боялись, чтобы я себе ран не вредил и щетинку гноем не вывел; а как шкурка зажила, и отпустили: «Теперь, говорят, здравствуй, Иван, теперь уже ты совсем наш приятель и от нас отсюда никогда не уйдешь».

Я тогда только встал на ноги, да и бряк опять на землю: волос-то этот рубленый, что под шкурой в пятах зарос, так мертвно больно в живое мясо кололся, что не только шагу ступить невозможно, а даже устоять на ногах средства нет. Сроду я не плакивал, а тут даже в голос заголосил.

«Что же это,— говорю,— вы со мною, азиаты проклятые, устроили? Вы бы меня лучше, аспиды, совсем убили, чем этак целый век таким калекой быть, что ступить не могу».

А они говорят:

«Ничего, Иван, ничего, что ты по пустому делу обижаешься».

«Какое же,— говорю,— это пустое дело, так человека испортить, да еще чтобы не обижаться?»

«А ты,— говорят,— присноровись, прямо-то на следки не наступай, а раскорячкой на косточках ходи».

«Тьфу вы, подлецы!» — думаю я себе и от них отвернулся и говорить не стал, и только порешил себе в своей голове, что лучше уже умру, а не стану, мол, по вашему совету раскорякою на щиколотках ходить; но потом полежал-полежал,— скука смертная одолела, и стал присноравливаться и мало-помалу пошел на щиколотках ковылять. Но только они надо мной через это нимало не смеялись, а еще говорили:

«Вот и хорошо, и хорошо, Иван, ходишь».

— Экое несчастье, и как же вы это пустились уходить и опять попались?

— Да невозможно-с; степь ровная, дорог нет, и есть хочется... Три дня шел, ослабел не хуже лиса, руками какую-то птицу поймал и сырую ее съел, а там опять голод, и воды нет... Как идти?.. Так и упал, а они отыскивали меня и взяли и подшетинили.

Некто из слушателей заметил по поводу этого подштитиниванья, что ведь это, должно быть, из рук вон неловко ходить на щиколотках.

— Попервоначалу даже очень нехорошо,— отвечал Иван Северьяныч,— да и потом хоть я изловчился, а все много пройти нельзя. Но только зато они, эта татарва, не стану лгать, обо мне с этих пор хорошо печалились.

«Теперь,— говорят,— тебе, Иван, самому трудно быть, тебе ни воды принести, ни что прочее для себя сготовить неловко. Бери,— говорят,— брат, себе теперь Наташу,— мы тебе хорошую Наташу дадим, какую хочешь выбирай».

Я говорю:

«Что мне их выбирать: одна в них во всех польза. Давайте какую попало». Ну, они меня сейчас без спора и женили.

— Как! женили вас на татарке?

— Да-с, разумеется, на татарке. Сначала на одной, того самого Савакирея жене, которого я пересек, только она, эта татарка, вышла совсем мне не по вкусу: благая какая-то и все как будто очень меня боялась и нимало меня не веселила. По мужу, что ли, она скучала, или" так к сердцу ей что-то подступало. Ну, так они заметили, что я ею стал отягощаться, и сейчас другую мне привели, эта маленькая была девочка, не более как всего годов тринадцати... Сказали мне:

«Возьми, Иван, еще эту Наташу, эта будет утешнее».

Я и взял.

— И что же: эта точно была для вас утешнее? — спросили слушатели Ивана Северьяныча.

— Да,— отвечал он,— эта вышла поутешнее, только порою, бывало, веселит, а порою тем докучает, что балуется.

— Как же она баловалась?

— А разное... Как ей, бывало, вздумается; на колени, бывало, вскочит; либо спишь, а она с головы тубетейку ногой скопнет да закинет куда попало, а сама смеется. Станешь на нее грозиться, а она хохочет, заливается, да, как русалка, бегать почнет, ну а мне ее на карачках не догнать — шлепнешься, да и сам рассмеешься.

— А вы там, в степи, голову брили и носили тубетейку?

— Брил-с.

— Для чего же это? верно, хотели нравиться вашим женам?

— Нет-с; больше для опрятности, потому что там бань нет.

— Таким образом, у вас, значит, зараз было две жены?

— Да-с, в этой степи две; а потом у другого хана, у Агаши-молы, кой меня угонил от Отучева, мне еще две дали.

— Позвольте же,— запытал опять один из слушателей,— как же вас могли угнать?

— Подвохом-с. Я ведь из Пензы бежал с татарвою Чепкуна Емгурчеева и лет пять подряд жил в емгурчеевской орде, и тут съезжались к нему на радости все князья, и уланы, и ших-зады,

и мало-зады, и бывал хан Джангар и Бакшей Отучев.

— Это которого Чепкун сек?

— Да-с, тот самый.

— Как же это... Разве Бакшей на Чепкуна не сердился?

— За что же?

— За то, что он так порол его и лошадь у него отбил?

— Нет-с, они никогда за это друг на друга не сердятся: кто кого по любовному уговору перебьет, тот и получай, и больше ничего; а только хан Джангар мне, точно, один раз выговаривал... «Эх, говорит, Иван, эх, глупая твоя башка, Иван, зачем ты с Савакиреем за русского князя сеешься сел, я, говорит, было хотел смеяться, как сам князь рубаха долой будет снимать».

«Никогда бы,— отвечаю ему,— ты этого не дождал».

«Отчего?»

«Оттого, что наши князья,— говорю,— слабодушные и не мужественные, и сила их самая ничтожная».

Он понял.

«Я так,— говорит,— и видел, что из них,— говорит,— настоящих охотников нет, а всё только если что хотят получить, так за деньги».

«Это, мол, верно: они без денег ничего не могут». Ну, а Агашимола, он из дальней орды был, где-то над самым Каспием его косяки ходили, он очень лечиться любил и позвал меня свою ханшу попользовать и много голов скота за то Емгурчею обещал. Емгурчей меня к нему и отпустил: набрал я с собою сабуру и калганного корня и поехал с ним. А Агашимола как взял меня, да и гайда в сторону со всем кочем, восемь дней в сторону скали.

— И вы верхом ехали?

— Верхом-с.

— А как же ваши ноги?

— А что же такое?

— Да волос-то рубленый, который у вас в пятках был, разве он вас не беспокоил?

— Ничего; это у них хорошо приноровлено: они эдак кого волосом подщегинят, тому хорошо ходить нельзя, а на коне такой подщегиненный человек еще лучше обыкновенного сидит, потому что он, раскорякой ходючи, всегда ноги колесом привыкает держать и коня, как обручем, ими обтянет так, что ни за что его долой и не сбить.

— Ну и что же с вами далее было в новой степи у Агашимолы?

— Опять и еще жесточе погибал.

— Но не погибли?

— Нет-с, не погиб.

— Сделайте же милость, расскажите: что вы дальше у Агашимолы вытерпели.

— Извольте.

Как Агашимолова татарва пригонили со мной на становище, так и гайда на другое, на новое место пошли и уже не выпустили меня.

«Что,— говорят,— тебе там, Иван, с Емгурчевыми жить,— Емгурчей вор, ты с нами живи, мы тебя с охотой уважать будем и хороших Наташ тебе дадим. Там у тебя всего две Наташи было, а мы тебе больше дадим».

Я отказался.

«На что,— говорю,— мне их больше? мне больше не надо».

«Нет,— говорят,— ты не понимаешь, больше Наташ лучше: они тебе больше Колек нарожают, все тебя тяткой кричать будут».

«Ну,— говорю,— легко ли мне обязанность татарчат воспитывать. Кабы их крестить и причащать было кому, другое бы еще дело, а то что же: сколько я их ни умножу, все они ваши же будут, а не православные, да еще и обманывать мужиков станут, как вырастут». Так двух жен опять взял, а больше не принял, потому что если много баб, так они хоть и татарки, но ссорятся, поганые, и их надо постоянно учить.

— Ну-с, и что же, любили вы этих ваших новых жен?

— Как-с?

— Этих новых жен своих вы любили?

— Любить?.. Да, то есть вы про это? ничего, одна, что я от Агашимолы принял, была до меня услужлива, так я ее ничего... сожалел.

— А ту девочку, что прежде молоденькая-то такая у вас в женах была? она вам, верно, больше нравилась?

— Ничего; я и ее жалел.

— И скучали, наверно, по ней, когда вас из одной орды в другую украли?

— Нет; скучать не скучал.

— Но ведь у вас, верно, и там от тех от первых жен дети были?

— Как же-с, были: Савакиреева жена родила двух Колек да Наташку, да эта, маленькая, в пять лет шесть штук породила, потому что она двух Колек в один раз парюю принесла.

— Позвольте, однако, спросить вас: почему вы их всё так называете «Кольками» да «Наташками»?

— А это по-татарски. У них всё если взрослый русский человек— так *Иван*, а женщина — *Наташа*, а мальчиков они *Кольками* кличут, так и моих жен, хоть они татарки были, но по мне их все уже русскими числили и Наташками звали, а мальчишек Кольками. Однако все это, разумеется, только поверхностно, потому что они были без всех церковных таинств, и я их за своих детей не почитал.

— Как же не почитали за своих? почему же это так?

— Да что же их считать, когда они некрещеные-с и миром не мазаны.

— А чувства-то ваши родительские?

— Что же такое-с?

— Да неужто же вы этих детей нимало и не любили и не ласкали их никогда?

— Да ведь как их ласкать? Разумеется, если, бывало, когда один сидишь, а который-нибудь подбежит, ну ничего, по головке его рукой поведешь, погладишь и скажешь ему: «Ступай к матери», но только это редко доводилось, потому мне не до них было.

— А отчего же не до них: дела, что ли, у вас очень много было?

— Нет-с; дела никакого, а тосковал: очень домой в Россию хотелось.

— Так вы и в десять лет не привыкли к степям?

— Нет-с, домой хочется... тоска делалась. Особенно по вечерам, или даже когда среди дня стоит погода хорошая, жарынь, в стану тихо, вся татарва от зною попадает по шатрам и спит, а я подниму у своего шатра полочку и гляжу на степи... в одну сторону и в другую — все одинаково... Знойный вид, жестокий; простор — краю нет; травы, буйство; ковыль белый, пушистый, как серебряное море, волнуется, и по ветерку запах несет: овцой пахнет, а солнце обливает, жжет, и степи, словно жизни тягостной, нигде конца не предвидится, и тут глубине тоски дна нет... Зришь сам не знаешь куда, и вдруг пред тобой отколь ни возьмется обозначается монастырь или храм, и вспомнишь крещеную землю и заплачешь.

Иван Северьяныч остановился, тяжело вздохнул от воспоминания и продолжал:

— Или еще того хуже было на солончаках над самым над Каспием: солнце рдеет, печет, и солончак блестит, и море блестит... Одурение от этого блеску даже хуже чем от ковыля делается, и не знаешь тогда, где себя, в какой части света числить, то есть жив ты или умер и в безнадежном аду за грехи мучишься. Там, где степь ковылистее, она все-таки радостней; там хоть по увалам кое-где изредка шалфей сизеет или мелкий полынь и чабрец пестрит белизну, а тут все одно бльщание... Там где-нибудь огонь палом по траве пойдет,— суета поднимется: дрохвы летят, стрепеты, кулики степные, и охота на них затеется. Тудаков этих, или по-здешнему дрохвов, на конях заезжаем и длинными кнутьями засекаем; а там, гляди, надо и самим с конями от огня бежать... Все от этого развлечение. А потом по старому палу опять клубника засядет; птица на нее разная налетит, все больше мелочь этакая, и пойдет в воздухе чириканье... А потом еще где-нибудь и кустик встретишь: таволожка¹, дикий персичек или чилизник²... И когда на восходе солнца туман росую садится,

¹ *Таволожка* — куст волжанки, степной березки.

² *Чилизник* — степная полынь.

будто прохладой пахнёт, и идут от растения запахи... Оно, разумеется, и при всем этом скучно, но все еще перенести можно, но на солончак не приведи Господи никому долго побывать. Конь там одно время бывает доволен: он соль лижет и с нее много пьет и жиреет, но человеку там — погибель. Живности даже никакой нет, только и есть, как на смех, одна малая птичка, красноустик, вроде нашей ласточки, самая непримечательная, а только у губок этакая оторочка красная. Зачем она к этим морским берегам летит — не знаю, но как сесть ей постоянно здесь не на что, то она упадет на солончак, полежит на своей хлупи и, глядишь, опять схватилась и опять полетела, а ты и се-го лишен, ибо крыльев нет, и ты снова здесь, и нет тебе ни смерти, ни живота, ни покаяния, а умрешь, так как барана тебя в соль положат, и лежи до конца света солониною. А еще и этого тошнее зимой на тюбеньке¹; снег малый, только чуть траву укроет и залубенит — татары тогда все в юртах над огнем сидят, курят... И вот тут они со'скуки тоже часто между собою порются. Тогда выйдешь, и глянуть не на что: кони нахохлятся и ходят свернувшись, худые такие, что только хвосты да гривы развеваются. Насилу ноги волочат и копытом снежный наст разгребают и мерзлую травку гложут, тем и питаются,— это и называется *тюбенькуют*... Несносно. Только и рассеяния, что если замечают, что какой конь очень ослабел и тюбеньковать не может — снегу копытом не пробивает и мерзлого корня зубом не достает, то такого сейчас в горло ножом колют и шкуру снимают, а мясо едят. Препоганое, однако, мясо: сладкое, все равно вроде как коровье вымя, но жесткое; от нужды, разумеется, ешь, а самого мутит. У меня, спасибо, одна жена умела еще коневьи ребра коптить: возьмет как есть коневье ребро, с мясом с обеих сторон, да в большую кишку всунет и над очагом выкоптит. Это еще ничего, сходнее есть можно, потому что оно, по крайней мере, запахом вроде ветчины отдает, но а на вкус все равно тоже поганое. И тут-то этакую гадость гложешь и вдруг вздумаешь: эх, а дома у нас теперь в деревне к празднику уток, мол, и гусей щипят, свиной режут, щи с зашеиной варят жирные-прежирные, и отец Илья, наш священник, добрый-предобрый старичок, теперь скоро пойдет он Христа славить, и с ним дьяки, попадьи и дьячихи идут, и с семинаристами, и все навеселе, и сам отец Илья много пить не может: в господском доме ему дворецкий рюмочку поднесет; в конторе тоже управитель с нянькой вышлет попотчует, отец Илья и раскиснет и ползет к нам на дворню, совсем чуть ножки волочит пьяненький: в первой с краю избе еще как-нибудь рюмочку прососет, а там уж более не может и все под ризой в бутылочку сливает. Так это все у него семейственно, даже в рассуждении кушанья, он если что посмачнее из съестного увидит, просит: «Дайте, говорит, мне в газетную бумажку, я с собой

Тюбенька — зимнее пастбище.

заверну». Ему обыкновенно скажут: «Нету, мол, батюшка, у нас газетной бумаги»,— он не сердится, а возьмет так просто и не завернувши своей попадеике передаст, и дальше столь же мирно пойдет. Ах, судари, как это все с детства памятное житье пойдет вспоминаться, и понапрет на душу, и станет вдруг загнетать на печенях, что где ты пропадаешь, ото всего этого счастья отлучен и столько лет на духу не был, и живешь невенчаный и умрешь неотпетый, и охватит тебя тоска, и... дождешься ночи, выползешь потихоньку за ставку, чтобы ни жены, ни дети и никто бы тебя из поганых не видал, и начнешь молиться... и молишься... так молишься, что даже снег инда под коленами протает и где слезы падали — утром травку увидишь.

Рассказчик умолк и поник головою. Его никто не тревожил; казалось, все были проникнуты уважением к святой скорби его последних воспоминаний; но прошла минута, и Иван Северьяныч сам вздохнул, как рукой махнул; снял с головы свой монастырский колпачок и, перекрестясь, молвил:

— А все прошло, слава Богу!

Мы дали ему немножко поотдохнуть и дерзнули на новые вопросы о том, как он, наш очарованный богатырь, выправил свои попорченные волосяною сечкою пятки и какими путями он убежал из татарской степи от своих Наташей и Колек и попал в монастырь?

Иван Северьяныч удовлетворил это любопытство с полной откровенностью, изменять которой он, очевидно, был вовсе не способен.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Дорожа последовательностью в развитии заинтересовавшей нас истории Ивана Северьяновича, мы просили его прежде всего рассказать, какими необыкновенными средствами он избавился от своей щетинки и ушел из плена? Он поведал об этом следующее сказание:

— Я совершенно отчаялся когда-нибудь вернуться домой и увидеть свое отечество. Помышление об этом даже мне казалось невозможным, и стала даже во мне самая тоска замирать. Живу, как статуя бесчувственный, и больше ничего; а иногда думаю, что вот же, мол, у нас дома в церкви этот самый отец Илья, который все газетной бумажки просит, бывало, на служении молится «о плавающих и путешествующих, страждущих и плененных», а я, бывало, когда это слушаю, все думаю: зачем? разве теперь есть война, чтобы о пленных молиться? А вот теперь и понимаю, зачем этак молятся, но не понимаю, отчего же мне от всех этих молитв никакой пользы нет, и, по малости сказать, хоща не неверую, а смущаюсь, и сам молиться не стал.

«Что же,— думаю,— молить, когда ничего от того не выходит».

А между тем вдруг однажды слышу-послышу: татарва что-то сумянутся.

Я говорю:

— Что такое?

— Ничего,— говорят,— из вашей стороны два муллы пришли, от белого царя охранный лист имеют и далеко идут свою веру уставлять.

Я бросился, говорю:

— Где они?

Мне показали на одну юрту, я и пошел туда, куда показали. Прихожу и вижу: там собрались много ших-задов и мало-задов, и мамов и дербышей, и все, поджав ноги, на кошмах сидят, а посреди их два человека незнакомые, одеты хотя и по-дорожному, а видно, что духовного звания; стоят оба посреди этого сброда и слову Божьему татар учат.

Я их как увидал, взрадовался, что русских вижу, и сердце во мне затрепетало, и упал я им в ноги, зарыдал. Они тоже этому моему поклону обрадовались и оба воскликнули:

— А что? а что! видите! видите? как действует благодать, вот она уже одного вашего коснулась, и он обращается от Магомета.

А татары отвечают, что это, мол, ничего не действует: это ваш Иван, он из ваших, из русских, только в плену у нас здесь проживает.

Миссионеры очень этим недовольны сделались. Не верят, что я русский, а я и встрял сам:

— Нет,— я говорю,— я, точно, русский! Отцы,— говорю,— духовные! смилуйтесь, выручите меня отсюда! я здесь уже одиннадцатый год в плену томлюсь, и видите, как изувечен: ходить не могу.

Они, однако, нимало на эти мои слова не уважили и отвернулись и давай опять свое дело продолжать: всё проповедуют.

Я думаю: «Ну, что же на это роптать: они люди должностные, и, может быть, им со мною неловко иначе при татарах обойтись»,— и оставил, а выбрал такой час, что они были одни в особой ставке, и кинулся к ним и уже со всею откровенностью им все рассказал, что самую жестокую участь претерпеваю, и прошу их:

— Попугайте,— говорю,— их, отцы-благодетели, нашим ба-тюшкой белым царем: скажите им, что он не велит азиатам своих подданных насильно в плену держать, или, еще лучше, выкуп за меня им дайте, а я вам служить пойду. Я,— говорю,— здесь живучи, ихнему татарскому языку отлично научился и могу вам полезным человеком быть.

А они отвечают:

— Что,— говорят,— сыне: выкупу у нас нет, а пугать,— говорят,— нам неверных не позволено, потому что и без того люди лукавые и непереданные, и с ними из политики мы вежливость соблюдаем.

— Так что же, — говорю, — стало быть, мне из-за этой политики так тут целый век у них и пропадать?

— А что же, — говорят, — все равно, сыне, где пропадать, а ты молись: у Бога много милости, может быть, он тебя и избавит.

— Я, мол, молился, да уже сил моих нет и упование отложил.

• — А ты, — говорят, — не отчаявайся, потому что это большой грех!

— Да я, — говорю, — не отчаяваюсь, а только... как же вы это так... мне это очень обидно, что вы русские и земляки, и ничего пособить мне не хотите.

— Нет, — отвечают, — ты, чадо, нас в это не мешай, мы во Христе, а во Христе нет ни еллин, ни жид: наши земляки все пошленствующие. Нам все равны, все равны.

— Все? — говорю.

— Да, — отвечают, — все, это наше научение от апостола Павла. Мы куда приходим, не ссоримся... это нам не подобает. Ты раб и, что делать, терпи, ибо и по апостолу Павлу, — говорят, — рабы должны повиноваться. А ты помни, что ты христианин, и потому о тебе нам уже хлопотать нечего, твоей душе и без нас врата в рай уже отверзты, а эти во тьме будут, если мы их не присоединим, так мы за них должны хлопотать.

И показывают мне книжку.

— Вот ведь, — говорят, — видишь, сколько здесь у нас человек в этом реестре записано, — это всё мы столько людей к нашей вере присоединили!

Я с ними больше и говорить не стал и не видел их больше, как окромя одного, и то случаем: пригонил отколь-то раз один мой сынишка и говорит:

— У нас на озере, тятка, человек лежит.

Я пошел посмотреть: вижу, на ногах с колен чулки содраны, а с рук по локти перчатки сняты, татарва это искусно делают: обчертит да дернет, так шкурку и снимет, — а голова этого человека в сторонке валяется, и на лбу крест вырезан.

«Эх, — думаю, — не хотел ты за меня, земляк, похлопотать, и я тебя осуждал, а ты вот сподобился и венец страдания приял. Прости меня теперь ради Христа!»

И взял я его перекрестил, сложил его головку с туловищем, поклонился до земли, и закопал, и «Святый Боже» над ним пропел, — а куда другой его товарищ делся, так и не знаю; но только тоже, верно, он тем же кончил, что венец приял, потому что у нас после по орде у татарок очень много образков пошло, тех самых, что с этими миссионерами были.

— А эти миссионеры даже и туда, в Рынъ-пески, заходят?

— Как же-с, они ходят, но только всё без пользы без всякой.

— Отчего же?

— Обращаться не знают как. Азията в веру приводить надо со страхом, чтобы он трясся от перепуга, а они им Бога смирного

проповедывают. Это попервоначалу никак не годится, потому что азиат смирного Бога без угрозы ни за что не уважит и проповедников побьет.

— А главное, надо полагать, идучи к азиятам, денег и драгоценностей не надо при себе иметь.

— Не надо-с, а впрочем, все равно они не поверят, что кто-нибудь пришел да ничего при себе не принес; подумают, что где-нибудь в степи закопал, и пытать станут, и запытают.

— Вот разбойники!

— Да-с; так было при мне с одним жидовином: старый жидовин невесть откуда пришел и тоже о вере говорил. Человек хороший, и, видно, к вере своей усердный, и весь в таких лохмотках, что вся плоть его видна, а стал говорить про веру, так даже, кажется, никогда бы его не перестал слушать. Я с ним попервоначалу было спорить зачал, что какая же, мол, ваша вера, когда у вас святых нет, но он говорит: есть, и начал по талмуду читать, какие у них бывают святые... очень занятно, а тот талмуд, говорит, написал раввин Иовоз бен Леви, который был такой ученый, что грешные люди на него смотреть не могли; как взглянули, сейчас все умирали, через что Бог позвал его перед самого себя и говорит: «Эй ты, ученый раввин, Иовоз бен Леви! то хорошо, что ты такой ученый, но только то нехорошо, что чрез тебя все мои жидки могут умирать. Не на то, говорит, я их с Моисеем через степь перегнал и через море переправил. Пошел-ну ты за это вон из своего отечества и живи там, где бы тебя никто не мог видеть». А раввин Леви как пошел, то ударился до самого до того места, где был рай, и зарыл себя там в песок по самую шею, и пребывал в песке тринадцать лет, а хотя же и был засыпан по шею, но всякую субботу приготавливал себе агнца, который был печен огнем, с небеси нисходящим. И если комар или муха ему садилась на нос, чтобы пить его кровь, то они тоже сейчас были пожираемы небесным огнем... Азиятам это очень понравилось про ученого раввина, и они долго сего жидовина слушали, а потом приступили к нему и стали его допрашивать: где он, идучи к ним, свои деньги закопал? Жидовин, батюшки, как клялся, что денег у него нет, что его Бог без всего послал, с одной мудростью, ну, однако, они ему не поверили, а сгребли уголья, где костер горел, разостлали на горячую золу коневью шкуру, положили на нее и стали потряхивать. Говори им да говори: где деньги? А как видят, что он весь почернел и голосу не подает:

«Стой,— говорят,— давай мы его по горло в песок закопаем: может быть, ему от этого проходит».

И закопали, но, однако, жидовин так закопанный и помер, и голова его долго потом из песку чернелась, но дети ее стали пужаться, так срубили ее и в сухой колодец кинули.

— Вот тебе и проповедай им!

— Да-с; очень трудно, но а деньги у этого жидовина все-таки ведь были.

— Были?!

— Были-с; его потом волки тревожить стали и шакалки и всего по кусочкам из песку повытаскали и, наконец, добрались и до обуви. Тут сапожонки растормошили, а из подметки семь монет выкатились. Нашли их потом.

— Ну, а как же вы-то от них вырвались?

— Чудом спасен.

— Кто же это чудо сделал, чтобы вас избавить?

— Талафа.

— Это кто же такой этот Талафа: тоже татарин?

— Нет-с; он другой породы, индийской, и даже не простой индиец, а ихний бог, на землю сходящий.

Упрошенный слушателями, Иван Северьяныч Флягин рассказал нижеследующее об этом новом акте своей житейской драмокомедии.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— После того как татары от наших мисанеров избавились, опять прошел без мала год, и опять была зима, и мы перегнали косяки тюбеньковать на сторону поужнее, к Каспию, и тут вдруг одного дня перед вечером пригнали к нам два человека, ежели только можно их за человека считать. Кто их знает, какие они и откуда и какого рода и звания. Даже языка у них никакого настоящего не было, ни русского, ни татарского, а говорили слово по-нашему, слово по-татарски, а то промеж себя невесть по-каковски. Оба не старые, один черный, с большой бородой, в халате, будто и на татарина похож, но только халат у него не пестрый, а весь красный, и на башке острая персианская шапка; а другой рыжий, тоже в халате, но этакий штуковатый: всё ящички какие-то при себе имел, и сейчас чуть ему время есть, что никто на него не смотрит, он с себя халат долой снимет и остается в одних штанцах и в курточке, а эти штанцы и курточка по-такому шиты, как в России на заводах у каких-нибудь немцев бывает. И все он, бывало, в этих ящичках что-то вертит да перебирает, а что такое у него там содержалось? — лихо его ведает. Говорили, будто из Хивы пришли коней закупать и хотят там у себя дома с кем-то войну делать, а с кем — не сказывают, но только все татарву против русских подушают. Слышу я, этот рыжий, — говорить он много не умеет, а только выговорит вроде как по-русски «нат-шалъник» и плюнет; но денег с ними при себе не было, потому что они, азияты, это знают, что если с деньгами в степь приехать, то оттоль уже с головой на плечах не выедешь, а манули они наших татар, чтобы им косяки коней на их реку, на Дарью, перегнать и там расчет сделать. Татарва и туда и сюда мыслями рассеялись и не знают: согласиться на это или нет? Думают, думают, словно золото копают, а, видно, чего-то боятся.

А те их то честью уговаривали, а потом тоже и пугать начали.

«Гоните,— говорят,— а то вам худо может быть: у нас есть бог Талафа, и он с нами свой огонь прислал. Не дай бог, как рассердится».

Татары того бога не знают и сомневаются, что он им сделать может в степи зимою с своим огнем,— ничего. Но этот чернобородый, который из Хивы приехал, в красном халате, говорит, что если, говорит, вы сомневаетесь, то Талафа вам сею же ночью свою силу покажет, только вы, говорит, если что увидите или услышите, наружу не выскакивайте, а то он сожжет. Разумеется, всем это среди скуки степной, зимней, ужась как интересно, и все мы хотя немножко этой ужаси боимся, а рады посмотреть: что такое от этого индийского бога будет; чем он, каким чудом проявится?

Позабрались мы с женами и с детьми под ставки¹ рано и ждем... Все темно и тихо, как и во всякую ночь, только вдруг, так в первый сон, я слышу, что будто в степи что-то как выюга прошипело и хлопнуло, и сквозь сон мне показалось, будто с небеси искры посыпались.

Схватился я, гляжу, и жены мои ворочаются, и ребята заплакали.

Я говорю: «Цыть! заткните им глотки, чтобы сосали и не плакали».

Те зацмоктали, и стало опять тихо, а в темной степи вдруг опять вверх огонь зашипел... зашипело и опять лопнуло...

«Ну,— думаю,— однако, видно, Талафа-то не шутка!»

А он мало спустя опять зашипел, да уже совсем на другой манер,— как птица огненная, выпорхнул с хвостом, тоже с огненным, и огонь необыкновенно какой, как кровь красный, а лопнет, вдруг все желтое делается и потом синее станет.

По становищу, слышу, все как умерло. Не слышать этого, разумеется, никому нельзя этакой пальбы, но все, значит, оробели и лежат под тулупами. Только слышно, что земля враз вздрогнет, затрясется и опять станет. Это, можно разуместь, кони шаркаются и всё в кучу теснятся, да слышно раз было, как эти хивяки или индийцы куда-то пробегали, и сейчас опять по степи огонь как пустится змеем... Кони как зынули на то, да и понеслись... Татарва и страх позабыли, все повыскакали, башками трясут, вопят: «Аллах! Алла!» — да в погоню, а те, хивяки, пропали, и следа их нет, только один ящик свой покинули по себе на память... Вот тут как все наши батыри угнали за табуном, а в стану одни бабы да старики остались, я и догляделся до этого ящика: что там такое? Вижу, в нем разные земли, и снадобья, и бумажные трубки: я стал раз одну эту трубку близко к костру рассматривать, а она как хлопнет, чуть мне огнем все глаза не

Под ставки — под кибитки.

выжгло, и вверх полетела, а там... бббаххх, звездами рассыпало... «Эге,— думаю себе,— да это, должно, не бог, а просто фейверок, как у нас в публичном саду пускали»,— да опять как из другой трубки бабахну, а гляжу, татары, кои тут старики остались, уже и повалились и ничком лежат кто где упал, да только ногами дрыгают... Я было попервоначально сам испугался, но потом как увидел, что они этак дрыгают, вдруг совсем в иное расположение пришел и, с тех пор как в полон попал, в первый раз как заскриплю зубами, да и ну на них вслух какие попало незнакомые слова произносить. Кричу как можно громче:

«Парле-бьен-комса-шире-мир-ферфлюхтур-мин-адью-мусью!»

Да еще трубку с вертуном выпустил... Ну, тут уже они, увидав, как вертун с огнем ходит, все как умерли... Огонь погас, и они всё лежат, и только нет-нет один голову поднимет, да и опять сейчас мордю вниз, а сам только пальцем кивает, зовет меня к себе. Я подошел и говорю:

«Ну, что? признавайся, чего тебе, проклятому: смерти или живота?», потому что вижу, что они уже страсть меня боятся.

«Прости,— говорят,— Иван, не дай смерти, а дай живота».

А в другом месте тоже и другие таким манером кивают и все прощенья и живота просят.

Я вижу, что хорошо мое дело заиграло: верно уже я за все свои грехи оттерпелся, и прошу:

«Мать пресвятая владычица, Николай Угодник, лебедики мои, голубчики, помогите мне, благодетели!»

А сам татар строго спрашиваю:

«В чем и на какой конец я вас должен простить и животом жаловать?»

«Прости,— говорят,— что мы в твоего Бога не верили».

«Ага,— думаю,— вон оно как я их пугнул»,— да говорю: «Ну уж нет, братцы, врите, этого я вам за противность религии ни за что не прощу!» Да сам опять зубами скрип да еще трубку распечатал.

Эта вышла с ракитою... Страшный огонь и треск.

Кричу я на татар:

«Что же: еще одна минута, и я вас всех погублю, если вы не хотите в моего Бога верить».

«Не губи,— отвечают,— мы все под вашего Бога согласны подойти».

Я и перестал фейверки жечь и окрестил их в речечке.

— Тут же, в это самое время и окрестили?

— В эту же самую минуту-с. Да и что же тут было долго время препровождать? Надо, чтобы они одуматься не могли. Помочил их по башкам водицей над прорубью, прочел «во имя Отца и Сына», и крестики, которые от мисанеров остались, понадевал на шеи, и велел им того убитого мисанера чтобы они за мученика почитали и за него молились, и могилку им показал.

— И они молились?

— Молились-с.

— Ведь они же никаких молитв христианских, чай, не знали, или вы их выучили?

— Нет; учить мне их некогда было, потому что я видел, что мне в это время бежать пора, а велел им: молитесь, мол, как до сего молились, по-старому, но только Аллу называть не смейте, а вместо него Иисуса Христа поминайте. Они так и приняли сие исповедание.

— Ну, а потом как же все-таки вы от этих новых христиан убежали с своими искалеченными ногами и как вылечились?

— А потом я нашел в тех фейверках едкую землю; такая, что чуть ее к телу приложишь, сейчас она страшно тело палит. Я ее и приложил и притворился, будто я болен, а сам себе все, под кошмой лежа, этой едкостью пятки растравливал и в две недели так растравил, что у меня вся как есть плоть на ногах взгноилась и вся та щетина, которую мне татары десять лет назад засыпали, с гноем вышла. Я как можно скорее обмогнул, но виду в том не подаю, а притворяюсь, что мне еще хуже стало, и наказал я бабам и старикам, чтобы они все как можно усердней за меня молились, потому что, мол, помираю. И положил я на них вроде епитимьи¹ пост, и три дня я им за юрты выходить не велел, а для большей еще острастки самый большой фейверк пустил и ушел...

— Но они вас не догнали?

— Нет; да и где им было догонять: я их так запостил и напугал, что они небось радешеньки остались и три дня носу из юрт не казали, а после хоть и выглянули, да уже искать им меня далеко было. Ноги-то у меня, как я из них щетину спустил, подсохли, такие легкие стали, что как разбежался, всю степь перебежал.

— И все пешком?

— А то как же-с, там ведь не проезжая дорога, встретить некого, а встретишь, так не обрадуешься, кого обретишь. Мне на четвертый день чувашин показался, один пять лошадей гонит, говорит: «Садись верхом».

Я поопасался и не поехал.

— Чего же вы его боялись?

— Да так... он как-то мне неверен показался, а притом нельзя было и разобрать, какой он религии, а без этого на степи страшно. А он, бестолковый, кричит:

«Садись,— кричит,— веселей, двое будем ехать».

Я говорю:

«А кто ты: может быть, у тебя Бога нет?»

«Как,— говорит,— нет: это у татарина бока нет, он кобылу ест, а у меня есть бок».

Епитимья — церковное наказание.

«Кто же,— говорю,— твой Бог?»

«А у меня,— говорит,— всё бок: и солнце бок, и месяц бок, и звезды бок... все бок. Как у меня нет бок?»

«Все!, гм... все, мол, у тебя бог, а Иисус Христос,— говорю,— стало быть, тебе не Бог?»

«Нет,— говорит,— и он бок, и Богородица бок, и Николач бок...»

«Какой,— говорю,— Николач?»

«А что один на зиму, один на лето живет».

Я его похвалил, что он русского Николая Чудотворца уважает.

«Всегда,— говорю,— его почитай, потому что он русский»,— и уже совсем было его веру одобрил и совсем с ним ехать хотел, а он, спасибо, разболтался и выказался.

«Как же,— говорит,— я Николача почитаю: я ему на зиму пушай хоть не кланяюсь, а на лето ему двугривенный даю, чтоб он мне хорошенько коровок берег, да! Да еще на него одного не надеюсь, так Керемети бычка жертвую»¹.

Я и рассердился.

«Как же,— говорю,— ты смеешь на Николая Чудотворца не надеяться и ему, русскому, всего двугривенный, а своей мордовской Керемети поганой целого бычка! Пошел прочь,— говорю,— не хочу я с тобою... я с тобою не поеду, если ты так Николая Чудотворца не уважаешь».

И не поехал: зашагал во всю мочь, не успел опомниться, смотрю, к вечеру третьего дня вода завиднелась и люди. Я лег для опаски в траву и высматриваю: что за народ такой? Потому что боюсь, чтобы опять еще в худший плен не попасть, но вижу, что эти люди пищу варят... Должно быть, думаю, христиане. Подполз еще ближе: гляжу, крестятся и водку пьют,— ну, значит, русские!.. Тут я и выскочил из травы и объявился. Это, вышло, ватага рыбная: рыбу ловили. Они меня, как надо землякам, ласково приняли и говорят:

«Пей водку!»

Я отвечаю:

«Я, братцы мои, от нее, с татарвой живучи, совсем отвык».

«Ну, ничего,— говорят,— здесь своя нация, опять привыкнешь: пей!»

Я налил себе стаканчик и думаю:

«Ну-ка, Господи благослови, за свое возвращение!» — и выпил, а ватажники пристают, добрые ребята.

«Пей еще! — говорят,— ишь ты без нее как зачичкался».

Я и еще одну позволил и сделался очень откровенный: все им рассказал: откуда я и где и как пребывал. Всю ночь я им, у огня сидя, рассказывал и водку пил, и все мне так радостно было, что

¹ Керемети бычка жертвую.— Керемети — добрые духи, живущие в лесах (чувашская мифология).

я опять на святой Руси, но только под утро этак, уже костерок стал тухнуть и почти все, кто слушал, заснули, а один из них, ватажный товарищ, говорит мне:

«А паспорт же у тебя есть?»

Я говорю:

«Нет, нема».

«А если,— говорит,— нема, так тебе здесь будет тюрьма».

«Ну так я,— говорю,— я от вас не пойду; а у вас небось тут можно жить и без паспорта?»

А он отвечает:

«Жить,— говорит,— у нас без паспорта можно, но помирать нельзя».

Я говорю:

«Это отчего?»

«А как же,— говорит,— тебя поп запишет, если ты без паспорта?»

«Так как же, мол, мне на такой случай быть?»

«В воду,— говорит,— тебя тогда бросим на рыбное пропитание».

«Без попа?»

«Без попа».

Я, в легком подпитии будучи, ужасно этого испугался и стал плакать и жалиться, а рыбак смеется.

«Я,— говорит,— над тобою шутил: помирай смело, мы тебя в родную землю зароем».

Но я уже очень огорчился и говорю:

«Хороша, мол, шутка. Если вы этак станете надо мною часто шутить, так я и до другой весны не доживу».

И чуть этот последний товарищ заснул, я поскорее поднялся и пошел прочь, и пришел в Астрахань, заработал на поденщине рубль и с того часу столь усердно запил, что не помню, как очутился в ином городе, и сижу уже я в остроге, а оттуда меня по пересылке в свою губернию послали. Привели меня в наш город, высекли в полиции и в свое имение доставили. Графиня, которая меня за кошкин хвост сечь приказывала, уже померла, а один граф остался, но тоже очень состарился, и богомольный стал, и конскую охоту оставил: Доложили ему, что я пришел, он меня вспомнил и велел меня еще раз дома высечь и чтобы я к батюшке, к отцу Илье, на дух шел. Ну, высекли меня по-старинному, в разрядной избе, и я прихожу к отцу Илье, а он стал меня исповедовать и на три года не разрешает мне причастия...

Я говорю:

«Как же так, батюшка, я было... столько лет не причащаюсь... ждал...»

«Ну, мало ли,— говорит,— что; ты ждал, а зачем ты,— говорит,— татарок при себе вместо жен держал... Ты знаешь ли,—'• говорит,— что я еще милостиво делаю, что тебя только от причастия отлучаю, а если бы тебя взяты как должно по правилу

святых отец исправлять, так на тебе на живом надлежит всю одежду сжечь, но только ты,— говорит,— этого не бойся, потому что этого теперь по полицейскому закону не позволяется».

«Ну что же,— думаю,— делать: останусь хоть так, без причастия, дома поживу, отдохну после плена»,— но граф этого не захотели. Изволили сказать:

«Я,— говорят,— не хочу вблизи себя отлученного от причастия терпеть».

И приказали управителю еще раз меня высечь с оглашением для всеобщего примера и потом на оброк пустить. Так и сделалось: выпороли меня в этот раз по-новому, на крыльце, перед конторою, при всех людях, и дали паспорт. Отрадно я себя тут-то почувствовал, через столько лет совершенно свободным человеком, с законною бумагою, и пошел. Намерений у меня никаких определительных не было, но на мою долю Бог послал практику.

— Какую же?

— Да опять все по той же, по конской части. Я пошел с самого малого ничтожества, без гроша, а вскоре очень достаточно положения достиг и еще бы лучше мог распорядиться, если бы не один предмет.

— Что же это такое, если можно спросить?

— Одержимости большой подпал от разных духов и страстей и еще одной неподобной вещи.

— Что же это такое за неподобная вещь вас обдержала?

— Магнетизм-с.

— Как! магнетизм?!

— Да-с, магнетическое влияние от одной особы.

— Как же вы чувствовали над собой ее влияние?

— Чужая воля во мне действовала,— и я чужую судьбу исполнял.

— Вот тут, значит, к вам и пришла *ваша* собственная погибель, после которой вы нашли, что вам должно исполнить ма-тушкино обещание, и пошли в монастырь?

— Нет-с, это еще после пришло, а до того со мною много иных разных приключений было, прежде чем я получил настоящее убеждение.

— Вы можете рассказать и эти приключения?

— Отчего же-с; с большим моим удовольствием.

— Так, пожалуйста.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— Взявши я паспорт, пошел без всякого о себе намерения, и пришел на ярмарку, и вижу, там цыган мужику лошадь меняет и безбожно его обманывает; стал ее силу пробовать, и своего конишку в просяной воз заложил, а мужикову лошадь в яблоч-

ный. Тяга в них, разумеется, хоть и равная, а мужикова лошадь прееет, потому что ее яблочный дух обморачивает, так как коню этот дух страшно неприятен, а у цыгановой лошади, кроме того, я вижу, еще и обморок бывает, и это сейчас понять можно, потому что у нее на лбу есть знак, как был огонь ставлен, а цыган говорит: «Это бородавка». А мне мужика, разумеется, жаль, потому ему на оморочной лошади нельзя будет работать, так как она кувырнет, да и все тут, а к тому же я цыганов тогда смерть ненавидел через то, что от первых от них имел соблазн бродить, и впереди, вероятно, еще иное предчувствовал, как и оправдилось. Я эту фальшь в лошади мужичку и открыл, а как цыган стал со мною спорить, что не огонь жжен на лбу, а бородавка, я в доказательство моей справедливости ткнул коня шильцем в почку, он сейчас и шлеп на землю и закрутился. Взял я и мужикам хорошую лошадь по своим познаниям выбрал, а они мне за это вина и угошенья и две гривны денег, и очень мы тут погуляли. С того и пошло: и капитал расти и усердное пьянство, и месяца не прошло, как я вижу, что это хорошо: обвешался весь бляхами и коновальскою сбруею и начал ходить с ярмарки на ярмарку и везде бедных людей руководствую и собираю себе достаток и все магарычи пью; а между тем стал я для всех барышников-цыганов все равно что божия гроза, и узнал стороною, что они собираются меня бить. Я от этого стал уклоняться, потому что их много, а я один, и они меня ни разу не могли попасть одного и вдоволь отколотить, а при мужиках не смели, потому что те за мою добродетель всегда стояли за меня. Тут они и пустили про меня дурную славу, что будто я чародей и не своею силою в твари толк знаю, но, разумеется, все это было пустяки: к коню я, как вам докладывал, имею дарование и готов бы его всякому, кому угодно, преподавать, но только что, главное дело, это никому в пользу не послужит.

— Отчего же это не послужит в пользу?

— Не поймет-с никто, потому что на это надо не иначе как иметь дар природный, и у меня уже не раз такой опыт был, что я преподавал, но все втуне осталось; но позвольте, об этом после.

Когда моя слава по ярмаркам прогремела, что я насквозь коня вижу, то один ремонтер, князь, мне сто рублей давал:

«Открой,— говорит,— братец, твой секрет насчет понимания. Мне это дорого стоит».

А я отвечаю:

«Никакого у меня секрета нет, а у меня на это природное дарование».

Ну, а он пристаёт:

«Открой же мне, однако, как ты об этом понимаешь? А чтобы ты не думал, что я хочу как-нибудь,— вот тебе сто рублей».

Что тут делать? Я пожал плечами, завязал деньги в тряпицу и говорю: извольте, мол, я, что знаю, стану сказывать, а вы из-

вольте тому учиться и слушать; а если не выучитесь и нисколько вам от того пользы не будет, за это я не отвечаю.

Он, однако, был и этим доволен, и говорит: «Ну уж это не твоя беда, сколько я научусь, а ты только сказывай».

«Первое самое дело,— говорю,— если кто насчет лошади хочет знать, что она в себе заключает, тот должен иметь хорошее расположение в осмотре и от того никогда не отдаляться. С первого взгляда надо глядеть умно на голову и потом всю лошадь окидывать до хвоста, а не латошить, как офицеры делают. Тронет за зашеину, за челку, за храпок¹, за обрез и за грудной соколок² или еще за что попало, а все без толку. От этого барышники кавалерийских офицеров за эту латошливость страсть любят. Барышник как этакую военную латоху увидал, сейчас начнет перед ним коном крутить, вертеть, во все стороны поворачивать, а которую часть не хочет показывать, той ни за что не покажет, а там-то и фальшь, а фальшей этих бездна: конь вислоух — ему кожицы на вершок в затылке вырежут, стянут, и зашьют, и замажут, и он оттого ушки подберет, но ненадолго: кожа ослабнет, и уши развиснут. Если уши велики, их обрезают, а чтобы ушки прямо стояли, в них рожки суют. Если кто паристых лошадей подбирает и если, например, один конь во лбу с звездочкой,— барышники уже так и зрят, чтобы такую звездочку другой приспособить: пемзою шерсть вытирают, или горячую репу печеную приложат где надо, чтобы белая шерсть выросла, она сейчас и идет, но только всячески если хорошо смотреть, то таким манером рашенная шерстка всегда против настоящей немножко длиннее и пупится, как будто бородочка. Еще больше барышники обижают публику глазами: у иной лошади западинки ввалившись над глазом, и некрасиво, но барышник проколет кожицу булавкой, а потом приляжет губами и все в это место дует, и надует так, что кожа подыметса и глаз освежеет, и красиво станет. Это легко делать, потому что если лошади на глаз дышать, ей это приятно, от теплого дыхания, и она стоит не шелохнется, но воздух выйдет, и у нее опять ямы над глазами будут. Против этого одно средство: около кости шупать, не ходит ли воздух. Но еще того смешнее, как слепых лошадей продают. Это точно комедия бывает. Офицерик, например, крадется к глазу коня с соломинкой, чтобы испытать, видит ли конь соломинку, а сам того не видит, что барышник в это время, когда лошади надо головой мотнуть, кулаком ее под брюхо или под бок толкает. А иной хоть и тихо гладит, но у него в перчатке гвоздик, и он будто гладит, а сам кольнет». И я своему ремонтёру против того, что здесь сейчас упомянул, вдесятеро более объяснил, но ничего ему это в пользу не послужило: назавтра, гляжу, он накопил коней таких, что кляча клячи хуже, и еще зовет меня посмотреть и говорит:

¹ *Храпок* — часть переносья у лошади.

² *Соколок* — артерия.

«Ну-ка, брат, полюбуйся, как я наловчился коней понимать». Я взглянул, рассмеялся и отвечаю, что, мол, и смотреть нечего: «У этой плечи мясисты,— будет землю ногами цеплять; эта ложится — копыто под брюхо кладет и много что чрез годок себе килу намнет; а эта, когда овес ест, передней ногою топает и колено об ясли бьет»,— и так всю покупку раскритиковал, и все правильно на мое вышло.

Князь на другой день и говорит:

«Нет, Иван, мне, точно, твоего дарования не понять, а лучше служи ты сам у меня конэсером и выбирай ты, а я только буду деньги платить».

Я согласился и жил отлично целые три года, не как раб и наемник, а больше как друг и помощник, и если бы не выходы меня одолели, так я мог бы даже себе капитал собрать, потому что, по ремонтирскому заведению, какой заводчик ни придет, сейчас сам с ремонтером знакомится, а верного человека подсылает к конэсеру, чтобы как возможно конэсера на свою сторону задобрить, потому что заводчики знают, что вся настоящая сила не в ремонтере, а в том, если который имеет при себе настоящего конэсера. Я же был, как докладывал вам, природный конэсер и этот долг природы исполнял совестно: ни за что я того, кому служу, обмануть не мог. И мой князь это чувствовал и высоко меня уважал, и мы жили с ним во всем в полной откровенности. Он, бывало, если проиграется где-нибудь ночью, сейчас утром как встанет, идет в архалучке ко мне в конюшню и говорит:

«Ну что, почти полупочтеннейший мой Иван Северьяныч! Каковы ваши дела?» — он все этак шутил, звал меня *почти полупочтенный*, но почитал, как увидите, вполне.

А я знал, что это обозначает, если он с такой шуткой идет, и отвечу, бывало:

«Ничего, мол: мои дела, слава Богу, хороши, а не знаю, как ваше сиятельство, каковы ваши обстоятельства?»

«Мои,— говорит,— так довольно гадки, что даже хуже требовать не надо».

«Что же это такое, мол, верно, опять вчера продулись по-анамеднишнему?»

«Вы,— отвечает,— изволили отгадать, мой полупочтеннейший, продулся я-с, продулся».

«А на сколько,— спрашиваю,— вашу милость облегчило?»

Он сейчас же и ответит, сколько тысяч проиграл, а я покачаю головою да говорю:

«Продрать бы ваше сиятельство хорошо, да некому».

Он рассмеется и говорит:

«То и есть, что некому».

«А вот ложитесь, мол, на мою кровать, я вам чистенький кулечек в голову положу, а сам вас постегаяю».

Он, разумеется, и начнет подъезжать, чтобы я ему на реванж денег дал.

«Нет, ты,— говорит,— лучше меня не пори, а дай-ка мне из расходных денег на реванжик: я пойду отыграюсь и всех обыграю».

«Ну уж это,— отвечаю,— покорно вас благодарю, нет уже, играйте, да не отыгрывайтесь».

«Как, благодаришь! — начнет смехом, а там уже пойдет сердиться:— Ну, пожалуйста,— говорит,— не забывайся, прекрати надо мною свою опеку и подай деньги».

Мы спросили Ивана Северьяныча, давал ли он своему князю на реванж?

— Никогда,— отвечал он.— Я его, бывало, либо обману: скажу, что все деньги на овес роздал, либо просто со двора сбегу.

— Ведь он на вас небось за это сердился?

— Сердился-с; сейчас, бывало, объявляет: «Кончено-с; вы у меня, полупочтеннейший, более не служите».

Я отвечаю:

«Ну и что же такое, и прекрасно. Пожалуйте мой паспорт».

«Хорошо-с,— говорит,— извольте собираться: завтра получите ваш паспорт».

Но только назавтра у нас уже никогда об этом никакого разговору больше не было. Не более как через какой-нибудь час он, бывало, приходит ко мне совсем в другом расположении и говорит:

«Благодарю вас, мой премного-малозначащий, что вы имели характер и мне на реванж денег не дали».

И так он это всегда после чувствовал, что если и со мною что-нибудь на моих выходах случалось, так он тоже как брат ко мне снисходил.

— Ас вами что же случалось?

— Я же вам объяснял, что выходы у меня бывали.

— А что это значит *выходы*?

— Гулять со двора выходил-с. Обучась пить вино, я его всякий день пить избегал и в умеренности никогда не употреблял, но если, бывало, что меня растревожит, ужасное тогда к питью усердие получаю и сейчас сделаю выход на несколько дней и пропадаю. А брало это меня и не заметишь отчего; например, когда, бывало, отпускаем коней, кажется, и не братья они тебе, а соскучаешь по ним и запьешь. Особенно если отдалешь от себя такого коня, который очень красив, то так он, подлец, у тебя в глазах и мечется, до того, что как от наваждения какого от него скрываешься, и сделаешь выход.

— Это значит — запьете?

— Да-с; выйду и запью.

— И надолго?

— М... н... н... это не равно-с, какой выход задастся: иногда пьешь, пока все пропьешь, и либо кто-нибудь тебя отколотит, либо сам кого побьешь, а в другой раз покорооче удастся, в части посидишь или в канаве выпишься, и доволен, и отойдет. В тако-

вых случаях я уже наблюдал правило и, как, бывало, чувствую, что должен сделать выход, прихожу к князю и говорю:

«Так и так, ваше сиятельство, извольте принять от меня деньги, а я пропаду».

Он уже и не спорит, а принимает деньги или только спросит, бывало:

«Надолго ли, ваша милость, вздумали зарядить?»

Ну, я отвечаю, судя по тому, какое усердие чувствую: на большой ли выход или на коротенький.

И я уйду, а он уже сам и хозяйничает и ждет меня, пока кончится выход, и все шло хорошо; но только ужасно мне эта моя слабость надоела, и вздумал я вдруг от нее избавиться; тут-то и сделал такой последний выход, что даже теперь вспомнить страшно.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Мы, разумеется, подговорились, чтобы Иван Северьяныч совершил свою любезность, досказав этот новый злополучный эпизод в своей жизни, а он, по доброте своей, всеконечно от этого не отказался и поведал о своем «последнем выходе» следующее:

— У нас была куплена с завода кобылица Дидона, молодая, золото-гнедая, для офицерского седла. Дивная была красавица: головка хорошенькая, глазки пригожие, ноздрики субтильные и открытенькие, как хочет, так и дышит; гривка легкая; грудь меж плеч ловко, как кораблик, сидит, а в поясу гибкая, и ножки в белых чулочках легкие, и она их мечет, как играет... Одним словом, кто охотник и в красоте имеет понятие, тот от наглядения на этакого животного задуматься может. Мне же она так по вкусу пришла, что я даже из конюшни от нее не выходил и все ласкал ее от радости. Бывало, сам ее вычищу и оботру ее всю как есть белым платочком, чтобы пылинки у нее в шерстке нигде не было, даже и поцелую ее в самый лобик, в завиточек, откуда шерсточка ее золотая расходилась... В эту пору у нас разом шли две ярмарки: одна в Л., другая в К., и мы с князем разделились: на одной я действую, а на другую он поехал. И вдруг я получаю от него письмо, что пишет «прислать, говорит, ко мне сюда таких-то и таких-то лошадей и Дидону». Мне неизвестно было, зачем он эту мою красавицу потребовал, на которую мой охотничий глаз радовался. Но думал я, конечно, что кому-нибудь он ее, голубушку, променял или продал, или, еще того вернее, проиграл в карты... И вот я отпустил с конюхами Дидону и ужасно растосковался и возжелал выход сделать. А положение мое в эту пору было совсем необыкновенное: я вам докладывал, что у меня всегда было такое заведение, что если нападет на меня усердие к выходу, то я, бывало, появляюсь к князю, отдаю ему все деньги, кои всегда были у меня на руках в большой сумме, и говорю: «Я на столько-то или на столько-то дней пропаду». Ну, а тут как

мне это устроить, когда моего князя при мне нет? И вот я думаю себе: «Нет, однако, я больше не стану пить, потому что князя моего нет и выхода мне в порядке сделать невозможно, потому что денег отдать некому, а при мне сумма знатная, более как до пяти тысяч». Решил я так, что этого нельзя, и твердо этого решения и держусь, и усердия своего, чтобы сделать выход и хорошенько пропасть, не попушаю, но ослабления к этому желанию все-таки не чувствую, а, напротив того, больше и больше стремлюсь сделать выход. И, наконец, стал я исполняться одной мысли: как бы мне так устроить, чтобы и свое усердие к выходу исполнить и княжеские деньги соблюсти? И начал я их с этою целию прятать и всё по самым невероятным местам их прятал, где ни одному человеку на мысль не придет деньги положить... Думаю: «Что делать? видно, с собою не совладаешь, устрою, думаю, понадежнее деньги, чтобы они были сохранны, и тогда отбуду свое усердие, сделаю выход». Но только напало на меня смущение: где я эти проклятые деньги спрячу? Куда я их ни положу, чуть прочь от того места отойду, сейчас мне входит в голову мысль, что их кто-то крадет. Иду и опять поскорее возьму и опять перепрятываю... Измучился просто я их прятаявши и по сеновалам, и по погребам, и по застрехам, и по другим таким неподобным местам для хранения, а чуть отойду, сейчас все кажется, что кто-нибудь видел, как я их хоронил, и непременно их отыщет, и я опять вернусь, и опять их достану, и ношу их с собою, а сам опять думаю: «Нет, уже баста, видно, мне не судьба в этот раз свое усердие исполнить». И вдруг мне пришла божественная мысль: ведь это, мол, меня бес томит этой страстью, пойду же я его, мерзавца, от себя святыней отгоню! И пошел я к ранней обедне, помолился, вынул за себя часточку и, выходя из церкви, вижу, что на стене Страшный суд нарисован и там в углу дьявола в геенне ангелы цепью бьют. Я остановился, посмотрел и помолился поусерднее святым ангелам, а дьяволу взял да, послунивши, кулак в морду и сунул:

«На-ка, мол, тебе кукиш, на него что хочешь, то и купишь», — а сам после этого вдруг совершенно успокоился и, распорядившись дома чем надобно, пошел в трактир чай пить... А там, в трактире, вижу, стоит между гостей какой-то проходимец. Самый препустейший-пустой человек. Я его и прежде, этого человека, видал и почитал его не больше как за какого-нибудь шарлатана или паяца, потому что он все, бывало, по ярмаркам таскается и у господ по-французски пособия себе просит. Из благородных он будто бы был и в военной службе служил, но все свое промотал и в карты проиграл и ходит по миру... Тут его, в этом трактире, куда я пришел, услужающие молодцы выгоняют вон, а он не соглашается уходить и стоит да говорит:

— Вы еще знаете ли, кто я такой? Ведь я вам вовсе не ровня, у меня свои крепостные люди были, и я очень много таких молодцов, как вы, на конюшне для одной своей прихоти сек,

а что я всего лишился, так на это была особая Божия воля, и на мне печать гнева есть, а потому меня никто тронуть не смеет.

Те ему не верят и смеются, а он рассказывает, как он жил, и в каретах ездил, и из публичного сада всех штатских господ вон прогонял, и один раз к губернаторше голый приехал, «а ныне,— говорит,— я за свои своеволия проклят и вся моя натура окаменела, и я ее должен постоянно размачивать, а потому подай мне водки! — я за нее денег платить не имею, но зато со стеклом съем».

Один гость и велел ему подать, чтобы посмотреть, как он будет стекло есть. Он сейчас водку на лоб хватил, и, как обещал, так честно и начал стеклянную рюмку зубами хрустать и перед всеми ее и съел, и все этому с восторгом дивились и хохотали. А мне его стало жалко, что благородный он человек, а вот за свое усердие к вину даже утробу жертвует. Думаю: надо ему дать хоть кишки от этого стекла прополоснуть, и велел ему на свой счет другую рюмку подать, но стекла есть не понуждал. Сказал: не надо, не ешь. Он это почувствовал и руку мне подает.

— Верно,— говорит,— ты происхождения из господских людей?

— Да,— говорю,— из господских.

— Сейчас,— говорит,— и видно, что ты не то, что эти свиньи. Гран-мерси¹,— говорит,— тебе за это.

Я говорю:

— Ничего, иди с Богом.

— Нет,— отвечает,— я очень рад с тобою поговорить. Подвинься-ка, я возле тебя сяду.

— Ну, мол, пожалуй, садись.

Он возле меня и сел и начал рассказывать, какой он именитой фамилии и важного воспитания, и опять говорит:

— Что это... ты чай пьешь?

— Да, мол, чай. Хочешь, и ты со мной пей.

— Спасибо,— отвечает,— только я чай пить не могу.

— Отчего?

— А оттого,— говорит,— что у меня голова не чайная, а у меня голова отчаянная: вели мне лучше еще рюмку вина подать!..— И так он и раз, и два, и три у меня вина выпросил и стал уже очень мне этим докучать. А еще больше противно мне стало, что он очень мало правды рассказывает, а все-то куражится и невесть что о себе соплетет, а то вдруг беднится, плачет, и все о суете.

— Подумай,— говорит,— ты, какой я человек? Я,— говорит,— самим Богом в один год с императором создан и ему ровесник.

— Ну так что же, мол, такое?

¹ Гранмерси — большое спасибо (от фр. grand merci).

— А то, что какое же мое, несмотря на все это, положение? Несмотря на все это, я, — говорит, — нисколько не взыскан и вышел ничтожество, и, как ты сейчас видел, я ото всех презираем. — И с этими словами опять водки потребовал, но на сей раз уже велел целый графин подать, а сам завел мне преогромную историю, как над ним по трактирам купцы насмеваются, и в конце говорит:

— Они, — говорит, — необразованные люди, думают, что это легко такую обязанность нести, чтобы вечно пить и рюмкою закусывать? Это очень трудное, братец, призвание, и для многих даже совсем невозможное; но я свою натуру приучил, потому что вижу, что свое надо отбыть, и несу.

— Зачем же, — рассуждаю, — этой привычке так уже очень усердствовать? Ты ее брось.

— Бросить? — отвечает. — А-га, нет, братец, мне этого бросить невозможно.

— Почему же, — говорю, — нельзя?

— А нельзя, — отвечает, — по двум причинам: во-первых, потому, что я, не напившись вина, никак в кровать не попаду, а все буду ходить; а во-вторых, самое главное, что мне этого мои христианские чувства не позволяют.

— Что же, мол, это такое? Что ты в кровать не попадешь, это понятно, потому что все пить ищешь; но чтобы христианские чувства тебе не позволяли эту вредную пакость бросить, этому я верить не хочу.

— Да, вот ты, — отвечает, — не хочешь этому верить... Так и все говорят... А что, как ты полагаешь, если я эту привычку пьянствовать брошу, а кто-нибудь ее поднимет да возьмет: рад ли он этому будет или нет?

— Спаси, мол, Господи! Нет, я думаю, не обрадуется.

— А-га! — говорит. — Вот то-то и есть, а если уже это так надо, чтобы я страдал, так вы уважайте же меня по крайней мере за это, и вели мне еще графин водки подать!

Я постучал еще графинчик, и сажу, и слушаю, потому что мне это стало казаться занятно, а он продолжает такие слова:

— Оно, — говорит, — это так и надлежит, чтобы это мучение на мне кончилось, чем еще другому достанется, потому что я, — говорит, — хорошего рода и настоящее воспитание получил, так что даже я еще самым маленьким по-французски Богу молился, но я был немилостивый и людей мучил, в карты своих крепостных проигрывал; матерей с детьми разлучал; жену за себя богатую взял и со света ее сжил, и, наконец, будучи во всем сам виноват, еще на Бога возроптал: зачем у меня такой характер? Он меня и наказал: дал мне другой характер, что нет во мне ни малейшей гордости, хоть в глаза наплюй, по щекам отдуй, только бы пьяным быть, про себя забыть.

— И что же, — спрашиваю, — теперь ты уже на этот характер не ропщешь?

— Не ропщу,— отвечает,— потому что оно хотя хуже, но зато лучше.

— Как это мол, так: я что-то не понимаю, как это: хуже, но лучше?

— А так,— отвечает,— что теперь я только одно знаю, что себя гублю, а зато уже других губить не могу, ибо от меня все отворачиваются. Я,— говорит,— теперь все равно что Иов на гноище¹, и в этом,— говорит,— все мое счастье и спасение,— и сам опять водку допил, и еще графин спрашивает, и молвит:

— А ты знаешь ли, любезный друг: ты никогда никем не пренебрегай, потому что никто не может знать, за что кто какой страстью мучим и страдает. Мы, одержимые, страждем, а другим зато легче. И сам ты если какую скорбь от какой-нибудь страсти имеешь, самовольно ее не бросай, чтобы другой человек не поднял ее и не мучился; а ищи такого человека, который бы добровольно с тебя эту слабость взял.

— Ну, где же,— говорю,— возможно такого человека найти! Никто на это не согласится.

— Отчего так? — отвечает,— да тебе даже нечего далеко ходить: такой человек перед тобою, я сам и есть такой человек.

Я говорю:

— Ты шутишь?

Но он вдруг вскакивает и говорит:

— Нет, не шучу, а если не веришь, так испытай.

— Ну как,— говорю,— я могу это испытывать?

— А очень просто: ты желаешь знать, каково мое дарование? У меня ведь, брат, большое дарование: я вот, видишь,— я сейчас пьян... Так или нет: пьян я?

Я посмотрел на него и вижу, что он совсем сизый и весь ослонившись и на ногах покачивается, и говорю:

— Да разумеется, что ты пьян.

А он отвечает:

— Ну, теперь отвернись на минуту на образ и прочитай в уме «Отче наш».

Я отвернулся и действительно, только «Отче наш», глядя на образ, в уме прочитал, а этот пьяный баринок уже опять мне командует:

— А ну-ка погляди теперь на меня? пьян я теперь или нет?

Обернулся я и вижу, что он, точно ни в одном глазу у него ничего не было, и стоит, улыбается.

Я говорю:

— Что же это значит: какой это секрет?

¹ *Иов на гноище.* — В Библии («Книга Иова») рассказано о том, как Бог, испытывая веру Иова, поразил его проказой, это вынудило Иова уйти из города и сидеть в пепле и навозе.

А он отвечает:

— Это,— говорит,— не секрет, а это называется магнетизм.

— Не понимаю, мол, что это такое?

— Такая воля,— говорит,— особенная в человеке помещается, и ее нельзя ни пропить, ни проспаться, потому что она дарована. Я,— говорит,— это тебе показал для того, чтобы ты понимал, что я, если захочу, сейчас могу остановиться и никогда не стану пить, но я этого не хочу, чтобы другой кто-нибудь за меня не запил, а я, поправившись, чтобы про Бога не позабыл. Но с другого человека со всякого я готов и могу запойную страсть в одну минуту свести.

— Так сведи,— говорю,— сделай милость, с меня!

— А ты,— говорит,— разве пьешь?

— Пью,— говорю,— и временем даже очень усердно пью.

— Ну так не робей же,— говорит,— это все дело моих рук, и я тебя за твое угощение отблагодарю: все с тебя сниму.

— Ах, сделай милость, прошу, сними!

— Изволь,— говорит,— любезный, изволь: я тебе это за твое угощение сделаю; сниму и на себя возьму,— и с этим крикнул опять вина и две рюмки.

Я говорю:

— На что тебе две рюмки?

— Одна,— говорит,— для меня, другая — для тебя!

— Я, мол, пить не стану.

А он вдруг как бы осерчал и говорит:

— Тесс! силианс! молчать! Ты теперь кто? — больной.

— Ну, мол, ладно, будь по-твоему: я больной.

— А я,— говорит,— лекарь, и ты должен мои приказания исполнять и принимать лекарство,— и с этим налил и мне и себе по рюмке и начал над моей рюмкой в воздухе, вроде как архиепископский регент, руками махать.

Помахал, помахал и приказывает:

— Пей!

Я было усумнился, но как, по правде сказать, и самому мне винца попробовать очень хотелось и он приказывает: «Дай,— думаю,— ни для чего иного, а для любопытства выпью!» — и выпил.

— Хороша ли,— спрашивает,— вкусна ли или горька?

— Не знаю, мол, как тебе сказать.

— А это значит,— говорит,— что ты мало принял,— и налил вторую рюмку и давай опять над нею руками мотать. Помотает-помотает и отряхнет, и опять заставил меня и эту, другую, рюмку выпить и вопрошает: «Эта какова?»

Я пошутил, говорю:

— Эта что-то тяжела показалась.

Он кивнул головой, и сейчас намахал третью, и опять командует: «Пей!» Я выпил и говорю:

— Эта легче,— и затем уже сам в графин стучу, и его пот-

чую, и себе наливаю, да и пошел пить. Он мне в этом не препятствует, но только ни одной рюмки так просто, не намаханной, не позволяет выпить, а чуть я возьмусь рукой, он сейчас ее из моих рук выймет и говорит:

— Шу, силянс¹... атанде²,— и прежде над нею руками помашет, а потом и говорит:

— Теперь готово, можешь *принимать*, как сказано.

И лечился я таким образом с этим баринком тут в трактире до самого вечера, и все был очень спокоен, потому что знаю, что я пью не для баловства, а для того, чтобы перестать. Попробую за пазухую деньги, и чувствую, что они все, как должно, на своем месте целы лежат, и продолжаю.

Барин мне тут, пивши со мною, про все рассказывал, как он в свою жизнь кутил и гулял, и особенно про любовь, и впоследствии всего стал ссориться, что я любви не понимаю.

Я говорю:

— Что же с тем делать, когда я к этим пустякам не привлечен? Будет с тебя того, что ты все понимаешь и зато вон какой лонтрыгой ходишь.

А он говорит:

— Шу, силянс! любовь — наша святыня!

— Пустяки, мол.

— Мужик,— говорит,— ты и подлец, если ты смеешь над священным сердца чувством смеяться и его пустяками называть.

— Да, пустяки, мол, оно и есть.

— Да ты понимаешь ли,— говорит,— что такое «краса природы совершенство»?

— Да,— говорю,— я в лошади красоту понимаю.

А он как вскочит и хотел меня в ухо ударить.

— Разве лошадь,— говорит,— краса природы совершенство?

Но как время было довольно поздно, то ничего этого он мне доказать не мог, а буфетчик видит, что мы оба пьяны, моргнул на нас молодцам, а те подскочили человек шесть и сами просят... «пожалуйста вон», а сами подхватили нас обоих под ручки и за порог выставили и дверь за нами наглухо на ночь заперли.

Вот тут и началось такое наваждение, что хотя этому делу уже много-много лет прошло, но я и по сие время не могу себе понять, что тут произошло за действие и какую силою оно надо мною творилось, но только таких искушений и происшествий, какие я тогда перенес, мне кажется, даже ни в одном житии в Четминеях³ нет.

¹ *Силянс* — молчание (от фр. *silence*).

² *Атанде* — подождите (от фр. *attendre*).

³ *Четминой* — то есть «Четы-Минеи», книга житий святых, изданная Дмитрием Ростовским.

Первым делом, как я за дверь вылетел, сейчас же руку за пазуху и удостоверился, здесь ли мой бумажник? Оказалось, что он при мне. «Теперь,— думаю,— вся забота, как бы их благополучно домой донести». А ночь была самая темная, какую только можете себе вообразить. В лете, знаете, у нас около Курска бывают такие темные ночи, но претеплейшие и премягкие: по небу звезды как лампы навешаны, а понизу темнота такая густая, что словно в ней кто-то тебя шарит и трогает... А на ярмарке всякого дурного народа бездна бывает, и достаточно случаев, что иных грабят и убивают. Я же хоть силу в себе и ощущал, но думаю, во-первых, я пьян, а во-вторых, что если десять или более человек на меня нападут, то и с большою силою ничего с ними не сделаешь, и оберут, а я хоть и был в кураже, но помнил, что когда я, не раз вставая и опять садясь, расплачивался, то мой компаньон, баринок этот, видел, что у меня с собою денег тучная сила. И потому вдруг мне, знаете, впало в голову: нет ли с его стороны ко вреду моему какого-нибудь предательства? Где он взаправду? вместе нас вон выставили, а куда же он так спешно делся?

Стою я и потихоньку оглядываюсь и, имени его не зная, потихоньку зову так:

— Слышишь ты? — говорю,— магнетизер, где ты?

А он вдруг, словно бес какой, прямо у меня перед глазами вырастает и говорит:

— Я вот он.

А мне показалось, что будто это не тот голос, да и впотьмах даже и рожа не его представляется.

— Подойди-ка,— говорю,— еще поближе.— И как он подошел, я его взял за плечи, и начинаю рассматривать, и никак не могу узнать, кто он такой? как только его коснулся, вдруг ни с того ни с сего всю память отшибло. Слышу только, что он что-то по-французски лопочет: «ди-ка-ти-ли-ка-ти-пе», а я в том ничего не понимаю.

— Что ты такое,— говорю,— лопочешь?

А он опять по-французски:

— Ди-ка-ти-ли-ка-типе.

— Да перестань,— говорю,— дура, отвечай мне по-русски, кто ты такой, потому что я тебя позабыл.

Отвечает:

— Ди-ка-ти-ли-ка-типе: я магнетизер.

— Тьфу, мол, ты, пострел этакой! — и на минутку будто вспомню, что это он, но стану в него всматриваться, и вижу у него два носа!.. Два носа, да и только! А раздумаюсь об этом — позабуду, кто он такой...

«Ах ты, будь ты проклят,— думаю,— и откуда ты, шельма, на меня навязался?» — и опять его спрашиваю:

— Кто ты такой?

Он опять говорит:

— Магнетизер.

— Провались же, — говорю, — ты от меня: может быть, ты черт?

— Не совсем, — говорит, — так, а около того.

Я его в лоб и стукнул, а он обиделся и говорит:

— За что же ты меня ударил? я тебе добродетельствую и от усердного пьянства тебя освобождаю, а ты меня бьешь?

А я, хоть что хочешь, опять его не помню и говорю:

— Да кто же ты, мол, такой?

Он говорит:

— Я твой до вечный друг.

— Ну, хорошо, мол, а если ты мой друг, так- ты, может быть, мне повредить можешь?

— Нет, — говорит, — я тебе такое пти-ком-пё представляю, что ты себя иным человеком ощутишь.

— Ну, перестань, — говорю, — пожалуйста, врать.

— Истинно, — говорит, — истинно: такое пти-ком-пё¹...

— Да не болтай ты, — говорю, — черт, со мною по-французски: я не понимаю, что то за пти-ком-пё!

— Я, — отвечает, — тебе в жизни новое понятие дам.

— Ну, вот это, мол, так, но только какое же такое ты можешь мне дать новое понятие?

— А такое, — говорит, — что ты постигнешь красу природы совершенство.

— Отчего же я, мол, вдруг так ее и постигну?

— А, вот пойдем, — говорит, — сейчас увидишь.

— Хорошо, мол, пойдем.

И пошли. Идем оба, шатаемся, но всё идем, а я не знаю куда, и только вдруг вспомню, что кто же это такой со мною, и опять говорю:

— Стой! говори мне, кто ты? иначе я не пойду.

Он скажет, и я на минутку как будто вспомню, и спрашиваю:

— Отчего же это я позабываю, кто ты такой?

А он отвечает:

— Это, — говорит, — и есть действие от моего магнетизма; но только ты этого не пугайся, это сейчас пройдет, только вот дай я в тебя сразу побольше магнетизму пушу.

И вдруг повернул меня к себе спиной и ну у меня в затылке, в волосах пальцами перебирать... Так чудно: копается там, точно хочет мне влезть в голову.

Я говорю:

— Послушай ты... кто ты такой! что ты там роешься?

— погоди, — отвечает, — стой: я в тебя свою силу магнетизм перепущаю.

¹ Пти-ком-пё — маленький компот; здесь: неожиданное представление.

— Хорошо,— говорю,— что ты силу перепушаешь, а может, ты меня обокрасти хочешь?

Он отпирается.

— Ну так постой, мол, я деньги попробую.

Попробовал — деньги целы.

— Ну, теперь, мол, верно, что ты не вор,— а кто он такой — опять позабыл, но только уже не помню, как про то и спросить, а занят тем, что чувствую, что уже он совсем в меня сквозь затылок точно внутрь влез и через мои глаза на свет смотрит, а мои глаза ему только словно как стекла.

«Вот,— думаю,— штуку он со мной сделал! — а где же теперь,— спрашиваю,— мое зрение?»

— А твоего,— говорит,— теперь уже нет.

— Что, мол, это за вздор, что нет?

— Так,— отвечает,— своим зрением ты теперь только то увидишь, чего нету.

— Вот, мол, еще притча! Ну-ка, давай-ка я понатужусь.

Вылупился, знаете, во всю мочь, и вижу, будто на меня из-за всех углов темных разные мерзкие рожи на ножках смотрят, и дорогу мне перебегают, и на перекрестках стоят, ждут и говорят: «Убьем его и возьмем сокровище». А передо мною опять мой вихрястенький баринок, и рожа у него вся светом светится, а сзади себя слышу страшный шум и содом, голоса и бряцанье, и гик, и визг, и веселый хохот. Осматриваюсь и понимаю, что стою, прислонясь спиной к какому-то дому, а в нем окна открыты и в середине светло, и оттуда те разные голоса, и шум, и гитара ноет, а передо мною опять мой баринок, и все мне спереди по лицу ладонями машет, а потом по груди руками ведет, против сердца останавливается, напирает, и за персты рук схватит, встряхнет полегонечку, и опять машет, и так трудится, что даже, вижу, он сделался весь в поту.

Но только тут, как мне стал из окон дома свет светить и я почувствовал, что в сознание свое прихожу, то я его перестал опасаться и говорю:

— Ну, послушай ты, кто ты такой ни есть: черт, или дьявол, или мелкий бес, а только, сделай милость, или разбуди меня, или рассыпья.

А он мне на это отвечает:

— Погоди,— говорит,— еще не время: еще опасно, ты еще не можешь перенести.

Я говорю:

— Чего, мол, такого я не могу перенести?

— А того,— говорит,— что в воздушных сферах теперь происходит.

— Что же я, мол, ничего особенного не слышу?

А он настаивает, что будто бы я не так слушаю, и говорит мне божественным языком:

— Ты,— говорит,— чтобы слышать, подражай примерно гус-

леигрателю, како сей подклоняет низу главу и, слух прилагая к пению, подвизает бряцало рукою.

«Нет,— думаю,— да что же это такое? Это даже совсем на пьяного человека речи не похожи, как он стал разговаривать!»

А он на меня глядит и тихо по мне руками водит, а сам продолжает в том же намерении уговаривать.

— Так,— говорит,— купно струнам, художне соударяемым единым со другими, гусли песнь издают и гуслеигратель веселится, сладости ради медовныя.

То есть просто, вам я говорю, точно я не слова слышу, а вода живая мимо слуха струит, и я думаю: «Вот тебе и пьяничка! Гляди-ка, как он еще хорошо может от божества говорить!» А мой баринок этим временем перестал егозиться и такую речь молвит:

— Ну, теперь довольно с тебя; теперь проснись,— говорит,— и подкрепись!

И с этим принагнулся, и все что-то у себя в штанцах в кармашке долго искал, и, наконец, что-то оттуда достает. Гляжу, это вот тахохонький махонький-махонький кусочек сахарцу, и весь в сору, видно оттого, что там долго валялся. Обобрал он с него коготками этот сор, пообдул и говорит:

— Раскрой рот.

Я говорю:

«Зачем?» — а сам рот раззявил. А он воткнул мне тот сахарок в губы и говорит:

— Соси,— говорит,— смелее; это магнитный сахар-ментор: он тебя подкрепит.

Я уразумел, что хоть это и по-французски он говорил, но насчет магнетизма, и больше его не спрашиваю, а занимаюсь, сахар сосу, а кто мне его дал, того уже не вижу. Отошел ли он куда вплотьмах в эту минуту или так куда провалился, лихо его ведает, но только я остался один и совсем сделался в своем понятии и думаю: чего же мне его ждять? мне теперь надо домой идти. Но опять дело: не знаю — на какой я такой улице нахожусь и что это за дом, у которого я стою? И думаю: да уже дом ли это? может быть, это все мне только кажется, а все это наваждение... Теперь ночь,— все спят, а зачем тут свет?.. Ну, а лучше, мол, попробовать... зайду посмотрю, что здесь такое: если тут настоящие люди, так я у них дорогу спрошу, как мне домой идти, а если это только обольщение глаз, а не живые люди... так что же опасного? я скажу: «Наше место свято: чур меня» — и все рассыпется.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Вхожу я с такою отважною решимостью на крылечко, перекрестился и зачурался, ничего: дом стоит, не шатается, и вижу: двери отворены, и впереди большие длинные сени, а в глубине

их на стенке фонарь со свечою светит. Осмотрелся я и вижу на-лево еще две двери, обе циновкой обиты, и над ними опять этакие подсвечники с зеркальными звездочками. Я и думаю: что же это такое за дом: трактир как будто не трактир, а видно, что гостиное место, а какое — не разберу. Но только вдруг вслушиваюсь, и слышу, что из-за этой циновочной двери льется песня... томная, претомная, сердечнейшая, и поет ее голос, точно колокол малиновый, так за душу и щипет, так и берет в полон. Я и слушаю и никуда далее не иду, а в это время дальняя дверка вдруг растворяется, и я вижу, вышел из нее высокий цыган в шелковых штанах, а казакин бархатный, и кого-то перед собою скоро выпроводил в особую дверь под дальним фонарем, которую я спервоначала и не заметил. Я, признаться, хоть не хорошо рассмотрел, кого это он спровадил, но показалось мне, что это он вывел моего магнетизера и говорит ему вслед:

— Ладно, ладно, не обижайся, любезный, на этом полтиннике, а завтра приходи: если нам *от него* польза будет, так мы тебе за его приведение к нам еще прибавим.

И с этим дверь на защелку защелкнул и бежит ко мне будто ненароком, отворяет передо мною дверь, что под зеркальцем, и говорит:

— Милости просим, господин купец, пожалуйста наших песен послушать! Голоса есть хорошие.

И с этим дверь перед мною тихо навстезь распахнул... Так, милостивые государи, меня и обдало не знаю чем, но только будто столь мне сродным, что я вдруг весь там очутился. Комната этакая обширная, но низкая, и потолок повихнут, пузом вниз лезет, все темно, закоптело, и дым от табаку такой густой, что люстра наверху висит, так только чуть ее знать, что она светится. А внизу в этом дымище люди... очень много, страсть как много людей, и перед ними этим голосом, который я слышал, молодая цыганка поет. Притом, как я взошел, она только последнюю штучку тонко-претонко, нежно дотянула и спустила на нет, и голосок у нее замер... Замер ее голосок, и с ним в одно мановение точно всё умерло... Зато через минуту все как вскочат, словно бешеные, и ладошами плещут и кричат. А я только удивляюсь: откуда это здесь так много народу и как будто еще все его больше и больше из дыму выступает? «Ух,— думаю,— да не дичь ли это какая-нибудь вместо людей?» Но только вижу я разных знакомых господ ремонтеров и заводчиков и так просто богатых купцов и помещиков узнаю, которые до коней охотники, и промежду всей этой публики цыганка ходит этакая... даже нельзя ее описать как женщину, а точно будто как яркая змея, на хвосте движет и вся станом гнется, а из черных глаз так и жжет огнем. Любопытная фигура! А в руках она держит большой поднос, на котором по краям стоят много стаканов с шампанским вином, а посредине куча денег страшная. Только одного серебра нет, а то и золото, и ассигнации, и синие синицы, и серые утицы,

и красные косачи,— только одних белых лебедей нет¹. Кому она подаст стакан, тот сейчас вино выпьет и на поднос, сколько чувствует усердия, денег мечет, золото или ассигнации; а она его тогда в уста поцелует и поклонится. И обошла она первый ряд и второй — гости вроде как полукругом сидели — и потом проходит и самый последний ряд, за которым я сзади за стулом на ногах стоял, и было уже назад повернула, не хотела мне подносить, но старый цыган, что сзади ее шел, вдруг как крикнет:

— Грушка! — и глазами на меня кажет. Она взмахнула на него ресничками... ей-богу, вот этикие ресницы, длинные-предлинные, черные, и точно они сами по себе живые и, как птицы какие, шевелятся, а в глазах я заметил у нее, как старик на нее повелел, то во всей в ней точно гневом дунуло. Рассердилась, значит, что велят ей меня потчевать, но, однако, свою должность исполняет: заходит ко мне за задний ряд, кланяется и говорит:

— Выкушай, гость дорогой, про мое здоровье!

А я ей даже и отвечать не могу: такое она со мною сразу сделала! Сразу, то есть, как она передо мною над подносом нагнулась и я увидал, как это у нее промеж черных волос на голове, будто серебро, пробор вьется и за спину падает, так я и осата-нел, и весь ум у меня отняло. Пью ее угошенье, а сам через стакан ей в лицо смотрю и никак не разберу: смугла она или бела она, а меж тем вижу, как у нее под тонкою кожей, точно в сливе на солнце, краска рдеет и на нежном виске жилка бьет... «Вот она,— думаю,— где настоящая-то красота, что природы совершенство называется; магнетизер правду сказал: это совсем не то, что в лошади, в продажном звере».

И вот я допил стакан до дна и стук им об поднос, а она стоит да дожидается, за что ласкать будет. Я поскорее спустил на тот конец руку в карман, а в кармане все попадаются четвертаки, да двугривенные, да прочая расхожая мелочь. Мало, думаю; недостойно этим одарить такую язвинку, и перед другими стыдно будет! А господа, слышу, не больно тихо цыгану говорят:

— Эх, Василий Иванов, зачем ты велишь Груше этого мужика угощать? нам это обидно.

А он отвечает:

— У нас, господа, всякому гостю честь и место, и моя дочь родной отцов цыганский обычай знает; а обижаться вам нечего, потому что вы еще пока не знаете, как иной простой человек красоту и талант оценить может. На это разные примеры бывают.

А я, это слышучи, думаю:

«Ах вы, волк вас ешь! Неужели с того, что вы меня богате, то у вас и чувства больше? Нет уже, что будет, то будет: после

¹ ...и синие синицы, и серые утицы, и красные косачи,— только одних белых лебедей нет.— Ассигнации различались по цвету: синие достоинством в пять рублей; серые — в десять; красные — в двадцать пять; белые — в сто и в двести.

князю отслужу, а теперь себя не постыжусь и сей невиданной красоты скупостью не унижу».

Да с этим враз руку за пазуху, вынул из пачки сторублевого лебеда, да и шаркнул его на поднос. А цыганочка сейчас поднос в одну ручку переняла, а другою мне белым платком губы вытерла и своими устами так слегка даже как и не поцеловала, а только будто тронула устами, а вместо того точно будто ядом каким провела, и прочь отошла.

Она отошла, а я было на том же месте остался, но только тот старый цыган, этой Груши отец, и другой цыган подхватили меня под руку, и волокут вперед, и сажают в самый передний ряд рядом с исправником и с другими господами.

Мне было, признаться, на это и неохота: я не хотел продолжать и хотел вон идти; но они просят, и не пушают, и зовут: — Груша! Грунюшка, останови гостя желанного!

И та выходит и... враг ее знает, что она умела глазами делать: взглянула, как заразу какую в очи пустила, а сама говорит:

— Не обидь: погости у нас на этом месте.

— Ну уж тебя ли,— говорю,— кому обидеть можно,— и сел.

А она меня опять поцеловала, и опять то же самое осязание: как будто ядовитую кисточкою уста тронет и во всю кровь до самого сердца болью прожжет.

И после этого начались опять песни и пляски, и опять другая цыганка с шампанею пошла. Тоже и эта хороша, но где против Груши! Половины той красоты нет, и за это я ей на поднос зацепил из кармана четвертаков и сыпнул... Господа это взяли в пересмех, но мне все равно, потому я одного смотрю, где она, эта Грушенька, и жду, чтобы ее один голос без хора слышать, а она не поет. Сидит с другими, подпевает, но сблу не делает, и мне ее голоса не слышать, а только роток с белыми зубками видно... «Эх ты,— думаю,— доля моя сиротская: на минуту зашел и сто рублей потерял, а вот ее-то одну и не услышу!» Но на мое счастье не одному мне хотелось ее послушать: и другие господа важные посетители все вкупе закричали после одной перемены:

— Груша! Груша! «Челнок»¹, Груша! «Челнок»!

Вот цыганы покашляли, и молодой ее брат взял в руки гитару, а она запела. Знаете... их пение обыкновенно достигающее и за сердца трогает, а я как услышал этот самый ее голос, на который мне еще из-за двери манилось, расчувствовался. Ужасно мне как понравилось! Начала она так как будто грубовато, мужественно, эдак: «Мо-о-ре во-оо-о-ет, мо-ре сто-нет». Точно в действительности слышно, как и море стонет и в нем челночок поглощенный бьется. А потом вдруг в голосе совсем другая перемена, обращение к звезде: «Золотая, дорогая, предвещательница дня, при тебе беда земная недоступна до меня». И опять новая

обратность, чего не ждешь. У них все с этими с обращениями: то плачет, томит, просто душу из тела вынимает, а потом вдруг как хватит совсем в другом роде, и точно сразу опять сердце вставит... Так и тут она это «море»-то с «челном» всколыхала, а другие как завизжат всем хором:

Джа-ла-ла. Джа-ла-ла.
Джа-ла-ла прингала!
Джа-ла-ла принга-ла.
Гай да чепурингала!
Гей гоп-гай, та гара!
Гей гоп-гай-та гара!

и потом Грушенька опять пошла с вином и с подносом, а я ей опять из-за пазухи еще одного лебеда... На меня все оглядываться стали, что я их своими подарками ниже себя ставлю; так что им даже совестно после меня класть, а я решительно уже ничего не жалею, потому моя воля, сердце выскажу, душу выкажу, и выказал. Что Груша раз ни споет, то я ей за то лебеда, и уже не считаю, сколько их выпустил, а даю, да и конечно, и зато другие ее все разом просят петь, она на все их просьбы не поет, говорит «устала», а я один кивну цыгану: не можно ли, мол, ее понудить? тот сейчас на ее глазами поведет, она и поет. И много-с она пела, песня от песни могучее, и покидал я уже ей много, без счету лебедей, в конце, не знаю, в который час, но уже совсем на заре, точно и в самом деле она измаялась, и устала, и точно с намеками на меня глядя, завела: «Отойди, не гляди, скройся с глаз моих». Этими словами точно гонит, а другими словно допрашивает: «Иль играть хочешь ты моей львиной душой и всю власть красоты испытать над собой». А я ей еще лебеда! Она меня опять поневоле поцеловала, как ужалила, и в глазах точно пламя темное, а те, другие, в этот лукавый час напоследях как заорут:

Ты восчувствуй, милая,
Как люблю тебя, драгая!

и все им подтягивают да на Грушу смотрят, и я смотрю да подтягиваю: «ты восчувствуй!» А потом цыгане как хватят: «Ходи, изба, ходи, печь; хозяину негде лечь» — и вдруг все в пляс пошли... Пляшут и цыгане, пляшут и цыганки, и господа пляшут: все вместе вьются, точно и в самом деле вся изба пошла. Цыганки перед господами носятся, и те поспевают, им вслед гонят, молодые с посвистом, а кои старше, с покрехтом. На местах, гляжу, уже никого и не остается... Даже от которых бы степенных мужчин и в жизнь того скоморошества не ожидал, и те все поднимаются. Посидит-посидит иной, кто посолиднее, и сначала, видно, очень стыдится идти, а только глазом ведет, либо усом дергает, а потом один враг его плечом дернет, другой ногой мотнет, и смотришь, вдруг вскочит и хоть не умеет плясать, а пойдет та-

кое ногами выводить, что ни к чему годно! Исправник толстый-претолстый, и две дочери у него были замужем, а и тот с зятьями своими тут же заодно пыхтит, как сом, и пятками месит, а гусар-ремонтер, ротмистр богатый и собой молодец, плясун залихватский, всех ярче действует: руки в боки, а каблуками навыверт стучит, перед всеми идет — козырится, взгреб валяет, а с Грушей встренется — головой тряхнет, шапку к ногам ее ронит и кричит: «Наступи, раздави, раскрасавица!» — и она... Ох, тоже плясунья была! Я видал, как пляшут актеры в театрах, да что все это, тьфу, все равно что офицерский конь без фантазии на параде для одного близиру манежится, невесть чего ерихонится, а огня-жизни нет. Эта же краля как пошла, так как фараон плывет — не колыхнется, а в самой, в змее, слышно, как и хрящ хрустит и из кости в кость мозжечок идет, а станет, повыгнется, плечом ведет и бровь с носком ножки на одну линию строит... Картина! Просто от этого виденья на ее танец все словно свой весь ум потеряли: рвутся к ней без ума, без памяти: у кого слезы на глазах, а кто зубы скалит, но все кричат:

«Ничего не жалеем: танцуй!» — деньги ей так просто зря под ноги мечут, кто золото, кто ассигнации. И все тут гуще и гуще заваялось, и я лишь один сижу, да и то не знаю, долго ли утерплю, потому что не могу глядеть, как она на гусарову шапку наступает... Она ступит, а меня черт в жилу шелк; она опять ступит, а он меня опять шелк, да, наконец, думаю: «Что же мне так себя все мучить! Пущу и я свою душу погулять вволю», — да как вскочу, отпихнул гусара, да и пошел перед Грушей вприсядку... А чтобы она на его, гусарову, шапку не становилась, такое средство изобрел, что, думаю, все вы кричите, что ничего не жалее, меня тем не удивите: а вот что я ничего не жалею, так я то делом-правдою докажу, да сам прыгну, и сам из-за пазухи ей под ноги лебедя и кричу: «Дави его! Наступай!» Она было не того... даром, что мой лебедь гусарской шапки дороже, а она и на лебедя не глядит, а все норовит за гусаром; да только старый цыган, спасибо, это заметил, да как на нее топнет... Она и поняла и пошла за мной... Она на меня плывет, глаза вниз спустила, как змеища-горынице, ажио гневом землю жжет, а я перед ней просто в подобии беса скачу, да все, что раз прыгну, то под ножку ей мечу лебедя... Сам ее так уважаю, что думаю: не ты ли, проклятая, и землю и небо сделала? а сам на нее с дерзостью кричу: «ходи шибче», да все под ноги ей лебедей, да раз'руку за пазуху пущаю, чтобы еще одного достать, а их, гляжу, там уже всего с десятков остался... «Тьфу ты, — думаю, — черт же вас всех побирай!» — скомкал их всех в кучку, да сразу их все ей под ноги и выбросил, а сам взял со стола бутылку шампанского вина, отбил ей горло и крикнул:

— Стронись, душа, а то оболью! — да всю сразу и выпил за ее здоровье, потому что после этой пляски мне пить страшно хотелось.

— Ну, и что же далее? — спросили Ивана Северьяныча.

— Далее действительно все так воспоследовало, как он обещался.

— Кто обещался?

— А магнетизер, который это на меня навел: он как обещался от меня пьяного беса отставить, так его и свел, и я с той поры никогда больше ни одной рюмки не пил. Очень он это крепко сделал.

— Ну-с, а как же вы с князем-то своим за выпущенных лебедей кончили?

— А я и сам не знаю, как-то очень просто: как от этих цыганов доставился домой, и не помню, как лег, но только слышу, князь стучит и зовет, а я хочу с коника¹ встать, но никак края не найду и не могу сойти. В одну сторону поползу — не край, в другую оборочусь — и здесь тоже краю нет... Заблудил на конике, да и полно!.. Князь кричит: «Иван Северьяныч!» А я откликаюсь: «Сейчас!» — а сам лазию во все стороны и все не найду края, и, наконец, думаю: ну, если слезть нельзя, так я же спрыгну, и размахнулся да как сигану как можно дальше, и чувствую, что меня будто что по морде ударило и вокруг меня что-то звенит и сыпется, и сзади тоже звенит и опять сыпется, и голос князя говорит денщику: «Давай огня скорей!»

А я стою, не трогаюсь, потому что не знаю, наяву или во сне я все это над собою вижу, и полагаю, что я все еще на конике до края не достиг; а наместо того, как денщик принес огонь, я вижу, что я на полу стою, мордой в хозяйскую горку с хрусталем запрыгнул и поколотил все...

— Как же вы это так заблудились?

— Очень просто: думал, что я, по всегдашнему своему обыкновению, на конике сплю, а я, верно, придя от цыган, прямо на пол лег, да все и ползал, края искал, а потом стал прыгать... и допрыгал до горки. Блуждал, потому этот... магнетизер, он пьяного беса от меня свел, а блудного при мне поставил... Я тут же и вспомнил его слова, что он говорил: «как бы хуже не было, если питье бросить», — и пошел его искать — хотел просить, чтобы он лучше меня размагнетизировал на старое, но его не застал. Он тоже много на себя набрал и сам не вынес, и тут же, напротив цыганов, у шинкарки так напился, что и помер.

— А вы так и остались замагнетизированы?

— Так и остался-с.

— И долго же на вас этот магнетизм действовал?

— Отчего же долго ли? он, может быть, и посейчас действует.

— А все-таки интересно знать, как же вы с князем-то?.. Не-

Коник — ларь с подъемной крышкой.

ужто так и объяснения у вас никакого не было за лебедей?
— Нет-с, объяснение было, только не важное. Князь тоже приехал проигравшись и на реванж у меня стал просить. Я говорю:

«Ну уж это оставьте: у меня ничего денег нет».

Он думает, шутка, а я говорю:

«Нет, исправди, у меня без вас большой выход был».

Он спрашивает:

«Куда же, мол, ты мог пять тысяч на одном выходе деть?..»

Я говорю:

«Я их сразу цыганке бросил...»

Он не верит.

Я говорю:

«Ну, не верьте; а я вам правду говорю».

Он было озлился и говорит:

«Запри-ка двери, я тебе задам, как казенные деньги швырять,— а потом, это вдруг отменив, и говорит: — Не надо ничего, я и сам такой же, как ты, беспутный».

И он в комнате лег свою ночь досыпать, а я на сеновал тоже опять спать пошел. Опомился же я в лазарете и слышу, говорят, что у меня белая горячка была и хотел будто бы я вешаться, только меня, слава Богу, в длинную рубашку спеленали. Потом выздоровел я и явился к князю в его деревню, потому что он этим временем в отставку вышел, и говорю:

«Ваше сиятельство, надо мне вам деньги отслужить».

Он отвечает:

«Пошел к черту».

Я вижу, что он очень на меня обижен, подхожу к нему и нагибаюсь.

«Что,— говорит,— это значит?»

«Да оттрепите же,— прошу,— меня по крайней мере как следует!»

А он отвечает:

«А почему ты знаешь, что я на тебя сержусь, а может быть, я тебя вовсе и виноватым не считаю».

«Помилуйте,— говорю,— как же еще я не виноват, когда я этакую область денег расшвырял? Я сам знаю, что меня, подлеца, за это повесить мало».

А он отвечает:

«А что, братец, делать, когда ты артист».

«Как,— говорю,— это так?»

«Так,— отвечает,— так, любезнейший Иван Северьяныч, вы, мой полупочтеннейший, артист».

«И понять,— говорю,— не могу».

«Ты,— говорит,— не думай что-нибудь худое, потому что и я сам тоже артист».

«Ну, вот это,— думаю,— понятно: видно, не я один до белой горячки подвизался».

А он встал, ударил об пол трубку и говорит:

«Что тут за диво, что ты перед ней бросил, что при себе имел, я, братец, за нее то отдал, чего у меня нет и не было».

Я во все глаза на него вылупился.

«Батюшка, мол, ваше сиятельство, помилосердуйте, что вы это говорите, мне это даже слушать страшно».

«Ну, ты,— отвечает,— очень не пугайся: Бог милостив, а авось как-нибудь выкручусь, а только я за эту Грушу в табор полсотни тысяч отдал».

Я так и ахнул:

«Как,— говорю,— полсотни тысяч! за цыганку? да стоит ли она этого, аспидка?»

«Ну, вот это,— отвечает,— вы, полупочтеннейший, глупо и не по-артистически заговорили... Как стоит ли? Женщина всего на свете стоит, потому что она такую язву нанесет, что за все царство от нее не вылечишься, а она одна в одну минуту от нее может исцелить».

А я все думаю, что все это правда, а только сам все головою качаю и говорю:

«Этакая, мол, сумма! целые пятьдесят тысяч!»

«Да, да,— говорит,— и не повторяй больше, потому что спасибо, что и это взяли, а то бы я и больше дал... все, что хочешь, дал бы».

«А вам бы,— говорю,— плюнуть и больше ничего».

«Не мог,— говорит,— братец, не мог плюнуть».

«Отчего же?»

«Она меня красотою и талантом уязвила, и мне исцеленья надо, а то я с ума сойду. А ты мне скажи: ведь правда: она хороша? А? правда, что ли? Есть отчего от нее с ума сойти?..»

Я губы закусил и только уже молча головой трясусь:

«Правда, мол, правда!»

«Мне,— говорит князь,— знаешь, мне ведь за женщину хоть умереть, так ничего не стоит. Ты можешь ли это понимать, что умереть нипочем?»

«Что же,— говорю,— тут непонятого, краса природы совершенство...»

«Как же ты это понимаешь?»

«А так,— отвечаю,— и понимаю, что краса природы совершенство, и за это восхищенному человеку погибнуть... даже радость!»

«Молодец,— отвечает мой князь,— молодец вы, мой почти полупочтеннейший и премного-малозначащий Иван Северьянович! именно-с, именно гибнуть-то и радостно, и вот то-то мне теперь и сладко, что я для нее всю мою жизнь перевернул: и в отставку вышел, и имение заложил, и с этих пор стану тут жить, человека не видя, а только все буду одной ей в лицо смотреть».

Тут я еще ниже спустил голос и шепчу:

«Как,— говорю,— будете ей в лицо смотреть? Разве она здесь?»

А он отвечает:

«А то как же иначе? разумеется, здесь».

«Может ли,— говорю,— это быть?»

«А вот ты,— говорит,— постой, я ее сейчас приведу. Ты артист,— от тебя я ее не скрою».

И с этим оставил меня, а сам вышел за дверь. Я стою, жду и думаю:

«Эх, нехорошо это, что ты так утверждаешь, что на одно на ее лицо будешь смотреть! Наскучит!» Но в подробности об этом не рассуждаю, потому что как вспомню, что она здесь, сейчас чувствую, что у меня даже в боках жарко становится, и в уме мешаюсь, думаю: «Неужели я ее сейчас увижу?» А они вдруг и входят: князь впереди идет и в одной руке гитару с широкою алой лентой несет, а другою Грушеньку, за обе ручки сжавши, тащит, а она идет понуро, упирается и не смотрит, а только эти реснички черные по щекам как будто птичьи крылья шевелятся.

Ввел ее князь, взял на руки и посадил, как дитя, с ногами в угол на широкий мягкий диван; одну бархатную подушку ей за спину подsunул, другую — под правый локоток подложил, а ленту от гитары перекинул через плечо и персты руки на струны поклат. Потом сел сам на полу у дивана и голову склонил к ее алому сафьянному башмачку и мне кивает: дескать, садись и ты.

Я тихонечко опустилсЯ у порожка на пол, тоже подобрал под себя ноги и сижУ, гляжу на нее. Тихо настало так, что даже тошО делается. Я сидел-сидел, индо колени разломилО, а гляну на нее, она все в том же положении, а на князя посмотрю: вижу, что он от томноты у себя весь ус изгрыз, а ничего ей не говорит.

Я ему и киваю: дескать, что же вы, прикажите ей петь! А он обратно мне пантомину дает в таком смысле, что, дескать, не послушает.

И опять оба сидим на полу да ждем, а она вдруг начала как будто бредить, вздыхать да похлипывать, и по реснице слезка струит, а по струнам пальцы, как осы, ползают и рокочут... И вдруг она тихо-тихо, будто плачет, запела: «Люди добрые, послушайте про печаль мою сердечную».

Князь шепчет: «Что?»

А я ему тоже шепотом по-французски отвечаю:

«Пти-ком-пё»,— говорю, и сказать больше нечего, а она в эту минуту вдруг как вскрикнет: «А меня с красоты продадут, продадут», да как швырнет гитару далеко с колен, а с головы сорвала косынку и пала ничком на диван, лицо в ладони уткнула и плачет, и я, глядя на нее, плачу, и князь... тоже и он заплакал, но взял гитару и точно не пел, а, как будто службу служа, застонал: «Если б знала ты весь огонь любви, всю тоску души моей пламенной»,— да и ну рыдать. И поет и выдает: «Успокой меня, беспокойного, осчастливь меня, несчастливого». Как он так жестоко взволновался, она, вижу, внемлет сим его слезам и пению и все стала тишать, усмиряться и вдруг тихо ручку из-под сво-

его лица вывела и, как мать, нежно обвила ею его голову...

Ну, тут мне стало понятно, что она его в этот час пожалела и теперь сейчас успокоит и исцелит всю тоску души его пламенной, и я встал потихоньку, незаметно, и вышел.

— И, верно, тут-то вы и в монастырь пошли? — спросил некто рассказчика.

— Нет-с; еще не тут, а позже,— отвечал Иван Северьяныч и добавил, что ему еще надлежало прежде всего в свете от этой женщины видеть, пока над ней все, чему суждено было, исполнилось, и его зачеркнуло.

Слушатели, разумеется, приступили с просьбою хотя вкратце рассказать им историю Груни, и Иван Северьяныч это исполнил.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

— Видите,— начал Иван Северьяныч,— мой князь был человек души доброй, но переменчивой. Чего он захочет, то ему сейчас во что бы то ни стало вынь да положи — иначе он с ума сойдет, и в те поры ничего он на свете за это достижение не пожалеет, а потом, когда получит, не дорожит счастьем. Так это у него и с этой цыганкой вышло, и ее, Грушин, отец и все те ихние таборные цыганы отлично сразу в нем это поняли и запросили с него за нее невесть какую цену, больше как все его домашнее состояние позволяло, потому что было у него хотя и хорошее именье, но разоренное. Таких денег, какие табор за Грушу назначил, у князя тогда налично не было, и он сделал для того долг и уже служить больше не мог.

Знавши все эти его привычки, я много хорошего от него не ожидал и для Груши, и так на мое и вышло. Все он к ней ластился, безотходно на нее смотрел и дышал, и вдруг зевать стал и все меня в компанию призывать начал.

— Садись,— говорит,— послушай.

Я беру стул, сажусь где-нибудь поближе к дверям и слушаю. Так и часто доводилось: он, бывало, ее попросит петь, а она скажет:

— Перед кем я стану петь! Ты,— говорит,— холодный стал, а я хочу, чтобы от моей песни чья-нибудь душа горела и мучилась.

Князь сейчас опять за мною и посылает, и мы с ним двое ее и слушаем; а потом Груша и сама стала ему напоминать, чтобы звать меня, и начала со мною обращаться очень дружественно, и я после ее пения не раз у нее в покоях чай пил вместе с князем, но только, разумеется, или за особым столом, или где-нибудь у окошечка, а если когда она одна оставалась, то завсегда попросту рядом с собою меня сажала. Вот так прошло сколько времени, а князь все смутнее начал становиться и один раз мне и говорит:

— А знаешь что, Иван Северьянов, так и так, ведь дела мои очень плохи.

Я говорю:

— Чем же они плохи? Слава Богу, живете как надо, и все у вас есть.

А он вдруг обиделся.

— Как,— говорит,— вы, мой полупочтеннейший, глупы, «все есть»? что же это такое у меня *есть*?

— Да все, мол, что нужно.

— Неправда,— говорит,— я обеднел, я теперь себе на бутылку вина к обеду должен рассчитывать. Разве это жизнь? Разве это жизнь?

«Вот,— думаю,— что тебя огорчает»,— и говорю:

— Ну, если когда вина недостача, еще не велика беда, потерпеть можно, зато есть что слаще и вина и меду.

Но он понял, что я намекаю на Грушу, и как будто меня устыдился, и сам ходит, рукою машет, а сам говорит:

— Конечно... конечно... разумеется... но только... Вот я теперь полгода живу здесь и человека у себя чужого не видал...

— А зачем, мол, он вам, чужой-то человек, когда есть душа желанная?

Князь вспыхнул.

— Ты,— говорит,— братец, ничего не понимаешь: все хорошо одно при другом.

«А-га! — думаю,— вот ты что, брат, запел?» — и говорю:

— Что же, мол, теперь делать?

— Давай,— говорит,— станем лошадьми торговать. Я хочу, чтобы ко мне опять ремонтеры и заводчики ездили.

Пустое это и не господское дело лошадьми торговать, но, думаю, чем бы дитя ни тешилось, абы не плакало, и говорю: «Извольте».

И начали мы с ним заводить ворок. Но чуть за это принялись, князь так и унесся в эту страсть: где какие деньжонки добудет, сейчас покупать коней, и все берет, хватает зря; меня не слушает... Накупили обельму¹, а продажи нет... Он сейчас же этого не стерпел и коней бросил да давай что попало городить: то кинется необыкновенную мельницу строить, то шорную мастерскую завел, и все от всего убытки и долги, а более всего расстройство в характере... Постоянно он дома не сидит, а летает то туда, то сюда, да чего-то ищет, а Груша одна и в таком положении... в тягости. Скучает. «Мало,— говорит,— его вижу»,— а перемогает себя и великатится; чуть заметит, что он день-другой дома заскучает, сейчас сама скажет:

— Ты бы,— говорит,— изумруд мой яхонтовый, куда-нибудь поехал, прогулялся, что тебе со мною сидеть: я проста, неученая.

Этих слов он, бывало, сейчас застыдится, и руки у нее целует, и дня два-три крепится, а зато потом как выкатит, так уже и завьется, а ее мне заказывает.

¹ Обельма — множество, куча.

— Береги,— говорит,— ее, полупочтенный Иван Северьянов, ты артист, ты не такой, как я, свистун, а ты настоящий, высокой степени артист, и оттого ты с нею как-то умеешь так говорить, что вам обоим весело, а меня от этих «изумрудов яхонтовых» в сон клонит.

Я говорю:

— Почему же это так? ведь это слово любовное.

— Любовное,— отвечает,— да глупое и надоедное.

Я ничего не ответил, а только стал от этого времени к ней за просто вход: когда князя нет, я всякий день два раза на день ходил к ней во флигель чай пить и как мог ее развлекал.

А развлекать было оттого, что она, бывало, если разговорится, все жалуется:

— Милый мой, сердечный мой друг Иван Северьянович,— возговорит,— ревность меня, мой голубчик, тягостно мучит.

Ну, я ее, разумеется, уговариваю:

— Чего,— говорю,— очень мучиться: где он ни побывает, все к тебе воротится.

А она всплачет, и руками себя в грудь бьет, и говорит:

— Нет, скажи же ты мне... не потай от меня, мой сердечный друг, где он бывает?

— У господ,— говорю,— у соседей или в городе.

— А нет ли,— говорит,— там где-нибудь моей с ним разлучницы? Скажи мне: может, он допреж меня кого любил и к ней назад воротился, или не задумал ли он, лиходея мой, жениться? — А у самой при этом глаза так и загорятся, даже смотреть ужасно.

Я ее утешаю, а сам думаю:

«Кто его знает, что он делает»,— потому что мы его мало и в то время и видели.

Вот как вспало ей это на мысль, что он жениться хочет, она и ну меня просить:

— Съезди, такой-сякой, голубчик Иван Северьянович, в город; съезди, доподлинно узнай о нем все как следует и все мне без потайки выскажи.

Пристает она с этим ко мне все больше и больше и до того меня разжалобила, что думаю:

«Ну, была не была, поеду. Хотя ежели что дурное об измене узнаю, всего ей не выскажу, но посмотрю и приведу все дело в ясность».

Выбрал такой предлог, что будто бы надо самому ехать лекарем для лошадей у травщиков набрать, и поехал, но поехал неспроста, а с хитрым подходом.

Груше было неизвестно и людям строго-настрою наказано было от нее скрывать, что у князя, до этого случая с Грушею, была в городе другая любовь — из благородных, секретарская дочка Евгенья Семеновна. Известная она была во всем городе большая на фортепьянах игрица, и предобрая барыня, и тоже

собою очень хорошая, и имела с моим князем дочку, но располнела, и он ее, говорили, будто за это и бросил. Однако, имея в ту пору еще большой капитал, он купил этой барыне с дочкою дом, и они в том доме доходцами и жили. Князь к этой к Евгенья Семеновне, после того как ее наградил, никогда не заезжал, и люди наши, по старой памяти, за ее добродетель помнили и всякий приезд все, бывало, к ней захаживали, потому что ее любили и она до всех до наших была ужасно какая ласковая и князем интересовалась.

Вот я приехал в город прямо к ней, к этой доброй барыне, и говорю:

— Я, матушка Евгенья Семеновна, у вас остановился.

Она отвечает:

— Ну что же; очень рада. Только отчего же,— говорит,— ты к князю не едешь на его квартиру?

— А разве,— говорю,— он здесь в городе?

— Здесь,— отвечает.— Он уже другая неделя здесь и дело какое-то заводит.

— Какое, мол, еще дело?

— Фабрику,— говорит,— суконную в аренду берет.

— Господи! мол, еще что такое он задумал?

— А что,— говорю,— разве это худо?

— Ничего,— говорю,— только что-то мне это удивительно.

Она улыбается.

— Нет, а ты,— говорит,— вот чему подивись, что князь мне письмо прислал, чтобы я нынче его приняла, что он хочет на дочь взглянуть.

— И что же,— говорю,— вы ему, матушка Евгенья Семеновна, разрешили?

Она пожала плечами и отвечает:

— Что же, пусть приедет, на дочь посмотрит,— и с этим вздохнула и задумалась, сидит опустя голову, а сама еще такая молодая, белая да вальяжная, а к тому еще и обращение совсем не то, что у Груши... та ведь больше ничего, как начнет свое «изумрудный да яхонтовый», а эта совсем другое... Я ее и взревновал.

«Ох,— думаю себе,— как бы он на дитя-то как станет смотреть, то чтобы на самое на тебя своим несытым сердцем не глянул! От сего тогда моей Грушеньке много добра не воспоследует». И в таком размышлении сижу я у Евгеньи Семеновны в детской, где она велела няньке меня чаем поить, а у дверей вдруг слышу звонок, и горничная прибегает очень радостная и говорит нянюшке:

— Князенька к нам приехал!

Я было сейчас же и поднялся, чтобы на кухню уйти, но нянюшка Татьяна Яковлевна разговорчивая была старушка из московских: страсть любила все высказать и не захотела через это слушателя лишиться, а говорит:

— Не уходи, Иван Голованыч, а пойдем вот сюда в гардеробную за шкапу сядем, она его сюда ни за что не поведет, а мы с тобою еще разговорцу проведем.

Я и согласился, потому что, по разговорчивости Татьяны Яковлевны, надеялся от нее что-нибудь для Груши полезное сказать, и как от Евгеньи Семеновны мне был лодиколонный пузырек рому к чаю выслан, а я сам уже тогда ничего не пил, то и думаю: подпущу-ка я ей, божьей старушке, в чаек еще вот этого разговорцу из пузыречка, авось она, по благодати своей, мне тогда что-нибудь и совет, чего бы без того и не высказала.

Удалились мы из детской и сидим за шкафами, а эта шкафная комнатка была узенькая, просто сказать — коридор, с дверью в конце, а та дверь как раз в ту комнату выходила, где Евгенья Семеновна князя приняла, и даже к тому к самому дивану, на котором они сели. Одним словом, только меня от них разделила эта запертая дверь, с той стороны материей завешанная, а то все равно будто я с ними в одной комнате сижу, так мне все слышно.

Князь как вошел, и говорит:

— Здравствуй, старый друг! испытанный!

А она ему отвечает:

— Здравствуйте, князь! Чему я обязана?

А он ей:

— Об этом,— говорит,— после поговорим, а прежде дай поздороваться и позволь в головку тебя поцеловать,— и мне слышно, как он ее в голову чмокнул и спрашивает про дочь. Евгенья Семеновна отвечает, что она, мол, дома.

— Здорова?

— Здорова,— говорит.

— И выросла небось?

Евгенья Семеновна рассмеялась и отвечает:

— Разумеется,— говорит,— выросла.

Князь спрашивает:

— Надеюсь, что ты мне ее покажешь?

— Отчего же,— отвечает,— с удовольствием,— и встала с места, вошла в детскую и зовет эту самую няню, Татьяну Яковлевну, с которою я угощаюсь.

— Выведите,— говорит,— нянюшка, Людочку к князю.

Татьяна Яковлевна плюнула, поставила блюдо на стол и говорит:

— О, пусто бы вам совсем было, только что сядешь, в самый аппетит, с человеком поговорить, непременно и тут отрывают и ничего в свое удовольствие сделать не дадут! — и поскорее меня барыниными юбками, которые на стене висели, закрыла и говорит: — Посиди,— а сама пошла с девочкой, а я один за шкафами остался и вдруг слышу, князь девочку раз и два поцеловал и потетешкал на коленях и говорит:

— Хочешь, мой анфан¹, в карете покататься?

Та ничего не отвечает; он говорит Евгень Семеновне:

— Же ву при²,— говорит,— пожалуйста, пусть она с нянею в моей карете поедит, покатается.

Та было ему что-то по-французскому, дескать, зачем и пуркуа³, но он ей тоже вроде того, что, дескать, «непреренно надобно», и этак они раза три словами перебросились, и потом Евгенья Семеновна нехотя говорит нянюшке:

— Оденьте ее и поезжайте.

Те и поехали, а эти двоичкой себе остались, да я у них под сокрытьем на послухах, потому что мне из-за шкапов и выйти нельзя, да и сам себе я думал: «Вот же когда мой час настал и я теперь настоящее исследую, что у кого против Груши есть в мыслях вредного?»

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Пустившись на этакое решение, чтобы подслушивать, я этим не удовольнился, а захотел и глазком что можно увидеть и всего этого достиг: стал тихонечко ногами на табуретку и сейчас вверху дверей в пазу щелочку присмотрел и жадным оком приник к ней. Вижу, князь сидит на диване, а барыня стоит у окна и, верно, смотрит, как ее дитя в карету сажают.

Карета отъехала, и она оборачивается и говорит:

— Ну, князь, я все сделала, как вы хотели: скажите же теперь, что у вас за дело такое ко мне?

А он отвечает:

— Ну что там дело!., дело не медведь, в лес не убежит, а ты прежде подойди-ка сюда ко мне: сядем рядом, да поговорим ладом, по-старому, по-бывалому.

Барыня стоит, руки назад, об окно опирается и молчит, а сама бровь супит. Князь просит:

— Что же,— говорит,— ты: я прошу,— мне говорить с тобой надо.

Та послушалась, подходит, он сейчас, это видя, опять шутит:

— Ну, мол, посиди, посиди по-старому,— и обнять ее хотел, но она его отодвинула и говорит:

— Дело, князь, говорите, дело: чем я могу вам служить?

— Что же это,— спрашивает князь,— стало быть, без разговора все начистоту выкладывать?

— Конечно,— говорит,— объясняйте прямо, в чем дело? мы ведь с вами коротко знакомы,— церемониться нечего.

— Мне деньги нужны,— говорит князь.

¹ Анфан — дитя (от фр. enfant).

² Же ву при — я вас прошу (фр. Je vous prie).

³ Пуркуа — почему (от фр. pourquoi).

Та молчит и смотрит.

— И не много денег,— молвил князь.

— А сколько?

— Теперь всего тысяч двадцать.

Та опять не отвечает, а князь и ну расписывать,— что: «Я, говорит, суконную фабрику покупаю, но у меня денег ни гроша нет, а если куплю ее, то я буду миллионер, я, говорит, все переделаю, все старое уничтожу и выброшу, и начну яркие сукна делать да азиатам в Нижний продавать. Из самой гадости, говорит, вытку, да ярко выкрашу, и все пойдет, и большие деньги наживу, а теперь мне только двадцать тысяч на задаток за фабрику' нужно». Евгенья Семеновна говорит:

— Где же их достать?

А князь отвечает:

— Я и сам не знаю, но надо достать, а потом расчет у меня самый верный: у меня есть человек — Иван Голован, из полковых конэсеров, очень не умен, а золотой мужик — честный, и рачитель, и долго у азиатов в плену был и все их вкусы отлично знает, а теперь у Макария стоит ярмарка, я pošлю туда Голована заподрядиться и образцов взять, и задатки будут... тогда... я, первое, сейчас эти двадцать тысяч отдам...

И он замолк, а барыня помолчала, вздохнула и начинает:

— Расчет,— говорит,— ваш, князь, верен.

— Не правда ли?

— Верен,— говорит,— верен; вы так сделаете: вы дадите за фабрику задаток, вас после этого станут считать фабрикантом; в обществе заговорят, что ваши дела поправились...

— Да.

— Да; и тогда...

— Голован наберет у Макария заказов и задатков, и я верну долг и разбогатею.

— Нет, позвольте, не перебивайте меня: вы прежде поднимете всем этим на фуфу предводителя, и пока он будет почитать вас богачом, вы женитесь на его дочери и тогда, взявши за ней ее приданое, в самом деле разбогатеете.

— Ты так думаешь? — говорит князь.

А барыня отвечает:

— А вы разве иначе думаете?

— А ну, если ты,— говорит,— все понимаешь, так дай Бог твоими устами да нам мед пить.

— *Нам?*

— Конечно,— говорит,— тогда всем нам будет хорошо: ты для меня теперь дом заложишь, а я дочери за двадцать тысяч десять тысяч процента дам.

Барыня отвечает:

— Дом ваш: вы ей его подарили, вы и берите его, если он вам нужен.

Он было начал, что: «Нет, дескать, дом не мой; а ты ее мать,

я у тебя прошу... разумеется, только в таком случае, если ты мне веришь...»

А она отвечает:

— Ах, полноте,— говорит,— князь, то ли я вам,— говорит,— верила! Я вам жизнь и честь свою доверяла.

— Ах да,— говорит,— ты про это... Ну, спасибо тебе, спасибо, прекрасно... Так завтра, стало быть, можно прислать тебе подписать закладную?

— Присылайте,— говорит,— я подпишу.

— А тебе не страшно?

— Нет,— говорит,— я уже то потеряла, после чего мне нечего бояться.

— И не жаль? говори: не жаль? верно, еще ты любишь меня немножечко? Что? или просто сожалеешь? а?

Она на эти слова только засмеялась и говорит:

— Полноте, князь, пустяки болтать. Не хотите ли вы, лучше я велю вам моченой морошки с сахаром подать? У меня она нынче очень вкусная.

Он, должно быть, обиделся: не того, видно, совсем ожидал — встает и улыбается.

— Нет,— говорит,— кушай сама свою морошку, а мне теперь не до сладостей. Благодарю тебя и прощай,— и начинает ей руки целовать, а тем временем как раз и карета назад возвратилась.

Евгения Семеновна и подает ему на прощанье руку, а сама говорит:

— А как же вы с вашей черноокой цыганкой сделаетесь?

А он себя вдруг рукой по лбу и вскрикнул:

— Ах, и вправду! какая ты всегда умная! Хочешь верь, хочешь не верь, а я всегда о твоём уме вспоминаю, и спасибо тебе, что ты мне теперь про этот яхонт напомнила!

— А вы,— говорит,— будто про нее так и позабыли?

— Ей-богу,— говорит,— позабыл. И из ума вон, а ее, дуру, ведь действительно надо устроить.

— Устраивайте,— отвечает Евгения Семеновна,— только хорошенечко: она ведь не русская прохладная кровь с парным молоком, она не успокоится смирением и ничего не простит ради прошлого.

— Ничего,— отвечает,— как-нибудь успокоится.

— Она любит вас, князь? Говорят, даже очень любит?

— Страсть надоела; но слава Богу, на мое счастье, они с Голованом большие друзья.

— Что же вам из этого? — спрашивает Евгения Семеновна.

— Ничего; дом им куплю и Ивана в купцы запишу, перевенчаются и станут жить.

А Евгения Семеновна покачала головою и, улыбнувшись, промолвила:

— Эх вы, князенька, князенька, бестолковый князенька: где ваша совесть?

А князь отвечает:

— Оставь, пожалуйста, мою совесть. Ей-богу, мне теперь не до нее: мне когда бы можно было сегодня Ивана Голована сюда вытребовать.

Барыня ему и сказала, что Иван Голован, говорит, в городе и даже у меня и приставши. Князь очень этому обрадовался и велел как можно скорее меня к нему прислать, а сам сейчас от нее и уехал.

Вслед за этим пошло у нас все живую рукою, как в сказке. Надалвал князь мне доверенностей и свидетельств, что у него фабрика есть, и научил говорить, какие сукна вырабатывает, и услал меня прямо из города к Макарью, так что я Груши и повидать не мог, а только все за нее на князя обижался, что как он это мог сказать, чтобы ей моею женой быть? У Макарья мне счастье так и повалило: набрал я от азиатов и заказов, и денег, и образцов, и все деньги князю выслал, и сам приехал назад и своего места узнать не могу... Просто все как будто каким-нибудь волшебством здесь переменялось: все подновлено, словно изба, к празднику убранная, а флигеля, где Груша жила, и следа нет: скрыт, и на его месте новая постройка поставлена. Я так и ахнул и кинулся: где же Груша? а про нее никто и не ведаёт; и люди-то в прислуге все новые, наемные и прегордые, так что и доступу мне прежнего к князю нет. Допреж сего у нас с ним все было по-военному, в простоте, а теперь стало все на политике, и что мне надо князю сказать, то не иначе как через камердинера.

Я этого так терпеть не люблю, что ни одной бы минуты здесь не остался и сейчас бы ушел, но только мне очень было жаль Грушу, и никак я не могу узнать: где же это она делась? Кого из старых людей ни спрошу — все молчат: видно, что строго заказано. Насилу у одной дворовой старушки добился, что Грушенька еще недавно тут была и всего, говорит, ден десять как с князем в коляске куда-то отъехала и с тех пор назад и не вернулась. Я к кучерам, кои возили их: стал спрашивать, и те ничего не говорят. Сказали только, что князь будто своих лошадей на станции сменил и назад отослал, а сам с Грушею куда-то на наемных поехал. Куда ни метнусь, нет никакого следа, да и полно: погубил он ее, что ли, злодей, ножом, или пистолетом застрелил и где-нибудь в лесу во рву бросил да сухою листвою призасыпал, или в воде утопил... От страстного человека ведь все это легко может статься; а она ему помеха была, чтобы жениться, потому что ведь Евгенья Семеновна правду говорила: Груша любила его, злодея, всею страстной своею любовью цыганскою, каторжной, и ей было то не снести и не покориться, как Евгенья Семеновна сделала, русская христианка, которая жизнь свою перед ним как лампаду истеплила. В этой цыганское пламящето, я думаю, дымным костром вспыхнуло, как он ей насчет свадьбы сказал, и она тут небось неведомо что зачертила, вот он ее и покончил.

Так я все чем больше эту думу в голове содержу, тем больше уверяюсь, что иначе это быть не могло, и не могу смотреть ни на какие сборы к его венчанью с предводительскою дочкою. А как свадьбы день пришел и всем людям роздали цветные платки и кому какое идет по его должности новое платье, я ни платка, ни убора не надел, а взял все в конюшне в своем чуланчике покинул, и ушел с утра в лес, и ходил, сам не знаю чего, до самого вечера, все думал: не попаду ли где на ее тело убитое? Вечер пришел, я и вышел, сел на крутом берегу над речкою, а за рекою весь дом огнями горит, светится, и праздник идет; гости гуляют, и музыка гремит, далеко слышно. А я все сижу да гляжу уже не на самый дом, а в воду, где этот свет весь отразило и струями рябит, как будто столбы ходят, точно водяные чертоги открыты. И стало мне таково грустно, таково тягостно, что даже, чего со мною и в плену не было, начал я с невидимой силой говорить и, как в сказке про сестрицу Аленушку сказывают, которую брат звал, зову ее, мою сиротинушку Грунюшку, жалобным голосом:

— Сестрица моя, моя,— говорю,— Грунюшка! откликнись ты мне, отзовись мне; откликнись мне; покажися мне на минуточку! — И что же вы изволите думать: простонал я этак три раза, и стало мне жутко, и зачало все казаться, что ко мне кто-то бежит; и вот прибежал, вокруг меня веется, в уши мне шепчет и через плеча в лицо засматривает, и вдруг на меня из темноты ночной как что-то шаркнет!.. И прямо на мне повисло и колотится...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Я от страха даже мало на землю не упал, но чувств совсем не лишился, и ошущаю, что около меня что-то живое и легкое, точно как подстреленный журавль, бьется и вздыхает, а ничего не молвит.

Я сотворил в уме молитву, и что же-с? — вижу перед своим лицом как раз лицо Груши...

— Родная моя! — говорю,— голубушка! живая ли ты или с того света ко мне явилася? Ничего,— говорю,— не потаись, говори правду: я тебя, бедной сироты, и мертвой не испугаюсь.

А она глубоко-глубоко из глубины груди вздохнула и говорит:

— Я жива.

— Ну, и слава, мол, Богу.

— Только я,— говорит,— сюда умереть вырвалась.

— Что ты,— говорю,— Бог с тобой, Грунюшка: зачем тебе умирать. Пойдем жить счастливою жизнью: я для тебя работать стану, а тебе, сиротиночке, особливую келейку учрежду, и ты у меня живи заместо милой сестры.

А она отвечает:

— Нет, Иван Северьяныч, нет, мой ласковый, мил-сердечный друг, прими ты от меня, сироты, на том твоём слове вечный

поклон, а мне, горькой цыганке, больше жить нельзя, потому что я могу неповинную душу загубить.

Пытаю ее:

— Про кого же ты это говоришь? про чью душу жалеешь?

А она отвечает:

— Про ее, про лиходея моего жену молодую, потому что она — молодая душа, ни в чем не повинная, а мое ревнивое сердце ее все равно стерпеть не может, и я ее и себя погублю.

— Что ты, мол, перекрестись: ведь ты крещеная, а что душе твоей будет?

— Не-е-е-т,— отвечает,— я и души не пожалею, пускай в ад идет. Здесь хуже ад!

Вижу, вся женщина в расстройстве и в иступлении ума: я ее взял за руки и держу, а сам вглядываюсь и дивлюсь, как страшно она переменялась и где вся ее красота делась? тела даже на ней как нет, а только одни глаза среди темного лица как в ночи у волка горят и еще будто против прежнего вдвое больше стали, да недро¹ разнесло, потому что тягость ее тогда к концу приходила, а личико в кулачок сжало, и по щекам черные космы трепятыся. Гляжу на платьице, какое на ней надето, а платьице темное, ситцевенькое, как есть все в клочочках, а башмачки на босу ногу.

— Скажи,— говорю,— мне: откуда же ты это сюда взялась; где ты была и отчего такая неприглядная?

А она вдруг улыбнулась и говорит:

— Что?., чем я нехороша?.. Хороша! Это меня так убрал милсердечный друг за любовь к нему за верную: за то, что того, которого больше его любила, для него позабыла и вся ему предалась, без ума и без разума, а он меня за то в крепкое место упрятал и сторожей настановил, чтобы строго мою красоту стечь...

И с этим вдруг-с как захохочет и молвит с гневностью:

— Ах ты, глупая твоя голова княженецкая: разве цыганка барышня, что ее запоры удержат? Да я захочу, я сейчас брошусь и твоей молодой жене горло переем.

Я вижу, что она сама вся трясется от ревнивой муки, и думаю: дай я ее не страхом ада, а сладким воспоминанием от этих мыслей отведу, и говорю:

— А ведь как, мол, он любил-то тебя! Как любил! Как ного-то твои целовал... Бывало, на коленях перед диваном стоит, как ты поешь, да алую туфлю твою и сверху и снизу в подошву обцелует...

Она это стала слушать, и вечищами своими черными водит по сухим щекам, и, в воду глядя, начала гулким тихим голо-сом:

— Любил,— говорит,— любил, злодей, любил, ничего не жа-

¹ Недро — живот, чрево.

лел, пока не был сам мне по сердцу, а полюбила его — он покинул. А за что?.. Что она, моя разлучница, лучше меня, что ли, или больше меня любить его станет... Глупый он, глупый!.. Не греть солнцу зимой против летнего, не видать ему век любви против того, как я любила; так ты и скажи ему: мол, Груша, умирая, так тебе ворожила и на рок положила.

Я тут и рад, что она разговорилась, и пристал, спрашиваю:

— Да что это такое у вас произошло и через что все это сталося?

А она всплескивает руками и говорит:

— Ах, ни через что ничего не было, а все через одно изменение... Нравиться ему я перестала, вот и вся причина,— и сама, знаете, все это говорит, а сама начинает слезами хлпать.— Он,— говорит,— платье мне, по своему вкусу, таких нашил, каких тягостной не требуется: узких да с талиями; я их надену, выстроюсь, а он сердится, говорит: «Скинь; не идет тебе»; не надену их, в распашне покажусь, еще того вдвое обидится, говорит: «На кого похожа ты?» Я все поняла, что уже не воротить мне его, что я ему опротивела...

И с этим совсем зарыдала и сама вперед смотрит, а сама шепчет:

— Я,— говорит,— давно это чужая, что не мила ему стала, да только совесть его хотела узнать, думала: ничем ему не досажу и догляжусь его жалости, а он меня и пожалел...

И рассказала-с она мне насчет своей последней с князем разлуки такую пустяковину, что я даже не понял, да и посейчас не могу понять: на чем коварный человек может с женщиною вековечно расстроиться?

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Рассказала Груша мне, что как ты, говорит, уехал да пропал, то есть это когда я к Макарью отправился, князя еще долго домой не было: а до меня, говорит, слухи дошли, что он женится... Я от тех слухов страшно плакала и с лица спала... Сердце болело, и дитя подкатывало... думала: оно у меня умрет в утробе. А тут, слышу, вдруг и говорят: «Он едет!» Все во мне затрепетало... Кинулась я к себе во флигель, чтобы как можно лучше к нему одеться, изумрудные серьги надела и ташу со стены из-под простыни самое любимое его голубое морёвое платье с кружевом, лиф без горлышка... Спешу, одеваю, а сзади спинка не сходится... я эту спинку и не застегнула, а так, поскорее, сверху алую шаль набросила, чтобы не видать, что не застегнуто, и к нему на крыльцо выскочила... вся дрожу и себя не помню, как крикнула:

¹ Моревое — парчовое.

«Золотой ты мой, изумрудный, яхонтовый!» — да обхватила его шею руками и замерла...

Дурнота с нею сделалась.

— А прочудилась я, — говорит, — у себя в горнице... на диване лежу и все вспоминаю: во сне или наяву я его обнимала; но только была, — говорит, — со мною ужасная слабость, — и долго она его не видала... Все посылала за ним, а он не шел.

Наконец он приходит, а она и говорит:

«Что же ты меня совсем бросил-позабыл?»

А он говорит:

«У меня есть дела».

Она отвечает:

«Какие, — говорит, — такие дела? Отчего же их прежде не было? Изумруд ты мой бразилиантовый!» — да и протягивает опять руки, чтобы его обнять, а он наморщился и как дернет ее изо всей силы крестовым шнурком за шею...

— На счастье, — говорит, — мое, шелковый шнурочек у меня на шее не крепок был, перезнял¹ и перервался, потому что я давно на нем ладанку носила, а то бы он мне горло передушил; да я полагаю так, что он того именно и хотел, потому что даже весь побелел и шипит:

«Зачем ты такие грязные шнурки носишь?»

А я говорю:

«Что тебе до моего шнурка; он чистый был, а это на мне с тоски почернел от тяжелого пота».

А он:

«Тьфу, тьфу, тьфу», — заплевал, заплевал и ушел, а перед вечером входит сердитый и говорит:

«Поедем в коляске кататься!» — и притворился, будто ласковый, и в голову меня поцеловал: а я, ничего не опасаясь, села с ним и поехала. Ехали мы долго и два раза лошадей переменяли, а куда едем — никак не допрошусь у него, но вижу, настало место лесное и болотное, непригожее, дикое. И приехали среди леса на какую-то пчельню, а за пчельнею — двор, и тут встречаются нас три молодые здоровые девки-одноворки в мареновых красных юбках² и зовут меня «барыней». Как я из коляски выступила, они меня под руки выхватили и прямо понесли в комнату, совсем убранную.

Меня что-то сразу от всего этого, и особенно от этих одноворок, замутило, и сердце мое сжалось.

«Что это, — спрашиваю его, — какая здесь станция?»

А он отвечает:

«Это ты здесь теперь будешь жить».

Я стала плакать, руки его целовать, чтобы не бросал ме-

¹ *Перезнял* — сгнил, истлел.

² *В мареновых красных юбках* — то есть в синих (окрашенных мареновой краской) красивых праздничных юбках.

ня тут, а он и не пожалел: толкнул меня прочь и уехал...

Тут Грушенька умолкла и личико вниз спустила, а потом вздыхает и молвит:

— Уйти хотела; сто раз порывалась — нельзя: те девки-однодворки стерегут и глаз не спускают... Томилась я, да, наконец, вздумала притвориться, и прикинулась беззаботною, веселою, будто гулять захотела. Они меня гулять в лес берут, да всё за мной смотрят, а я смотрю по деревьям, по верхам ветвей да по коже примечаю — куда сторона на полдень, и вздумала, как мне от этих девок уйти, и вчера то исполнила. Вчера после обеда вышла я с ними на полянку, да и говорю:

«Давайте,— говорю,— ласковые, в жмурки по полянке бегать».

Они согласились.

«А вместо глаз,— говорю,— станем друг дружке руки назад вязать, чтобы задом ловить».

Они и на то согласны.

Так и стали. Я первой руки за спину крепко-накрепко завязала, а с другою за куст забежала, да и эту там спутала, а на ее крик третья бежит, я и третью у тех в глазах силком скрутила; они кричать, а я, хоть тягостная, ударилась быстрее коня резвого: все по лесу да по лесу и бежала целую ночь и наутро упала у старых бортей¹ в густой засеке. Тут подошел ко мне старый старичок, говорит — неразборчиво шамкает, а сам весь в воску и ото всего от него медом пахнет, и в желтых бровях пчелки ворочаются. Я ему сказала, что я тебя, Ивана Северьяныча, видеть хочу, а он говорит:

«Кличь его, молодка, раз под ветер, а раз супротив ветра: он затоскует и пойдет тебя искать,— вы и встретитесь». Дал он мне воды испить и медку на огурчике подкрепиться. Я воды испила и огурчик съела, и опять пошла, и все тебя звала, как он велел, то по ветру, то против ветра — вот и встретились. Спасибо! — и обняла меня, и поцеловала, и говорит:

— Ты мне все равно что милый брат.

Я говорю:

— И ты мне все равно что сестра милая,— а у самого от чувства слезы пошли.

А она плачет и говорит:

— Знаю я, Иван Северьяныч, все знаю и разумею; один ты и любил меня, мил-сердечный друг мой, ласковый. Докажи же мне теперь твою последнюю любовь, сделай, что я попрошу тебя в этот страшный час.

— Говори,— отвечаю,— что тебе хочется?

— Нет; ты,— говорит,— прежде поклянись чем страшнее в свете есть, что сделаешь, о чем просить стану.

Я ей своим спасеньем души поклялся, а она говорит:

¹ ...у старых бортей.— Борть — дуплистое дерево, в котором водятся пчелы.

— Это мало: ты это ради меня преступишь. Нет, ты,— говорит,— страшной поклянись.

— Ну, уже я, мол, страшнее этого ничего не могу придумать.

— Ну так я же,— говорит,— за тебя придумала, а ты за мной поспедай, говори и не раздумывай.

Я сдуру пообещался, а она говорит:

— Ты мою душу прокляни так, как свою клял, если меня не послушаешь.

— Хорошо,— говорю,— и взял да ее душу проклял.

— Ну, так послушай же,— говорит,— теперь же стань поскорее душе моей за спасителя; моих,— говорит,— больше сил нет так жить да мучиться, видючи его измену и надо мной надругательство. Если я еще день проживу, я и *его* и *ее* порешу, а если их пожалею, себя решу, то навек убью свою душеньку... Пожалей меня, родной мой, мой миленький брат; ударь меня раз ножом против сердца.

Я от нее в сторону да крещу ее, а сам пчусь, а она обвила ручками мои колени, а сама плачет, сама в ноги кланяется и увещает:

— Ты,— говорит,— поживешь, ты Богу отмолишь и за мою душу и за свою, не погуби же меня, чтобы я на себя руку подняла...— Н... н... н... у...

Иван Северьяныч страшно наморщил брови и, покусав усы, словно выдохнул из глубины расходившейся груди:

— Нож у меня из кармана достала... розняла... из ручки лезвие выправила... и в руки мне сует... А сама... стала такое несть, что терпеть нельзя...

«Не убьешь,— говорит,— меня, я всем вам в отместку стану самую стыдной женщиной».

Я весь задрожал, и велел ей молиться, и колоть ее не стал, а взял да так с крутизны в реку и спихнул...

Все мы, выслушав это последнее признание Ивана Северьяныча, впервые заподозрили справедливость его рассказа и хранили довольно долгое молчание, но, наконец, кто-то откашлянулся и молвил:

— Она утонула?..

— Залилась,— отвечал Иван Северьяныч.

— А вы же как потом?

— Что такое?

— Пострадали небось?

— Разумеется-с.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

— Я бежал оттоль, с того места, сам себя не понимая, а помню только, что за мною все будто кто-то гнался, ужасно какой большой и длинный, и бесстыжий, обнагощенный, а тело все чер-

ное и голова малая, как луковочка, а сам весь обростенький, в волосах, и я догадался, что это если не Каин, то сам губитель-бес, и все я от него убегал и звал к себе ангела-хранителя. Опомнился же я где-то на большой дороге, под ракиточкой. И такой это день был осенний, сухой, солнце светит, а холодно, и ветер, и пыль несет, и желтый лист крутит; а я не знаю, какой час, и что это за место, и куда та дорога ведет, и ничего у меня «на душе нет, ни чувства, ни определения, что мне делать; а думаю только одно, что Грушина душа теперь погибшая и моя обязанность за нее отстрадать и ее из ада выручить. А как это сделать — не знаю и об этом тоскую, но только вдруг меня за плечо что-то тронуло: гляжу — это хворостинка с ракиты пала и далеконько так покатила, покатила, и вдруг Груша идет, только маленькая, не больше как будто ей всего шесть или семь лет, и за плечами у нее малые крылышки; а чуть я ее увидел, она уже сейчас от меня как выстрел отлетела, и только пыль да сухой лист вслед за ней воскурились.

Думаю я: это непременно ее душа за мной следует, верно, она меня манит и путь мне кажет. И пошел. Весь день я шел сам не знаю куда и невмоготу устал, и вдруг нагоняют меня люди, старичок со старушкою на телеге парою, и говорят:

«Садись, бедный человек, мы тебя подвезем».

Я сел. Они едут и убиваются:

«Горе,— говорят,— у нас: сына в солдаты берут; а капиталу не имеем, нанять не на что».

Я старичков пожалел и говорю:

«Я бы за вас так, без платы, пошел, да у меня бумаг нет».

А они говорят:

«Это пустяки: то уже наше дело; а ты только назовись, как наш сын, Петром Сердюковым».

«Что же,— отвечаю,— мне все равно: я своему ангелу Ивану Предтече буду молитвить, а называться я могу всячески, как вам угодно».

Тем и покончили, и отвезли они меня в другой город, и сдали меня там вместо сына в рекруты, и дали мне на дорогу монетою двадцать пять рублей, а еще обещались во всю жизнь помогать. Я эти деньги, что от них взял, двадцать пять рублей, сейчас положил в бедный монастырь — вклад за Грушину душу, а сам стал начальство просить, чтобы на Кавказ меня определить, где я могу скорее за веру умереть. Так и сделалось, и я пробыл на Кавказе более пятнадцати лет и никому не открывал ни настоящего своего имени, ни звания, а все назывался Петр Сердюков и только на Иванов день Богу за себя молил, через Предтечу-ангела. И позабыл уже я сам про все мое прежнее бытие и звание, и дослуживаю таким манером последний год, как вдруг на самый на Иванов день были мы в погоне за татарами, а те напаскудили и ушли за реку Койсу. Тех Койс в том месте несколько: которая течет по Андии, так и зовется андийская, кото-

рая по Аварии¹, зовется аварийская Койса, а то корикумуйская и кузикумуйская, и все они сливаются, и от сливу их зачинается Сулак-река. Но все они и по себе сами быстры и холодны, особливо андийская, за которую татарва ушли. Много мы их тут без счету этих татаров побили, но кои переправились за Койсу,— те сели на том берегу за камнями, и чуть мы покажемся, они в нас палят. Но палят с такою сноровкою, что даром огня не тратят, а берегут зелье на верный вред, потому что знают, что у нас снаряду не в пример больше ихнего, и так они нам вредно чинят, что стоим мы все у них в виду, они, шельмы, ни разу в нас и не пукнут. Полковник у нас был отважной души и любил из себя Суворова представлять, все, бывало, «помилуй Бог» говорил и своим примером отвагу давал. Так он и тут сел на бережку, а ноги разул и по колени в эту холодную воду опустил, а -сам хвалится:

«Помилуй Бог,— говорит,— как вода тепла, все равно что твое парное молочко в доеночке. Кто, благодетели, охотники на ту сторону переплыть и канат перетащить, чтобы мост навесть?»

Сидит полковник и таким манером с нами растабарывает, а татары с того бока два ствола ружей в щель выставили, а не стреляют. Но только что два солдата-охотника вызвались и поплыли, как сверкнет пламя, и оба те солдата в Койсу так и нырнули. Потянули мы канат, пустили другую пару, а сами те камни, где татары, спрятавшись, как роем, пулями осыпаем, но ничего им повредить не можем, потому что пули наши в камни бьют, а они, анафемы, как плюнут в пловцов, так вода кровью замутилась, и опять те два солдата юркнули. Пошли за ними и третья пара, и тоже середины Койсы не доплыли, как татары и этих утопили. Тут уже за третьего парю и мало стало охотничество, потому что видимо всем, что это не война, а просто убийство, а наказывать злодеев надобно. Полковник и говорит:

«Слушайте, мои благодетели. Нет ли из вас кого такого, который на душе смертный грех за собой знает? Помилуй Бог, как бы ему хорошо теперь своей кровью беззаконие смыть?»

Я и подумал:

«Чего же мне лучше этого случая ждать, чтобы жизнь кончить? благослови, Господи, час мой!» — и вышел, разделся, «Отчу» прочитал, на все стороны начальству и товарищам в землю ударил и говорю в себе: «Ну, Груша, сестра моя названная, прими за себя кровь мою!» — да с тем взял в рот тонкую бечеву, на которой другим концом был канат привязан, да, разбежавшись с берегу, и юркнул в воду.

Вода страсть была холодна: у меня даже под мышками закололо, и грудь мрет, судорога ноги тянет, а я плыву... Поверху на-

Авария — Аварское ханство, впоследствии — Аварский округ (ныне — Дагестан).

ши пули летят, а вокруг меня татарские в воду шлепают, а меня не касаются, и я не знаю: ранен я или не ранен, но только достиг берега... Тут татарам меня уже бить нельзя, потому что я как раз под ушельем стал, и чтобы им стрелять, в меня, надо им из щели высунуться, а наши их с того берега пулями как песком осыпают. Вот я стою под камнями и тяну канат, и перетянул его, и мосток справили, и вдруг наши сюда уже идут, а я все стою и как сам из себя изъят, ничего не понимаю, потому что думаю: видел ли кто-нибудь то, что я видел? А я видел, когда плыл, что надо мною Груша летела, и была она как отроковица примерно в шестнадцать лет, и у нее крылья уже огромные, светлые, через всю реку, и она ими меня огораживала... Однако, вижу, никто о том ни слова не говорит: ну, думаю, надо мне самому это рассказать. Как меня полковник стал обнимать и сам целует, а сам хвалит:

«Ой, помилуй Бог,— говорит,— какой ты, Петр Сердюков, молодец!»

А я отвечаю:

«Я, ваше высокоблагородие, не молодец, а большой грешник, и меня ни земля, ни вода принимать не хочет».

Он вопрошает:

«В чем твой грех?»

А я отвечаю:

«Я,— говорю,— на своем веку много неповинных душ погубил»,— да и рассказал ему ночью под палаткою все, что вам теперь сказывал.

Он слушал, слушал, и задумался, и говорит:

«Помилуй Бог, сколько ты один перенес, а главное, братец, как ты хочешь, а тебя надо в офицеры произвесть. Я об этом представление пошлю».

Я говорю:

«Как угодно, а только пошлите и туда узнать, не верно ли я показываю, что я цыганку убил?»

«Хорошо,— говорит,— и об этом пошлю».

И послали, но только ходила, ходила бумага и назад пришла с неверностью. Объяснено, что никогда, говорят, у нас такого происшествия ни с какою цыганкою не было, а Иван-де Северьянов хотя и был и у князя служил, только он через заочный выкуп на волю вышел и опосля того у казенных крестьян Сердюковых в доме помер.

Ну что тут мне было больше делать: чем свою вину доказывать?

А полковник говорит:

«Не смей, братец, больше на себя этого врать: это ты как через Койсу плыл, так ты от холодной воды да от страху в уме немножко помешался, и я,— говорит,— очень за тебя рад, что это все неправда, что ты наговорил на себя. Теперь офицером будешь; это, брат, помилуй Бог как хорошо».

Тут я даже и сам мыслями растерялся: точно ли я спихнул Грушу в воду, или это мне тогда все от страшной по ней тоски сильное воображение было?

И сделали-с меня за храбрость офицером, но только как я все на своей истине стоял, чтобы открыть свою запрошедшую жизнь, то чтобы от этого мне больше беспокойства не иметь, пустили меня с Георгием в отставку.

«Поздравляем,— говорят,— тебя, ты теперь благородный и можешь в приказные идти; помилуй Бог, как спокойно,— и письмо мне полковник к одному большому лицу в Петербург дал.— Ступай,— говорит,— он твою карьеру и благополучие совершит». Я с этим письмом и добрался до Питера, но не посчастливилось мне насчет карьеры.

— Чем же?

— Долго очень без места ходил, а потом на фиту попал, и оттого стало еще хуже.

— Как на *фиту*¹ что это значит?

— Тот покровитель, к которому я насчет карьеры был прислан, в адресный стол справщиком определил, а там у всякого справщика своя буква есть, по какой кто справке заведует. Иные буквы есть очень хорошие, как, например, буки, или покой, или како¹: много на них фамилиев начинается и справщику есть доход, а меня поставили на фиту. Самая ничтожная буква, очень на нее мало пишется, и то еще из тех, кои по всем видам ей принадлежат, все от нее отлынивают и лукавят: кто чуть хочет благородиться, сейчас себя самовластно вместо фиты через ферт ставит. Ищешь-ищешь его под фитою — только пропащая работа, а он под фертом себя проименовал. Никакой пользы нет, а сиди на службе; ну, я и вижу, что дело плохо, и стал опять наниматься, по старому обыкновению, в кучера, но никто не берет; говорят: ты благородный офицер, и военный орден имеешь, тебя ни обругать, ни ударить непристойно... Просто хоть повеситься но я благодаря Бога и с отчаянности до этого себя не допустил, а чтобы с голоду не пропасть, взял да в артисты пошел.

— Каким же вы были артистом?

— Роли представлял.

— На каком театре?

— В балагане на Адмиралтейской площади². Там благородством не гнушаются и всех принимают: есть и из офицеров, и столоначальники, и студенты, а особенно сенатских очень много.

¹ ...буки, или покой, или како — название букв «б», «п» и «к» старославянского алфавита.

² В балагане на Адмиралтейской площади.— Имеются в виду представления для народа, дававшиеся вплоть до 1873 года в Петербурге на религиозные праздники Рождество и Пасху.

— И понравилась вам эта жизнь?

— Нет-с.

— Чем же?

— Во-первых, разучка вся и репетиция идут на страстной неделе или перед масленицей, когда в церкви поют: «Покаяния отверзи ми двери», а во-вторых, у меня роль была очень трудная.

— Какая?

— Я демона изображал.

— Чем же это особенно трудно?

— Как же-с: в двух переменах танцевать надо и кувыркать-ся, а кувыркнуться страсть неспособно, потому что весь обшит лохматой шкурой седого козла вверх шерстью; и хвост долгий на проволоке, но он постоянно промеж ног путается, а рога на голове за что попало цепляются, а годы уже стали не прежние, не молодые, и легкости нет; а потом еще во все продолжение представления расписано меня бить. Ужасно как это докучает. Палки эдакие, положим, пустые, из холстины сделаны, а в середине хлопья, но, однако, скучно ужасно это терпеть, что всё по тебе хлоп да хлоп, а иные к тому еще с холоду или для смеху изловчатся и бьют довольно больно. Особенно из сенатских приказных, которые в этом опытные и дружные: всё за своих стоят, а которые попадутся военные, они тем ужасно докучают, и все это продолжительно начнут бить перед всей публикой с полдня, как только полицейский флаг поднимается, и бьют до самой до ночи, и все, всякий, чтобы публику утешить, норовит громче хлопнуть. Ничего приятного нет. А вдобавок ко всему со мною и здесь неприятное последствие вышло, после которого я должен был свою роль оставить.

— Что же это такое с вами случилось?

— Принца одного я за вихор подрал.

— Как принца?

— То есть не настоящего-с, а театрашного: он из сенатских был, коллежский секретарь, но у нас принца представлял.

— За что же вы его прибили?

— Да стоило-с его еще и не эдак. Насмешник злой был и выдумщик и все над всеми шуточки выдумывал.

— И над вами?

— И надо мною-с; много шуток строил: костюм мне портил; в грельне, где мы, бывало, над угольями грелися и чай пили, подкрадется, бывало, и хвост мне к рогам прицепит или еще что глупое сделает на смех, а я не осмотрюсь да так к публике выбегу, а хозяин сердится; но я за себя все ему спускал, а он вдруг стал одну фею обижать. Молоденькая такая девочка, из бедных дворяночек, богиню Фортуну она у нас изображала и этого принца от моих рук спасти должна была. И роль ее такая, что она вся в одной блестящей тюли выходит и с крыльями, а морозы большие, и у нее у бедной ручонки совсем посинели, зашлись,

а он ее допекает, лезет к ней, и когда мы втроем в апофезе в подпол проваливаемся, за тело ее щипет. Мне ее очень жаль стало: я его и оттрепал.

— И чем же это кончилось?

— Ничего; в провале свидетелей не было, кроме самой этой феи, а только наши сенатские все взбунтовались и не захотели меня в труппе иметь; а как они первые там представители, то хотя для их удовольствия меня согнал.

— И куда же вы тогда делись?

— Совсем без крова и без пищи было остался, но эта благородная фея меня питала, но только мне совестно стало, что ей, бедной, самой так трудно достается, и я все думал-думал, как этого положения избавиться? На фиту не захотел ворочаться, да и к тому на ней уже другой бедный человек сидел, мучился, так и взял и пошел в монастырь.

— От этого только?

— Да ведь что же делать-с? деться было некуда. А тут хорошо.

— Полюбили вы монастырскую жизнь?

— Очень-с; очень полюбил,— здесь покойно, все равно как в полку, много сходственного, все тебе готовое: и одет, и обут, и накормлен, и начальство смотрит и повиновения спрашивает.

— А вас это повиновение иногда не тяготит?

— Для чего же-с? что больше повиноваться, то человеку спокойнее жить, а особенно в моем послушании и обижаться нечем: к службам я в церковь не хожу иначе, как разве сам пожелаю, а исправляю свою должность по-привычному, скажут: «запрягай, отец Измаил» (меня теперь Измаилом зовут),— я запрягу; а скажут: «отец Измаил, отпрягай»,— я откладываю.

— Позвольте,— говорим,— так это что же такое, выходит, вы и в монастыре остались... при лошадях?

— Постоянно-с в кучерах. В монастыре этого моего звания офицерского не опасаются, потому что я хотя и в малом еще постриге¹, а все же монах и со всеми сравнен.

— А скоро же вы примете старший постриг²?

— Я его не приму-с.

— Это почему?

— Так... достойным себя не почитаю.

— Это все за старые грехи или заблуждения?

— Д-д-а-с. Да и вообще зачем? я своим послушанием очень доволен и живу в спокойствии.

— А вы рассказывали кому-нибудь прежде всю свою историю, которую теперь нам рассказали?

¹ *Малый постриг* — обряд посвящения в монахи без наложения строгих правил.

Старший постриг — обряд посвящения в монахи пожизненно и с наложением строгих правил.

— Как же-с; не раз говорил; да что же, когда справок нет.. не верят, так и в монастырь светскую ложь занес, и здесь из благородных числось. Да уже все равно доживать: стар становлюсь.

История очарованного странника, очевидно, приходила к концу, оставалось полюбопытствовать только об одном: как ему повелось в монастыре.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Так как наш странник доплыл в своем рассказе до последней житейской пристани — до монастыря, к которому он, по глубокой вере его, был от рождения предназначен, и так как ему здесь, казалось, все столь благоприятствовало, то приходилось думать, что тут Иван Северьянович более уже ни на какие напасти не натыкался; однако же вышло совсем иное. Один из наших спутников вспомнил, что иноки, по всем о них сказаниям, постоянно очень много страдают от беса, и спросил:

— А скажите, пожалуйста, бес вас в монастыре не искушал? ведь он, говорят, постоянно монахов искушает?

Иван Северьянович бросил из-под бровей спокойный взгляд на говорящего и отвечал:

— Как же не искушать? Разумеется, если сам Павел-апостол от него не ушел и в послании пишет, что «ангел сатанин был дан ему в плоть», то мог ли я, грешный и слабый человек, не претерпеть его мучительства.

— Что же вы от него терпели?

— Многое-с.

— В каком же роде?

— Всё разные пакости, а сначала, пока я его не пересилил, были даже и соблазны.

— А вы и *его*, самого беса, тоже пересилили?

— А то как же иначе-с? Ведь это уже в монастыре такое призвание, но я бы этого, по совести скажу, сам не сумел, а меня тому один совершенный старец научил, потому что он был опытный и мог от всякого искушения пользоваться. Как я ему открылся, что мне все Груша столь живо является, что вот словно ею одною вокруг меня весь воздух дышит, то он сейчас кинул в уме и говорит:

«У Якова-апостола сказано¹: «Противустаньте дьяволу, и победит от вас», и ты,— говорит,— противустань». И тут наставил меня так делать, что ты,— говорит,— как если почувствуешь сердцеразжижение и ее вспомнишь, то и разумеи, что это, значит, к тебе приступает ангел сатанин, и ты тогда сейчас простирайся противу его на подвиг: перво-наперво стань на колени.

¹ У Якова-апостола.— Имеется в виду «Соборное послание апостола Иакова».

Колени у человека,— говорит,— первый инструмент: как на них падешь, душа сейчас так и порхнет вверх, а ты тут, в сем возвышении, и бей поклонов земных елико мощно, до изнеможения, и изнурай себя постом, чтобы заморить, и дьявол как увидит твоё протягновение на подвиг, ни за что этого не стерпит и сейчас отбежит, потому что он опасается, как бы такого человека своими кознями еще прямее ко Христу не привести, и помыслит: «Лучше его оставить и не искушать, авось-де он скорее забудет-ся». Я стал так делать, и действительно все прошло.

— Долго же вы себя этак мучили, пока от вас ангел сатаны отступал?

— Долго-с; и все одним измором его, врага этакого, брал, потому что он другого ничего не боится: вначале я и до тысячи поклонов ударял и дня по четыре ничего не вкушал и воды не пил, а потом *он* понял, что ему со мною спорить не ровно, и оробел, и слаб стал: чуть увидит, что я горшочек пищи своей за окно выброшу и берусь за четки, чтобы поклоны считать, он уже понимает, что я не шучу и опять простираюсь на подвиг, и убежит. Ужасно ведь, как он боится, чтобы человека к отраде упования не привести.

— Однако же, положим... он-то... Это так: вы его преодолели, но ведь сколько же и сами вы от него перетерпели?

— Ничего-с; что же такое, я ведь угнетал гнетущего, а себе никакого стеснения не делал.

— И теперь вы уже совсем от него избавились?

— Совершенно-с.

— И он вам вовсе не является?

— В соблазнительном женском образе никогда-с больше не приходит, а если порою еще иногда покажется где-нибудь в уголке в келье, но уже в самом жалостном виде: визжит, как будто поросенок издыхает. Я его, негодяя, теперь даже и не мучу, а только раз перекрещу и положу поклон, он и перестанет хрюкать.

— Ну и слава Богу, что вы со всем этим так справились.

— Да-с; я соблазны большого беса осилил, но, доложу вам,— хоть это против правила,— а мне мелких бесенят пакости больше этого надокучили.

— А бесенята разве к вам тоже приставали?

— Как же-с; положим, что хотя они по чину и самые ничтожные, но зато постоянно лезут...

— Что же такое они вам делают?

— Да ведь ребятишки, и притом их там, в аду, очень много, а дела им при готовых харчах никакого нет, вот они и просятся на землю поучиться смущать, и балуются, и чем человек хочет быть в своем звании солиднее, тем они ему больше досаждают.

— Что же такое они, например... чем могут досаждают?

— Подставят, например, вам что-нибудь такое или подсунут, а опрокинешь или расшибешь и кого-нибудь тем смутишь и раз-

гневаешь, а им это первое удовольствие, весело: в ладоши хлопают и бежат к своему старшому: дескать, и мы смутили, дай нам теперь за то грошик. Ведь вот из чего бьются... Дети.

— Чем же именно им, например, удавалось вас смутить?

— Да вот, например, у нас такой случай был, что один жид в лесу около монастыря удавился, и стали все послушники говорить, что это Иуда и что он по ночам по обители ходит и вздыхает, и многие были о том свидетели. А я об нем и не сокрушался, потому что думал: разве мало у нас, что ли, жидов осталось; но только раз ночью сплю в конюшне и вдруг слышу, кто-то подошел и морду в дверь через поперечную перекладину всунул и вздыхает. Я сотворил молитву,— нет, все-таки стоит. Я перекрестил: все стоит и опять вздохнул. «Ну что, мол, я тебе сделаю: молиться мне за тебя нельзя, потому что ты жид, да хоть бы и не жид, так я благодати не имею за самоубийц молить, а пошел ты от меня прочь в лес или в пустыню». Положил на него этакое заклятие, он и отошел, а я опять заснул, но на другую ночь он, мерзавец, опять приходит и опять вздыхает... мешает спать, да и все тут. Как ни терпел, просто сил нет! Тьфу ты, невежа, думаю, мало ему в лесу или на паперти места, чтобы еще непременно сюда в конюшню ко мне ломиться? Ну, нечего делать, видно, надо против тебя хорошее средство изобретать: взял и на другой день на двери чистым углем большой крест написал, и как пришла ночь, я и лег спокойно, думаю себе: уж теперь не придет, да только что с этим заснул, а он и вот он, опять стоит и опять вздыхает! Тьфу ты, каторжный, ничего с ним не поделаешь! Всю как есть эту ночь он меня этак пугал, а утром, чуть ударили в первый колокол к заутрене, я поскорее вскочил и бегу, чтоб пожаловаться настоятелю, а меня встречает звонарь, брат Диомид, и говорит:

«Чего ты такой пужаный?»

Я говорю:

«Так и так, такое мне во всю ночь было беспокойство, и я иду к настоятелю».

А брат Диомид отвечает:

«Брось,— говорит,— и не ходи, настоятель вчера себе в нос пиявку ставил и теперь *пресердитый* и ничего тебе в этом деле не поможет, а я тебе, если хочешь, гораздо лучше его могу помогать».

Я говорю:

«А мне совершенно все равно; только сделай милость, помоги,— я тебе за это старые теплые рукавицы подарю, тебе в них зимою звонить будет очень способно».

«Ладно»,— отвечает.

И я ему рукавицы дал, а он мне с колокольни старую церковную дверь принес, на коей Петр-апостол написан, и в руке у него ключи от Царства Небесного.

«Вот это-то,— говорит,— и самое важное есть *ключи*: ты этою

дверью только заставься, так уже через нее никто не пройдет».

Я ему мало в ноги от радости не поклонился и думаю: чем мне эту дверь заставляться да потом ее отставлять, я ее лучше фундаментально прилажу, чтобы она мне всегда была ограждением, и взял и учинил ее на самых надежных плотных петлях, а для безопасности еще к ней самый тяжелый блок приснастил из булыжного камня, и все это исправил в тишине в один день до вечера и, как пришла ночная пора, лег в свое время и сплю. Но только, что же вы изволите думать: слышу — опять дышит! просто ушам своим не верю, что это можно, а нет: дышит, да и только! да еще мало этого, что дышит, а прет дверь... При старой двери у меня изнутри замок был, а в этой, как я более на святость ее располагался, замка не приладил, потому что и времени не было, то он ее так и пихает, и все раз от разу смелее, и, наконец, вижу, как будто морда просунулась, но только дверь размахнулась на блоке и его как свистнет со всей силы назад... А он отскочил, видно, почесался, да, мало обождавши, еще смелее, и опять морда, а блок ее еще жестче шелк... Больно, должно быть, ему показалось, и он усмирел и больше не лезет, я и опять заснул, но только прошло мало времени, а он, гляжу, подлец, опять за свое взялся, да еще с новым искусством. Уже нет того, чтобы бодать и прямо лезть, а полегонечку рогами дверь отодвинул, и как я был с головою полушубком закрыт, так он вдруг дерзко полушубок с меня долой сорвал, да как лизнет меня в ухо... Я больше этой наглости уже не вытерпел: спустил руку под кровать и схватил топор да как тресну его, слышу — замычал и так и бякнул на месте. «Ну,— думаю,— так тебе и надо»,— а вместо того, утром, гляжу, никакого жида нет, а это они, подлецы, эти бесенята, мне вместо его корову нашу монастырскую подставили.

— И вы ее поранили?

— Так и порубил топором-с! Смущение ужасное было в монастыре.

— И вы, чай, неприятности какие-нибудь за это имели?

— Получил-с; отец игумен сказали, что это все оттого мне представилось, что я в церковь мало хожу, и благословили, чтобы я, убравшись с лошадьми, всегда наперед у решетки для возжигания свеч стоял, а они тут, эти пакостные бесенята, еще лучше со мною подстроили и окончательно подвели. На самого на Мокрого Спаса', на всенощной, во время благословения хлебов, как надо по чину, отец игумен и иеромонах стоят посреди храма, а одна богомолочка старенькая подает мне свечечку и говорит: «Поставь, батюшка, празднику».

Я подошел к аналою, где положена икона «Спас на водах», и стал эту свечечку лепить, да другую уронил. Нагнулся, эту

...на *Мокрого Спаса* — религиозный праздник, отмечающийся 1 августа по старому стилю.

поднял, стал прилепливать,— две уронил. Стал их вправлять, ан, гляжу — четыре уронил. Я только головой качнул, ну, думаю, это опять непременно мне пострелята досаждают и из рук рвут... Нагнулся и поспешно с упавшими свечами поднимаюсь да как затылком махну под низ об подсвечник... а свечи так и посыпались. Ну, тут я рассердился да взял и все остальные свечи рукой посбивал. «Что же,— думаю,— если этакая наглость пошла, так лучше же я сам поскорее все это опрокину».

— И что же с вами за это было?

— Под суд меня за это хотели было отдать, да схимник, слепенький старец Сысой, в земляном затворе у нас живет, так он за меня заступился.

«За что,— говорит,— вы его будете судить, когда это его сатанины служители смутили».

Отец игумен его послушались и благословили меня без суда в пустой погреб опустить.

— Надолго же вас в погреб посадили?

— А отец игумен не благословили, на сколько именно времени, а так сказали только, что «посадить», я все лето до самых до заморозков тут и сидел.

— Ведь это, надо полагать, скука и мучение в погребе, не хуже, чем в степи?

— Ну нет-с: как же можно сравнить? здесь и церковный звон слышно, и товарищи навещали. Придут, сверху над ямой станут, и поговорим, а отец казначей жернов мне на веревке велели спустить, чтобы я соль для поварни молот. Какое же сравнение со степью или с другим местом.

— А потом когда же вас вынули? верно, при морозах, потому что холодно стало?

— Нет-с, это не потому, совсем не для холода, а для другой причины, так как я стал пророчествовать.

— Пророчествовать?!

— Да-с, я в погребу, наконец, в раздумье впал, что какой у меня самоничтожный дух и сколько я через него претерпеваю, а ничего не усвошаюсь, и послал я одного послушника к одному учительному старцу спросить: можно ли мне у Бога просить, чтобы другой более соответственный дух получить? А старец наказал мне сказать, что «пусть, говорит, помолится, как должно, и тогда, чего нельзя ожидать, ожидает».

Я так и сделал: три ночи всё на этом инструменте, на коленях, стоял в своей яме, а духом на небо молился и стал ожидать себе иного в душе совершения. А у нас другой инок Геронтий был, этот был очень начитанный и разные книги и газеты держал, и дал он мне один раз читать житие преподобного Тихона Задонского, и когда, случалось, мимо моей ямы идет, всегда, бывало, возьмет да мне из-под ряски газету кинет.

«Читай,— говорит,— и усматривай полезное: во рву это тебе будет развлечение».

Я, в ожидании невозможного исполнения моей молитвы, стал покамест этим чтением заниматься: как всю соль, что мне на урок назначено перемолоть, перемелю, и начинаю читать, и начитал я сначала у преподобного Тихона, как посетили его в келий Пресвятая Владычица и святые апостолы Петр и Павел. Писано, что угодник божий Тихон стал тогда просить Богородицу о продлении мира на земле, а апостол Павел ему громко ответил знамение, когда не станет мира, такими словами: «Егда,— говорит,— все рекут мир и утверждение, тогда нападает на них внезапно всегубительство». И стал я над этими апостольскими словами долго думать и все вначале никак этого не мог понять: к чему было святому от апостола в таких словах откровение? На конец того начитываю в газетах, что постоянно и у нас и в чужих краях неумолчными усты везде утверждается повсеместный мир. И тут-то исполнилось мое прошение, и стал я вдруг понимать, что сблизается реченное: «егда рекут мир, нападет внезапно всегубительство», и я исполнился страха за народ свой русский и начал молиться и всех других, кто ко мне к яме придет, стал со слезами увещевать, молитесь, мол, о покорении под ноге царя нашего всякого врага и супостата, ибо близ есть нам всегубительство. И даны были мне слезы, дивно обильные!., все я о родине плакал. Отцу игумену и доложили, что,— говорят,— наш Измаил в погребке стал очень плакать и войну пророчествовать. Отец игумен и благословили меня за это в пустую избу на огород перевести и поставить мне образ *«Благое молчание»*, пишется Спас с крылами тихими, в виде ангела, в виде Саваофовых чинах заместо венца, а ручки у груди смиренно сложены. И приказано мне было, чтобы я перед этим образом всякий день поклоны клал, пока во мне провещающий дух умолкнет. Так меня с этим образом и заперли, и я так до весны взаперти там и пребывал в этой избе и все *«Благому молчанию»* молился, но чуть человека увижу, опять во мне дух поднимается, и я говорю. На ту пору игумен лекаря ко мне прислали посмотреть: в рассудке я не поврежден ли? Лекарь со мною долго в избе сидел, вот этак же, подобно вам, всю мою повесть слушал и плюнул:

«Экий,— говорит,— ты, братец, барабан: били тебя, били, и все никак еще не добьют».

Я говорю:

«Что же делать? Верно, так нужно».

А он, все выслушавши, игумену сказал:

«Я,— говорит,— его не могу разобрать, что он такое: так просто добряк, или помешался, или взаправду предсказатель. Это,— говорит,— по вашей части, а я в этом не сведущ, мнение же мое такое: прогоните,— говорит,— его куда-нибудь подальше пробегаться, может быть, он засиделся на месте».

Вот меня и отпустили, и я теперь на богомление в Соловки к Зосиме и Савватию благословился и пробираюсь. Везде был, а их не видал и хочу им перед смертью поклониться.

- Отчего же «перед смертью»? Разве вы больны?
- Нет-с, не болен; а все по тому же случаю, что скоро надо будет воевать.
- Позвольте: как же это вы опять про войну говорите?
- Да-с.
- Стало быть, вам «*Благое молчание*» не помогло?
- Не могу знать-с: усиливаюсь, молчу, а дух одолевает.
- Что же он?
- Все свое внушает: «ополчайся».
- Разве вы и сами собираетесь идти воевать?
- А как же-с? Непременно-с: мне за народ очень помереть хочется.

— Как же вы: в клобуке и в рясе пойдете воевать.

— Нет-с; я тогда клобучок сниму, а амуничку надену.

Проговорив это, очарованный странник как бы вновь ощутил на себе наитие вещательного духа и впал в тихую сосредоточенность, которой никто из собеседников не позволил себе прервать ни одним новым вопросом. Да и о чем было его еще больше спрашивать? повествования своего минувшего он исповедал со всею откровенностью своей простой души, а провещения его остаются до времени в руке сокрывающего судьбы свои от умных и разумных и только иногда открывающего их младенцам.



**Федор
Иванович
ТЮТЧЕВ**

(1803—1873)

КРАТКАЯ БИОХРОНИКА Ф. И. ТЮТЧЕВА

- 23 ноября (5 декабря) 1803 года Федор Иванович Тютчев родился в селе Овстуг Орловской губернии (ныне Брянская область).
- 1810—Тютчевы поселились в своем московском доме в Армянском переулке.
- 1817—1820 — Тютчев знакомится с будущимилюбомудрами (Погодин, В. Одоевский, Веневитинов, Хомяков, братья Киреевские и др.).
- 1819— Тютчев становится студентом словесного отделения Московского университета.
- 1821— поэт закончил университет со степенью кандидата словесных наук.
- 1822— поступление на службу в государственную коллегияю иностранных дел. Отъезд в Мюнхен в качестве сотрудника русской миссии.
- 1826—женитьба на Элеоноре Петерсон.
- 1828—знакомство с Гейне, Шеллингом.
- 1836— шестнадцать стихотворений поэта опубликованы в пушкинском «Современнике».
- 1837—отъезд в Турин в качестве первого секретаря русской миссии.

- 1838— кончина Элеоноры Тютчевой.
- 1839— женитьба на Эрнестине Дернберг.
- 1841— Тютчев уволен из министерства иностранных дел и лишен звания камергера.
- 1845—восстановление на службе в министерстве иностранных дел, возвращение звания камергера.
- 1850— статья Некрасова о Тютчеве в журнале «Современник» (№ 1); объяснение Тютчева и Е. А. Денисьевой.
- 1854—выход в свет книги «Стихотворения Ф. Тютчева».
- 1858— Тютчев назначен председателем комитета иностранной цензуры.
- 1864, 4 августа — кончина Елены Александровны Денисьевой.
- 1868, март — выход в свет второй книги стихотворений поэта.
- 1873, 15 июля — кончина Федора Ивановича Тютчева в Царском Селе.

SILENTIUM!¹

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пусть в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи,—
Любуйся ими — и молчи.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи,—
Питайся ими — и молчи.

Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи,—
Внимай их пенью — и молчи!..

<1830>

± * *

Поток сгустился и тускнеет,
И прячется под твердым льдом,
И гаснет цвет и звук немеет
В оцепененье ледяном,—
Лишь жизнь бессмертную ключа
Сковать всесильный хлад не может:
Она все льется — и, журча,
Молчанье мертвое тревожит.

Так и в груди осиротелой,
Убитой хладом бытия,
Не льется юности веселой,
Не блещет резвая струя,—

¹ Молчание! (*лат.*).

Но подо льдистою корой
Еще есть жизнь, еще есть ропот —
И внятно слышится порой
Ключа таинственного шепот!

Начало 1830-х гг.

•к * *

О чем ты воешь, ветер ночной?
О чем так сетуешь безумно?..
Что значит странный голос твой,
То глухо-жалобный, то шумный?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке —
И роешь, и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки!..

О! страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!..
О! бурь заснувших не буди —
Под ними хаос шевелится!..

Начало 1830-х гг.

* * *

Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край:
День вечерел; мы были двое,
Внизу, в тени, шумел Дунай.

И на холму, там, где, белея,
Руина замка вдаль глядит,
Стояла ты, младая фея,
На мшистый опершись гранит,—

Ногой младенческой касаясь
Обломков груды вековой;
И солнце медлило, прощаясь
С холмом, и замком, и тобой.

И ветер тихий мимолетом
Твоей одеждою играл

И с диких яблонь цвет за цветом
На плечи юные свесал.

Ты беззаботно вдаль глядела...
Край неба дымно гас в лучах;
День догорал; звучнее пела
Река в померкших берегах.

И ты с веселостью беспечной
Счастливым провожала день;
И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.

1836

ФОНТАН

Смотри, как облаком живым
Фонтан сияющий клубится;
Как пламенеет, как дробится
Его на солнце влажный дым.
Лучом поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной —
И снова пылью огнецветной
Ниспасть на землю осужден.

О смертной мысли водомет,
О водомет неистощимый!
Какой закон непостижимый
Тебя стремится, тебя мятет?
Как жадно к небу рвешься ты!..
Но длань незримо-роковая,
Твой луч упорный преломляя,
Свергает в брызгах с высоты...

1836

* * *

Mobile comme l'onde¹

Ты, волна моя морская,
Своенравная волна,
Как, покоясь иль играя,
Чудной жизни ты полна!

Непостоянная, как волна (*фр.*).

Ты на солнце ли смеешься,
Отражая неба свод,
Иль мятешься ты и бьешься
В одичалой бездне вод,—

Сладок мне твой тихий шепот,
Полный ласки и любви;
Внятен мне и буйный ропот,
Стоны вещие твои.

Будь же ты в стихии бурной
То угрюма, то светла,
Но в ночи твоей лазурной
Сбереги, что ты взяла.

Не кольцо, как дар заветный,
В зыбь твою я опустил,
И не камень самоцветный
Я в тебе похоронил.

Нет — в минуту роковую,
Тайной прелестью влеком,
Душу, душу я живую
Схоронил на дне твоём.

Апрель 1852

* * *

Я очи знал,— о эти очи!
Как я любил их,— знает Бог!
От их волшебной, страстной ночи
Я душу оторвать не мог.

В непостижимом этом взоре,
Жизнь обнажающем до дна,
Такое слышалось горе,
Такая страсти глубина!

Дышал он грустный, углубленный
В тени ресниц ее густой,
Как наслажденье, утомленный
И, как страданье, роковой.

И в эти чудные мгновенья
Ни разу мне не довелось
С ним повстречаться без волненья
И любоваться им без слез.

1850—1851

О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!

Давно ль, гордясь своей победой,
Ты говорил: она моя...
Год не прошел — спроси и сведай,
Что уцелело от нея?

Куда ланит девались розы,
Улыбка уст и блеск очей?
Все опалили, выжгли слезы
Горячей влагою своей.

Ты помнишь ли, при вашей встрече,
При первой встрече роковой,
Ее волшебный взор, и речи,
И смех младенчески живой?

И что ж теперь? И где ж все это?
И долговечен ли был сон?
Увы, как северное лето,
Был мимолетным гостем он!

Судьбы ужасным приговором
Твоя любовь для ней была,
И незаслуженным позором
На жизнь ее она легла!

Жизнь отречения, жизнь страданья!
В ее душевной глубине
Ей оставались воспоминанья...
Но изменили и оне.

И на земле ей дико стало,
Очарование ушло...
Толпа, нахлынув, в грязь втоптала
То, что в душе ее цвело.

И что ж от долгого мученья,
Как пепл, сберечь ей удалось?
Боль, злую боль ожесточенья,
Боль без отрады и без слез!

О, как убийственно мы любим!

Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!

1851

* * *к

Весь день она лежала в забытьи,
И всю ее уж тени покрывали.
Лил теплый летний дождь — его струи
По листьям весело звучали.

И медленно опомнилась она,
И начала прислушиваться к шуму,
И долго слушала — увлечена,
Погружена в сознательную думу...

И вот, как бы беседуя с собой,
Сознательно она проговорила
(Я был при ней, убитый, но живой):
«О, как все это я любила!»

Любила ты, и так, как ты, любить —
Нет, никому еще не удавалось!
О Господи!., и это *пережить*...
И сердце на клочки не разорвалось...

1864

•к & •&

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

28 ноября 1866

К. Б.

Я встретил вас — и всё былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое —
И сердцу стало так тепло...

Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,

Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенется в нас,—

Так, весь обвеян дуновеньем
Тех лет душевной полноты,
С давно забытым упоеньем
Смотрю на милые черты...

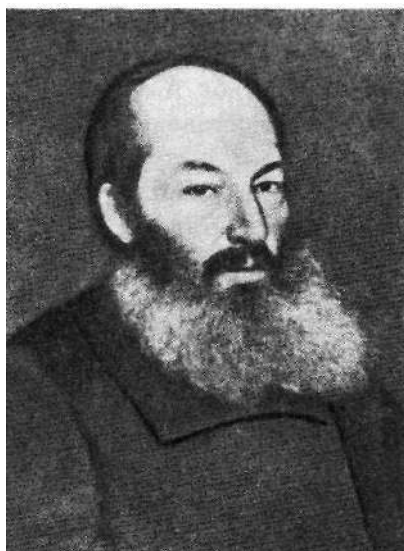
Как после вековой разлуки,
Гляжу на вас, как бы во сне,—
И вот — слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне...

Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь,—
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..

26 июля 1870

**Афанасий
Афанасьевич
ФЕТ**

(1820—1892)



КРАТКАЯ БИОХРОНИКА А. А. ФЕТА

- 23 ноября (5 декабря) 1820 года Афанасий Афанасьевич Шеншин (Фет) родился в селе Новоселки Мценского уезда Орловской губернии.
- 1835—1837 — будущий поэт обучается в немецком пансионе в г. Верро (ныне г. Выру, Эстония), увлекается классической филологией, начинает писать стихи.
- 1838— 1844 — годы учебы А. А. Фета в Московском университете.
- 1840— выход в свет первого сборника стихотворений Афанасия Фета «Лирический пантеон».
- 1842— молодой поэт начинает активно печататься в журналах «Москвитянин», «Отечественные записки».
- 1845—А. А. Фет поступает на военную службу.
- 1846— присвоение первого офицерского звания.
- 1850— выход в свет второго сборника стихотворений Афанасия Фета, положительные отзывы о книге в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Москвитянин».
- 1853—А. А. Фета переводят в гвардейский полк, расквартированный под Петербургом. Поэт часто бывает в столице, встречается с Тургеневым, Некрасовым, Гончаровым и другими литераторами. Сближение с редакцией журнала «Современник».

- 1856— выход в свет третьего сборника стихотворений Афанасия Фета, отредактированного И. С. Тургеневым.
- 1857—женитьба А. А. Фета на М. П. Боткиной.
- 1858— поэт оставляет военную службу и поселяется в Москве.
- 1859— разрыв с журналом «Современник».
- 1863—выход в свет двухтомного собрания стихотворений Афанасия Фета.
- 1883— 1891 — публикация четырех выпусков «Вечерних огней».
- 1892, 21 ноября (3 декабря) — Афанасий Афанасьевич Фет скончался в Москве.

ДЕРЕВНЯ

Люблю я приют ваш печальный,
И вечер деревни глухой,
И за лесом благовест дальный,
И кровлю, и крест золотой.

Люблю я немятого луга
К окну подползающий пар,
И тесного, тихого круга
Не раз долитой самовар.

Люблю я на тех посиделках
Старушки чепец и очки;
Люблю на окне на тарелках
Овса золотые злочки;

На столике близко к окошку
Корзину с узорным чулком,
И по полу резвую кошку,
В прыжках за проворным клубком;

И милой застенчивой внучки
Красивый девичий наряд,
Движение бледенькой ручки
И робко опущенный взгляд;

Прощанье смолкающих пташек,
И месяца бледный восход,
Дрожанье фарфоровых чашек,
И речи замедленный ход;

И собственной выдумки сказки,
Прохлады вечерней струю,
И вас, любопытные глазки,
Живую награду мою!

* * *

Чудная картина,
Как ты мне родна:
Белая равнина,
Полная луна,

Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег.

1842

•к -к "к

На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит;
Утро дышит у ней на груди,
Ярко пышет на ямках ланит.

И подушка ее горяча,
И горяч утомительный сон,
И, чернеясь, бегут на плеча
Космы лентой с обеих сторон.

А вчера у окна ввечеру
Долго-долго сидела она
И следила по тучам игру,
Что, скользя, затевала луна.

И чем ярче играла луна,
И чем громче свистал соловей,
Всё бледней становилась она,
Сердце билось больней и больней.

Оттого-то на юной груди,
На ланитах так утро горит.
Не буди ж ты ее, не буди...
На заре она сладко так спит.
1842

•к •к "к

Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,

Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,

В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..

1850

•к * *

Какие-то носятся звуки
И льнут к моему изголовью,
Полны они томной разлуки,
Дрожат небывалой любовью.
Казалось бы, что ж? Отзвучала
Последняя нежная ласка,
По улице пыль пробежала,
Почтовая скрылась коляска...

И только... Но песня разлуки
Несбыточной дразнит любовью,
И носятся светлые звуки
И льнут к моему изголовью.

1853

* * *

Какая ночь! Как воздух чист,
Как серебристый дремлет лист,
Как тень черна прибрежных ив,
Как безмятежно спит залив,
Как не вздохнет нигде волна,
Как тишиною грудь полна!

Полночный свет, ты тот же день:
Белей лишь блеск, чернее тень,
Лишь тоньше запах сочных трав,
Лишь ум светлей, мирнее нрав,
Да вместо страсти хочет грудь
Вот этим воздухом вздохнуть.

1857

МУЗЕ

Надолго ли опять мой угол посетила,
Заставила еще томиться и любить?
Кого на этот раз собою воплотила?
Чьей речью ласковой сумела подкупить?

Дай руку. Сядь. Зажги свой факел вдохновенный.
Пой, добрая! В тиши признаю голос твой
И стану, трепетный, коленопреклоненный,
Запоминать стихи, пропетые тобой.

Как сладко, позабыв житейское волненье,
От чистых помыслов пылать и потухать,
Могучее твое учя дуновенье,
И вечно девственным словам твоим внимать.

Пошли, небесная, ночам моим бессонным
Еще блаженных снов и славы и любви
И нежным именем, едва произнесенным,
Мой труд задумчивый опять благослови.

1857

* * *

Ярким солнцем в лесу пламенеет костер,
И, сжимаясь, трещит можжевельник;
Точно пьяных гигантов столпившийся хор,
Раскрасневшись, шатается ельник.

Я и думать забыл про холодную ночь,—
До костей и до сердца прогрело:
Что смущало, колеблясь, умчалось прочь,
Будто искры в дыму, улетело.

Пусть на зорьке, всё ниже спускаясь, дымок
Над золою замрет сиротливо;
Долго-долго, до поздней поры, огонек
Будет теплиться, скупно, лениво.

И лениво и скупно мерцающий день
Ничего не укажет в тумане;
У холодной золы изогнувшийся пень
Прочернеет один на поляне.

Но нахмурится ночь — разгорится костер,
И, вьясь, затрещит можжевельник,
И, как пьяных гигантов столпившийся хо
Покраснев, зашатается ельник.

1859

ОСЕНЬ

Как грустны сумрачные дни
Беззвучной осени и хладной!
Какой истомой безотрадной
К нам в душу просятся они!

Но есть и дни, когда в крови
Золотолиственных уборов
Горящих осень ищет взоров
И знойных прихотей любви.

Молчит стыдливая печаль,
Лишь вызывающее слышно,
И, замирающей так пышно,
Ей ничего уже не жаль.

1883

* * *

Учись у них — у дуба, у березы.
Кругом зима. Жестокая пора!
Напрасные на них застыли слезы,
И треснула, сжимаяся, кора.

Все злей метель и с каждую минутой
Серdito рвет последние листы,
И за сердце хватает холод лютый;
Они стоят, молчат; молчи и ты!

Но верь весне. Ее промчится гений,
Опять теплом и жизнью дыша,
Для ясных дней, для новых откровений
Переболит скорбящая душа.

1883

* * *

Одним толчком согнать ладью живую
С наглаженных отливами песков,
Одной волной подняться в жизнь иную,
Учуть ветер с цветущих берегов,

Тоскливый сон прервать единым звуком,
Упитья вдруг неведомым, родным,
Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам,
Чужое вмиг почувствовать своим,

Шепнуть о том, пред чем язык немеет,
Усилить бой бестрепетных сердец —
Вот чем певец лишь избранный владеет,
Вот в чем его и признак и венец!

1887

ПОЭТАМ

Сердце трепещет отрадно и больно,
Подняты очи, и руки воздеты,
Здесь на коленях я снова невольню,
Как и бывало, пред вами, поэты.

В ваших чертогах мой дух окрылился,
Правду провидит он с высей творенья;
Этот листок, что иссох и свалился,
Золотом вечным горит в песнопенье.

Только у вас мимолетные грезы
Старыми в душу глядятся друзьями,
Только у вас благовонные розы
Вечно восторга блистают слезами.

С торжищ житейских, бесцветных и душных,
Видеть так радостно тонкие краски,
В радугах ваших, прозрачно-воздушных,
Неба родного мне чудятся ласки.

1890

СОДЕРЖАНИЕ

К читателям	3
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ	
Краткая биохроника А. Н. Островского	5
Гроза	
Действие первое	7
Действие второе	20
Действие третье	29
Действие четвертое	40
Действие пятое	47
Бесприданница	
Действие первое	55
Действие второе	73
Действие третье	89
Действие четвертое	104
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ	
Краткая биохроника И. С. Тургенева	118
Отцы и дети	121
НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ЛЕСКОВ	
Краткая биохроника Н. С. Лескова	275
Очарованный странник	277
ФЕДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ	
Краткая биохроника Ф. И. Тютчева	382
Silentium	384
Поток сгустился и тускнеет	—
О чем ты воешь, ветр ночной?	385
Я помню время золотое....	—
Фонтан	386
Ты, волна моя морская	—
Я очи знал,— о эти очи!..	387
О, как убийственно мы любим	388
Весь день она лежала в забытьи	389
Умом Россию не понять....	—
К. Б. (Я встретил вас — и всё былое...)	—

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ

Краткая биохроника А. А. Фета	391
Деревня.	393
Чудная картина...	394
На заре ты ее не буди.	—
Шепот, робкое дыханье.	—
Какие-то носятся звуки.	395
Какая ночь! Как воздух чист...	—
Музе.	396
Ярким солнцем в лесу пламенеет костер.	—
Осень.	397
Учись у них — у дуба, у березы.	—
Одним толчком согнать ладью живую.	398
Поэтам.	—

Учебное издание

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА

(вторая половина)

10 класс

Хрестоматия художественных произведений

В двух частях

ЧАСТЬ I

Составитель **Журавлев Виктор Петрович**

Редактор М. С. Вуколова

Художественный редактор А. П. Присекина

Художник А. А. Митрофанов

Технические редакторы Т. Н. Зыкина, Л. В. Марухно

Корректоры О. В. Ивашкина, Г. М. Махова

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93—953000. Изд. лиц. № 010001 от 10.10.96. Подписано к печати с диапозитивов 01.03.2000. Формат 60X90/16— Бумага офсетная № 1. Гарнитура Литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,0+0,31 форз. Усл. кр.-отг. 25,81. Уч.-изд. л. 26,43+0,47 форз. Тираж 30 000 экз. Заказ № 2408.

Государственное унитарное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Издательство «Просвещение» Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 127521, Москва, 3-й проезд Марьиной роши, 41.

Государственное унитарное предприятие ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 410004, Саратов, ул. Чернышевского, 59.